ISSN 0130-6545

5.1996

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**В номере:**

МИЛАН КУНДЕРА
*Неспешность*

ГЮНТЕР ГРАСС
*Собачьи годы*

ЛЕВ ЛОСЕВ
*Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского*

STOP
PEARBLOSSOM
CALIFORNIA
138
STOP
AHEAD
AHEAD
STOP

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1995 ГОД

По установившейся традиции весной происходит вручение премий, учрежденных журналом «Иностранная литература» совместно с Акционерным банком конверсии (Конверсбанк А.О.) В этом году, помимо премий «***ИЛ*люминатор**» и «**Инолит**», будет присуждена премия «**Инолиттл**» за лучшее произведение малой формы, опубликованное в 1995 г. в журнале. Жюри, состоящее из членов Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала, определило номинационный список по премиям.

На премию «***ИЛ*люминатор**», присуждаемую за самое яркое и талантливое произведение 1995 года в области исследования и перевода современной зарубежной литературы, выдвинуты:

**Ю. Архипов.** За составление, перевод, комментарий к книге Гуго фон Гофмансталя «Избранное». М., «Искусство»

**М. Гаспаров.** За книгу «Избранные статьи». Изд-во «Новое литературное обозрение»

**М. Гаспаров**. За книгу «Занимательная Греция». Изд-во «Греко-латинский кабинет» «Новое литературное обозрение»

**Ю. Гинзбург.** За перевод, предисловие, комментарий к книге Б.Паскаля «Мысли». Изд-во им.Сабашниковых

**И. Кузнецова.** За перевод романа А.Камю «Первый человек». Изд-во «Фолио»

**В. Подорога.** За книгу «Выражение и смысл (Ландшафтные миры философии. Киркегор, Ницше, Хайдеггер, Пруст, Кафка)». Изд-во Ad Marginem

На премию «**Инолит**», присуждаемую за лучший перевод или статью, напечатанные в 1995 году на страницах журнала «Иностранная литература», выдвинуты:

**В. Бабков.** За перевод романа П.Акройда «Дом доктора Ди» (№ 10)

**А. Базилевский.** За перевод пьесы С.И.Виткевича «Безумный Локомотив» (№ 11)

**Н. Вагапова, Л. Савельева.** За перевод пьесы М.Павича «Вечность и еще один день» (№ 7)

**П. Вайль**. За авторскую рубрику «Гений места»

**Б. Дубин.** За авторскую рубрику «Портрет в зеркалах»

**Е. Костюкович.** За перевод романа У.Эко «Маятник Фуко» (№ 7—9)

**А. Ливергант**. За перевод романа Дж.Бэнвилла «Улики» (№ 2)

**Н. Мавлевич**. За перевод романа Э.Ажара «Голубчик» (№ 7)

**Л. Мотылев.** За перевод романа А.Грея «Бедные-несчастные» (№ 12)

**С. Фридлянд.** За перевод романа Г.Грасса «Жестяной барабан» (№ 11)

На премию «**Инолиттл**» выдвинуты:

**Н. Ванханен**. За перевод стихов Хусто Хорхе Падрона (№ 11)

**А. Гелескул.** За перевод стихов современных поэтов Арагона (№ 5)

**С. Гончаренко.** За перевод стихов Рене Шара (№ 5)

**Н. Ставровская.** За перевод рассказа Э.Моранте «Улица Ангела» (№ 6)

**Т. Толстая.** За статью «Не спи, не спи, художник...» (№ 9)

О лауреатах премий мы сообщим в следующем номере.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

**Из общего тиража в 27 150 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.**

**Главный редактор**

**А.Н. СЛОВЕСНЫЙ**

**Редакционная коллегия:**

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

**Общественный редакционный совет:**

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

**Международный совет:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

**5** май 1996


## СОДЕРЖАНИЕ


МИЛАН КУНДЕРА — Неспешность (*Роман. Перевод с французского Ю.Стефанова*) ..... 5
ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ — Из книги «Последний раз» (*Стихи. Перевод с польского Владимира Британишского*) ..... 56
ГЮНТЕР ГРАСС — Собачьи годы (*Роман. Перевод с немецкого и вступление М.Рудницкого*) ..... 62
ХАНС БЁРЛИ — Стихи (*Перевод с норвежского и вступление А.Графова*) ..... 158
АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС — Дневник войны со свиньями (*Роман. Окончание. Перевод с испанского Е.Лысенко*) ..... 162

**Документальная проза**

ХОРХЕ СЕМПРУН — Писать или жить (*Главы из книги. Перевод с французского и вступление И.Кузнецовой*) ..... 199

**Критика и публицистика**

ЛЕВ ЛОСЕВ — Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского .. 224

***Конец века, конец тысячелетия***

ПОЛ НОТТ — Уроки XX века (*Перевод с английского А. Гамбаровой*) 238
НИКИТА ПОКРОВСКИЙ — XXI век как воля и представление ..... 245

**К нашим иллюстрациям**

О.ХЛЕБНИКОВА — Большой всплеск ..... 251
**Авторы этого номера** ..... 254


© «Иностранная литература», 1996

**В следующем номере «ИЛ»**

Новые рассказы классика современной польской литературы, маэстро иронии **Славомира Мрожека**.

Подборка пьес **Сэмюэла Беккета**, посвященная 90-летнему юбилею гениального драматурга.

«КРАСНАЯ АЗАЛИЯ» — автобиографическая повесть китаянки **Аньци Минь**. В книге, ставшей бестселлером во многих странах, рассказывается о трагическом периоде в истории Китая — годах культурной революции.

Цветные иллюстрации номера — работы американского художника Дэвида Хокни:

На 1-й стр.обложки — «Большой всплеск» (1967).
На 2-й стр.обложки — «Шоссе Пирблоссом, 11—18 апреля 1986 года, № 2» (1986).
На 3-й стр.обложки — «Каньон Николс» (1980).

**В Москве журнал можно приобрести в редакции.**

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

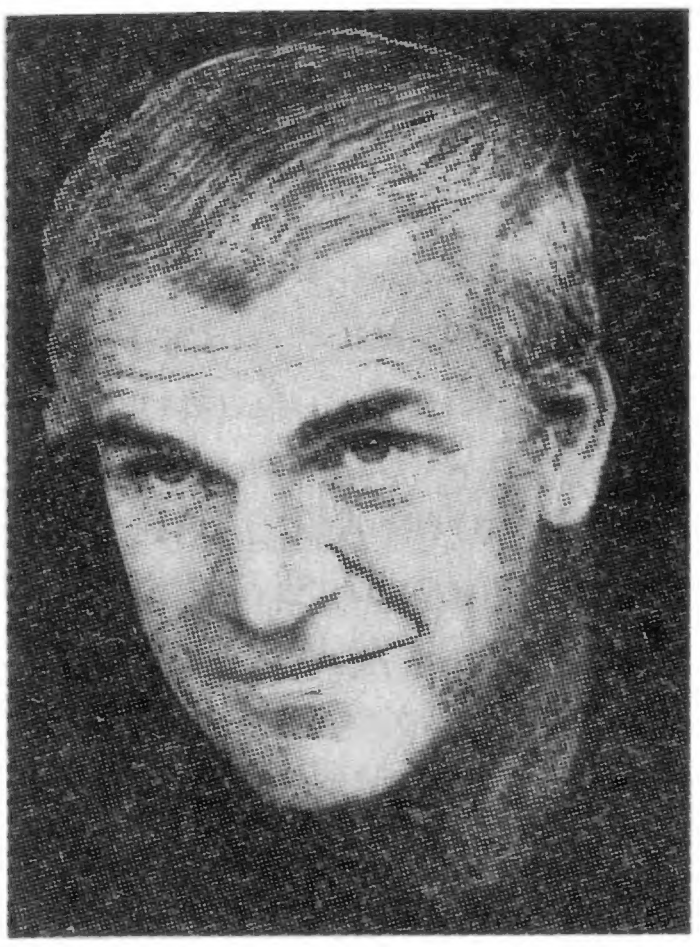
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 17.04.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,07. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,25. Заказ №1577

Тираж 27 150 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



# МИЛАН КУНДЕРА

# *Неспешность*

РОМАН

*Перевод с французского Ю.СТЕФАНОВА*

## 1

Нам взбрело в голову провести вечер и ночь в каком-нибудь замке. Во Франции многие из них стали гостиницами: лоскут зелени, затерянный среди уродливых пространств, где ее нет и в помине; самая малость аллей, деревьев и птиц, заплутавшихся в необозримой сетке автодорог. Я сижу за баранкой и наблюдаю в ретровизор за идущей позади нас машиной. Мигает огонек слева, машина прямо-таки захлебывается от нетерпения. Водитель только и ждет случая, чтобы меня обогнать; он стережет этот миг, как ястреб стережет воробья.

Вера, моя жена, говорит: «Каждые пятьдесят минут на автотрассах Франции кто-нибудь да погибает. Ты только посмотри на придурков, что снуют вокруг нас. А ведь те же самые люди осторожничают сверх меры, когда у них на глазах грабят старушку в темном переулке. Отчего же им совсем не страшно садиться за руль?»

Как ей ответить? Ну разве что так: человек, оседлавший мотоцикл, может сконцентрироваться только на очередной секунде своей гонки; он цепляется за клочок времени, оторванный и от прошлого, и от будущего; он выдернут из непрерывности времени; он вне его; иначе говоря, он находится в состоянии экстаза, он ничего не знает ни о своем возрасте, ни о своей жене, детях, заботах и, следовательно, ничего не боится, ибо источник страха — в будущем, а он освобожден от будущего и ему нечего бояться.

Скорость — это разновидность экстаза, подаренная человеку технической революцией. В противоположность мотоциклисту, бегун никуда не может деться из собственного тела; ему хочешь не хочешь приходится думать о своих мозолях и одышке; на бегу он чувствует свой вес, свои года, с особой остротой ощущает самого себя и время своей жизни. Все меняется, когда человек передоверяет фактор скорости машине: тело его тут же выходит из игры, и он целиком отдается внетелесной, нематериальной, чистой скорости, скорости как таковой, скорости-экстазу.

Странноватое сочетание: холодная обезличенность техники — и пламя экстаза. Вспоминаю американку, которая лет тридцать назад со строгой и восторженной миной — ни дать ни взять аппаратчик по части эротики — читала мне ледовито-теоретическую лекцию о сексуальном раскрепощении; самым частым словом в ее речах было слово «оргазм», она повторила его сорок три раза, я не поленился подсчитать. Культ оргазма: пуританская утилитарность, просочившаяся

Milan Kundera. La lenteur
© Milan Kundera, 1995

в половую жизнь; деловитость взамен праздности, сведение полового акта к препятствию, которое надлежит как можно скорей преодолеть, чтобы достичь экстатического взрыва, единственной цели любви, да и всей вселенной.

Почему исчезла услада неспешности? Где они теперь, праздношатающиеся былых времен? Где все эти ленивые герои народных песен, эти бродяги, что брели от мельницы к мельнице и ночевали под открытым небом? Неужели исчезли вместе с проселками, лугами и полянами, то есть вместе с природой? Чешское присловье определяет их сладостную праздность такой метафорой: они засмотрелись на окна Господа Бога. А кто засмотрелся на них, тому нечего скучать: он счастлив. В нашем же мире праздность обернулась бездельем, а это совсем разные вещи: бездельник подавлен, он томится от скуки, изматывает себя постоянными поисками движения, которого ему так не хватает.

Гляжу в ретровизор: все та же машина, что никак не может меня обогнать из-за встречного потока транспорта. Рядом с водителем сидит женщина: почему бы ему не позабавить ее болтовней, не положить ей руку на колено? Вместо этого он проклинает меня — я, видите ли, плетусь как черепаха, — а женщина уж тем более не думает погладить его по плечу, она мысленно ведет машину вместе с ним и тоже клянет меня последними словами.

И тут я вспоминаю о другой поездке из Парижа в пригородный замок, той поездке, что состоялась две с лишним сотни лет назад, а участвовали в ней госпожа де Т. и сопровождавший ее молодой кавалер. Они в первый раз оказались так близко, и невыразимая атмосфера чувственности, окружавшая их, рождалась как раз неспешностью езды: покачиваясь в такт движению кареты, их тела стали соприкасаться, сперва безотчетно, потом намеренно, а там начала завязываться их история.

## 2

Вот что рассказывается о ней в новелле Вивана Денона: некий двадцатилетний дворянин как-то вечером оказался в театре. (Ни имя, ни титул не упомянуты, но я воображаю его дворянином.) В соседней ложе он видит даму (новелла называет только первую букву ее фамилии: мадам де Т.); это приятельница Графини, чьим любовником является молодой человек. Она просит проводить ее после спектакля. Удивленный решительным поведением госпожи де Т. и сбитый с толку тем обстоятельством, что он знаком с ее фаворитом, неким Маркизом (его имени мы тоже не узна́ем; мы погрузились в мир тайн, где имена неуместны), молодой дворянин, ничего не понимая, оказывается в карете рядом с прелестной дамой.

В завершение милой и приятной поездки экипаж останавливается у подъезда замка, где их встречает мрачный супруг госпожи де Т. Они ужинают втроем в молчаливой и зловещей обстановке, затем муж извиняется и оставляет их одних.

В этот момент наступает ночь, слагающаяся, подобно триптиху из трех створок, из трех этапов: сначала они гуляют по парку, затем занимаются любовью в одном из павильонов и, наконец, продолжают то же занятие в потайном покое замка.

Ранним утром они расстаются. Не сумев отыскать свою спальню в лабиринте коридоров, молодой дворянин возвращается в парк, где, к своему удивлению, сталкивается с Маркизом, тем самым, который известен как любовник мадам де Т. Только что приехавший в замок Маркиз сердечно приветствует его и объясняет причину таинственного приглашения: госпожа де Т. использовала юного повесу в качестве своего рода ширмы, чтобы он, Маркиз, оставался вне подозрений в глазах мужа. Радуясь тому, что проделка удалась, он подтрунивает над молодым человеком, вынужденным сыграть комичную роль псевдолюбовника. А тот, утомленный ночью любви, возвращается в Париж в экипаже, предложенном ему признательным Маркизом.

Эта новелла под заглавием «Никакого завтра» была впервые опубликована в 1777 году; имя автора заменяли (мы находимся в мире тайн) пять загадочных заглавных букв: М.Д.П.К.К., которые при желании можно рассматривать как «Мсье Денон, Придворный Кавалер Короля». Потом, в том же 1777 году, она была переиздана крохотным тиражом и совершенно анонимно, а годом позже вышла под именем другого писателя. Новые издания последовали в 1802 и 1812 годах, опять-таки без упоминания настоящего автора; наконец, после полувекового забвения, ее выпустили в свет в 1866 году. Начиная с этого времени ее стали приписывать Вивану Денону, в течение нынешнего века она стала пользоваться все возрастающей известностью. Сейчас она числится среди литературных произведений, наиболее ярко отражающих искусство и дух XVIII столетия.

## 3

На повседневном языке понятие «гедонизм» означает аморальную склонность к разгульной, а то и порочной жизни. Это, разумеется, неверно: Эпикур, первый великий теоретик наслаждения, рассматривал счастливую жизнь крайне скептически: наслаждение испытывает тот, кто не страдает. Страдание, стало быть, является основным понятием гедонизма: мы счастливы в той мере, в какой можем избежать страданий; и потому наслаждения приносят обычно больше горя, чем радости, Эпикур предписывает лишь благоразумные и скромные удовольствия. У эпикурейской мудрости меланхоличный привкус: испытывающий мирские невзгоды человек приходит к выводу, что единственной явной и подлинной ценностью является наслаждение, сколь бы малым оно ни было, которое он может ощутить: поток свежей воды, взгляд, обращенный в окно (к Божьим окнам), ласка.

Скромные или нет, удовольствия принадлежат лишь тому, кто их испытывает, и какой-нибудь философ мог бы, строго говоря, поставить в укор гедонизму его эгоистическое основание. Однако с этой точки зрения ахиллесова пята гедонизма — не эгоизм, а его (я был бы рад ошибиться!) безнадежно утопический характер: в самом деле, я сомневаюсь в достижимости гедонистического идеала, я боюсь, что рекомендуемая им жизнь несовместима с человеческой природой.

Искусство XVIII века вывело наслаждения из тумана моральных запретов, оно породило атмосферу вольномыслия, царящего на полотнах Фрагонара и Ватто, на страницах де Сада, Кребийона-младшего или Дюкло. Вот почему мой юный друг Венсан обожает этот век, вот почему, будь его воля, он носил бы на отвороте лацкана своего пиджака профиль маркиза де Сада. Я вполне разделяю его восхищение, но добавляю (без всякой надежды на понимание), что истинное величие этого искусства состоит не в какой бы то ни было пропаганде гедонизма, а в его анализе: именно поэтому я считаю «Опасные связи» Шодерло де Лакло одним из величайших романов всех времен.

Его персонажи занимаются не чем иным, как поисками наслаждений. И, однако, до читателя мало-помалу доходит, что их интересуют не сами наслаждения, а скорее их поиски. Что главную роль играет не страсть к наслаждениям, а стремление к победе. И то, что выглядит сначала веселой и бесстыдной игрой, незаметно и неотвратимо превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но что общего у борьбы с гедонизмом? Вспомним Эпикура, писавшего: «Мудрец не стремится ни к чему, связанному с борьбой».

Эпистолярная форма «Опасных связей» не есть лишь простой технический прием, который можно было бы заменить любым другим. Эта форма красноречива сама по себе; суть ее в том, что все пережитое персонажами пережито лишь для того, чтобы стать рассказом, сообщением, исповедью, записью. В подобном мире, где все рассказывается, самым доступным и самым смертельным оружием становится разглашение, разоблачение. Вальмон, герой романа, адресует соблаз-

ненной им женщине письмо о разрыве их связи, письмо, которое окажется для нее смертельным ударом; пикантность положения в том, что послание это от начала до конца продиктовано его подругой, маркизой де Мертей. Чуть позже та же самая маркиза показывает конфиденциальное письмо Вальмона его сопернику; тот вызывает его на дуэль, оканчивающуюся гибелью Вальмона. После его смерти интимная переписка между ним и маркизой де Мертей в свой черед становится всеобщим достоянием, и маркиза кончает свои дни, окруженная всеобщим презрением, затравленная, изгнанная из большого света.

Ничто в этом романе не остается тайной, связывающей только два человеческих существа; весь мир оказывается внутри огромной гулкой раковины, где каждое слово звучит все сильней, подхваченное бесчисленными и бесконечными отзвуками. Когда я был маленьким, мне говорили, что в раковине, поднесенной к уху, я могу услышать незапамятно древний шепот моря. Вот так и каждое слово, произнесенное в лаклозапертом мире, остается слышимым навеки. И все это — XVIII век? И все это — парадиз наслаждений? Или, может быть, человек, сам того не сознавая, издревле живет в такой звучащей раковине? И уж, во всяком случае, гулкая раковина не имеет ничего общего с миром Эпикура, велевшего своим ученикам: «Живи втайне!»

## 4

Принимающий любезен, даже чересчур, любезнее, чем положено при обычном приеме гостей в отелях. Вспомнив о том, что мы уже были здесь года два назад, он предупреждает нас, что многое с тех пор переменилось. Конференц-зал приспособили для разного рода лекций и семинаров, был построен бассейн. Желая взглянуть на него, мы пересекли светлый холл с огромными оконными проемами, выходящими в парк. В глубине холла широкая лестница спускалась к большому квадратному бассейну под стеклянным потолком. «В тот раз, — напомнила мне Вера, — на этом месте был маленький цветник роз».

Устроившись у себя в комнате, мы вышли в сад. Зеленые уступы спускались вниз, к Сене. Это было обворожительно, мы приготовились к долгой прогулке, но через несколько минут уткнулись в шоссе, по которому сновали машины, и волей-неволей нам пришлось повернуть вспять.

Обед оказался изысканным, гости были разодеты так, словно хотели отдать должное былым временам, воспоминания о которых зыбко мерцали под потолком зала. Рядом с нами устроилась супружеская пара с двумя детьми. Один из них все время что-то напевал высоким голоском. Подающий с подносом в руке склонился над их столиком. Мамаша вперилась в него взглядом, как бы призывая рассыпаться в похвалах по адресу своего отпрыска; польщенный вниманием, тот вскарабкался на стул и начал заливаться соловьем. Лицо отца расплылось в счастливой улыбке.

Восхитительные бордоские вина, утка, десерт, составляющий секрет местной кухни, — все это располагало нас, сытых и довольных, к беззаботному времяпрепровождению. Потом, вернувшись к себе в комнату, я на минутку включил телевизор. На экране тоже были дети. Чернокожие и умирающие. Наше пребывание в замке совпало с той порой, когда в течение целых недель день за днем по телевизору показывали детишек из африканских стран с уже успевшими позабыться названиями (все это происходило два-три года назад, как удержать в памяти всю эту экзотику!), — стран, истерзанных гражданскими войнами и голодом. У детей, похожих на скелетики, изможденных, истощенных, не было сил, чтобы отогнать мух, что прогуливались по их лицам.

«А есть ли в этих странах умирающие старики?» — спросила у меня Вера.

В том-то все и дело, что нет; особенность этого голода, в противоположность

прежним бесчисленным голодовкам, которые знала Земля, в том и состоит, что он подкашивает только ребятишек. Мы ни разу не видели на экранах ни одного изможденного взрослого, хотя смотрели хронику текущих событий единственно для того, чтобы удостовериться в этом невиданном обстоятельстве.

Стало быть, нет ничего необычного в том, что не взрослые, а дети взбунтовались против жестокости старших и со всей присущей им непосредственностью организовали знаменитую кампанию под лозунгом «Пусть дети Европы пришлют хоть немного риса детям Сомали». Сомали! Вот оно, это слово, забытое название страны! Знаменитый лозунг помог мне вспомнить выскочившее из головы имя. Ах, как жаль, что теперь все это снова забылось! Дети купили рис, бесчисленное множество пакетов. Родители, вдохновленные всемирной солидарностью, одушевлявшей их отпрысков, собрали кучу денег, благотворительные организации предложили свою помощь: рис по крупинке был собран в школах, перевезен в порты, погружен на пароходы, держащие курс в Африку, весь мир стал свидетелем знаменитой рисовой эпопеи.

Не успели исчезнуть с экрана умирающие дети, как его заполонили девчушки лет шести-восьми, выряженные на манер взрослых, девчушки с умилительными манерами старых кокеток, и это было так прелестно, так трогательно — ну прямо глаз не оторвать, особенно когда эти детишки, девочки и мальчики, подражая взрослым, начали целовать друг друга в губы; потом появился мужчина, держащий на руках грудного младенца; пока он втолковывал нам, как лучше всего отстирывать замаранные пеленки, к нему подплыла молодая прелестница и, высунув чудовищно чувствительный язычок, всадила его в неимоверно любвеобильный рот мужчины с грудным младенцем.

«Пойдем-ка спать», — сказала Вера и вырубила телевизор.

## 5

Французские дети, сломя голову бросающиеся на помощь своим африканским сверстникам, неизменно вызывают у меня в памяти лицо интеллектуала Берка. Тогда он был в зените славы. Как это часто бывает со славой, его триумф был рожден неудачей. Припомним-ка: в восьмидесятые годы нашего века мир был поражен эпидемией спида, болезни, передающейся посредством любовных связей и попервоначалу свирепствовавшей особенно среди гомосексуалистов. Восставая против фанатиков, видевших в этой эпидемии справедливую кару Божью и бежавших от больных спидом, как от зачумленных, более или менее терпимые люди относились к ним по-братски и старались доказать, что контакт с ними не чреват никакой опасностью. Претворяя в жизнь свои убеждения, депутат Дюберк вместе с интеллектуалом Берком решили однажды отобедать в одном из знаменитых парижских ресторанов в компании больных спидом; обед прошел в самой дружеской атмосфере, и для того, чтобы подать добрый пример другим, депутат Дюберк пригласил к десерту фоторепортеров и киношников. Как только те появились на пороге, он встал, подошел к одному из спидоносцев, поднял его со стула и смачно поцеловал прямо в губы, еще лоснящиеся от шоколадного мусса. Эта смелая выходка застала Берка врасплох. Он тут же смекнул, что запечатленный на фото- и кинопленке поцелуй Дюберка имеет шансы на бессмертие. Он тоже встал и принялся лихорадочно соображать, не стоило ли бы и ему облобызаться со спидоносцем. Вначале он отверг сие искушение, поскольку в глубине души не был полностью уверен, что контакт со слизистой оболочкой больного полностью безопасен; затем решил побороть подозрение, полагая, что ради такой фотографии стоит все-таки рискнуть; на третьей фазе размышлений и колебаний его порыв к спидоносным устам был остановлен нижеследующей идеей: в свой черед расцеловавшись с больным, он отнюдь не сравняется с Дюберком, скорее наоборот — ему

будет уготовлен ранг последователя, подражателя, а то и пародиста, который своей поспешной и необдуманной выходкой лишь прибавит славы начинателю. И он, глупо улыбаясь, так и остался стоять столбом. Но эти несколько минут нерешительности обошлись ему дорого, потому что на него были нацелены кинокамеры, и вскоре в тележурнале вся Франция смотрела на его лицо, на все три фазы замешательства, смотрела — и ухмылялась. Ребятишки, собиравшие пакеты с рисом для Сомали, подоспели ему на помощь как раз вовремя. Он стал использовать каждый удобный случай, чтобы ошарашить публику глубокомысленным изречением «Только дети живут по правде!», а потом отправился в Африку, где снялся рядом с умирающей чернокожей девчушкой с лицом, облепленным мухами. Фотография прославилась на весь мир, прославилась куда сильнее, чем тот снимок, на котором Дюберк лобызается со спидоносцем, ибо умирающий ребенок имеет куда большую ценность, чем умирающий взрослый, — сия непреложная истина в тот момент все еще ускользала от Дюберка. Тем не менее он не чувствовал себя побежденным и несколько дней спустя появился на телеэкране; будучи ревностным христианином, он знал, что Берк — атеист, что навело его на мысль прихватить с собой в телестудию свечку, оружие, перед которым даже самые закоренелые безбожники не преминут склонить головы; во время интервью с журналистом он выудил ее из кармана и зажег; горя желанием коварно опорочить заботы Берка об экзотических странах, он завел речь о горемычных детях деревень и предместий Франции и призвал соотечественников со свечами в руках продефилировать по улицам Парижа в знак солидарности с лишенными детства ребятишками; вслед за тем с затаенным злорадством он пригласил не кого иного, как Берка, возглавить эту демонстрацию. Перед Берком стал выбор: либо участвовать в шествии со свечками, превратившись таким образом в церковного служку при Дюберке, либо как-то отвертеться от этой затеи и стать мишенью для насмешек. То была искусно расставленная ловушка, выбраться из которой можно было лишь способом столь же смелым, сколь и неожиданным: он решил незамедлительно вылететь в одну из азиатских стран, где народ затеял революцию, и там во весь голос заявить о своей поддержке угнетенных; но — увы! — география всегда была его слабым местом; весь мир разделялся для него на Францию и не Францию с множеством безвестных провинций, которые вечно путались у него в голове; посему немудрено, что его занесло совсем в другую, мирную до скукоты страну, чей расположенный в горах аэропорт продувался ледяными ветрами и обслуживался из рук вон плохо; ему пришлось проторчать там целую неделю, пока очередной самолет не доставил его в Париж; за это время он оголодал и подцепил простуду.

«Берк — король-мученик плясунов», — прокомментировал это событие Понтевен.

Понятие «плясун» известно лишь в узком кругу друзей Понтевена. Оно является его великим изобретением, и можно только сожалеть о том, что Понтевен не удосужился развить его в целой книге или использовать в качестве темы для международной конференции. Но ему плевать на общественное мнение. Ему достаточно друзей, выслушивающих его бредни с живейшим и неослабевающим интересом.

## 6

Всех теперешних политических деятелей, согласно Понтевену, можно в известной мере считать плясунами, а все плясуны вмешиваются в политику, из чего, разумеется, не следует, что одних можно путать с другими. Плясун отличается от заурядного политика тем, что он жаждет не власти, а славы; он не стремится навязать миру то или иное социальное устройство (оно беспокоит его куда меньше, чем собственный провал), он жаждет властвовать сценой, где могла бы вовсю развернуться его творческая личность.

Чтобы завладеть сценой, нужно вытолкать с нее всех соперников. Для этого

требуется специальная техника борьбы. Борьбу, которую ведет плясун. Понтевен именует *моральным дзюдо*; плясун бросает перчатку всему миру: кто способен выказать себя более моральным (храбрым, порядочным, искренним, предрасположенным к жертве, правдивым), чем он? И он без зазрения совести использует все дозволенные и недозволенные приемы, разрешающие ему поставить противника в морально низшую позицию.

Если у плясуна появляется возможность затесаться в политическую игру, он подчеркнуто отказывается от любых тайных переговоров (которые испокон веков служат полем игры истинной политики), объявляя их лживыми, бесчестными, лицемерными, грязными; он будет выдвигать свои предложения прилюдно, с эстрады, напевая и пританцовывая и призывая других последовать его примеру: я настаиваю: не сдержанно и скромно (давая оппоненту время поразмыслить, сформулировать контрпредложения), а публично и по возможности нахрапом: «Готовы ли вы (подобно мне) пожертвовать своим жалованьем за март месяц, чтобы помочь голодающим детям Сомали?» У ошарашенных оппонентов остаются всего две возможности: либо отказаться и тем самым выставить себя в роли детонавистников, либо сказать «да», пребывая в чудовищном замешательстве, которое тут же будет запечатлено коварными кинокамерами, как они запечатлели колебания бедного Берка в конце обеда с носителями спида. «Как вы можете молчать, доктор N., если права человека попираются в вашей собственной стране?» Этот вопрос был задан доктору N. как раз в тот момент, когда он оперировал больного и не имел никакой возможности ответить; но, наложив швы на вскрытый живот, он тут же проникся таким стыдом за свое молчание, что начал городить всю ту галиматью, которую от него хотели услышать, и даже больше; после чего обращающийся к нему плясун (это еще один приемчик *морального дзюдо*, особенно жестокий) процедил: «Ну наконец-то. Лучше поздно, чем никогда...»

Бывают ситуации (при диктаторских режимах, например), когда прилюдное заявление о своей позиции опасно; впрочем, для плясуна эта опасность не столь велика, как для других, ибо, пританцовывая в свете прожекторов, видимый отовсюду, он защищен вниманием всего мира, кроме того, у него есть масса анонимных обожателей, которые, повинуясь столь же похвальному, сколь и необдуманному порыву, подписывают воззвания, участвуют в запрещенных собраниях, проводят манифестации на улицах; их, разумеется, ждет беспощадная расправа, но плясун никогда не уступит сентиментальному искушению обвинить самого себя в том, что он стал причиной их невзгод, отлично зная, что благородная цель куда весомей, чем жизнь такого-то или такого-то человечишки.

Венсан возражал Понтевену: «Ни для кого не секрет, что ты терпеть не можешь Берка, а мы следуем твоему примеру. И тем не менее, будь он хоть дурак дураком, ему случалось поддерживать положения, которые и мы считаем справедливыми; если тебе угодно, можешь считать, что поддерживало их его тщеславие. И вот что я хочу у тебя спросить: если ты считаешь необходимым вмешаться в общественный конфликт, привлечь всеобщее внимание к какому-нибудь безобразию, вступиться за гонимого, то как тебе, в наше-то время, не стать плясуном или, по крайней мере, не выдавать себя за такового?»

На что таинственный Понтевен отвечал: «Ты ошибаешься, полагая, будто я хочу их опорочить. Я на их стороне, я их защищаю. Тот, кто испытывает отвращение к плясунам и стремится их опорочить, неизменно наталкивается на непреодолимое препятствие: их личную порядочность; ибо, постоянно пребывая на глазах публики, плясун обрекает себя на репутацию существа во всех отношениях безупречного; Фауст заключил пакт с Дьяволом, плясун — с Ангелом: он хочет превратить собственную жизнь в произведение искусства, и в этой работе ему помогает Ангел; ибо не забывай, что пляска — это искусство! В том наваждении, которое заставляет плясуна видеть в собственной жизни лишь сырье для произведения ис-

кусства, и состоит суть и сущность плясуна; он не проповедует мораль, он танцует. Он хочет взволновать и ослепить весь мир красотой своей жизни! Он влюблен в свою жизнь, как ваятель может быть влюблен в статую, которую он лепит».

## 7

Я часто задаюсь вопросом: отчего Понтевен так и не вынес на суд публики столь интересные идеи? А ведь ему, историку и доктору филологических наук, томящемуся от скуки в своем кабинете Национальной библиотеки, было бы проще простого это сделать. Мало сказать, что ему наплевать на обнародование своих теорий: одна мысль об этом внушает ему омерзение. Тот, кто выносит свои идеи на суд публики, как-никак рискует убедить других в собственной правоте, повлиять на них и таким образом оказаться в числе тех, которые силятся изменить мир. Изменить мир! С точки зрения Понтевена — это чудовищное намерение! Не потому, что мир, такой, какой он есть, представляется чем-то восхитительным, но потому, что всякое изменение в нем неизбежно ведет к худшему. И еще потому, что с точки зрения более эгоистической всякая идея, ставшая достоянием гласности, рано или поздно оборачивается против своего автора и лишает его того удовольствия, которое он испытывал, мысленно вынашивая ее. Ибо Понтевен принадлежит к числу виднейших учеников Эпикура: он порождает и развивает свои идеи единственно потому, что это доставляет ему наслаждение. Он не презирает человечество, которое служит для него неиссякаемым источником добродушно-насмешливых наблюдений, но и не испытывает ни малейшего желания войти с ним в более тесный контакт. Он окружен компанией дружков, собирающихся в «Гасконском кафе»; этой малой крупицы человечества ему вполне достаточно.

Среди этих дружков Венсан — самый безобидный и трогательный. Ему я отдаю всю мою симпатию и могу упрекнуть его (с привкусом ревности, что верно, то верно) лишь в том полумальчишеском и, на мой взгляд, преувеличенном обожании, которое он питает к Понтевену. Но даже в такой дружбе есть нечто душещипательное. Поскольку беседуют они о множестве вещей, которые их интересуют — о философии, политике, книгах, — Венсан счастлив быть наедине со своим учителем; любопытных и соблазнительных идей у него хоть отбавляй, и Понтевен, завороженный ими не меньше, чем его ученик, поправляет его, вдохновляет, одобряет. Но стоит появиться кому-то третьему, как Венсан тут же скисает, потому что Понтевен мигом преображается, начинает говорить слишком громко, становится занимательным, даже чересчур занимательным, с точки зрения Венсана.

Вот вам пример: они сидят вдвоем в кафе, и Венсан спрашивает: «Что ты думаешь на самом деле о событиях в Сомали?» Понтевен, набравшись терпения, читает ему целую лекцию о положении в Африке. Венсан находит возражения, они начинают спорить, пересмешничать, но не стараясь выказать себя с самой блестящей стороны, а только для того, чтобы не упустить нескольких мгновений разрядки в беседе по столь серьезному вопросу.

И тут появляется Машу в сопровождении прелестной незнакомки. Венсан рвется продолжать дискуссию: «Но скажи мне, Понтевен, не ошибаешься ли ты, утверждая, что...» — и он бросается в блестящую полемику с теориями своего друга.

Понтевен делает долгую паузу. В этом деле он мастак. Ему ли не знать, что только робкие, неуверенные в себе люди боятся пауз и, не зная, что ответить, начинают запутываться в бессвязных фразах, тем самым выставляя самих себя на смех. Что же касается Понтевена, то он умеет молчать столь царственно и властно, что даже сам Млечный Путь застывает от нетерпения, ожидая его ответа. Не проронив ни слова, он вперяет взор в Венсана, который, сам не зная почему, стыдливо опускает глаза, потом, улыбаясь, начинает пялиться на даму и наконец снова обращается к Венсану, причем взгляд его таит наигранную просьбу: «Твоя

манера в присутствии дамы настаивать на преувеличенно блестящих мыслях свидетельствует лишь о тревожном приливе твоего либидо».

На лице Машу появляется его знаменитая идиотская улыбочка, очаровательная дама обводит Венсана снисходительным и любопытствующим взглядом, Венсан краснеет как рак; он чувствует себя уязвленным: его друг, всего какую-нибудь минуту назад преисполненный к нему всяческого внимания, вдруг ни с того ни с сего окатывает его ушатом холодной воды только затем, чтобы позабавить какую-то незнакомку.

Потом появляются другие друзья, рассаживаются, затевают болтовню; Машу травит анекдоты, Гужар в коротких сухих репликах выставляет напоказ свою книжную эрудицию, раздается женский смех. Понтевен молчит, словно воды в рот набрал; он выжидает; когда его молчание достигает достаточной зрелости, он изрекает: «Моя малышка вечно требует от меня некоторой грубости в поведении».

Боже ты мой, каким тоном он умеет произносить подобные фразы! Даже посетители за соседними столиками смолкают и навостряют уши; в воздухе трепещет нетерпеливое хихиканье. Да что же забавного в том факте, что подружка Понтевена требует от него грубых замашек? Все дело, должно быть, в магии голоса, и Венсан тут же начинает мучиться от зависти, понимая, что его собственные голосовые данные в сравнении с данными Понтевена все равно что какая-нибудь простецкая дудка, дерзнувшая соперничать с виолончелью. Понтевен говорит негромко, никогда не повышая голоса, который, однако, наполняет весь зал и перекрывает все остальные звуки.

Он продолжает: «Грубое поведение... Но я не способен на такое! Я вовсе не груб! Я — сама утонченность!»

Хихиканье продолжает трепетать в воздухе, и, чтобы как следует им насладиться, Понтевен делает очередную паузу.

Потом говорит: «Время от времени ко мне забегает молоденькая машинистка. И вот однажды во время диктовки я схватил ее за волосы, стащил со стула и поволок в постель. Но на полпути отпустил и покатился со смеху: «Ах, какое недоразумение, ведь это не вы хотели от меня грубости. Ах, простите меня, мадемуазель!»

Все кафе разражается хохотом, даже Венсан, который снова полюбил своего учителя.

**8**

И, однако, на следующий день он сказал ему тоном упрека: «Понтевен, ты не только теоретик плясунов, но и сам великий плясун».

Понтевен (в легком замешательстве): «Ты валишь в одну кучу разные понятия».

Венсан: «Когда мы вместе, ты и я, и к нам присоединяется кто-то третий, пространство, в котором мы находимся, тут же разделяется на две части: вновь прибывший и я оказываемся в партере, а ты — ты выделываешь свои пируэты на сцене».

Понтевен: «Говорят же тебе, что ты валишь в одну кучу разные понятия. Термин «плясун» приложим исключительно к эксгибиционистам общественной жизни. А у меня она не вызывает ничего, кроме отвращения».

Венсан: «Ты вел себя перед этой дамой точь-в-точь как Берк перед кинокамерой. Ты хотел выглядеть самым лучшим, самым умным. А по отношению ко мне не погнушался применить вульгарнейший прием *дзюдо эксгибиционистов*».

Понтевен: «Быть может, это было *дзюдо эксгибиционистов*, но не *моральное дзюдо*! Лишний довод в пользу того, что ты ошибаешься, причисляя меня к плясунам. Ибо плясун хочет выглядеть более высокоморальным, чем все остальные. А я хочу казаться хуже, чем ты».

Понтевен (внезапно меняя прежний выспренний тон на самый что ни на есть

искренний): «Если я задел тебя, Венсан, прости меня».

Венсан (мгновенно растроганный извинением Понтевена): «Мне не за что тебя прощать. Я знаю, что все это было шуткой».

То, что они встречались в «Гасконском кафе», не было случайностью. Среди их святых покровителей д'Артаньян был самым великим: покровителем дружбы. единственной ценности, которую они чтили как святыню.

Понтевен продолжает: «В самом широком смысле слова (и здесь ты, без сомнения, прав) плясун, конечно же, таится в каждом из нас, и я не могу с тобой не согласиться: когда на горизонте появляется женщина, я становлюсь плясуном в десять раз более ретивым, чем все другие. Что с этим поделаешь? Эта штука сильнее меня».

Растроганный до глубины души, Венсан дружески смеется, а Понтевен продолжает гнуть свое покаянным тоном: «Впрочем, поскольку я, как ты только что признал, являюсь великим теоретиком плясунов, между ними и мной должна существовать хоть малая малость общего, без которой я не смог бы их понять. В этом я с тобой согласен, Венсан».

На этой стадии раскаявшегося друга Понтевен и впрямь становится теоретиком: «Но только самая малая малость, потому что в точном смысле, какой я вкладываю в это понятие, у меня нет ничего общего с плясуном. Я считаю не только возможным, но и вероятным, что истинный плясун, какой-нибудь Берк или Дюберк, оказавшись рядом с женщиной, не испытывает ни малейшего желания выставляться и соблазнять ее. Ему и в голову не придет плести ей ахинею про машинистку, которую он будто бы потащил за волосы в постель, спутав с другой барышней. Он горит желанием соблазнить публику, а это ведь не та или другая женщина, вполне конкретная и зримая, а несметная толпа невидимок. Послушай, да это же еще одна неразработанная глава из теории плясунов: публика-невидимка! Плясун заголяется не передо мной и не перед тобой, а перед всем миром. А что такое этот пресловутый «весь мир»? Безликая бесконечность! Чистая абстракция!»

В разгар их беседы появляется Гужар в компании с Машу, который прямо с порога обращается к Венсану: «Ты, помнится, говорил мне, будто тебя пригласили на крупный конгресс энтомологов. Так вот, у меня новость: Берк тоже там будет».

Понтевен: «Опять он? Ну прямо какой-то вездесущий тип!»

Венсан: «Да что ему, черт возьми, там делать?»

Машу: «Ты сам энтомолог, тебе виднее».

Гужар: «Будучи студентом, он целый год занимался в школе высшей энтомологии. А теперь, наверно, надеется, что на этом конгрессе ему присудят звание почетного энтомолога».

«Нужно заявиться туда, — заключает Понтевен, — и устроить там форменный бордель. — И, оборачиваясь к Венсану: — А твоя задача — провести нас всех туда тайком, с черного входа!»

## 9

Вера уже спит; я открываю окно, выходящее в парк, и думаю о прогулке, которую когда-то совершили в нем мадам де Т. и ее юный кавалер, выйдя ночью из парка, об этой незабываемой прогулке в три этапа.

Первый этап: они гуляют рука об руку, беседуют, потом находят скамейку на лужайке, садятся на нее, не расплетая рук, продолжая беседовать. Стоит лунная ночь, сад террасами спускается к Сене, чье журчание сливается с шелестом деревьев. Попробуем уловить обрывки их разговора. Кавалер молит о поцелуе. Мадам де Т. отвечает: «Я бы не прочь, вы слишком возгордитесь, натолкнувшись на отказ. Ваше самолюбие внушит вам, будто я вас боюсь».

Все, что говорит мадам де Т., — это плод искусства, искусства беседы, не ос-

тавляющего ни один поступок без комментариев и постоянно работающего над его осмыслением; на сей раз, например, мадам де Т. награждает кавалера поцелуем, которого он у нее домогается, но перед этим предлагает своему согласию собственную интерпретацию: она позволяет себя поцеловать, но лишь для того, чтобы удержать гордыню кавалера в границах благопристойности.

Когда, в результате умственной игры, она превращает поцелуй в акт сопротивления, никто не остается внакладе, и менее всего — сам кавалер; он должен принимать эти условия всерьез, ибо они составляют часть духовного демарша, на который ему надлежит реагировать другим духовным демаршем. Беседа — это не пустое времяпрепровождение, совсем наоборот: именно она-то и организует время, управляет им и диктует ему законы, которые то обязано соблюдать.

Конец первого этапа их ночи: за поцелуем, который она подарила кавалеру, чтобы он не слишком возгордился, следует другой, поцелуи «спешат, толпятся, прерывают беседу, занимают ее место...». Но вот дама встает и решает вернуться в замок.

Какое искусство мизансцены! После первого смятения чувств нужно было показать, что наслаждение любви еще не стало зрелым ее плодом; нужно было набить ему цену, сделать его более желанным, нужно было создать перипетию, обстановку напряжения и волнующего ожидания. Возвращаясь к замку вместе с кавалером, мадам де Т. разыгрывает возврат к нулевой точке их отношений, прекрасно сознавая, что в последний момент она будет в силах изменить ситуацию и продолжить их свидание. Для этого довольно всего одной фразы, одной краткой формулы, которых вековое искусство беседы накопило десятки. Но как бы в силу неожиданного заговора, непредвиденной нехватки вдохновения она не может вспомнить ни одной. Она оказывается в положении актрисы, внезапно позабывшей свою роль. Ведь ей нужно знать ее назубок: те времена совсем не похожи на наши, когда девице достаточно сказать: ты хочешь, я хочу, так чего же нам терять время! Для мадам де Т. и ее кавалера подобная откровенность была запретным барьером, преодолеть который они не могли, несмотря на все свои вольнодумные убеждения. Если же ни одному, ни другому не приходит вовремя в голову никакой подходящей мысли, если они не могут найти никакого повода для продолжения прогулки, им остается, в силу простой логики их взаимного молчания, вернуться в замок и разойтись по своим покоям. Чем настойчивей оба они ищут предлог, чтобы остановиться и заговорить вслух, тем сильнее ощущают, что их уста скованы: все слова, которые могли бы прийти им на помощь, попрятались кто куда, и обоим осталось только безнадежно взывать к ним о помощи. Вот почему, дойдя до ворот замка, «словно повинуясь безмолвному сговору, мы замедлили шаги».

К счастью, в последний момент в сознании дамы словно бы проснулся некий внутренний суфлер и она вспомнила свою роль, обратившись к спутнику с упреком: «Я не очень-то довольна вами...» Наконец-то, наконец! Еще одно усилие — и все будет спасено! Она сердится! Она отыскала повод надуманного раздражения, которое позволит продолжить их прогулку; она была искренна с ним, так отчего же он не сказал ей ни слова о Графине, своей возлюбленной? Скорей, скорей, нужно объясниться! Нужно хоть что-нибудь сказать! Беседа завязывается вновь, и они вновь удаляются от замка той дорогой, которая, на сей раз безо всяких препятствий и ловушек, приведет их в объятия любви.

## 10

Беседуя, мадам де Т. нащупывает почву, подготавливает ближайшую фазу событий, намекает своему партнеру на то, что он должен думать и как действовать. Все это она проделывает с такой тонкостью, с такой элегантностью и так отстра-

ненно, словно речь идет совсем о других вещах. Она говорит ему об эгоистичной холодности Графини, чтобы освободить его от долга верности и как следует встряхнуть в предчувствии готовящегося ею ночного приключения. Она организует не только непосредственное будущее и будущее более отдаленное, давая понять кавалеру, что она ни в коем случае не хочет стать конкуренткой Графини, с которой он не должен расставаться. Она преподает ему краткий курс сентиментального воспитания, преподает свою практическую философию любви, которую должно избавить от тирании моральных правил и уберечь посредством соблюдения тайны, скрытности, которые изо всех добродетелей являются наивысшими. И, вполне естественно, она объясняет ему, как именно он должен будет наутро вести себя с ее мужем.

Вы удивляетесь: где в этом пространстве, столь разумно организованном, обихоженном, расчерченном, просчитанном и вымеренном, может отыскаться местечко для порыва, безумства, ослепленности страстью, для «сумасшедшей любви», которую так боготворят сюрреалисты, где может сыскаться там пристанище для самозабвения? Куда подевались они, все эти добродетели безрассудства, составляющие суть нашего понимания любви? Им нет здесь места. Ибо мадам де Т. — это владычица разума. Не той безжалостной рассудочности, которой наделена маркиза де Мертей, а разума кроткого и нежного, чье наивысшее назначение состоит в покровительстве любви.

Я вижу, как она ведет своего кавалера в лунной ночи. Вот она останавливается и указывает ему на очертания кровли, вырисовывающейся перед ними в полумраке; ах, скольких сладостных мигов был свидетелем этот кров, этот павильон, жаль только, шепчет она кавалеру, что у нее нет ключа от этой обители. Они подходят к дверям, и — о чудо, о неожиданность! — павильон оказывается незапертым.

Почему она сказала ему, что у нее нет ключа? Почему сразу же не сообщила, что павильон давно уже не запирается? Все было заранее подготовлено, улажено, инсценировано, сфабриковано; здесь нет ни грана простодушия, здесь все дышит искусством, в данном случае — искусством продления напряженного ожидания или, точнее говоря, искусством сколь можно долгого сохранения возбуждения.

## 11

Хотя никакого описания внешности мадам де Т. у Денона не приводится, одно мне кажется несомненным: она не может быть худенькой; я предполагаю, что она обладает «станом плотным и гибким» (именно этими словами Лакло характеризует самое желанное женское тело в «Опасных связях») и что телесная округлость порождает закругленность и неспешность движений и жестов. От нее исходит аура сладостной лени. Она владеет мудростью медлительности и заправляет всей техникой замедления. Все это особенно отчетливо доказывается в описании второго этапа ночи, проведенного в павильоне: они входят, обнимаются, падают на кушетку, предаются любви. Но «все это было чуточку резковато. Мы чувствуем здесь нашу вину (...) Кто чересчур пылок, от того нельзя требовать излишней деликатности. Мы спешим к наивысшему наслаждению, пренебрегая иными радостями, что ему предшествуют».

Поспешность, послужившая причиной утраты сладостной медлительности, с самого начала ощущалась ими как некая вина или промах, но я не думаю, что мадам де Т. была слишком уж ею удивлена; мне представляется, что эта ошибка казалась ей неотвратимой, фатальной, что она внутренне была к ней готова и что именно по сей причине предусмотрела интермедию в павильоне как некое ritardando[1], чтобы с наступлением третьего этапа, который должен разыграться в новых декорациях, их

[1] Замедленные действия, перерыв (*итал.*). (*Здесь и далее - прим.перев.*)

приключение могло расцвести во всей своей роскошной неспешности.

Она прерывает любовь в павильоне, выходит вместе с кавалером, снова прогуливается рука об руку с ним, усаживается на скамью посреди газона, возобновляет беседу, а потом ведет его в замок, в потайной кабинет, примыкающий к ее покоям, который некогда был обустроен ее мужем как волшебный храм любви. Переступив порог, кавалер застывает в изумлении: зеркала, сплошь покрывающие стены, множат их образ, так что кажется, будто вокруг обнимается бесконечное скопище влюбленных пар. Но предаваться любви они будут не здесь; судя по всему, мадам де Т. хотела избежать слишком бурного взрыва чувств, и, чтобы елико возможно продлить миги возбуждения, она ведет кавалера в смежное помещение, нечто вроде грота, погруженного в полумрак и выложенного подушками; именно там они занимаются любовью, занимаются долго и неспешно, вплоть до раннего утра.

Замедляя течение этой ночи, разделив ее на отдельные, не связанные один с другим этапы, мадам де Т. сумела превратить кратчайший из предоставленных им отрезков времени в своего рода крохотное архитектурное чудо, в некую совершенную форму. Запечатлеть форму во времени — вот основное требование как красоты, так и памяти. Ибо то, что бесформенно, — неуловимо и незапоминаемо. Представить их свидание как форму было особенно ценным для них обоих, поскольку этой ночи не суждено было иметь продолжение, она могла повториться лишь в воспоминаниях.

Есть таинственная связь между медлительностью и памятью, между спешкой и забвением. Напомним самую что ни на есть банальную ситуацию. Человек идет по улице. Ни с того ни с сего он пытается вспомнить о чем-то, но воспоминание ускользает от него. В этот момент он машинально замедляет шаги. И наоборот, некто, пытающийся забыть недавнее неприятное происшествие, помимо собственной воли ускоряет шаги, словно пытаясь убежать от того, что находится слишком близко от него во времени.

В экзистенциальной математике этот опыт принимает форму двух элементарных уравнений: степень медлительности прямо пропорциональна интенсивности памяти; степень спешки прямо пропорциональна силе забвения.

## 12

Возможно, что при жизни Вивана Денона только узкий круг посвященных знал, что он — автор новеллы «Никакого завтра»; завеса тайны была приподнята для всех и (возможно) раз и навсегда лишь спустя много лет после его смерти. Судьба новеллы, стало быть, странным образом схожа с рассказанной в ней историей: она погружена в полумрак тайны, умолчания, мистификации, анонимности.

Гравер, рисовальщик, дипломат, путешественник, знаток искусств, салонный чаровник, человек примечательной судьбы, Денон никогда не претендовал на эту новеллу как на свою художественную собственность. Не то чтобы он отказывался от славы, просто она в те времена значила нечто другое, чем теперь; я воображаю, что публика, которая была ему небезразлична, которую он хотел бы соблазнить, была не безымянной толпой, к какой вожделеет современный писатель, а узкой компанией тех людей, которых он мог лично знать и уважать. Удовлетворение от успеха среди читателей почти не отличалось от того удовольствия, которое он мог испытывать в кругу нескольких слушателей, собравшихся в каком-нибудь салоне, где он блистал.

Есть разница между славой до изобретения фотографии и славой в те времена, когда она уже существовала. Чешский король Вацлав, живший в XIV веке, любил посещать харчевни и, сохраняя инкогнито, беседовать с простонародьем. Английский принц Чарльз, не обладающий ни властью, ни свободой, пользуется

немыслимой славой: ни в девственном лесу, ни в ванной комнате, устроенной на семнадцатом уровне подземного бункера, он не может уберечься от чужих взоров, которые повсюду преследуют его. Слава пожрала всю его свободу, и теперь он знает: только пустопорожние умы могут сегодня согласиться добровольно волочить за собой звонкую жестянку известности.

Вы скажете, что если характер славы претерпевает изменения, то это касается лишь немногих привилегированных персон. Вы ошибаетесь. Ибо слава имеет касательство не только к знаменитостям, она задевает всех и каждого. Сегодня знаменитости заполонили экраны телевизоров, страницы иллюстрированных журналов, завладели воображением всего света. И весь свет, пусть лишь в своих грезах, только и мечтает о том, чтобы стать объектом подобной славы (не славы короля Вацлава, таскавшегося по пивнушкам, а славы принца Чарльза, прячущегося в ванной на семнадцатом подземном уровне). Эта возможность подобно тени преследует всех и каждого, изменяя жизнь людей целиком; ибо (и это еще одно общеизвестное определение экзистенциальной математики) всякая новая экзистенциальная возможность, будь она самой маловероятной, коренным образом изменяет существование.

## 13

Понтевен, может статься, был бы менее жесток по отношению к Берку, знай он, сколько лиха пришлось совсем недавно хлебнуть этому интеллектуалу от некой Иммакулаты, своей прежней одноклассницы, которую он, будучи еще школьником, (безуспешно) домогался.

Лет через двадцать, в один прекрасный день Иммакулата увидела на телеэкране Берка, сгоняющего мух с личика чернокожей девочки; это подействовало на нее как своего рода озарение. До нее сразу же дошло, что она всегда его любила. В тот же день она настрочила ему письмо, где напомнила об их тогдашней «невинной любви». Но Берк отлично помнил, что его любовь, не имея ничего общего с невинностью, была чертовски похотливой; помнил он и то, каким униженным он себя чувствовал, когда Иммакулата безжалостно оттолкнула его. Этот отказ, между прочим, послужил причиной того, что он, воспользовавшись несколько комичным именем португальской служанки ее родителей, дал своей даме сердца одновременно сатирическую и меланхолическую кличку «Иммакулата», то есть «Непорочная». На ее письмо он отреагировал более чем прохладно и не ответил на него (забавно, что ему не хватило и двадцати лет, чтобы полностью переварить старую обиду).

Его молчание взволновало ее сверх меры, и в следующем послании она напомнила ему об огромном количестве любовных записочек, которые он ей когда-то посылал. В одной из них он называл ее «ночной певуньей, тревожащей мои сны». Эта фраза, давным-давно забытая, показалась ему теперь невыносимо дурацкой, и он подумал, как невежливо с ее стороны напоминать ему подобные перлы. Позже, судя по доходившим до него слухам, он понял, что всякий раз, когда ему случалось появляться на телеэкране, эта женщина, которую он никогда и ничем не опорочил, начинала болтать на очередном званом обеде о невинной любви знаменитого Берка, который в свое время страдал бессонницей, оттого что она тревожила его сны. Он почувствовал себя нагим и беззащитным. Впервые в жизни он испытал сильнейшее влечение к анонимности.

В третьем письме она попросила его об одной услуге; не для себя самой, разумеется, а для своей соседки, бедной женщины, за которой из рук вон плохо присматривали в больнице; она не только чуть не умерла от плохо сделанной анестезии, но ей было отказано в малейшем возмещении убытков от этой халатности. Если Берк так трогательно заботится об африканских детях, пусть он докажет, что

ему небезразлична и судьба его простых соотечественников, хотя они не могут дать ему повод покрасоваться перед телекамерой.

Потом эта женщина написала ему собственноручно, называя себя Иммакулатой: «... вы ведь помните, сударь, ту девушку, которую вы называли своей непорочной девой, тревожащей ваши ночи». Нет, вы только подумайте, возможно ли такое? Возможно ли? Мечась из угла в угол своей квартиры, Берк стонал и изрыгал проклятья. Он разорвал письмо, плюнул на обрывки и выкинул их на помойку.

Как-то он узнал от директора одного из телеканалов, что некая постановщица хочет сделать о нем передачу. С раздражением вспомнил он ироническую ремарку о своей страсти красоваться перед телекамерой, ибо постановщицей, затеявшей эту передачу, оказалась не кто иная, как певунья его ночей, Иммакулата собственной персоной! Ситуация довольно неприятная: в принципе ему льстило предложение снять о нем фильм, потому что он всегда хотел превратить свою жизнь в произведение искусства; но до сей поры ему и в голову не приходило, что это может быть произведение комического жанра! Внезапно оказавшись лицом к лицу с подобной опасностью, он решил держать Иммакулату подальше от своей жизни и попросил директора (тот был удивлен его скромностью) отложить этот проект, слишком преждевременный для столь молодого и малозначительного человека, как он.

## 14

Эта история напоминает мне другую, с которой мне посчастливилось познакомиться благодаря книжным шкафам, которыми заставлена вся квартира Гужара. Однажды, когда я пожаловался ему на свой сплин, он подвел меня к этажерке с надписью, сделанной его рукою: «Шедевры непредумышленного юмора», и выудил из нее книжку, написанную в 1972 году некой парижской журналисткой, в которой она распинается о своей любви к Киссинджеру, если вам еще памятно имя знаменитого политического деятеля той эпохи, советника президента Никсона, устроителя мира между Америкой и Вьетнамом.

Вот эта история: журналистка прибывает к Киссинджеру в Вашингтон, чтобы провести с ним интервью — сначала для журнала, потом для телевидения. Они встречались неоднократно, ни разу не переступив рамок чисто профессиональных отношений: один или два обеда для подготовки телепередачи, несколько визитов в его кабинет в Белом доме, в его частную резиденцию, сперва в одиночку, потом в сопровождении бригады киношников, и т.д. Мало-помалу она осточертела Киссинджеру. Он не дурак, он понимает, чего, в сущности, ей от него надо, и, чтобы держать ее на расстоянии, делает ей красноречивые замечания насчет притягательности власти для женщин и о своем положении, обязывающем его отказаться от личной жизни.

Она с трогательной искренностью сообщает обо всех этих увертках, которые, впрочем, нисколько ее не обескураживают ввиду ее неколебимой уверенности в том, что они созданы друг для друга. А то, что он осторожен и недоверчив по отношению к ней, это ее не удивляет: она отлично понимает, что нужно думать о тех стервах, с которыми он имел дело раньше; она уверена, что в тот миг, когда до него дойдет, как она его любит, все его страхи рассеются, он забудет обо всех своих опасениях. Ах, она так уверена в чистоте своей собственной любви! Она могла бы поклясться: речь ни в коем случае не может идти об эротическом наваждении с ее стороны, «в сексуальном отношении он оставлял меня равнодушной», — пишет она и многократно повторяет (с забавным материнским садизмом): он небрежно одевается, он некрасив, у него дурной вкус в отношении женщин; «каким же никчемным должен он быть любовником», — заявляет она, сообщая при этом, что все более и более в него влюблена. У нее двое детей, у него тоже, она планирует, не

заручаясь его согласием, провести отпуск совместно на Лазурном берегу и заранее радуется, что оба младших Киссинджера смогут, кстати, как следует подучить французский.

Однажды она посылает своих киношников заснять резиденцию Киссинджера, который, не в силах сдерживаться, выгоняет их, словно банду докучливых наглецов. В другой раз он приглашает ее к себе в кабинет и сообщает ей исключительно строгим и холодным тоном, что он не собирается более терпеть ее двусмысленное поведение. Поначалу она приходит в подлинное отчаянье. Но тут же берет себя в руки и начинает рассуждать так: ее наверняка считают политически опасной, и Киссинджер получил от контрразведки предписания, запрещающие ему все контакты с ней; кабинет, где они сейчас беседуют, буквально напичкан микрофонами, и ему это известно; стало быть, его невероятно жестокие фразы обращены не к ней, а к невидимым агентам, которые их подслушивают. Она смотрит на него с понимающей и меланхолической улыбкой; сцена в ее глазах кажется озаренной отсветом трагической красоты (она часто употребляет это прилагательное): он старается нанести ей удар за ударом, и в то же время его взгляд свидетельствует о любви.

Гужар смеется, но я говорю ему: очевидная истина о реальной ситуации, сквозящая в грезах влюбленной женщины, не столь важна, как это представляется; это истина мелочная, приземленная, бледнеющая в сравнении с другой, более возвышенной, которой суждено устоять под напором времени, — истиной Книги. Уже во время первой встречи с ее кумиром эта книга незримо властвовала в кабинете, на маленьком столике между собеседниками, будучи с данного момента невысказанной и бессознательной целью всего этого приключения. Книга? Зачем она? Чтобы нарисовать портрет Киссинджера? Да нет, ей абсолютно нечего сказать о нем. Ее сердце томила одна забота — высказать собственную истину, истину о себе самой. Она не вожделела к Киссинджеру и меньше всего — к его телу («каким же никчемным должен он быть любовником»); она стремилась к расширению собственного «я», жаждала вывести его за пределы узкого круга своей жизни, облечь сиянием и блеском, преобразить в луч света. Киссинджер был для нее всего лишь мифологическим верховым животным, крылатым конем, на котором ее «я» должно совершить великий полет к небесам.

«Она была просто дурой», — сухо заключает Гужар, насмехаясь над моими прекраснодушными объяснениями.

«Ну уж нет, — говорю я, — свидетели подтверждают, что она была умна. Речь идет вовсе не о глупости. Она была уверена в своем избранничестве».

## 15

Избранничество — понятие теологическое; оно означает, что, не имея никаких заслуг, посредством сверхъестественного решения, свободной или, вернее, своевольной волей Божьей ты избран для чего-то исключительного, из ряда вон выходящего. Святые черпали в этом убеждении силу, помогавшую им претерпевать самые жестокие пытки. Теологические понятия отражаются как самопародия в тривиальности наших жизней; каждый из нас страдает (более или менее) от низости своей слишком заурядной жизни и хочет вырваться за ее пределы, воспарить над ними. Каждый из нас питает иллюзию (более или менее стойкую), что он достоин такого воспарения, что он избран и предназначен для него.

Чувство избранничества присутствует, например, во всех любовных отношениях. Ибо любовь, по определению, это ничем не заслуженный дар; незаслуженная любовь — это само доказательство ее подлинности. Если женщина говорит мне: я люблю тебя, потому что ты умен и честен, потому что ты покупаешь мне подарки, потому что не волочишься за другими, потому что ты моешь посуду, —

я испытываю разочарование: такая любовь отдает корыстью. Куда приятней услышать: я без ума от тебя, хотя ты не умен и не порядочен, хотя ты лгун, эгоист и мерзавец.

Быть может, человек впервые проникается иллюзией избранничества, будучи еще грудным младенцем, проникается благодаря материнским заботам, которых он ничем не заслужил и оттого требует их с особенной настырностью. Воспитание призвано избавить его от этой иллюзии, дав понять, что за все в жизни надо расплачиваться. Но зачастую эти уроки бывают слишком запоздалыми. Вам наверняка приходилось видеть девчонку лет десяти, которая, горя желанием навязать свою волю подружкам, за неимением более веских аргументов повторяет как можно громче с необъяснимой гордыней: «Потому что это я тебе говорю» или «Потому что я так хочу». Она чувствует себя избранницей. Но придет день, когда она в очередной раз воскликнет: «Потому что я так хочу», а все вокруг только прыснут со смеху. Что может сделать тот, кто чувствует себя избранным, чтобы доказать свое избранничество, чтобы внушить самому себе и другим, что он не принадлежит к заурядному большинству?

Вот тут-то эпоха, основанная на изобретении фотографии, и приходит к нему на помощь вместе со всеми своими кинозвездами, танцовщиками и прочими знаменитостями, чьи образы, спроецированные на огромный экран, видимы всеми издалека, вызывают восхищение у всех и в то же время остаются для всех недостижимыми. Не сводя восхищенного взгляда с этих знаменитостей, тот, кто возомнил себя избранным, публично проявляет свою причастность к необыкновенному и одновременно отстраненность от обыденного, конкретным образом воплощенного в его соседях, коллегах, партнерах, с которыми ему (ей) приходится жить.

Таким образом, знаменитости превратились в некий общественный институт, подобный санитарной службе, органам социального обеспечения, страховым агентствам или приютам для слабоумных. Но этот институт полезен лишь при условии собственной недосягаемости. Когда кто-нибудь хочет подтвердить свое избранничество посредством прямого, личного контакта с той или иной знаменитостью, он рискует быть выставленным за порог, как несостоявшаяся любовница Киссинджера. Эта отставка на языке теологии называется грехопадением. Вот почему влюбившаяся в Киссинджера журналистка открыто и вполне справедливо называет свою любовь трагической, ибо падение, как бы там ни насмехался над ним Гужар, трагично по определению.

До того момента, когда она поняла, что влюблена в Берка, Иммакулата жила жизнью большинства женщин: несколько браков, несколько разводов, несколько любовников, приносивших ей разочарование столь же постоянное, сколь мирное и почти приятное. Последний из этих кавалеров прямо-таки обожал ее; она переносила его легче, чем других, не только из-за его покорности, но и по причине его полезности: это был опытный киношник, который очень помог ей в ту пору, когда она начала работать на телевидении. Он был немногим старше ее, но казался вечным студентом, втюрившимся в нее по уши; он считал ее самой красивой, самой умной и (особенно) самой чувствительной из всех женщин.

Чувствительность его возлюбленной представлялась ему чем-то вроде пейзажа немецкого живописца-романтика: деревья с невообразимо узловатыми стволами, а над ними, вверху, далекое голубое небо, обиталище Бога; всякий раз, когда он входил в этот пейзаж, его охватывало неодолимое желание пасть на колени и остаться там лицом к лицу с божественным чудом.

## 16

Холл мало-помалу заполнялся, прибыло много французских энтомологов, были и иностранцы, в том числе один чех лет шестидесяти, о котором говорили,

что это важная персона нового режима, быть может, министр, или президент академии наук, или уж, по крайней мере, ученый, числящийся в членах этой самой академии. Во всяком случае, хотя бы с точки зрения простого любопытства, то был самый интересный персонаж данного собрания (он представлял собой новую историческую эпоху, пришедшую на смену коммунизму, который канул в ночь времен); однако среди говорливой толпы он казался совсем одиноким — прямой, высоченный, неуклюжий. Все участники конференции считали своим долгом пожать ему руку и задать несколько вопросов, но обмен мнениями обрывался гораздо раньше, чем они ожидали, и после трех-четырех первых фраз никто уже не знал, о чем с ним можно говорить. Потому что в конце концов у них не оказывалось общих тем для разговора. Французы поспешно возвращались к своим собственным проблемам, он пытался было последовать их примеру, время от времени повторяя «а вот у нас, напротив...», но вскоре сообразил, что никому нет дела до того, что происходит «у нас, напротив», и отошел в сторонку; лицо его было подернуто дымкой меланхолии, но не горькой или мучительной, а ясной и почти снисходительной.

Пока все прочие шумно заполняли холл и находящийся в нем бар, он проходит в пустой зал, где четыре длинных стола, составленные квадратом, ожидают открытия конференции. Возле двери стоит маленький столик со списком приглашенных, за которым томится барышня, такая же неприкаянная, как и он сам. Он кланяется ей и представляется. Она просит его повторить свое имя еще дважды. На третью попытку она не отваживается и принимается наугад искать в списке имя, хоть чем-то напоминающее услышанные звуки. Исполненный отеческой любезности, чешский ученый склоняется над списком, находит свое имя и тычет в него указательным пальцем:

— ЧЕХОРЖИПСКИ.

— Ах, мсье Сешорипи? — переспрашивает она.

— Нужно произносить: Tche-kho-rjips-qui.

— Ох, это не так-то легко.

— Нет ничего легче! К тому же моя фамилия неправильно написана. — Он берет лежащую на столике ручку и пририсовывает над буквами «с» и «г» маленькие значки, нечто вроде перевернутого вверх ногами французского аксан сирконфлекса.

Барышня смотрит на значки, смотрит на ученого и вздыхает:

— Это очень сложно.

— Напротив, это проще простого. Вы знаете Яна Гуса?

Секретарша быстро пробегает взглядом список приглашенных, а чешский ученый спешит объяснить ей суть дела:

— Как вам известно, это был великий реформатор Церкви в XIV веке. Предшественник Лютера. Профессор Карлова университета, который, как вы знаете, был первым университетом, основанным в Священной Римской империи. Но вы наверняка не слыхали, что Ян Гус был в то же время великим реформатором орфографии. Он умудрился упростить ее до крайности. Чтобы написать то, что вы произносите как «ч», вам приходится употреблять три буквы: t, c, h. А немцы нуждаются в четырех буквах: t, s, c, h. А вот нам, благодаря Яну Гусу, достаточно всего одной буквы «с» с вот таким маленьким значком над ней.

Профессор снова склоняется над столиком секретарши и пишет на полях очень большую букву «с» с опрокинутым аксан сирконфлексом над ней: «Č»; потом он смотрит ей прямо в глаза и произносит громким и внятным голосом:

— Tch!

Секретарша тоже смотрит ему в глаза и повторяет:

— Tch.

— Вот так. Великолепно!

— Да, это и в самом деле очень практично. Жаль, что реформа Лютера известна только у вас.

— Реформа Яна Гуса, — говорит ученый, делая вид, что не заметил бестактности француженки, — не осталась полностью неизвестной. Есть еще одна страна, где она нашла употребление; вы, конечно, знаете, о какой стране я говорю.

— Нет.

— О Литве!

— О Литве? — повторяет секретарша, тщетно напрягая память, чтобы сообразить, в каком краю Земли расположена эта страна.

— И в Латвии тоже. Теперь вам понятно, почему мы, чехи, так гордимся этими крохотными значками. (С улыбкой.) Мы готовы предать все на свете. Но за эти закорючки будем биться до последней капли крови.

Он кланяется барышне и направляется к прямоугольнику, состоящему из столов. Перед каждым креслом лежит карточка с фамилией. Он отыскивает свою, внимательно смотрит на нее, потом берет двумя пальцами и с грустноватой, но прощающей улыбкой идет показывать секретарше.

Тем временем у столика возле двери останавливается другой энтомолог, ожидая, когда она поставит крестик против его фамилии. Завидев направляющегося к ней чешского ученого, она спешит извиниться:

— Минуточку, мсье Чипики!

Тот великодушно кивает, как бы говоря: не беспокойтесь, барышня, я никуда не спешу. Терпеливо и не без трогательной скромности он становится возле столика (в это время в зал входят еще два энтомолога) и, когда секретарша наконец освобождается, протягивает ей карточку:

— Посмотрите, как это забавно, не правда ли?

Она глядит на карточку, так ничего толком и не понимая:

— Но это же, мсье Шенипики, просто-напросто аксаны.

— Да, но аксаны обычные. Их забыли перевернуть вверх ногами. И обратите внимание, куда их поместили. Над буквами «е» и «о»: Cêchôripsky!

— Да, да, вы правы! — возмущается секретарша.

— Хотелось бы мне знать, — продолжает чешский ученый, все больше и больше грустнея, — почему об этих значках всегда забывают. А ведь они так поэтичны, эти повернутые вверх ногами аксаны! Как вам кажется? Ни дать ни взять птицы в воздухе. Голуби с расправленными крыльями! (Нежнейшим голосом.) Или, если вам угодно, бабочки.

И он в который раз склоняется над столиком, чтобы, взяв ручку, исправить на карточке орфографию своей фамилии. Он проделывает эту операцию скромно, словно извиняясь, затем, ни слова не говоря, удаляется.

Глядя вслед его крупной, забавной, бесформенной фигуре, секретарша внезапно ощущает прилив материнской нежности. Она воображает себе перевернутый аксан сирконфлекс, который наподобие мотылька порхает вокруг ученого и в конце концов садится на его седую гриву.

Подходя к своему креслу, чешский ученый оборачивается и видит умиленную улыбку секретарши. В ответ он посылает ей одну за другой целых три улыбки, меланхоличных и в то же время гордых. Меланхоличная гордость — вот как можно было бы определить натуру чешского ученого.

## 17

То, что он поддался меланхолии, увидев неправильно расставленные значки над своей фамилией, — это понятно всякому. Но откуда взялась его гордость?

Вот основной факт его биографии: вскоре после русского вторжения 1968 года он был выставлен из энтомологического института и ему пришлось стать строи-

тельным рабочим; такое положение продолжалось до конца оккупации в 1989 году, то есть почти двадцать лет.

Но разве в Америке, во Франции, в Испании, да мало ли где еще сотни и тысячи людей постоянно не теряют своих постов? Им это, разумеется, не в радость, но никакой гордости от этого они не испытывают. Почему же чешский ученый превратил свою отставку в источник гордости?

Потому что его выгнали с работы не по экономическим, а по политическим мотивам.

Ладно, пусть будет так. Но в этом случае требуется объяснить, почему же беда, вызванная экономическими причинами, считается менее серьезной и менее трагичной? Дипломированный специалист, не угодивший своему начальству, должен испытывать стыд, а тот, кто потерял пост по причине своих политических взглядов, имеет право этим гордиться. Почему?

Потому что при увольнении по экономическим причинам уволенный играет пассивную роль, в его позиции нет элемента бунтарства, которым можно было бы восхищаться.

Это кажется очевидным, но таковым не является. Ибо чешский ученый, выгнанный с работы после событий 1968 года, когда русская армия установила в стране ненавистный режим, тоже не совершил ничего храброго и мужественного. Будучи руководителем одного из отделов энтомологического института, наш герой не интересовался ничем, кроме своих мушек. И вот в один прекрасный день совершенно неожиданно в его кабинет врывается десяток влиятельных противников режима, которые просят предоставить одну из аудиторий для своих полуподпольных собраний. Они действуют согласно правилу *морального дзюдо*: застать человека врасплох, выступив в роли небольшой кучки наблюдателей. Неожиданное противостояние повергает ученого в полное замешательство. Сказать «да» — значит пойти на большой риск: он может тут же потерять свой пост, трое его детей не смогут поступить в университет. Но сказать «нет» этой кучке наблюдателей, заранее насмехающихся над его трусостью, он тоже не смог: не хватило мужества. В конце концов он согласился и запрезирал себя за свою робость, слабость, неспособность противиться чужой воле. Стало быть, если выражаться как можно более точно, именно благодаря своей трусости он был выгнан с работы, а его дети — из школы.

Так чем же, черт побери, здесь гордиться?

Дело в том, что чем больше проходило времени, тем больше он забывал свое первоначальное отвращение к оппозиционерам, тем больше привыкал видеть в своем «да» сознательный и добровольный акт, выражение его личного протеста против ненавистного режима. Таким образом, он причислил себя к тем, кому было суждено взойти на великие подмостки Истории, и в этой уверенности черпал свою гордость.

Но разве не правда, что из века в век бесчисленное множество людей вмешиваются в бесчисленные политические конфликты и, стало быть, могут гордиться своим присутствием на сцене Истории?

Мне следовало бы уточнить мое положение: гордость чешского ученого обусловлена тем фактором, что он вышел на сцену Истории не когда-нибудь, а именно в тот момент, когда она была ярко освещена. Ярко освещенная историческая сцена называется Всемирно-Исторической Актуальностью. Прага 1968 года, озаренная прожекторами и простреливаемая кинокамерами, была наитипичнейшей Всемирно-Исторической Актуальностью, и чешский ученый был горд тем, что до сих пор ощущает ее поцелуй на своем челе.

Но вдумаемся в тот факт, что важные торговые переговоры или встречи на высшем уровне сильных мира сего тоже освещены, засняты на кинопленку, откомментированы: отчего же они не пробуждают у действующих лиц того же волнующего чувства гордости?

Спешу внести последнее уточнение: чешский ученый помимо своей воли оказался причастным не к какой-нибудь Всемирно-Исторической Актуальности, а к

той, которую именуют Наивысшей. Актуальность становится Наивысшей, когда человек, находящийся на авансцене, страдает, слыша за кулисами треск перестрелки и видя, как над подмостками витает Архангел смерти.

Итак, вот вам окончательная формулировка: чешский ученый горд тем, что по милости Господней стал причастным к Наивысшей Всемирно-Исторической Актуальности. И он прекрасно понимает, что именно эта милость отличает его от всех норвежцев и датчан, французов и англичан, присутствующих в зале.

## 18

За столом президиума есть место, на котором сменяют друг друга выступающие, но он не слушает их. Он ждет своей очереди, время от времени ощупывая карман с пятью листками небольшого доклада, который, как он понимает, не представляет собой ничего особенного: будучи отстранен от научной работы на целых двадцать лет, он мог лишь резюмировать тот материал, который был опубликован в ту пору, когда он, молодой исследователь, открыл и описал неизвестный вид мух, названный им *musca pragensis*[1]. И вот наконец, услышав, как председательствующий произносит нечто похожее на его имя, он встает и направляется к месту, предназначенному для выступающих.

В течение двадцати секунд, необходимых для его перемещения, с ним происходит нечто неожиданное: он чуть не падает в обморок от волнения. Боже мой, после стольких лет, проведенных впустую, он снова находится среди людей, которых он уважает и которые уважают его, среди ученых, из чьей дружеской среды вырвала его судьба; добравшись до предназначавшегося ему свободного кресла, он не садится в него; на этот раз он решает подчиняться только собственным чувствам, действовать раскованно и поведать своим незнакомым коллегам о том, что он переживает.

— Прошу прощения, уважаемые дамы и господа, но я хотел бы поделиться с вами моим волнением, которого я не ожидал и которое застало меня врасплох. После почти двадцатилетнего отсутствия я снова имею возможность обратиться к собранию людей, которые заняты теми же проблемами, воодушевлены той же страстью, что и я. Я прибыл из страны, где человек мог быть лишен смысла всей своей жизни только за то, что открыто говорил, о чем он думает, ведь весь смысл жизни ученого заключается в его науке. Как вам известно, десятки тысяч людей, все достойнейшие представители интеллигенции моей страны, были сняты со своих постов после трагического лета 1968 года. Еще полгода назад я был простым строительным рабочим. Ничего унизительного в этом нет; за это время я узнал много нового, удостоился дружбы простых и замечательных людей, а еще я понял, что мы, люди науки, — существа привилегированные, ибо заниматься работой, которая в то же время является нашей страстью, это и есть, друзья мои, привилегия, которой никогда не удостаивались мои коллеги-строители, потому что нельзя со страстью таскать кирпичи и балки. Теперь я обладаю этой привилегией, которой был лишен в течение двадцати лет, и она кружит мне голову почище любого хмеля. Этим и объясняется, дорогие друзья, что я переживаю сегодняшний день как подлинный праздник, хотя он и остается для меня чуть-чуть грустноватым.

Произнося последние слова, он почувствовал, что к его глазам подступают слезы. Это несколько смутило его, он вспомнил своего отца, который в старости волновался и плакал по любому пустяку, но тут же подумал, почему бы и ему разок не расчувствоваться: все эти люди должны быть тронуты его волнением; это нечто вроде небольшого подарка, привезенного им из Праги.

Он не ошибся. Аудитория тоже была взволнована. Не успел он произнести

---

[1] Пражская муха (*лат.*).

последнее слово, как Берк вскочил и принялся аплодировать. Тут же невесть откуда появилась кинокамера, наведенная на чешского ученого. Весь зал медленно или поспешно поднялся, мелькали улыбающиеся или серьезные лица, все аплодировали, и это настолько увлекло людей, что они никак не могли остановиться; чешский ученый стоял среди них — крупный, очень высокий, нескладно высоченный, и чем большей неуклюжестью веяло от его фигуры, тем более трогательным он казался другим и все более растроганным ощущал себя сам, так что слезы уже не копились у него на глазах, а торжественно текли вдоль носа, ко рту, к подбородку, на виду у всех собратьев, которые принялись рукоплескать еще сильнее. Наконец овации мало-помалу утихли, присутствующие расселись по местам, и чешский ученый произнес дрожащим голосом:

— Благодарю вас, друзья мои, благодарю от всего сердца. — Он поклонился и направился к своему креслу.

— Он сознавал, что переживает один из величайших моментов своей жизни, миг славы, да-да, славы, почему бы не воспользоваться этим словом; он чувствовал себя великим и прекрасным, он чувствовал себя знаменитым и от всей души желал одного: чтобы его путь к креслу был как можно более долгим, чтобы ему не было конца.

## 19

Когда он шел к своему месту, в зале царила тишина. Быть может, было бы вернее сказать, что то была не единая тишина, а множество ее разновидностей. Ученый различал только одну из них: тишину волнения. Он не отдавал себе отчета в том, что мало-помалу, подобно тончайшим модуляциям в сонате, переводящим ее из одного тона в другой, взволнованная тишина превратилась в тишину неловкую. Все понимали, что этот господин с непроизносимым именем до того переволновался, что забыл прочесть свой доклад насчет открытия нового вида мушек. И сознавали, что было бы бестактным напомнить ему об этом. После долгих колебаний председательствующий прокашлялся и сказал:

— Я благодарю господина Чекошипи... — он немного помолчал, давая приглашенному последнюю возможность вспомнить о докладе, — и прошу к столу президиума следующего выступающего.

Как раз в этот момент тишина была прервана сдавленным смешком в глубине зала.

Погрузившись в свои мысли, чешский ученый не слышал ни этого смеха, ни выступления своего коллеги. Ораторы сменяли друг друга, пока наконец очередь не дошла до бельгийского специалиста, тоже занимающегося мушками, который вывел его из оцепенения: Боже мой, да он же забыл произнести свой доклад! Он сунул руку в карман, пять листков были на месте, как бы в подтверждение того, что все это ему не пригрезилось.

Щеки его пылали. Он чувствовал, как он смешон. Можно ли хоть что-нибудь поправить? Нет, поправить уже ничего было нельзя.

Промучившись несколько мгновений от стыда, он вдруг подумал, что пусть он выглядит смешным, но в этом нет ничего нехорошего, позорного или обидного; смехотворное положение, свалившееся ему как снег на голову, только усиливало его привычную меланхолию, придавало его судьбе еще более печальный оттенок и, следовательно, делало ее еще более величественной и прекрасной.

Гордость и грусть будут навеки неразлучны в душе чешского ученого.

## 20

В каждом собрании находятся дезертиры, ускользающие в соседнее помещение, чтобы там выпить. Устав слушать энтомологов и не позабавившись как следует курьезным выступлением чешского ученого, Венсан вместе с другими беглецами оказывается в холле, за длинным столом возле бара.

После долгого молчания он рискует завязать разговор с неизвестными ему людьми:

— А моя подружка требует некоторой грубости в поведении.

Произнося такую фразу, Понтевен выдерживал небольшую паузу, заставлявшую окружающих погрузиться в напряженное молчание. Венсан попытался последовать его примеру, но вместо молчания со всех сторон раздается смех, громкий смех; это придает ему храбрости, глаза его загораются, он машет рукой, чтобы успокоить своих слушателей, но в этот момент соображает, что все смотрят в другой конец стола, привлеченные стычкой двух господ, осыпáвших друг друга бранью.

Через пару минут ему удается еще раз привлечь внимание к своей особе:

— Да говорят же вам, что моя подружка требует, чтобы я обращался с ней по-скотски.

На сей раз все его выслушивают, и Венсан не делает промаха с паузой; он тараторит все быстрей и быстрей, словно опасаясь кого-то, кто мог бы его перебить:

— А я на такое не способен, я человек слишком утонченный, правда ведь? — и хохочет над собственными словами. Но никто не отзывается на его смех, и он спешит продолжить свою исповедь, все время наращивая ее темп: — Ко мне часто приходит молоденькая машинистка, я ей диктую...

— Она печатает на компьютере? — спрашивает у него какой-то тип, неожиданно заинтересовавшийся его речами.

— Да, — отвечает Венсан.

— А какой марки компьютер?

Венсан называет марку. У его собеседника марка была другая, и он принимается травить истории про свой компьютер и жаловаться, что тот взял моду подкладывать ему всякие подлянки. Все вокруг веселятся и то и дело покатываются со смеху.

А Венсан, ни с того ни с сего загрустив, вспомнил одну свою старую идею. Принято думать, что успех человека более или менее определяется его внешностью, красотой или безобразием его лица, его фигурой, шевелюрой или отсутствием таковой. Какое заблуждение! Все решает голос. А у Венсана голосок слабый и чересчур высокий; когда он вступал в разговор, никто не обращал на него внимания, так что ему приходилось говорить все громче, и тогда всем казалось, будто он кричит. А вот Понтевен говорит совсем негромко, но голос у него такой звучный, приятный и мощный, что все вокруг слушают только его.

Ах этот чертов Понтевен! Он же обещал Венсану явиться на конференцию вместе со всей своей шайкой, но потом потерял к этому мероприятию всякий интерес — такова уж была его натура, нацеленная больше на слова, чем на дела. С одной стороны, Венсан был раздосадован, а с другой — чувствовал себя еще более обязанным исполнить наказ своего мэтра, который сказал ему накануне отъезда: «Ты будешь выступать в роли нашего представителя. Я даю тебе полное право действовать от нашего имени, ради нашего общего дела». Напутствие это было, разумеется, шутовским, но шайка-лейка из «Гасконского кафе» была уверена, что в нашем ничтожном мире только шутовские приказания и заслуживают того, чтобы их исполняли. Перед глазами Венсана проплыли сначала тонкое лицо Понтевена, потом здоровенная пасть Машу: он одобрительно улыбался. Поддержанный этими видениями и особенно этой улыбкой, Венсан решил действовать: он осмотрелся по сторонам и среди группы людей, осаждавших бар, заприметил девицу, которая очень ему приглянулась.

## 21

Чудной народ эти энтомологи: даже не взглянут на хорошенькую девушку, хотя она смотрит им в рот, готовая когда надо посмеяться, а когда надо — напустить на себя серьезный вид. Было ясно, что она не знакома ни с одним из окружающих ее мужчин и что под ее напускной раскованностью скрывается робкая душа. Венсан поднимается из-за стола, подходит к той группе, в которую втерлась девушка, и заговаривает с ней. Вскоре они отстранились от остальных и завязали беседу, которая с самого начала обещает быть непринужденной и долгой. Ее звали Юлией, она была машинисткой, на конгрессе исполняла мелкие поручения президента энтомологов; освободившись после полудня, она воспользовалась случаем, чтобы провести вечер в этом знаменитом замке, среди людей, которые хотя и внушали ей трепет, но в то же время возбуждали любопытство, потому что до вчерашнего дня она в глаза не видела ни одного энтомолога. Венсан чувствует себя с ней легко, ему не нужно повышать голос, совсем наоборот: он старается говорить потише, чтобы не слышали другие. Потом он тащит ее к маленькому столику, где они усаживаются друг против друга и он кладет свою ладонь на ее руку.

— Ты знаешь, — сказал он, — все зависит от силы голоса. Это важнее, чем иметь хорошенькое личико.

— У тебя потрясающий голос.

— В самом деле?

— Да, мне так кажется.

— Но слабый.

— В этом-то вся его прелесть. А вот у меня голос противный, скучный, скрипучий; я каркаю как старая ворона — ты не находишь?

— Нет, — возразил Венсан с оттенком нежности, — мне нравится твой голос, он такой вызывающий, непочтительный.

— Уж ты скажешь.

— Твой голос — это отражение тебя самой. Ты тоже особа непочтительная и вызывающая!

Юлия, которой пришлись по вкусу речи Венсана, говорит:

— Так оно, наверно, и есть.

— А эти людишки — сплошная погань, — замечает Венсан.

— Разумеется, — соглашается она.

— Типа «ты — мне, я — тебе». Буржуйчики. Ты видела Берка? Ну и кретин.

Она целиком и полностью согласна. Эти люди вели себя с нею так, словно она была невидимкой, и все, что можно было услышать о них дурного, доставляло ей удовольствие, она чувствовала себя отмщенной. Венсан казался ей все более и более привлекательным: что за милый парень, простой и веселый, не то что эти буржуйчики.

— Я горю желанием, — заявляет Венсан, — устроить здесь настоящий бардак...

Это звучит внушительно, как призыв к бунту. Юлия улыбается, ее так и подмывает захлопать в ладоши.

— Пойду принесу тебе виски, — говорит он, направляясь в другой конец холла, где находится бар.

## 22

Тем временем председательствующий закрывает заседание, участники конгресса шумно вываливаются из зала и заполоняют холл. Берк подходит к чешскому ученому.

— Я был так потрясен... — он намеренно запнулся, давая понять, как трудно подобрать достаточно точное определение жанра произнесенной чехом речи, —

...вашим... свидетельством. Мы склонны слишком быстро многое забывать. Хочу вас заверить, что я принимал близко к сердцу все, что у вас происходило. Вы были гордостью Европы, которая не имеет особых оснований гордиться собой.

Чешский ученый делает неопределенный жест протеста, долженствующий свидетельствовать о его скромности.

— Нет, нет, не протестуйте, — продолжает Берк, — я говорю то, что думаю. Вы, именно вы, интеллектуалы вашей страны, выражая упорное сопротивление коммунистическому нажиму, выказали мужество, которого так часто не хватает нам, вы проявили такую жажду свободы, я бы сказал даже — страсть к свободе, что стали для нас примером для подражания. И еще мне хотелось бы вам сказать, — добавил он, придавая своим словам оттенок дружеской фамильярности, — что Будапешт великолепный город, такой живой и, позвольте мне это подчеркнуть, такой европейский.

— Вы хотели сказать — Прага? — робко осведомился чешский ученый.

Ах, эта чертова география! Берк понял, что оказался в глупейшем положении, и, подавив раздражение, вызванное отсутствием такта у своего коллеги, сказал:

— Я, разумеется, хотел сказать «Прага», но мог бы также назвать Краков, Софию, Санкт-Петербург; я думаю обо всех этих странах, только что вырвавшихся из огромного концлагеря.

— Не говорите мне о концлагерях. Мы часто могли лишиться работы, но в концлагеря нас никто не загонял.

— Все страны Восточной Европы были покрыты лагерями, мой дорогой. А уж реальными или воображаемыми, это не имеет ни малейшего значения!

— И не говорите мне о Восточной Европе, — продолжал свои возражения чешский ученый, — Прага, как известно, такой же западный город, как Париж. Карлов университет, основанный в четырнадцатом веке, был первым университетом Священной Римской империи. Именно в нем преподавал Ян Гус, предшественник Лютера, великий реформатор Церкви и орфографии.

Что за муха укусила чешского ученого? Он то и дело поправлял своего собеседника, который приходил в бешенство от этих поправок, хотя ему и удавалось сохранить теплоту в голосе.

— Дорогой коллега, не стесняйтесь того, что вы родом с Востока. Франция всегда симпатизировала Востоку. Вспомните хотя бы о вашей эмиграции в девятнадцатом веке.

— В девятнадцатом веке у нас не было никакой эмиграции.

— А Мицкевич? Я горжусь тем, что во Франции он обрел свою родину!

— Но Мицкевич не был чехом, — не унимался чешский энтомолог.

В этот момент на сцене появляется Иммакулата, делающая энергичные знаки своему киношнику, потом она движением руки отстраняет чеха, усаживается рядом с Берком и обращается к нему:

— Жак-Ален Берк...

## 23

Когда час назад Берк увидел Иммакулату и ее киношника в конференц-зале, он чуть не взвыл от ярости. Но теперь раздражение, вызванное чешским ученым, пересилило злость на Иммакулату; в благодарность за избавление от экзотического педанта он даже послал ей неуверенную улыбку.

Ободренная Иммакулата затараторила веселым и подчеркнуто фамильярным тоном:

— Жак-Ален Берк, на этом собрании энтомологов, к числу которых волею судьбы принадлежите и вы, вам довелось пережить один из самых волнующих моментов... — тут она сует микрофон к его губам.

Тот отвечает, как примерный ученик:

— Да, мы имеем счастье приветствовать в этих стенах великого чешского энтомолога, который, вместо того чтобы целиком отдаться науке, провел всю жизнь в тюрьме. Все мы были потрясены его присутствием.

Плясун — это не только воплощение страсти, но и путь, с которого невозможно сойти: когда Дюберк протащил его мордой по грязи после обеда со спидоносцами, Берк ринулся в Сомали не только по избытку тщеславия, но еще и потому, что чувствовал необходимость исправить неудачное па своего танца. А в настоящий момент он ощущает пошлость своих фраз, сознает, что им чего-то не хватает, какой-то изюминки, неожиданной идеи, новизны. Поэтому, вместо того чтобы остановиться, он продолжает болтать до тех пор, пока не чувствует, что где-то перед ним забрезжило подлинное вдохновение:

— И я пользуюсь случаем, чтобы сообщить о моем предложении создать франко-чешскую энтомологическую ассоциацию. — Пораженный внезапностью этой идеи, он тут же ощущает прилив сил. — Я только что говорил с моим пражским коллегой, — он делает неопределенный жест в сторону чешского ученого, — который был восхищен моим предложением присвоить этой организации имя великого поэта-изгнанника прошлого века, которое символизировало бы вечную дружбу между обоими нашими народами. Мицкевич, Адам Мицкевич. Жизнь этого поэта является уроком, напоминающим нам, что все, что мы делаем, будь то поэзия или наука, это в конце концов бунт. — Благодаря этому слову он окончательно обретает великолепную форму. — Ибо человек — это вечный бунтарь. — Теперь Берк поистине прекрасен и сознает это. — Не так ли, мой друг? — Он оборачивается к чешскому ученому, который незамедлительно появляется в кадре кинокамеры и кивает головой, словно хочет сказать «да». — Вы доказали это всею своей жизнью, своими жертвами, своими страданиями, да-да, согласитесь со мной: человек, достойный этого звания, постоянно бунтует, восстает против притеснения, а если таковое отсутствует... — тут он делает долгую паузу; только Понтевен мог сравниться с ним в искусстве использования столь долгих и многозначительных пауз; потом заканчивает на пониженных тонах: — то против самого человеческого удела, который мы не выбирали.

Бунт против человеческого удела, который мы не выбирали... Последняя фраза, венец всей импровизации, поражает его самого; что и говорить, фраза сама по себе великолепна: она внезапно уводит его от политических дрязг своего времени, позволяет соприкоснуться с величайшими умами своей страны; такую фразу мог написать Камю, Мальро или Сартр.

Осчастливленная Иммакулата делает знак своему киношнику, и его камера перестает стрекотать.

В этот момент чешский ученый подходит к Берку и говорит ему:

— Все это прекрасно, в самом деле прекрасно, но позвольте вам сказать, что Мицкевич не был...

Успех у публики поверг Берка в состояние, близкое к опьянению: твердым, громким и насмешливым голосом он прерывает чешского ученого:

— Я знаю, дорогой мой собрат, знаю не хуже вас, что Мицкевич не был энтомологом. Да и, согласитесь, редко бывает, чтобы поэты занимались этой наукой. Но, несмотря на сей недостаток, они являются гордостью всего человечества, часть которого составляют энтомологи, в том числе, с вашего позволения, и мы сами.

Тут в холле прозвучал настоящий взрыв очистительного хохота, похожий на выхлоп давно скопившегося пара; как только энтомологи поняли, что этот чересчур переволновавшийся господин забыл прочесть свой доклад, они едва могли удержаться от смеха. Наглые речи Берка освободили их от угрызений совести, и теперь они ржали, не скрывая своего ликования.

Чешский ученый озадачен: куда же девалось уважение, которое эти столпы науки проявляли к нему еще пару минут назад? Как они могут смеяться, что они

себе позволяют? Можно ли с такой легкостью перейти от обожания к презрению? (Можно, дорогой мой, еще как можно.) Неужели симпатия — такое хрупкое, такое неустойчивое чувство? (Ну конечно же, дорогой мой, конечно же.)

В этот момент Иммакулата подкатывает к Берку. Она говорит уверенным голосом, но язык у нее слегка заплетается, словно с похмелья:

— Берк, Берк, послушай, ты просто великолепен! Ты сумел на все наплевать. О, я просто обожаю твою иронию! Но заметь, что и мне самой от нее досталось. Ты помнишь наш лицей? Берк, послушай, а ты помнишь, как прозвал меня Иммакулатой? Ночной певуньей, которая мешает тебе спать? Тревожит твои сны? Не спорь, нам нужно вдвоем сварганить фильм, что-то вроде твоего портрета. Согласись, что только я имею на это право.

Смех, которым энтомологи вознаградили Берка за хорошую взбучку, данную им чешскому ученому, все еще звучит в его ушах и подстегивает его хмельное возбуждение; в подобные моменты чувство огромного самоудовлетворения достигает апогея и толкает его на дерзкие, хотя и чистосердечные поступки, которые потом нередко ужасают его самого. Простим же ему заранее то, что он собирается сделать. Он подхватывает Иммакулату под руку, оттаскивает ее подальше от нескромных ушей и тихонько говорит ей:

— Делай что хочешь, старая потаскушка, со своими чокнутыми подпевалами, хоть трахайся с ними, ночная птичка, ночной кошмар, чучело огородное, воспоминание о моей дури, памятник моей глупости, помойка моих воспоминаний, вонючая моча моей юности...

Она слушает его, не веря своим ушам. Ей кажется, что эти гнусные слова изрыгает кто-то другой, чтобы запутать следы, заморочить все собрание; ей кажется, что слова эти — всего-навсего какая-то хитрая уловка, которую она не в силах раскусить. И она спрашивает у него наивно и прямо:

— Зачем ты мне все это говоришь? Зачем? Как мне все это прикажешь понимать?

— Прикажу понимать именно так, как я тебе говорю! В прямом смысле! В самом прямом! Потаскушку как потаскушку, помойку как помойку, кошмар как кошмар, мочу как мочу!

## 24

Тем временем, сидя в баре, Венсан наблюдал за объектом своего презрения. Вся сцена развертывалась метрах в десяти от него, так что из разговоров он ничего не понял. Ему было ясно одно: Берк предстал перед его глазами именно таким, каким его всегда описывал Понтевен: клоуном для грубой толпы, жалким актеришкой, буржуйчиком, плясуном. Совершенно очевидно, что только благодаря его присутствию бригада телевизионщиков снизошла до посещения энтомологического конгресса! Венсан внимательно следил за Берком, изучая его «балетное» искусство: не спускать с камеры глаз, всегда лезть впереди других, элегантно помахивать ручкой, привлекая к себе всеобщее внимание. В тот момент, когда Берк взял Иммакулату под руку, он не удержался и воскликнул:

— Нет, вы только посмотрите: его здесь никто не интересует, кроме этой бабы с телевидения! Он не взял под руку своего зарубежного коллегу, ему плевать на своих собратьев, особенно иностранных; только эту телевизионщицу он привечает как свою госпожу, свою любовницу, свою единственную наложницу, потому что — держу пари! — у него нет других, ведь это величайший импотент во всей вселенной!

Странное дело, на сей раз его голос, несмотря на всю свою позорную слабость, звучит совершенно отчетливо. Бывают обстоятельства, когда самый слабый голос доходит до слушателей. Это случается тогда, когда он изрекает раздражающие нас идеи. Венсан излагает вслух свои размышления, он умен, язвителен, он

говорит о плясунах и о контракте, заключенном ими с Ангелом смерти, и, все более распаляясь собственным красноречием, карабкается по своим гиперболам, как по лестнице, ведущей в небо. Некий молодой очкарик, выряженный в тройку, внимательно наблюдает за ним и слушает его, словно хищник, готовящийся к нападению. Когда красноречие Венсана иссякло, он обращается к нему:

— Мсье, нам не дано выбирать эпоху, в которой мы живем. А живем мы под взглядом кинокамер. Они составляют теперь одно из условий человеческого существования. Даже участвуя в войне, мы воюем под взглядом камер. И если нам случается протестовать против чего-нибудь, наш протест не будет услышан без помощи камер. Мы все плясуны, как вы изволите выражаться. Я бы сказал даже: мы либо плясуны, либо дезертиры. Вы, мсье, судя по всему, жалеете, что время движется вперед. Так обратите его вспять! В двенадцатый век, не угодно ли? Но оказавшись там, вы тут же начнете протестовать против кафедральных соборов, считая их современным варварством! Заберитесь еще подальше! Вернитесь к обезьянам! Уж там-то никакая современность вам угрожать не будет, там вы будете чувствовать себя как дома, в непорочном раю макак!

Нет ничего унизительней не найти хлесткого ответа на дерзкий выпад. В несказанном замешательстве, под издевательский смех собравшихся Венсан вынужден трусливо ретироваться. После минутной растерянности он вспоминает, что его ждет Юлия; он одним глотком опорожняет бокал виски, который держит в руке, ставит его на стойку бара и заказывает еще две порции — одну для себя, другую для Юлии.

## 25

Образ человека в тройке впился в его душу словно заноза, он никак не мог от него избавиться; это тем более неприятно, что в то же время он жаждет соблазнить женщину. Но как ее соблазнишь, если тебя мучает душевная заноза?

Она заметила его состояние.

— Где ты торчал все это время? Я уж думала, что ты не вернешься. Что ты меня бросил.

Он понял, что она дорожит им, и это несколько облегчает боль, вызванную занозой. Он пытается снова выглядеть обольстительным, но она держится настороже.

— Не вешай мне лапшу на уши. За несколько минут ты совсем изменился. Ты повстречал какого-то знакомого?

— Да нет же, нет, — отозвался Венсан.

— А вот и да. Ты встретился с женщиной. И я прошу тебя: если хочешь, отправляйся к ней, мы-то ведь познакомились с тобой всего каких-нибудь полчаса назад. А я буду считать, что мы и вовсе незнакомы.

Она все грустнела и грустнела, а для мужчины нет более сладостного бальзама, чем грусть, причиненная им женщине.

— Да нет, поверь мне, никакой женщины и в помине не было. А был один мудак, жуткий кретин, с которым я поцапался. Вот и все. — И он принялся гладить ее по щеке так искренне и нежно, что она сразу же забыла обо всех своих подозрениях.

— Пусть так, Венсан, и все-таки ты совершенно переменился.

— Пойдем-ка со мной, — сказал он, приглашая ее в бар. Там он надеялся извлечь занозу из души с помощью целого потока виски. Элегантный тип в тройке все еще торчал там в компании нескольких друзей. Поблизости не было ни одной женщины, и это было на руку Венсану, сопровождаемому Юлией, которая в этот миг показалась ему еще милее. Он взял два стакана виски, протянул Юлии один, поспешно проглотил другой, потом склонился к ней.

— Посмотри на этого кретина в тройке и в очках.

— На этого? Да это же ничтожество, Венсан, сущее ничтожество, как ты только можешь обращать на него внимание?

— Ты права. Это типичный недоскребыш. Антибитник. Импотент, — говорит Венсан, и ему кажется, что присутствие Юлии заставляет его забыть о недавнем поражении, ибо истинная победа, единственная, за которую стоит бороться, сводится к быстрейшему завоеванию этой захмелевшей красотки в зловещем и антиэротическом обществе энтомологов.

— Ничтожество, пустое место, пустое место, я тебя уверяю, — повторяет Юлия.

— Ты права, если я не выкину его из головы, я и сам превращусь в такого же кретина. — И он прямо там, в баре, на виду у всех целует ее в губы.

Это был их первый поцелуй.

Они выходят в парк, гуляют, останавливаются и целуются снова. Потом находят скамейку и усаживаются на ней. Издалека к ним доносится плеск реки. Они охвачены восторгом, сами не зная почему; а вот я знаю: они слышали реку мадам де Т., реку ее любовных ночей; из кладезя времен век наслаждений посылал Венсану сдержанный привет.

И он произносит, словно по чьей-то подсказке:

— Когда-то в этом замке устраивались оргии. В восемнадцатом веке, точнее говоря. Сад. Маркиз де Сад. «Философия в будуаре». Ты знаешь эту книжонку?

— Нет.

— А следовало бы. Я дам ее тебе почитать. Это беседа во время оргии между двумя мужчинами и двумя женщинами.

— Да, — говорит она.

— Все четверо голые, и они совместно занимаются любовью.

— Да.

— Это тебе понравилось бы?

— Не знаю, — ответила она. Но это «не знаю» звучит не как отказ, а как свидетельство трогательной искренности и образцовой скромности.

Занозу из души так просто не вытащишь. Нужно победить боль, отогнать ее, притвориться, что больше не думаешь о ней, но и это притворство требует усилий. Венсан с такой страстью говорит о маркизе де Саде не столько для того, чтобы развратить Юлию, сколько делая попытку забыть обиду, нанесенную ему красавчиком в тройке.

— Да нет же, — уверяет он ее, — и ты это прекрасно знаешь. Прекрасно знаешь, что это тебе пришлось бы по вкусу. — Ему захотелось привести ей множество сентенций, пересказать множество ситуаций, содержащихся в этой фантастической книжке, которая называется «Философия в будуаре».

Потом они поднимаются и продолжают прогулку. Огромная луна всходит над деревьями. Венсан взглянул на Юлию и внезапно почувствовал себя околдованным: в бледном лунном свете девушка кажется ему прекрасной феей, она блистает поразительной красотой, которую спервоначалу он в ней не разглядел, красотой утонченной, хрупкой, девственно-чистой, недосягаемой. И в тот же миг, сам не зная, как это случилось, он представил себе ее задний проход. Неожиданно, внезапно этот образ овладевает им, и он никак не может от него отделаться.

Да будет благословенно это избавительное видение! Ведь благодаря ему красавчик в тройке (наконец-то, наконец-то!) испарился. То, чего не смогли сделать бесчисленные порции виски, в один миг сделала эта похабная картинка! Венсан обнял Юлию, прижал ее к себе, стал тискать ее груди, любоваться ее волшебной красотой, и в то же время ему грезилась дырка в ее заду. Ему страшно захотелось сказать ей: «Я ласкаю твои груди, но думаю только об этой дырке». Но произнести это вслух он не решался, слова застревали у него в глотке. Чем больше он думал об этой дырке, тем светлее, прозрачнее и ангелоподобней казалась ему Юлия, так что его слова так и остались невысказанными.

## 26

Вера спит, а я, стоя перед открытым окном, смотрю на парочку, которая лунной ночью прогуливается в замковом парке.

Внезапно я слышу, что дыхание спящей становится все более прерывистым; оборачиваюсь к ее постели и чувствую, что она вот-вот закричит. Я никогда не видел, чтобы она стала жертвой кошмаров! Что же происходит в замке?

Я бужу ее, она смотрит на меня широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Потом рассказывает мне свой сон, торопливо, словно в приступе лихорадки:

— Я была в длинном коридоре этого отеля. Внезапно вдалеке показался человек, он бежал ко мне. Подбежав метров на десять, он принялся кричать. И, представь себе, он кричал по-чешски! Фразы были совершенно бессмысленные: «Мицкевич не чех! Мицкевич поляк!» Потом он с угрожающим видом приблизился ко мне на несколько шагов, и тут ты разбудил меня.

— Прости меня, — говорю я, — ты стала жертвой моих дурацких вымыслов.

— Как это понимать?

— Да так, что твои сны стали чем-то вроде мусорного ведра, куда я выбрасываю слишком уж глупые страницы.

— А что ты сейчас придумываешь? Роман? — с тревогой спрашивает она.

Я киваю.

— Ты мне часто говорил, что когда-нибудь напишешь роман, где не будет ни единого серьезного слова. Великую Глупость Для Собственного Удовольствия. Боюсь, что этот момент еще не наступил. Хочу тебя только предупредить: будь осторожен.

Я киваю еще усердней.

— Ты помнишь, что тебе говорила твоя мама? У меня в ушах до сих пор звучит ее голос: Миланку, перестань валять дурака. Никто тебя не поймет. Ты обидишь всех на свете, и все на свете возненавидят тебя за это. Помнишь?

— Да, — говорю я.

— Я тебя предупреждаю. Твое спасение — в серьезности. Когда она оставит тебя, ты окажешься голым среди волков. А тебе ли не знать, что они только этого и ждут.

Произнеся это страшное пророчество, она снова заснула.

## 27

Примерно в это же время чешский ученый, подавленный, с истерзанной душой, возвратился к себе в номер. В его ушах еще не умолк хохот, вызванный саркастическими речами Берка. И он не перестает задаваться все тем же вопросом: можно ли с такой легкостью перейти от восхищения к презрению?

И в самом деле, спрашиваю я себя, куда девался поцелуй, запечатленный на его челе Наивысшей Всемирно-Исторической Актуальностью?

Вот в чем ошибаются приверженцы Актуальности. Им неведомо, что ситуации, возникающие на исторической сцене, бывают освещены только в самые первые минуты. Ни одно событие не остается актуальным в течение всей своей длительности, но только в течение весьма краткого отрезка времени, в самом начале. Разве не продолжают умирать сомалийские дети, на которых жадно смотрели миллионы телезрителей? Что сталось с этими детьми теперь? Поправились ли они или еще больше отощали? Да и существует ли до сих пор такая страна — Сомали? И существовала ли она когда-нибудь? Не была ли названием какого-то фантома?

Способ изложения современной истории напоминает некий грандиозный концерт, где последовательно исполняются сто тридцать восемь опусов Бетховена, причем проигрываются лишь восемь первых тактов каждого из них. Если повторить тот же самый концерт через десять лет, то в нем будет звучать только одна,

первая нота каждой пьесы; стало быть, в продолжение концерта будет исполнено всего сто тридцать восемь нот, разыгранных как единая мелодия. А через двадцать лет вся музыка Бетховена свелась бы к одной долгой и пронзительной ноте, похожей на тот нескончаемый высокий звук, который он услышал в первый день своей глухоты.

Чешский ученый погружается в привычную меланхолию; в порядке утешения ему приходит мысль, что эпоха его героической работы на стройке, о которой все хотели бы забыть, оставила ему вполне материальное и ощутимое воспоминание: великолепную мускулатуру. Сдержанная улыбка удовлетворения проступает на его лице, ибо он уверен, что ни у одного из присутствующих здесь ученых нет таких мышц, как у него.

Да-да, верите вы или нет, но эта идея, внешне смехотворная, приводит его в хорошее настроение. Он снимает куртку и ложится ниц прямо на пол. Поднимает руки. Проделывает это упражнение двадцать шесть раз и чувствует себя довольным. Вспоминает о тех временах, когда он вместе с товарищами по работе ходил после смены купаться в небольшой пруд за строительной площадкой. По правде сказать, он был тогда в тысячу раз счастливей, чем сегодня, в этом замке. Рабочие любили его и называли Эйнштейном.

В голову ему забредает еще одна довольно нелепая идея (он отдает себе отчет в ее нелепости, и это еще больше веселит его): пойти искупаться в роскошном гостиничном бассейне. Исполнившись задорного и вполне сознательного тщеславия, он хотел бы похвалиться своим телом перед заморышами-интеллектуалами этой мудреной, не в меру культурной и в общем-то коварной страны. К счастью, он захватил из Праги плавки (он всюду таскает их с собой); он надевает их и смотрит на себя, полуголого, в зеркало. Сгибает руки в локтях, его бицепсы мощно напрягаются. «Если кому-нибудь вздумалось бы отрицать мое прошлое, пусть взглянут на мои мускулы, доказательство совершенно неопровержимое!» Он воображает, как прогуливается вокруг бассейна, наглядно доказывая французам, что на свете существует элементарная ценность — телесное совершенство, которым он вправе гордиться и о котором они не имеют ни малейшего представления. Потом решает, что было бы неприлично расхаживать в таком виде по коридорам отеля, и натягивает на себя спортивное трико. Остается решить вопрос с обувью. Шлепать босиком так же неуместно, как идти в туфлях; он решает ограничиться носками. Экипировавшись таким образом, он снова смотрит в зеркало. И снова его привычная меланхолия уравновешивается гордостью, снова он чувствует себя уверенно.

## 28

Дырка в заду. Можно назвать иначе, как, например, сделал Гийом Аполлинер: «девятые врата плоти». Его стихи о девяти вратах женского тела существуют в двух вариантах: первый он послал своей любовнице Лу в письме, написанном в окопах, 11 мая 1915 года, второй отправил оттуда же другой любовнице, Мадлен, 21 сентября того же года. Оба стихотворения, одинаково прекрасные, различаются только породившим их воображением, но построены по единому плану: каждая строфа посвящена одним из врат тела возлюбленной: один глаз, другой глаз, одно ухо, другое ухо, правая ноздря, левая ноздря, рот; потом, в поэме, написанной для Лу, «врата твоего зада» и, наконец, девятые врата, влагалище. Во втором стихотворении, посвященном Мадлен, порядок перечисления врат под конец существенно меняется. Влагалище отступает на восьмое место, а дырка в заду, открывающаяся «между двумя жемчужными горами», становится «девятыми вратами, и более таинственными, чем все остальные», вратами «колдовства, о котором я не смею говорить», «наивысшими вратами».

Мне кажется, что те четыре месяца и десять дней, разделяющих обе вещи, че-

тыре месяца, которые Аполлинер провел в окопах, погрузившись в свои бурные эротические грезы, привели его к изменению перспективы, к некоему откровению: именно дырка в заду является той таинственной точкой, в которой сосредоточена вся ядерная энергия наготы. Разумеется, врата влагалища важны (кто бы стал это отрицать?), но их важность чересчур официальна; это место зарегистрированное, классифицированное, контролируемое, комментируемое, исследованное, хранимое, воспетое, прославленное. Влагалище — это шумный перекресток, где сталкиваются представители многословного человечества, туннель, которым проходят целые поколения. Только последние болваны позволяют убедить себя в интимности этого места, самого публичного из всех. Единственное подлинно интимное место, посягнуть на табуированность которого не осмеливаются даже порнофильмы, — это дырка в заду, наивысшие врата, то есть самые таинственные, самые секретные.

Эту мудрость, стоившую Аполлинеру четырех месяцев, проведенных под небом, истерзанным шрапнелью, Венсан постиг во время одной-единственной прогулки с Юлией, которая в свете луны стала почти полупрозрачной.

## 29

Трудно приходится тому, кто хочет говорить только об одной вещи и в то же время не в состоянии сделать этого: непроизносимая дырка в заду затыкает рот Венсана подобно кляпу и лишает его дара речи. Он смотрит в небо, словно прося у него помощи. И небо внемлет его мольбе, оно ниспосылает ему поэтическое вдохновение; Венсан восклицает:

— Нет, ты только посмотри! — и делает жест в сторону луны: — Она как дырка в небесном заду!

Он оборачивается к Юлии. Полупрозрачная и нежная, она улыбается и говорит «да», потому что с некоторого времени готова восхищаться любой произнесенной им глупостью.

Он слышит ее «да», но вожделение его не стихает. Она чиста, словно фея, и ему не терпится услышать из ее уст эту формулу: «дырка в заду», но он не решается. Вместо этого, угодив в ловушку своего красноречия, он все больше и больше увязает в придуманной им метафоре:

— Дырка в небесном заду, откуда исходит бледный свет, озаряющий внутренности вселенной! — И он протягивает руку к луне: — Вперед, в дыру бесконечности!

Не могу удержаться, чтобы не сделать скромный комментарий к этой импровизации Венсана: своей навязчивой и ярко выраженной идеей дырки в заду он думает выразить привязанность к XVIII веку, к маркизу де Саду и ко всей шайке либертинов-вольнодумцев, но, поскольку он не в силах целиком и до конца отдаться этому наваждению, совсем другое или даже полностью противоположное наследие, принадлежащее следующему веку, приходит ему на помощь; иначе говоря, он способен говорить о своих бесстыжих наваждениях, только поэтизируя их, превращая в метафоры. Таким образом, он приносит дух либертинажа в жертву духу поэзии. И дырку в женском заду перемещает в небесную дымку.

Ах, как прискорбно это перемещение, на него просто больно смотреть! Мне совсем неприятно следить за Венсаном, двинувшимся по этому пути: он ведет себя как сумасшедший, он мечется из стороны в сторону, словно муха, увязшая в капельке клея, он вопит:

— Дырка в небесном заду — это все равно что глазок божественной кинокамеры!

Как бы сознавая бессилие Венсана, Юлия нарушает его поэтические грезы, указывая на ярко освещенные окна холла:

— Почти все уже разъехались.

Они возвращаются; за столиками в самом деле сидит лишь несколько запоздалых гостей. Красавчика в тройке нигде не видно. Однако даже его отсутствие напоминает Венсану о нем с такой силой, что он снова слышит его холодный и злой голос, сопровождаемый смехом его товарищей. И ему снова становится стыдно: отчего он так растерялся перед ним? Отчего не осмелился возражать? Он силится вымести его из своей души, но это ему не удается; в его ушах снова звучат слова: «Мы все живем под взглядом кинокамер. Они составляют теперь одно из условий человеческого существования...»

Он совсем забывает о Юлии и, сам себе удивляясь, зацикливается на этих двух фразах. Как странно: аргументы красавчика почти тождественны той идее, которую он сам, Венсан, излагал в споре с Понтевеном: «Если ты хочешь вмешаться в общественный конфликт, привлечь внимание к несправедливости, то как ты в наше время можешь не быть или не казаться плясуном?»

Не потому ли он так растерялся перед красавчиком? Неужто его рассуждения были так близки его собственным, что он не решился их оспаривать? Не угодили ли мы все в одну и ту же ловушку, расставленную миром, который внезапно превратился у нас под ногами в сцену и с этой сцены нет выхода? И, стало быть, нет никакой разницы между тем, что думает Венсан и что думает красавчик?

Нет, эта мысль просто невыносима! Он презирает Берка, презирает красавчика, и это презрение предопределяет все его оценки. Он упорно пытается уловить разницу между ними и собой, и наконец это ему удается: они, как жалкие прихвостни, рады-радешеньки тем условиям человеческого существования, которые навязаны им извне: это плясуны, довольные своим положением. Тогда как он, даже сознавая, что никакого выхода нет, вопит о своем несогласии с этим миром. Тут ему приходит на ум ответ, который он мог бы бросить в лицо красавчику: «Если жизнь под взглядом кинокамер стала условием нашего существования, я восстаю против такой жизни! Я не выбирал ее!» Вот это настоящий ответ! Он склоняется к Юлии и без малейших объяснений заявляет ей:

— Единственное, что нам осталось, это бунт против условий человеческого существования, которых мы не выбирали!

Успев привыкнуть к бессвязным фразам Венсана, девушка находит великолепной и эту и отвечает ему воинственным тоном:

— Разумеется! — И поскольку слово «бунт» переполняет ее энергией и ликованием, она добавляет: — Пойдем к тебе в номер!

Красавчик снова испаряется из головы Венсана, он смотрит на Юлию, восхищенный ее последними словами.

Она тоже ликует. Возле бара еще околачивается несколько человек, среди которых была и она, когда ее принялся кадрить Венсан. Эти людишки смотрели на нее как на пустое место и тем унижали ее. Теперь она смотрит на них свысока, величественная и неуязвимая. Они больше не производят на нее ни малейшего впечатления. Впереди у нее целая ночь любви, и все это благодаря ее собственной воле, ее собственной решимости; она чувствует себя богатой, везучей, куда более сильной, чем все эти людишки.

Она шепчет на ухо Венсану:

— Все это сплошь антибитники. — Она знает, что это любимое словечко Венсана, и повторяет его, чтобы он знал, что она готова отдаться ему, что принадлежит ему целиком.

Все обстоит так, словно она вручила ему гранату, начиненную эйфорией. Он мог бы теперь пойти вместе с прекрасной обладательницей дырки в заду прямо в свой номер, но, как бы подчиняясь дошедшему откуда-то издалека приказу, решает сначала учинить здесь настоящий бардак. Он подхвачен хмельным порывом, в котором мешаются образы дырки в заду и предстоящего совокупления, слышится насмешливый голос красавчика и мелькает силуэт Понтевена, который, подобно

Троцкому, из своего парижского бункера руководит этим вселенским скандалом, этим великим борделическим бунтом.

— Пойду окунусь, — объявляет он Юлии и бегом спускается по лестнице к пустому в данный момент бассейну, который при взгляде сверху представляется подобием театральной сцены. Он расстегивает рубашку. К нему подбегает Юлия.
— Пойду окунусь, — повторяет он и стаскивает с себя штаны. — Ты тоже раздевайся.

## 30

Гнуснейшая речь, адресованная Берком Иммакулате, была произнесена таким тихим, свистящим голосом, что стоявшие неподалеку были не способны вникнуть в истинную суть драмы, которая разворачивалась у них на глазах. Иммакулате удалось ничем не выдать своего потрясения: когда Берк удалился, она направилась к лестнице, поднялась по ней и, оказавшись в одиночестве посреди пустынного коридора, ведущего к номерам, почувствовала, что ее пошатывает. Через полчаса ни о чем не подозревавший киношник ввалился в номер, который они снимали вдвоем, и нашел ее лежащей ничком на постели.

— Что с тобой случилось?

Она ничего не ответила.

Он присел рядом с ней, положил ей руку на голову. Она стряхнула ее, словно это была змея.

— Да что же с тобой случилось?

Он повторил этот вопрос несколько раз, прежде чем она удостоила его ответом:

— Прошу тебя, пойди прополоскай горло, от тебя разит как от винной бочки.

Дыхание у него всегда было чистое, он мылся каждый день и вообще был образцовым чистюлей, так что ее вранье не обмануло его, и все-таки он послушно поплелся делать то, что ему было велено. Мысль о дурном запахе изо рта пришла к Иммакулате не сама собой, здесь было замешано недавнее и сразу же подавленное воспоминание о запахе изо рта у Берка — оно-то и вызвало у нее вспышку раздражения. Когда она, содрогаясь, слушала его оскорбления, ей было недосуг заниматься его дыханием, но сидевший в ней незримый наблюдатель не только уловил этот тошнотворный запах, но и конкретнейшим, яснейшим образом откомментировал его: мужчина, у которого разит изо рта, не может иметь любовниц; ни одна женщина к такому не привыкнет, всякая уж как-нибудь да постарается объяснить ему, что от него скверно пахнет, и избавить от этого порока. Осыпаемая оскорблениями, она вслушивалась в этот молчаливый комментарий, казавшийся ей забавным и преисполненным надежды, — ведь он внушал ей, что, если скинуть со счета сонм прекрасных дам, которые ухищрениями самого Берка вьются вокруг него, он давно уже охладел к галантным авантюрам и что место рядом с ним в постели всегда свободно.

Прополоскав горло, наш киношник, человек столь же романтичный, сколь практичный, сказал себе, что единственный способ изменить кровожадное настроение своей подружки — это как можно скорее заняться с ней любовью. В ванной он надевает на себя пижаму и, неверными шагами вернувшись в номер, присаживается на краешек постели.

Не решаясь больше тронуть ее, он в который раз произносит:

— Да что же такое с тобой стряслось?

Та отвечает с непоколебимым присутствием духа:

— Если ты будешь повторять эту дурацкую фразу, не жди, что у нас с тобой получится хоть какой-то разговор.

Она поднимается и идет к одежному шкафу, открывает его, всматривается в несколько висящих на вешалке платьев, они притягивают ее, возбуждают столь же смутное, сколь и сильное желание не покидать сцену по собственной воле; сно-

ва проведать места своих унижений; не примиряться с поражением, а при удобном случае превратить его в грандиозный спектакль, во время которого она могла бы блеснуть своей уязвленной красотой и вовсю проявить свою бунтующую гордость.

— Что ты делаешь? Куда ты намерена идти?

— Это не имеет значения. Самое главное — не оставаться здесь, с тобой.

— Но скажи все-таки, что у тебя не ладится?

Иммакулата смотрит на свои платья и замечает: «Шестой раз», и я готов вас уверить, что она не ошиблась в своих подсчетах.

— Ты сегодня была настоящим совершенством, — говорит ей киношник, твердо вознамерившись перебороть ее настроение. — Ты многого добилась. Твой проект передачи о Берке кажется мне решенным. Я заказал бутылку шампанского в номер.

— Ты можешь пить что хочешь и с кем хочешь.

— Но что же все-таки стряслось?

— Седьмой раз. С тобой все кончено. Навсегда. Мне надоел запах у тебя изо рта. Ты — мой кошмар. Мой дурной сон. Мой провал. Мой позор. Мое унижение. Мое омерзение. Именно это я и хотела тебе сказать. Грубо и откровенно. Чтобы не продолжать мои колебания. Мой кошмар. И всю эту историю, которая утратила малейший смысл.

Она стоит лицом к вешалке, повернувшись спиной к киношнику, говорит спокойно, не спеша, низким, свистящим голосом. Потом начинает раздеваться.

## 31

Она впервые раздевается перед ним с таким бесстыдством, с таким подчеркнутым равнодушием. Эта процедура означает: твое присутствие здесь, передо мной, не имеет никакого, ну ровным счетом никакого значения; ты для меня все равно что собачонка или мышонок. Твои взгляды не заставят встрепенуться ни единую частицу моего тела. Я могла бы делать перед тобой что угодно, совершать самые неподобающие поступки, мыть себе уши или подмываться, блевать, мастурбировать, мочиться. У тебя нет ни глаз, ни ушей, ни головы. Мое гордое безразличие — это плащ, позволяющий двигаться перед тобой совершенно свободно и бесстыдно.

Киношник видит, как тело любовницы на его глазах полностью преображается; это тело, до сих пор отдававшееся ему так просто и поспешно, высится теперь перед ним как греческая статуя на цоколе высотой в сотню метров. Он сходит с ума от желания, но это странное желание, не проявляющееся чувственным образом, а витающее в его голове, только в ней, сродни неодолимому мозговому влечению, навязчивой идее, мистическому безумию, уверенности в том, что именно это, а не какое-то другое тело предназначено до краев заполнить его жизнь, всю его жизнь.

Она чувствует, как это влечение, эта самоотрешенность буквально липнут к ее коже, и волна холодной сдержанности ударяет ей в голову. Она сама удивлена этому, ничего подобного ей не приходилось испытывать раньше. Этот наплыв холодности подобен наплыву страсти, жара или гнева. Ибо эта холодность и есть страсть; абсолютная преданность киношника и абсолютный отказ Берка являются как бы двумя сторонами одного и того же проклятия, которому она старается противиться; грубая выходка Берка имела целью отбросить ее в объятия пошлейшего любовника; единственным способом сопротивления этой грубости была бы абсолютная ненависть к этому любовнику. Вот почему она с такой яростью отвергает все его предложения, вот почему она хотела бы превратить его в мышон-

ка, потом в паучка, потом в муху, которую сожрал бы другой паук.

Она уже облачилась в белое платье, решив спуститься в нем вниз и показаться Берку и всем остальным. Она счастлива, что привезла с собой платье белого цвета, цвета свадьбы, ибо ее не покидает впечатление, что она переживает день свадьбы, но свадьбы навыворот, трагической свадьбы без жениха. Под белым одеянием таится рана, нанесенная несправедливостью, и она чувствует, что несправедливость эта возвеличивает и украшает ее, подобно тому как несчастья украшают всех трагических персонажей. Она идет к двери, зная, что ее выряженный в пижаму любовник последует за ней на цыпочках, как верный пес, и ее радует, что так они пересекут весь замок: трагикомическая парочка, королева, сопровождаемая безродным псом.

## 32

Но вид того, кто был причислен ею к собачьему роду-племени, поражает ее. Он стоит у двери, его лицо искажено бешенством. Его стремление к покорности внезапно иссякло. Он полон безнадежного желания взбунтоваться против этой красоты, которая несправедливо его унижает. Ему не хватает духу дать ей пощечину, избить, повалить на постель и изнасиловать, но он чувствует необходимость сделать что-то непоправимое, бесконечно грубое и агрессивное.

Она волей-неволей останавливается на пороге.

— Дай мне пройти.

— Я не дам тебе пройти.

— Ты для меня больше не существуешь.

— Как это не существую?

— Я знать тебя не знаю.

Он смеется сдавленным смехом:

— Ты меня не знаешь? — Он повышает голос: — А с кем же это ты трахалась сегодня утром?

— Я запрещаю тебе при мне выражаться! Употреблять такие слова!

— Этим утром ты сама говорила мне именно эти слова: трахай меня, затрахай меня, перетрахай меня!

— Это было, когда я еще любила тебя, — говорит она с легким смущением, — но теперь эти слова звучат для меня сплошной грубостью.

— И, однако, мы трахались! — кричит он.

— Я запрещаю тебе!

— И ночью тоже только и делали, что трахались, трахались, трахались!

— Замолчи!

— Почему мое тело тебе не в тягость утром, а вечером, видите ли, в тягость?

— Как мне противна твоя грубость!

— Мне плевать, что она тебе противна! Ты потаскушка!

Ах, не нужно ему было произносить это слово, то самое, что бросил ей в лицо Берк.

— Мне омерзительна твоя грубость, — кричит она, — и сам ты омерзителен!

Он тоже переходит на крик:

— Значит, ты трахалась с тем, кто вызывает у тебя омерзение! Но поступающая так женщина и есть самая настоящая шлюха, потаскушка последнего разбора.

Слова киношника становятся все более и более грубыми, на лице Иммакулаты проступает страх.

Страх? Неужто она и в самом деле боится его? Я не думаю: в глубине души она понимает, что не стоит преувеличивать важность подобного бунта. Ей известна преданность киношника, и она уверена в ней. Она знает, что он осыпает ее грубостями лишь для того, чтобы она услышала его, увидела, приняла во внимание. Он

оскорбляет ее, потому что слаб, и с позиции силы ему нечего ей противопоставить, кроме грубости и бранных слов. Если бы она хоть самую малость любила его, она должна была расчувствоваться от этого взрыва отчаянного бессилия. Но вместо умиления она испытывает только разнузданное желание причинить ему боль. Именно поэтому она решает понимать всю его брань буквально, сделать вид, что испугана ею. Поэтому-то она и смотрит на него глазами, полными ужаса.

Он видит страх на лице Иммакулаты и чувствует себя бодрее: обычно это он дрожит от страха, уступает ей, просит прощения, а сейчас, совершенно неожиданно, дрожит она, видя его силу и ярость.

Думая, что она вот-вот признает свою слабость, капитулирует, он повышает голос и продолжает выпаливать ей в лицо свои агрессивные и бессильные глупости. Он, бедняга, и не подозревает, что она, как всегда, ведет свою собственную игру, что он остается безвольной марионеткой в ее руках даже тогда, когда ему кажется, что ярость придала ему сил и вернула свободу.

— Я боюсь тебя, — говорит она, — ты агрессивен, ты отвратителен! — А он, простофиля, не понимает, что такого рода обвинения уже никогда больше с него не снимутся, что он, добренький и послушный тряпичный клоун, должен стать раз и навсегда насильником и агрессором.

— Я тебя боюсь, — повторяет она еще раз и отстраняет его с дороги.

Он пропускает ее и тащится вслед за ней, как безродный пес за королевой.

## 33

Нагота. У меня хранится вырезка из «Nouvel Observateur» за октябрь 1993 года: опрос населения. Сотне дюжин людей, считающих себя левыми, был послан опросный лист, состоящий из двухсот десяти слов, из которых они должны подчеркнуть те, что поразили их воображение, те, которые задели их за живое, показались им притягательными и симпатичными. Подобный же опрос производился несколько лет назад; в ту пору среди тех же двухсот десяти слов оказалось лишь восемнадцать, на которые люди, придерживающиеся левых взглядов, откликнулись и тем самым подтвердили свое единомыслие. Теперь таких пунктов осталось только три. Только три слова, с которыми может согласиться левак-гошист. Какое вырождение! Какой упадок! Каковы же эти три слова? Слушайте меня внимательно: бунт, красный, нагота. Бунт и красный цвет — это само собой разумеется. Но то, что помимо этих двух слов одна лишь нагота заставляет биться сердца леваков, что она является их общим символическим достоянием, это и впрямь удивительно. Неужели это все, что оставила им великолепная история двухсот последних лет, торжественно открытая Французской революцией, неужели в этом заключено наследие Робеспьера, Дантона, Жореса, Розы Люксембург, Ленина, Грамши, Арагона, Че Гевары? Голые животы, голые причиндалы, голые ягодицы? Неужели это и есть последнее знамя, под которым последние отряды левых сил делают вид, будто свершают свой великий марш сквозь века?

Но почему именно нагота? Что означает для леваков это слово, подчеркнутое ими на листе, составленном в Институте изучения общественного мнения?

Вспоминаю шествие немецких леваков в семидесятых годах, когда они, выражая свое негодование по какому-то поводу (против атомной электростанции, против войны, против власти денежных мешков, я уж не помню, против чего еще), разделись догола и промаршировали с дикими выкриками по улицам большого немецкого города.

Что должна была выражать их нагота?

Первая гипотеза: она представляла для них самую драгоценную из всех свобод, самую беззащитную из всех ценностей. Немецкие гошисты прошествовали по городу, выставляя напоказ свои гениталии, подобно тому как преследуемые хри-

стиане шли на смерть, неся на плече деревянный крест.

Вторая гипотеза: немецкие гошисты вовсе не хотели выставлять напоказ символы каких-то ценностей, их цель была куда проще — шокировать презираемую ими публику. Шокировать, ужаснуть, унизить. Забросать дерьмом. Вывалять во всех сточных канавах вселенной.

Курьезная дилемма: символизирует ли нагота величайшую ценность или просто-напросто величайшую мерзость, вроде бутылки с нечистотами, которую бросают в лагерь неприятелей?

И что представляет она для Венсана, который повторяет Юлии: «Раздевайся, — и прибавляет: — Великое разоблачение на глазах у всех этих недоскребышей!»

И чем она является для Юлии, которая послушно и даже с некоторым вызовом отвечает: «Почему бы и нет?» — и начинает расстегивать платье.

## 34

Он раздет догола. Это состояние слегка удивляет его, и он посмеивается каш-ляющим смешком, обращенным скорее к самому себе, чем к ней, потому что находиться голым в таком большом остекленном пространстве необычно для него до такой степени, что он не может думать ни о чем, кроме эксцентричности своей ситуации. Она уже расстегнула и отбросила в сторону лифчик, стянула с себя трусики, но Венсан как бы не замечает ничего этого: он видит, что она голая, но как и когда это случилось, ему невдомек. Вспомним, сколько времени его преследовало видение дырки в ее заду, и зададимся вопросом, думает ли он о ней и теперь, когда эта дырка уже не прикрыта шелком трусиков? Нет. Пресловутая дырка испарилась у него из головы. Вместо того чтобы жадно вглядеться в тело, обнажившееся у него на глазах, вместо того чтобы приблизиться к нему, неспешно оглядеть его со всех сторон, может быть, даже коснуться его, он отворачивается и погружается в бассейн.

Чудной парень этот Венсан. Он наскакивает на плясунов, бредит по поводу луны, а ведь, в сущности, — это настоящий спортсмен. Он ныряет в воду, плавает. И тут же забывает о своей наготе, об этой Юлии, думая только о своем кроле. За его спиной Юлия, не умеющая нырять, осторожно спускается по лестнице. Он даже не оборачивается, чтобы взглянуть на нее. Какая жалость, ведь Юлия очаровательна, просто очаровательна. Ее тело словно бы светится, но не свечением целомудрия, а еще чем-то, не менее прекрасным: неуклюжестью наготы, предоставленной самой себе, ибо Юлия, увидев, что Венсан нырнул с головой под воду, уверена, что никто на нее не смотрит. Вода доходит ей до золотого руна, но кажется такой холодной, она и рада бы окунуться сразу, но не хватает духу. Она останавливается, колеблется и жмется, потом осторожно спускается еще на одну ступеньку, так что вода доходит ей теперь до пупка, она окунает в нее руки, охлаждает груди. На все это в самом деле очень приятно смотреть. Простодушный Венсан ни о чем не догадывается, но я-то сам вижу наконец наготу, лишенную всякого значения, наготу обнаженную, наготу саму по себе, чистую и привораживающую мужчин.

Наконец она пускается вплавь. Плавает она куда медленнее Венсана, неловко держит голову слишком высоко над водой; Венсан уже трижды одолел пятнадцать метров бассейна, когда она подплывает к ступенькам, чтобы выйти из воды. Он торопится за ней. Они уже стоят на краю бассейна, когда сверху, из холла, до них доносятся голоса.

Возбужденный близостью невидимых незнакомцев, Венсан кричит:

— Я войду в тебя с тыла. Я хочу быть содомитом! — и с ухмылкой фавна набрасывается на нее.

Как могло случиться, что во время их задушевной прогулки он не осмелился шепнуть ей наималейшую скабрезность, а теперь во всеуслышание изрыгает столь

гнусные откровения?

Именно потому, что он незаметно для себя самого миновал зону интимности. Слово, произнесенное в узком, замкнутом пространстве, имеет совсем иной смысл, чем то же слово, прозвучавшее в амфитеатре. Это уже не то слово, за которое он был полностью ответствен и которое было обращено только к его подружке; теперь это слово хотят услышать другие, толпящиеся вокруг и пялящие на них глаза. По правде говоря, амфитеатр пуст, но даже если это и так, воображаемая или мнимая, потенциальная или виртуальная публика никуда не девалась, она здесь, с ними.

Можно задаться вопросом, из кого же она состоит; я не думаю, что Венсан воображает ее состоящей из людей, виденных им на конференции; окружающая его теперь публика многочисленна, настырна, требовательна, шумна, любопытна, но в то же время совершенно неопределима, со стертыми чертами лиц; но значит ли это, что публика, которую он воображает, это та самая публика, о которой грезят плясуны? Публика невидимок? Та самая, опираясь на которую Понтевен строит свои теории? Весь мир целиком? Безликая бесконечность? Чистая абстракция? Не совсем: ведь в этой анонимной толпе сквозят конкретные лица, Понтевен и его дружки; они оживленно следят за происходящим на сцене, не спускают глаз с Венсана и Юлии; тем же самым заняты окружающие их незнакомые люди. Это для них изрыгает Венсан свои похабства, это их одобрение, их восхищение стремится заслужить.

— Я не дамся тебе с тылу, — кричит Юлия, которая знать не знает о Понтевене, а произносит эту фразу единственно для тех, кто, не будучи здесь, тем не менее присутствует в этом амфитеатре. Жаждет ли она их восхищения? Разумеется, но лишь для того, чтобы угодить Венсану. Она хочет, чтоб ей рукоплескала неведомая и незримая публика, она хочет быть любимой человеком, которого она избрала на сегодняшнюю ночь, и — кто знает? — многими другими. Она носится вокруг бассейна, и ее груди весело болтаются направо и налево.

Слова Венсана становятся все более и более смелыми, только метафорический строй малость затуманивает их крутое похабство.

— Я хочу пронзить тебя насквозь и пригвоздить к стене!

— Не пронзишь, не пригвоздишь!

— Я распну тебя на дне бассейна!

— Не распнешь!

— Я раздеру твою дырку в заду на глазах у всей вселенной!

— Не раздерешь!

— Весь мир увидит твою дырку!

— Никто ее не увидит! — кричит Юлия.

В этот момент они снова слышат поблизости голоса, утяжеляющие легкие шаги Юлии, принуждающие ее остановиться; она начинает пронзительно кричать, словно женщина, которую вот-вот собираются изнасиловать. Венсан хватает ее, и они вместе валятся на газон. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, ожидая вторжения, которому решила не сопротивляться. Она раздвигает ноги. Закрывает глаза. Слегка откидывает голову набок.

## 35

Но вторжение не состоялось. Не состоялось потому, что волшебная палочка Венсана мала, как увядшая ягода лесной земляники, как наперсток его прапрабабушки.

Почему же она так мала?

Я задаю этот вопрос непосредственно половому члену Венсана, и тот, искренне удивленный, отвечает:

— А почему мне не быть маленьким? Я не вижу никакой необходимости расти. Поверьте, мне такая идея и в головку не приходила. Я не был предупрежден. С

согласия Венсана я участвовал вместе с ним в этой веселой беготне вокруг бассейна, сгорая от нетерпения увидеть, что же будет дальше. Кто-кто, а уж я-то всласть позабавился! А теперь вы обвиняете Венсана в импотенции! Не делайте этого, я вас умоляю! Я почувствую себя виноватым, а это будет несправедливо в отношении нас обоих, потому что мы живем в абсолютной гармонии. И, клянусь вам, нам никогда не случалось разочаровываться друг в друге. Я всегда гордился им, а он — мною!

Член говорил правду. Впрочем, Венсан и не был сверх меры огорчен его поведением. Случись нечто подобное у него в номере, он этого никогда не простил бы. А здесь он вынужден рассматривать его реакцию как разумную и даже вполне благопристойную. Исходя из всего этого, он решает принять вещи такими, каковы они есть, и принимается симулировать половой акт.

Юлия тоже не была ни раздосадована, ни обманута в своих лучших ожиданиях. Чувствовать Венсана на себе, но ничего не ощущать внутри показалось ей странным, но приемлемым, и она постаралась по мере сил отвечать на его потуги собственными телодвижениями.

Долетавшие до них голоса теперь вроде бы отдалились, но в гулкой чаше бассейна отозвался новый звук: поступь бегуна, промчавшегося совсем рядом с любовниками.

Неровное дыхание Венсана усилилось и участилось; он хрипел и мычал, а Юлия постанывала и всхлипывала, отчасти потому, что на нее то и дело плюхалось мокрое тело Венсана, не доставляя ей этим особого удовольствия, отчасти же потому, что ей хотелось ответить на его мычание.

## 36

Заметив эту парочку лишь в самый последний момент, чешский ученый не смог вовремя свернуть. Но он продолжает свой бег, словно там никого нет, и старается смотреть в сторону. Ему неловко: он еще не знает всех тонкостей западной жизни. В коммунистической империи заниматься любовью на краю бассейна было бы делом совершенно невозможным, как, впрочем, там немыслимо было предаваться и другим занятиям, которыми ему еще предстоит овладеть. Он уже на противоположной стороне бассейна, и его разбирает желание обернуться и бросить взгляд на совокупляющуюся парочку; его мучит один вопрос: достаточно ли развит физически совокупляющийся мужчина? И что более полезно для телесной культуры — физическая любовь или ручной труд? Но он преодолевает себя, не желая прослыть бесстыжим ротозеем.

Остановившись на противоположной стороне бассейна, он приступает к своим упражнениям: сначала, высоко поднимая колени, начинает бег на месте, потом делает стойку на руках, подняв ноги вверх; он с самого детства овладел этим упражнением, которое гимнасты называют «перевертышем»; на сей раз оно удалось ему не хуже, чем прежде, и он задает себе вопрос: много ли французских ученых или министров сумели бы проделать его так же хорошо, как он? Он мысленно перебирает всех французских министров, которых знал по именам или по фотографиям, пытается представить их в этой позиции, удерживающих равновесие на руках, и остается доволен: все они кажутся ему слабыми и неуклюжими. Выполнив это упражнение семь раз, он лег ничком и стал отжиматься от пола.

## 37

Ни Юлии, ни Венсану не было никакого дела до происходящего вокруг. Они не были эксгибиционистами, не имели обыкновения возбуждаться от посторонних взглядов, ловить их, следить за теми, кто их наблюдает; вот и на сей раз они

устроили не оргию, а спектакль, а актеры во время представления не любят встречаться взглядом со зрителями. Юлия еще в большей мере, чем Венсан, старается ничего не видеть, однако посторонний взгляд, только что скользнувший по ее лицу, так тяжел, что она не может его не почувствовать. Она поднимает веки и видит женщину в роскошном белом платье, которая смотрит на них в упор; взгляд у нее странный: отчужденный и в то же время тяжелый, чудовищно тяжелый; тяжелый, как сама безнадежность, как само отчаяние, и Юлия буквально раздавлена этой тяжестью, она чувствует себя парализованной. Ее движения замедляются, увядают, прерываются; еще несколько стонов — и она смолкает.

А женщина в белом борется с отчаянным желанием завыть по-звериному. Она не может избавиться от этого наваждения, которое тем более неодолимо, что тот, ради которого она хочет завыть, не услышит ее. Не в силах более сдерживаться, она издает пронзительный, жуткий вопль.

Юлия тут же очнулась от своего оцепенения; она вскакивает, хватает трусики, натягивает их, кое-как прикрывается в беспорядке разбросанной одеждой — и была такова.

Венсан не проявляет подобной прыти. Он подбирает свою рубашку и штаны, но никак не может найти трусов.

В нескольких шагах позади него застыл человек в пижаме; никто его не видит, и он, разумеется, тоже не видит никого, кроме женщины в белом.

## 38

Не в силах смириться с мыслью, что Берк отшвырнул ее, Иммакулата испытывала сумасшедшее желание бросить ему вызов, поиздеваться над ним, покрасоваться перед этим подонком во всей непорочной белизне своей красоты (разве непорочная красота не есть белизна?); но прогулка по коридорам и холлам замка прошла из рук вон плохо: Берка там не было, а вот киношник, раньше тащившийся вслед за нею молча, как безродный пес, теперь то и дело пытается заговорить с ней громким и неприятным голосом. Ей удалось привлечь внимание к собственной особе, но внимание это было неприязненным и насмешливым, так что ей поневоле пришлось ускорить шаги; вот так, почти бегом, добралась она до края бассейна, где, столкнувшись с совокупляющейся парочкой, издала жуткий вопль.

Этот крик привел ее в сознание: она ясно видит, что оказалась в ловушке; перед ней — вода, позади нее — преследователь в пижаме. Она отчетливо понимала, что положение у нее безвыходное, что единственный выход, который у нее остался, отдает помешательством, что единственное разумное действие, которое она может предпринять, столь же безумно; собрав всю свою силу воли, она решилась на второе: сделала два шага вперед и бухнулась в воду.

То, как она совершила свой прыжок, было довольно курьезно: умея, в отличие от Юлии, прекрасно нырять, она тем не менее кинулась в бассейн вперед ногами, да еще некрасиво растопырив при этом руки.

Дело в том, что любой жест, помимо своей практической функции, обладает еще определенным значением, превосходящим намерения людей, его совершающих. Когда люди в плавках бросаются в воду, в их порыве сквозит чистая радость, хотя сами они при всем при этом могут пребывать не в лучшем настроении. Совсем другое дело, когда в воду бросается одетый человек; он наверняка вознамерился утопиться, а тот, кто решил это сделать, не уходит в воду «ласточкой», а плюхается в нее мешком, так велит ему извечный язык жестов. Вот почему Иммакулата, в сущности превосходная пловчиха, будучи выряженной в белое платье, свалилась в бассейн столь жалким образом.

Безо всякого разумного повода она очутилась теперь в воде, подчинившись минутному порыву, чье значение только сейчас начинает мало-помалу доходить

до нее: она должна пережить собственное самоубийство, утопленничество, и все, что она будет делать дальше, окажется лишь балетом, пантомимой, посредством которых ее трагический жест продолжит свой безмолвный диалог с нею самой.

Упав в воду, она встает. В этом месте бассейн неглубок, вода едва доходит ей до талии; несколько мгновений она стоит столбом, держит голову прямо и выпячивает грудь. Затем снова падает. В этот момент ее шарф развязывается и плывет за ней, как плывут за мертвецами их воспоминания. Она снова выпрямляется, слегка откидывает голову и расставляет руки, после чего почти бегом делает несколько шагов в ту сторону, где дно бассейна идет под уклон, и снова скрывается под водой. Так она и продвигается вперед, подобно водоплавающей птице, какой-нибудь мифологической утке, которая то погружает голову в воду, то запрокидывает ее назад. Эти движения попеременно свидетельствуют и о ее желании жить в воздушных высотах, и погибнуть в бездне вод.

Человек в пижаме внезапно падает на колени и заливается слезами:

— Вернись, вернись, я преступник, я негодяй, только вернись!

## 39

С другой стороны бассейна, там, где вода глубока, чешский ученый, занятый отжиманиями, удивленно наблюдает за этим спектаклем: сначала он решил, что только что появившаяся пара явилась сюда, чтобы присоединиться к предыдущей парочке, и что ему предстоит стать свидетелем одной из тех легендарных «групповух», о которых он так много слышал на строительных лесах пуританской коммунистической империи; движимый чувством стыдливости, он думал даже, что в обстоятельствах группенсекса ему было бы лучше всего поскорее ретироваться к себе в номер. Но тут жуткий крик резанул его слух, и он, застыв на выпрямленных руках, обратился в подобие статуи, будучи не в силах пошевельнуться, хотя перед этим отжался от пола всего восемнадцать раз. Женщина в белом платье у него на глазах рухнула в воду, вокруг нее зазмеился шарф и закачались на воде несколько искусственных цветов, голубых и розовых.

Неподвижный, с приподнятым торсом, чешский ученый понимает наконец, что эта женщина хочет утопиться: она пытается держать голову под водой, но у нее не хватает силы воли, и она то и дело высовывает ее. Он присутствует при самоубийстве, которого никогда не мог бы себе вообразить. Эта женщина больна или ранена, а может быть, спасается от преследования, она то погружается в воду, то снова и снова появляется на поверхности; плавать, разумеется, она не умеет; с каждым мигом она погружается все чаще и чаще, скоро вода зальет ее с головой и она умрет под беспомощным взглядом человека в пижаме, который, стоя на коленях у кромки бассейна, со слезами на глазах наблюдает за ней.

Чешский ученый отбрасывает последние колебания: он поднимается и наклоняется над водой, согнув ноги в коленях и заведя руки назад.

Человек в пижаме уже не смотрит на женщину, завороженный мускулатурой неизвестного спортсмена, высокого, сильного и странно неуклюжего, прямо против него, в каких-нибудь пятнадцати метрах, который собирается вмешаться в драму, никоим образом его не касающуюся, драму, которую человек в пижаме ревностно хранит для самого себя и для любимой женщины. Ибо кто же может в этом сомневаться? — он любит ее, его гнев — чувство мимолетное; он не способен ненавидеть ее искренне и долго, даже если она причиняет ему страдания. Он знает, что она действует по указке своей иррациональной и неукротимой чувствительности, своей волшебной чувствительности, которую он хоть и не понимает, но обожает. Даже если ему и пришлось осыпать ее грязной бранью, внутренне он убежден, что она невинна и единственным виновником их неожиданного разлада был кто-то другой. Он не знает его, не знает, где тот находится, но готов набро-

ситься на него с кулаками. Вот в таком состоянии духа он смотрит на человека, в спортивной позе склонившегося над водой; словно загипнотизированный, он смотрит на его тело, сильное, мускулистое и удивительно нескладное, с широкими, совсем женскими бедрами, с толстыми, совсем неинтеллигентными икрами, — абсурдное тело, воплощенная несправедливость. Он ничего не знает об этом человеке и ни в чем его не подозревает, но, ослепленный своим страданием, видит в этом монументе безобразия символ собственного горя и чувствует к нему неодолимую ненависть.

Чешский ученый ныряет и, сделав несколько мощных движений брассом, приближается к женщине.

— Оставь ее, — вопит человек в пижаме и тоже бросается в воду.

Ученый уже метрах в двух от женщины, его ноги касаются дна.

Человек в пижаме плывет к нему с криком:

— Оставь ее в покое! Не трогай ее!

Ученый подхватывает женщину; испустив глубокий вздох, она замирает у него на руках. Человек в пижаме подплывает совсем близко к нему:

— Оставь ее, или я тебя убью!

Сквозь слезы он не видит перед собой ничего, кроме бесформенного силуэта. Он хватает его за плечи, изо всей силы трясет. Ученый спотыкается, женщина падает у него из рук. Ни один из мужчин больше не занимается ею, она благополучно доплывает до лестницы и поднимается наверх.

Человек в пижаме, не в силах сдержаться, бьет ученого по лицу.

Ученый чувствует боль во рту. Он проводит языком по одному из передних зубов и устанавливает, что тот шатается. Это искусственный зуб, соединенный винтом с корнем трудолюбивыми стараниями пражского дантиста, который вставил ему вокруг этого и другие искусственные зубы, старательно объяснив, что центральный зуб — основа всей конструкции и что, если он пострадает, ученому придется вставлять искусственную челюсть, чего тот боится как огня. Ученый ощупывает языком пострадавший зуб и постепенно бледнеет, сперва от страха, потом от ярости. Перед ним мгновенно возникает вся его жизнь, в который раз за день слезы застилают его глаза; да, он плачет, и из глубины его слез всплывает новая мысль: он все потерял, у него остались только мускулы, но что в них проку? Подобно могучей пружине, этот вопрос приводит в движение его руку, наносящую чудовищной силы пощечину, непомерную, как ужас перед искусственной челюстью, как полувековой сексуальный разгул на кромках всех французских бассейнов. Человек в пижаме уходит под воду.

Его падение было столь быстрым и безукоризненным, что чешскому ученому кажется, будто он убил его; после минутного колебания он наклоняется, вытаскивает его из воды, слегка шлепает по лицу; человек раскрывает глаза, его отсутствующий взгляд останавливается на бесформенном видении, потом он вырывается и плывет к лестнице, где его ждет любовница.

## 40

Сидя на краю бассейна, она внимательно следила за человеком в пижаме, за его борьбой и падением. Когда он выполз на выстланный плиткой борт бассейна, она поднимается и идет к лестнице, не оборачиваясь, но и не торопясь, так, чтобы он мог поспеть за нею. Ни слова не говоря, мокрые с головы до ног, они пересекают холл (давно уже опустевший), сворачивают в коридор, добираются до своего номера. Они промокли до нитки, они дрожат от холода, им нужно согреться.

А потом?

Что значит — потом? Сейчас они займутся любовью, что им еще остается? Этой ночью они будут вести себя тише воды, ниже травы, только она будет слегка

постанывать, словно кто-то разобидел ее. Таким образом, все будет иметь продолжение, и пьеса, которую они только что разыграли в первый раз этим вечером, будет повторена в ближайшие дни и недели. Чтобы доказать, что она выше всякой пошлости, выше заурядного мира, который ее окружает, она снова вынудит его стать на колени, она будет рыдать и винить его во всем, в результате чего еще более обозлится, станет наставлять ему рога, бахвалиться своей неверностью; станет мучить его, а он начнет артачиться, грубить, угрожать, решится на какую-нибудь другую выходку, разобьет, например, вазу, выкрикнет ей в лицо несколько гнусных оскорблений, она снова притворится, будто ей страшно, обвинит его в том, что он насильник и агрессор, и тогда он вновь упадет на колени, расплачется, признает свою вину, потом она позволит ему переспать с ней, и так далее, и так далее — на целые недели, месяцы, годы, на целую вечность.

## 41

А что же чешский ученый? Приложив язык к шатающемуся зубу, он говорит себе: вот и все, что осталось от твоей жизни: разбитый зуб и панический страх перед тем, что придется вставлять искусственную челюсть, — и больше ничего? Больше ничего. Ровным счетом. В порыве внезапного озарения все его прошлое предстает перед ним не как полоса героических деяний, богатых драматическими и единственными в своем роде событиями, а как жалкая песчинка в смутном ворохе случайных фактов, взбудораживших планету и унесшихся куда-то с такой быстротой, что невозможно было их как следует рассмотреть и осмыслить. Так что Берк, быть может, совершенно прав, принимая его за венгра или поляка, да что там говорить, возможно, он и в самом деле венгр, поляк, не исключено, что и турок, русский или ребенок, умирающий в Сомали. Когда все несется с такой быстротой, никто не может быть уверен ни в чем, ровным счетом ни в чем, даже в самом себе.

Воскрешая в памяти ночь госпожи де Т., я вспомнил известное уравнение, приводимое на первых же страницах учебника экзистенциальной математики: степень скорости прямо пропорциональна интенсивности забвения. Из этого уравнения можно вывести различные следствия, например, такое: наша эпоха отдалась демону скорости и по этой причине, не в последнюю очередь, так легко позабыла самое себя. Но мне хотелось бы перевернуть это утверждение с ног на голову и сказать: нашу эпоху обуяла страсть к забвению, и, чтобы удовлетворить эту страсть, она отдалась демону скорости; она все убыстряет свой ход, ибо хочет внушить нам, что она не нуждается в том, чтобы мы о ней вспоминали; что она устала от самой себя, опротивела самой себе; что она хочет задуть крохотный трепещущий огонек памяти.

Дорогой мой соотечественник и друг, знаменитый открыватель musca pragensis, героический строительный рабочий, я не хочу больше страдать, видя тебя торчащим в воде. Так ты можешь подхватить смертельную простуду. Друг! Брат! Не терзай себя. Выходи. Отправляйся спать. Радуйся тому, что ты всеми забыт. Закутайся в шаль всеобщего сладострастного беспамятства. Не думай о смехе, причинившем тебе боль; он канул в прошлое, этот смех, точно так же, как канули в прошлое годы, проведенные тобой на стройке, как твоя слава гонимого борца за свободу. Замок спокоен, отвори окно — и запах цветущих деревьев наполнит твою комнату. Вдохни его. Это трехсотлетние каштаны. Их шелест слышали мадам де Т. и ее кавалер, когда предавались любви в павильоне, который тогда был еще виден из твоего окна, но ты — увы! — уже не увидишь его, потому что он был разрушен лет пятнадцать спустя, во время революции 1789 года, и от него осталось только несколько страниц в новелле Вивана Денона, которую ты никогда не читал и, скорее всего, никогда не прочтешь.

## 42

Венсан так и не нашел свои трусы, он натянул штаны и рубашку на мокрое тело и пустился бежать вслед за Юлией. Она была слишком проворна, а он чересчур медлителен. Он обежал все коридоры и увидел, что она куда-то испарилась. Не зная, где находится ее номер, он счел свои шансы весьма шаткими, но тем не менее продолжал блуждать по коридорам, надеясь, что какая-нибудь из дверей отворится и голос Юлии окликнет его: «Иди сюда, Венсан, иди сюда». Однако все спали, везде стояла тишина, и все двери были заперты. «Юлия, Юлия», — шептал он, переходя с шепота на обычный голос, с обычного голоса на крик, но ответом ему была только тишина. Юлия не покидала его воображения. Он представлял себе ее лицо, озаренное лунным светом. Представлял себе дырку в ее попке. Ах, черт побери, эта дырка красовалась прямо перед ним, а он оплошал, так жутко оплошал! Не коснулся ее и даже толком не рассмотрел. Этот роковой образ снова у него перед глазами, и он чувствует, что его бедный член пробуждается, поднимается, восстает — да еще как: бесполезно, безрассудно и непомерно.

Вернувшись к себе в номер, он рухнул в кресло, сознавая, что с ног до головы охвачен страстью к Юлии. Он готов был сделать что угодно, чтобы вновь обрести ее, но делать ему было нечего. Завтра утром она явится позавтракать в столовую, но он-то — увы! — уже будет в своем парижском кабинете. Он не знает ни ее адреса, ни ее фамилии, ни места работы, ровным счетом ничего. Он остался один на один со своим безграничным отчаяньем, материализовавшимся в несообразной величине его члена.

Всего какой-нибудь час назад этот бравый господинчик выказал столько здравого смысла, держал себя в разумных рамках, а в своей достопамятной речи сумел оправдать это поведение с помощью доводов, которые произвели на всех нас самое глубокое впечатление; теперь же я сильно сомневаюсь в рассудительности того же самого органа, утратившего на сей раз какие бы то ни было признаки здравого смысла; не заручившись никаким серьезным оправданием, он восстал против всей вселенной, подобно Девятой симфонии Бетховена, которая, лицом к лицу со скорбным человечеством, горланит свой гимн радости.

## 43

Вера снова просыпается.

— Зачем ты врубил радио на всю катушку? Ты разбудил меня.

— Я не слушаю радио. У нас тихо, как никогда.

— Нет, ты слушал радио, и это некрасиво с твоей стороны. Я же спала.

— Клянусь тебе!

— А потом, как ты только можешь слушать этот дурацкий гимн радости?

— Прости меня. Во всем снова повинно мое воображение.

— При чем тут твое воображение? Разве ты написал Девятую симфонию? Ты что, принимаешь себя за Бетховена?

— Нет, я совсем не то хотел сказать.

— Никогда еще эта симфония не казалась мне такой невыносимой, такой неуместной, по-мальчишески напыщенной, такой глупой, такой наивно-вульгарной. Я так больше не могу. Чаша моего терпения переполнилась. Я не хочу больше ни минуты оставаться в этом заколдованном замке. Прошу тебя, давай уедем. Впрочем, заря уже занимается.

И она встает с постели.

## 44

Раннее утро. Я думаю о финальной сцене новеллы Вивана Денона. Ночь любви, проведенная в тайном кабинете замка, завершилась появлением горничной,

конфидентки Графини, возвестившей любовникам о наступлении утра. Кавалер поспешно одевается, выходит, но запутывается в коридорах замка. Опасаясь быть обнаруженным, он отправляется в парк, делая вид, что хорошо выспался, но, рано проснувшись, решил прогуляться. Голова у него еще тяжелая, он пытается понять смысл своего ночного приключения: неужели мадам де Т. порвала со своим любовником Маркизом? или ждет повода для разрыва? или она только хотела его наказать? каким будет следствие ночи, которая только завершилась?

Погрузившись в эти вопросы, он внезапно видит перед собой Маркиза, любовника мадам де Т. Он только что прибыл и бросается к кавалеру.

— Как все прошло? — с нетерпением спрашивает он у него.

Последовавший вслед за тем диалог наконец-то открывает глаза кавалеру на суть его приключения: оно должно было отвлечь внимание мужа на лжелюбовника, роль которого выпало играть ему.

— Не слишком благодарная роль, — соглашается Маркиз, — скорее смехотворная. — И, как бы желая отблагодарить кавалера за его жертву, он делает ему несколько признаний: мадам де Т. — женщина восхитительная и беспримерно верная; у нее одна лишь слабость: телесная холодность.

Они вместе возвращаются в замок, чтобы пожелать мужу доброго утра. Тот приветливо говорит с Маркизом, но, когда очередь доходит до кавалера, обращается к нему неприязненно, советуя как можно скорее покинуть замок, после чего любезный Маркиз предлагает молодому человеку свою карету.

Потом Маркиз и кавалер наносят визит мадам де Т. Под конец разговора она улучает миг, чтобы шепнуть кавалеру несколько ласковых слов; вот эти прощальные фразы, как они переданы в новелле:

— Теперь вас зовет ваша любовь; ваша возлюбленная, без сомнения, достойна ее. Прощайте же еще раз. Вы очаровательны... Не пытайтесь поссорить меня с Графиней...

«Не пытайтесь поссорить меня с Графиней» — таковы были последние слова мадам де Т., обращенные к любовнику. Затем следуют последние слова новеллы: «Я сел в ожидавший меня экипаж. Я пытался отыскать смысл всего этого приключения, но... мне не удалось его найти».

Однако смысл в нем есть: его воплощает в себе мадам де Т.: она солгала мужу, солгала своему любовнику Маркизу, солгала юному кавалеру. В этом она представляется истинной ученицей Эпикура. Любезная подруга наслаждений. Нежная лгунья-покровительница. Хранительница счастья.

## 45

Новелла рассказана кавалером от первого лица. Он ничего не знает о том, что в самом деле думает мадам де Т., и явно стесняется, говоря о собственных чувствах и мыслях. Внутренний мир обоих персонажей остается скрытым или полускрытым.

Когда ранним утром Маркиз говорит о холодности своей любовницы, кавалер мог бы исподтишка рассмеяться, ибо она только что доказала нечто противоположное. Но, не считая этой уверенности, он ничем больше не располагает. Как смотреть на то, что мадам де Т. переспала с ним: было ли это для нее частью повседневной рутины или редкостным, чуть ли не единственным приключением? Было ли ее сердце тронуто или осталось равнодушным? Пробудила ли в ней ночь любви ревность к Графине? Были ли искренними ее последние слова, обращенные к кавалеру, или их продиктовала ей простая необходимость безопасности? Поверг ли ее в грусть отъезд кавалера или оставил безучастной?

А что касается его самого: когда ранним утром Маркиз обратился к нему с насмешливым вопросом, он сумел на него ответить и остаться хозяином положе-

ния. Но что кавалер чувствовал на самом деле? И каковы были его чувства в тот момент, когда он покидал замок? О чем он думал? Об испытанном им наслаждении или о своей смехотворной славе чересчур покладистого юнца? Чувствовал ли он себя победителем или побежденным? Счастливым или несчастным?

Иначе говоря: можно ли жить среди наслаждений и ради наслаждений и при этом быть счастливым? Достижим ли идеал гедонизма? Существует ли надежда на это? Или хотя бы слабый проблеск такой надежды?

## 46

Он устал до смерти. Ему хочется рухнуть на постель и как следует выспаться, но он боится, что его не разбудят вовремя. Он должен, самое позднее, отбыть через час. Сидя в кресле, он нахлобучил на голову шлем мотоциклиста, думая, что его тяжесть не даст ему забыться. Но сидеть в шлеме на голове и не иметь возможности заснуть — это же полная бессмыслица. Он встает, решив трогаться.

Неминуемость отъезда навела его на мысли о Понтевене. Ах, уж этот Понтевен! Непременно начнет мучить его расспросами. Что бы ему рассказать? Если поведать обо всем, что произошло на самом деле, это наверняка позабавит и его, и всю его компанию. Всегда забавно, когда рассказчик играет комическую роль в своей собственной истории. Никто, впрочем, не умеет делать это лучше, чем сам Понтевен. Например, когда он описывает свой опыт с машинисткой, которую он за волосы потащил в постель, приняв за другую. Но внимание! Понтевен хитер. Все считают, что его комический рассказ таит в себе истину куда более лестную. Слушатели вожделеют к его маленькой подружке, требующей от него жестокости, и завистливо воображают хорошенькую машинистку, с которой их божество вытворяет все что хочет. А если он, Венсан, примется рассказывать историю о притворном совокуплении на краю бассейна, все ему поверят и поднимут на смех за его оплошность.

Он расхаживает взад-вперед по своему номеру, пытаясь хоть как-то подправить свою историю, переделать ее, добавить к ней кое-какие штрихи. Первым делом надо превратить притворное совокупление в настоящее. Он представил себе людей, спускающихся к бассейну, они удивлены и возбуждены их любовными объятиями; они торопливо раздеваются; одни только глазеют на них, другие пытаются им подражать, и когда Венсан и Юлия видят вокруг себя эту великолепную групповуху, находящуюся в самом разгаре, со всеми ее утонченными мизансценами, они встают, смотрят еще несколько секунд на судорожно дергающиеся парочки, а потом, словно демиурги, только что сотворившие новый мир, удаляются. Они удаляются тем же манером, как и встретились, каждый в свою сторону, удаляются, чтобы никогда не увидеться больше.

Но едва ужасные последние слова «чтобы никогда не увидеться больше» прозвучали в голове Венсана, как его мужественный молодчик пробудился, и Венсану захотелось как следует трахнуться головой об стенку.

И вот что самое забавное: в то время как он воображал сцену оргии, его нездоровое возбуждение ослабело, а стоило ему снова вспомнить о Юлии, настоящей, живой, но отсутствующей, как он снова возбуждался до умопомешательства. Ему, стало быть, оставалось только цепляться за свою выдуманную историю оргии, он сначала воображал ее, а потом вновь и вновь рассказывал сам себе: они занимаются любовью, со всех сторон сбегаются парочки, глазеют на них, раздеваются, и вскоре вокруг бассейна начинает бушевать неистовая групповуха. Наконец, после многих репетиций этого маленького порнографического фильма, он чувствует себя лучше, его член становится более рассудительным, почти спокойным.

Венсан представляет себе «Гасконское кафе», своих дружков, внимающих его рассказу. Машу скалится в обольстительной идиотской улыбке, Гужар вставляет

свои ученые замечания. В заключение он скажет им: «Друзья мои, я трахался за всех вас, все ваши причиндалы играли свою роль на этом великолепном газоне. Я был вашим уполномоченным, вашим послом, я был вашим депутатом-трахальщиком, вашим взятым напрокат членом, вашим коллективным кием!»

Он расхаживает по номеру и без конца громко повторяет последнюю фразу. Коллективный кий, что за блистательная находка! Потом (мучительное возбуждение уже полностью исчезло) он хватает свой рюкзак и выходит.

## 47

Вера отправилась оплачивать счета, а я с небольшим чемоданчиком в руке спустился к нашей машине, стоящей во дворе. Сожалея, что вульгарная Девятая симфония не дала моей жене выспаться и поторопила нас с отъездом из этого места, где я чувствовал себя так хорошо, я напоследок осматриваюсь вокруг с некоторой ностальгией. Подъезд замка. Именно к нему вышел вежливый и чопорный муж мадам де Т., чтобы принять свою супругу в обществе молодого кавалера, когда карета остановилась здесь в наступающих сумерках. Именно из этого подъезда десятью часами позже вышел кавалер, теперь уже в одиночку, без какого-либо сопровождения. После того как дверь апартаментов госпожи де Т. захлопнулась за ним, он услышал смех Маркиза, к которому скоро присоединился другой смех, женский. Он на секунду замедлил шаги: чему они смеются? насмехаются над ним? Он не хочет вслушиваться и, не мешкая, направляется к выходу; однако в его душе продолжает звучать этот смех; он никак не может от него избавиться, да так никогда и не избавился. Ему все вспоминается фраза Маркиза: «Стало быть, ты не чувствуешь всей комичности своей роли?» Когда, ранним утром, Маркиз задал ему этот ехидный вопрос, он и бровью не повел. Он знал, что Маркиз — рогоносец, и с радостью повторял себе, что госпожа де Т. либо собирается покинуть Маркиза, и тогда он непременно увидит ее вновь, либо она хочет тому за что-то отомстить, и свидание с ней остается вполне вероятным (ибо сегодняшняя месть ведет за собою завтрашнюю). Но так он мог думать еще час назад. После заключительных слов мадам де Т. все стало ясно: ночь останется без последствий. Никакого завтра.

Он выходит из замка в холодное утреннее одиночество; говорит себе, что от только что пережитой ночи ему не остается ничего, кроме этого смеха: потешная история начнет распространяться, он станет комическим персонажем. Достоверно известно, что ни одна женщина не пожелает связываться со всеобщим посмешищем. Не спросив его согласия, на голову ему напялили шутовской колпак, а он не чувствует себя достаточно сильным, чтобы носить такой головной убор. Он слышит внутренний голос, подстрекающий его к бунту, призывающий во всеуслышание поведать всему свету о том, что с ним приключилось.

Но сознает, что это ему не под силу. Прослыть грубияном еще хуже, чем посмешищем. Он не может предать мадам де Т. И никогда не предаст ее.

## 48

Венсан выходит из замка в другую дверь, более неприметную, и оказывается во дворе. Он все повторяет про себя историю с пьяной оргией возле бассейна, но не ради ее успокоительного эффекта (все его возбуждение как рукой сняло), а для того, чтобы заглушить невыносимое, душераздирающее воспоминание о Юлии. Он знает, что только выдуманная им история поможет ему забыть реальное прошлое. Ему хочется тут же и во весь голос рассказать эту новую историю, подкрепив ее торжественными звуками фанфар и труб, которые сведут к нулю и сделают как бы несуществовавшим его жалкое поддельное совокупление, из-за которого он потерял Юлию.

«Я был коллективным кием», — повторяет он и слышит в ответ сочувственный смех Понтевена, видит перед собой обольстительную ухмылку Машу, говорящего ему: «Ты у нас теперь коллективный кий, так тебя и будут звать: Коллективный Кий». Эта идея приходится ему по душе, и он улыбается.

Направляясь к своему мотоциклу, стоящему в другом конце двора, он замечает человека чуть моложе себя, выряженного в старинный костюм и идущего ему навстречу. Венсан таращит на него глаза. До какой же степени он обалдел после бессонной ночи: он не в состоянии даже разумно объяснить появление этого видения. Может, это актер в историческом костюме, имеющий какое-то отношение к той доброй женщине с телевидения? Уж не снимали ли они вчера в замке рекламный ролик на историческую тему? Но когда их глаза встречаются, он видит во взгляде молодого человека столь искреннее удивление, какого не мог бы изобразить самый опытный талантливый актер.



Юный кавалер смотрит на незнакомца. Особое его внимание привлекает головной убор. В таких шлемах два-три века назад рыцари отправлялись на войну. Но не менее удивительной, чем шлем, кажется ему неприглядная одежда молодого человека. Длинные, широкие, бесформенные штаны, которые могли носить разве что бедные крестьяне. Или, может быть, монахи.

Он чувствует себя усталым, совершенно вымотавшимся, ему недалеко до обморока. Быть может, он спит, быть может, грезит, быть может, бредит. Наконец человек останавливается в двух шагах от него и произносит фразу, которая лишь увеличивает его недоумение:

— Слушай, а ты случаем не из восемнадцатого века?

Вопрос курьезен, абсурден, но тон, которым он был произнесен, еще забавней: совершенно незнакомая интонация, как будто он слышит посланца из какого-то неведомого королевства, учившего французский язык по книгам вдали от Франции. Эта интонация, это невозможное произношение убеждают кавалера, что его собеседник и впрямь мог явиться из другого времени.

— Да, а ты из какого? — спрашивает он.

— Я-то? Из двадцатого, — отвечает тот и уточняет: — Из конца двадцатого века. Я провел сегодня изумительную ночь.

Эта фраза поражает кавалера.

— Я тоже, — говорит он.

Он воображает госпожу де Т. И чувствует, что его внезапно охватывает волна благодарности. Господи Боже, как он мог обращать столько внимания на смех Маркиза? Разве главным событием минувшей ночи не была ее немыслимая красота, которая до сих пор держит его в состоянии такого опьянения, что он видит наяву призраков, путает сны с действительностью, чувствует себя находящимся вне своего времени.

А человек в шлеме все с той же забавной интона́цией повторяет:

— Я провел сегодня совершенно изумительную ночь.

Кавалер кивает головой, как бы говоря: «Да-да, друг, я тебя понимаю. Кто еще мог бы тебя понять?» И думает: обещав держать язык за зубами, он никогда и никому не сможет поведать о том, что же с ним произошло. Но разве откровенность по прошествии двухсот лет остается все той же откровенностью? Ему кажется, что Бог либертинов послал ему этого человека, чтобы он мог излить ему душу, чтобы он мог рассказать правду, не нарушая клятву насчет неразглашения тайны, чтобы он мог перенести один из моментов своей жизни куда-то в будущее, спроецировать его в вечность, преобразить светом славы.

— Так ты и в самом деле из двадцатого века?

— Ну разумеется, старина. Необычайные, скажу я тебе, вещи творятся в этом веке. Царит свобода нравов. Я сам только что пережил, повторяю, необыкновенную ночь.

— Я тоже, — второй раз говорит кавалер и готовится рассказать собеседнику свою историю.

— Удивительную, диковинную, прямо-таки невероятную ночь, — повторяет человек в шлеме, уставившись на него настойчивым взглядом. Кавалер видит в этом взгляде упорное стремление говорить. Это упорство чем-то тревожит его. Он понимает, что эта страсть к словоизлияниям является в то же время неумолимым равнодушием к рассказам другого. Столкнувшись с этой страстью к говорению, кавалер разом теряет всякое желание беседовать о чем бы то ни было и вообще не видит более причины для продолжения встречи.

На него накатывается новая волна усталости. Он растирает лицо рукой и чувствует запах любви, оставленный мадам де Т. на его пальцах. Этот запах снова вызывает у него прилив ностальгии, он хотел бы оказаться один в карете, которая неспешно, убаюкивая, доставит его в Париж.

## 50

Человек в старинном костюме кажется Венсану совсем молодым и, стало быть, почти обязанным выслушивать откровения более взрослых особ. Когда Венсан дважды сказал ему: «Я провел изумительную ночь», а его собеседник отозвался: «Я тоже», ему показалось — на его лице промелькнуло любопытство, но затем совершенно необъяснимым образом оно погасло, притушенное почти высокомерным равнодушием. Дружеская атмосфера, благоприятствующая откровениям, длилась от силы минуту, а вслед за тем рассеялась.

Он смотрит на костюм молодого человека с раздражением. Да кто он в конце концов, этот клоун? Башмаки с серебряными пряжками, белые панталоны в обтяжку и все эти неописуемые жабо, бархотки и кружева, что покрывают и украшают его грудь. Он берет двумя пальцами кончик ленты, обмотанной вокруг шеи кавалера, и разглядывает ее с улыбкой, выражающей пародийное восхищение.

Фамильярность этого жеста привела человека в старинном костюме в ярость. Лицо его скривилось от ненависти. Он машет правой рукой, как бы желая влепить пощечину этому нахалу. Венсан выпускает ленту и отступает на шаг. Бросив на него взгляд, полный презрения, кавалер поворачивается и шагает к карете. Презрение, которым он окатил Венсана, снова повергло того в пучину замешательства. Внезапно он чувствует себя совсем слабым. Он понимает, что никому не станет распространяться о происшествии на газоне. У него не хватит сил солгать. Он слишком грустен для вранья. У него только одно желание: поскорее забыть эту испорченную ночь, стереть ее, словно резинкой с бумаги, изгладить из памяти, уничтожить — и в этот самый миг его захлестывает ненасытная жажда скорости.

Он решительным шагом направляется к своему мотоциклу, он вожделеет к нему, он полон любви к этой машине, оседлав которую забудет все, даже самого себя.

## 51

Вера только что устроилась в машине рядом со мной.

— Посмотри-ка вон туда, — говорю ей я.

— Куда?

— Да вот туда. Это же Венсан. Ты его не узнаешь?

— Венсан? Это тот, что садится на мотоцикл?

— Да. Я боюсь, как бы он не газанул на всю катушку. Мне в самом деле страшно за него.

— Он любит быструю езду? И он тоже?

— Не всегда. Но сегодня он будет мчаться как сумасшедший.

— Этот замок заколдован. Он приносит всем только несчастье. Ну, поехали, прошу тебя!

— Погоди секунду.

Я хочу еще разок полюбоваться моим кавалером, неспешно направляющимся к карете. Я хочу насладиться ритмом его шагов: чем ближе он к карете, тем медленнее они становятся. В этой неспешности я угадываю признак счастья.

Кучер приветствует его, он останавливается, нюхает свои пальцы, потом поднимается, усаживается, забивается в уголок, блаженно вытягивает ноги, экипаж трогается. Скоро он задремлет, потом проснется и в течение всего этого пути постарается держаться как можно ближе к ночи, которая неумолимо тает в свете дня.

Никакого завтра.

Никаких слушателей.

Я прошу тебя, друг, будь счастлив. У меня смутное впечатление, что в твоей способности быть счастливым единственная наша надежда.

Карета исчезает в тумане, и я трогаюсь с места.

# ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ

## *Из книги «Последний раз»*

*Перевод с польского ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО*

***

Когда возвращаюсь домой
из поездки
из больницы
и вижу передвинутый шкаф
выровненные на полке книги
в порядке сложенные бумаги
выглядит так
как если бы меня уже не было
и дом это принял к сведению
и жил уже без меня

Тогда у меня возникает
чувство обиды
что он так легко согласился
с тем что меня нету
не подождал чтобы я возвратясь
приветствовал шкаф на прежнем месте
и все привел в привычный беспорядок

Но он прав
что примеривается

### *Автоответчик*

Автоответчик
отвечает голосом кого-то кому звоню

Здоровается любезно
просит оставить сообщенье
заранее благодарит

Но я не умею
с ним разговаривать
взволнованный не расскажу новость

© Wiktor Woroszylski, 1995

не признаюсь в любви
не пожалуюсь
не обругаю

Я знаю чей он
этот фальшивый голос:
это убийца
моего друга
врага
любовницы

Выпустил из них кровь
влил в жилы свою леденящую сущность
вставил в гортань кассету

Уже никогда никому из них не позвоню
боюсь
что поздороваются со мною голосом
двойника-убийцы

## *Экспонат в музее литературы*

Они все знали
о Мандельштаме
раздетом донага

На выцветших страницах дела
волосатые груди
и срам

Как бы пришпилили булавкой
зябкость его и стыд
трепыханием мотылька

Теперь они уходят
в тяжелых сапогах и плащах
в черную бездну века

А он стоит
голым худым плечом подпирает
рушащийся мир

*Ленинград, сентябрь 1990 г.*

## *Мое новое занятие*

Входят
с аппаратурой
и я начинаю накручивать
на катушку в их черный ящик

О Тадеуше
О Ежи[1]
еще о ком-то
вспоминаю
защищаю без большой надежды

Какой-нибудь забавный случай —
предлагает режиссер напоследок
хотя наиграл уже этой жизни
на полный метраж
только резать да клеить

Отключают контакт
закрывают ящик
выходят

В следующий раз
соблазняет режиссер прощаясь
придем чтобы о вас

Это уж не со мной возражаю
это уж не со мной

## *Наконец что-то повеселее*

Старик написал бы ты что-нибудь повеселее
я ж тебя знаю
ты умеешь радоваться и смеяться
почему же стихи твои вечно
с мрачной миной
мол не до смеха

Написал бы ты в самом деле
говорю я себе с упреком
Ты же
мог бы
тающей на щеке первой снежинкой
глупо разинутой пастью старого пса
тем что ты жив
что не болит
и разными забавными пустяками

Помнишь
минуту счастья
когда в новой камере в Бялоленке
в окно без козырька
хлынула волна лазури
зыбля луч златочешуйный

И другую
в городе над водой текущей
в центре необъявленной войны
минуту ироничного покоя
под парусом утреннего ветра

[1] Тадеуш — Боровский, Ежи — Анджеевский, польские писатели. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Радость
прикосновенья
мелодии
глотка освежающего пересохшее горло
и что несколько слов написал ты снова
неважно что горьких

Ты ведь знаешь уже и то
что даже в исчезании есть сладость
в безвозвратности смысл
есть утешение в том что все имеет конец

Ну не хмурься старик
позволь им улыбнуться
вспомни у тебя было такое
чувство юмора

Хорошо (обещаю)
постараюсь
может быть завтра
может быть еще сегодня
мне удастся наверно удастся

## *А если даже*

А если даже —
у меня к Нему нет претензий

Он ведет себя безупречно

Столько раз не воспользовался случаем мне это сделать

Имел в своем распоряжении
сквозняки инфекции бомбы
закрытые на засов вагоны на восток и на запад

Имел солдата
на мосту над Неманом побелевшим
и неизвестных субъектов в жолибужском сквере

Путешествия по морю переход через улицу

Глубокий наркоз и обычный сон

Отчаянье неосторожность случайность

Не спешил дал мне шанс
столько времени чтобы любить и не в должной мере любить
двигаться дышать застывать не дыша
строгать доски писать в рифму
мыслить о непостижимом и
увидеть Неаполь
Столько времени и сверх того
чтобы все успеть пропустить сквозь пальцы
сквозь глаза сквозь сердце

Был для меня не строгим отцом но
дядюшкой потворствующим и щедрым

Должен же я ему в конце концов
надоесть
в какой-то день в какую-то минуту

## *Путешествия и приключения*

Столько восторгов приливов отливов

Вспененное время в безбрежном *не здесь*

Хватающий за колени калека Бейрут

Хватающий за сердце сладкий Сухуми

Хватающая за горло колючая Караганда

Между Сциллой и Харибдой
в баре качающегося корабля «Трансильвания»
спутник лечит мою тошноту коньяком

В огромной электронной игрушке франкфуртского аэродрома
я пересаживаюсь из несмелого пассажира economy class[1]
во взрывающегося смехом по-испански
вставляющего косящий глаз в аппарат «Canon»
покупающего уверенность в себе в зоне свободной торговли
подглядывателя и хвалителя клонящегося к концу века

Пласты цивилизации:
крестьяне из-под Житомира
кавказские горцы балты военнопленные
проваливающиеся сквозь землю нескончаемые шествия народов

С молитвенным пеньем вторгается в стены мечети собор Кордовы

В Неаполе негодяй на мотоцикле
вырывает у дамы сумочку толстый штатский в полиции
показывает гору сумочек *суций Освенцим*

В сером дожде под Ватерлоо на поле разгрома и славы
простуженный пошмыгиваю носом

В гостиничке на рю де Соммерар запах из умывальника
и отчаянье эмигранта которым я не являюсь

На Альт Моабит 21/22 пьяный прощаюсь с другом
на минутку навсегда

Земля Европы и Азии горит под ногами
не чувствую ее жара

И не знаю чей голос не позволяет мне обернуться
когда покидаю Дубровник

---

[1] Самый дешевый класс (*англ.*).

## *Осень в Константине*[1]

И снова лес
пень знакомый пестун
к бурой груди прижимающий
зеленого сосунка

Здравствуй и прощай
мой многократный след
на усыпанной хвоей тропинке

Встречаю приветом
все что звучно и немо́
то что идет за мною
и заступает дорогу

Скрипку Ванды[2]
полную звучаний недопетых
такая щедрость и гордость
вкладывает в другие руки

Дыханье Клюхи
на бессильных моих коленях
ее тяжелая голова
с мольбой в глазах

Под открытым небом
Казик Сташевский
поет отцовские песни
отца не помнит я помню

А слушатели молодые
обнявшись танцуют
на каменных плитах

Приветствую вас встречи и прощанья
облако шум вершин хворост хрусткий

Глаза остерегающие губы
не смотри на меня такими глазами

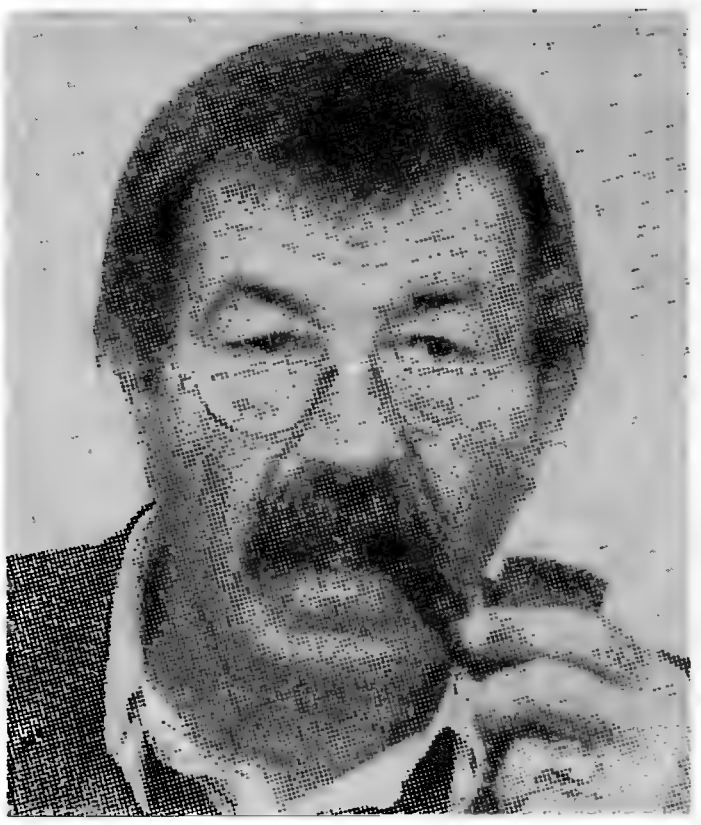
Запоздалая мудрость
глупость сопровождавшая верно

Мир ты мой что не сбылся

Это я
дерево здешнего леса
капля его невысказанной речи
стекающая по коре

■

[1] Константин — курортно-санаторный городок близ Варшавы.
[2] Ванда Вилкомирская — композитор и скрипачка.



# ГЮНТЕР ГРАСС
# *Собачьи годы*

РОМАН

*Перевод с немецкого и вступление М. РУДНИЦКОГО*

## Жизнь, оказавшаяся книгой

Перед читателем «ИЛ» еще один роман Гюнтера Грасса, последняя книга его «данцигской трилогии», снискавшей автору в начале шестидесятых годов славу почти всемирную. Почти, потому что через цензурно-идеологические кордоны многих стран того лагеря, который гордо звался «социалистическим», произведения Грасса и в ту пору, и много «застойных» лет спустя проникали чуть ли не контрабандой: органы, важно именовавшие себя «компетентными», редко и с крайней неохотой давали добро на их публикацию — так, из всей «данцигской трилогии» нам в свое время милостиво разрешили прочесть, да и то с целомудренными изъятиями, лишь повесть «Кошки-мышки». Сейчас, когда нравы изменились и между нами и большой литературой ничего, кроме личных и общественных экономических катастроф, не стоит, особой признательности заслуживает харьковское издательство «Фолио», мужественно взявшее на себя благородную миссию издания четырехтомного собрания сочинений Грасса, составленного Е.А.Кацевой.

Оговоримся сразу — и эта журнальная публикация, так же как публикация романа «Жестяной барабан» (см. «ИЛ», 1995, № 11), не будет полной. Причиной тому, во-первых и в-главных, огромный объем произведения, а во-вторых, достаточно самостоятельный характер отдельных его частей: роман Грасса художественно организован как конгломерат трех автономных книг, написанных тремя разными, хотя и, понятное дело, фиктивными рассказчиками. В третьей книге, «Матерниады», озаглавленной так по имени одного из главных героев, Вальтера Матерна, перед нами во всеоружии своего сатирического дара предстает тот Грасс — язвительный критик послевоенной западногерманской повседневности, которого наш читатель пусть неполно, но все-таки уже знает по романам «Под местным наркозом» (1969) и «Из дневника улитки» (1972). Это важная часть романа и важный аспект творчества писателя, важный, но не определяющий: рискну сказать, что в романе «Собачьи годы» Грасс во всем размахе и азарте своего писательского таланта раскрылся именно в первых двух частях.

Есть книги, которым уже в самый момент их рождения суждена долгая жизнь — столь очевидны и бесспорны их незаурядность и художественная сила. К таковым, несомненно, наряду с «Жестяным барабаном», принадлежат и «Собачьи годы» Гюнтера Грасса. Мощь художественного претворения действительности здесь явлена такая, что только очень идеологически предвзятый или очень уж эстетически подслеповатый взгляд способен не распознать масштабы этого дерзания. Вот почему, быть может, не стоит привычно сетовать на то, что наше знакомство с еще одним выдающимся явлением европейского искусства XX века — а первые романы Грасса, безусловно, заслуживают именно такой дефиниции — происходит с опозданием на три с лишним десятилетия. По гамбургскому счету, который в данном случае вполне уместен, не такой уж это и большой срок, а если оглянуться на отечественную современность, то впору подумать, что опоздание в тридцать три года подстроено нарочно, что оно и не опоздание вовсе, а, напротив, точно выбранный и терпеливо выжданный исторический миг. Кстати, сам Грасс, большой любитель достопамятных дат и магии чисел, наверняка поигрался бы с числом 33, созвучным дате 1933 и кратным «нехорошему», как сказано в его романе, числу одиннадцать.

Полагаю, что вживание в многослойный и сложносочиненный, одновременно и гротескно страстный, и вдохновенно поэтичный, то сказочно-фантастический, то беспощадно жестокий мир грассовского романа дастся нашему читателю, как далось и автору этих строк, без особого труда: слишком многое в этих прихотливых повествовательных узорах, в этих хитросплетениях образов и судеб покажется, да и окажется узнаваемым, понятным, до боли знакомым, а то и постыдно родственным. Сила художественного обобщения здесь такова, что выплескивается за берега национальной исторической судьбы, творя картины многозначного, универсального, общечеловеческого смысла и безжалостно ставя нас, читателей,

перед вопросами, ответы на которые, боюсь, все еще не найдены и найдены будут не скоро. Грасс в этой своей книге не столько анализирует — это в более поздних его вещах проявляется порой тяга к ироничной рассудительности, — сколько яростно и неистово, с бесстрашием и одержимостью, в которых узнается подвижнический порыв Достоевского, снова и снова выпихивает повествование к «последним вопросам» бытия, живописуя историю болезни общества, пораженного геном коллективного безумия.

Проще всего было бы в этом месте, не обинуясь, поименовать коллективное безумие фашизмом, да еще и сопроводить его атрибутивом «германский». Однако иная простота, как известно, хуже воровства, поэтому не будем сами себя обкрадывать. Разумеется, Грасс во всей «данцигской трилогии» отталкивается от своего личного опыта и опыта своего поколения, выросшего в Германии в пору гитлеровского фашизма. На иных страницах романа именно этот личный и глубоко выстраданный опыт окрашивает повествование тонами пронзительной исповедальной искренности. Но Грасс понимает: всякое явление имеет свой исток и свой генезис. Вот почему его роман бессчетными нитями своего сюжета и своей образности уходит в недра времен и в недра человеческой души, и там, и там обнаруживая все более глубокие залегания добра и зла, красоты и уродства, разума и первобытного звериного инстинкта, созидания — и разрушения.

В этом смысле совершенно особую роль играет в романе история. Она присутствует тут, можно сказать, постоянно, живьем и во плоти, сообщая людям и зверям — а они в романе участвуют на равных, — событиям и вещам, мыслям, словам и поступкам свой неповседневный контекст. И дело не только в том, что повествование изобилует историческими аллюзиями, непринужденно перескакивая из наполеоновских войн в средневековые крестовые походы, а то и вовсе ныряя в темные пучины мифа. Сами эти аллюзии доказывают нечто очень важное: в извечном противоборстве добра и зла именно ход истории в конечном счете оказывается последним судией, документируя целесообразность мирового развития, осмысленность эволюции, свершающейся наперекор разгулам варварства и кровопролитиям. Вспомним, с какой библейской торжественностью перечисляет Брауксель, летописец первой части, собачьи поколения, и это, конечно, неспроста — в них, в этих собачьих родословных, запечатлено вековечное движение от дикости к культуре: черная псина Сента «не хочет обратно к волкам».

Не хочет «обратно к волкам» и человек или, скажем точнее, как правило, не хочет, поскольку наделен противоядием от дикости — предприимчивостью, стремлением к созиданию, творчеству. Это его неистребимое стремление выражено в романе Грасса по-разному — оно материализовалось в дамбах Вислы, «облагоразумивших» коварную стремнину непокорной реки, и в гордой красе родного Данцига, запечатлелось в аккуратной брусчатке его мостовых и в наименованиях его улиц и площадей, мест и предместий, вобравших в себя века человеческого труда, мирного быта, оседлости. (Очень важно понять и прочувствовать именно этот оттенок в отношении Грасса к своей малой родине, нынешнему Гданьску, не придавая ностальгии писателя какого-то иного, политического смысла, абсолютно ей не свойственного.) Отсюда же интерес Грасса к самым разным видам человеческой деятельности, энциклопедические познания по части ремесел, промыслов и вообще всякого рукотворчества — в миропонимании художника это и есть первооснова гуманизма, его содержательное наполнение. И конечно же, вершиной созидательного начала в человеке оказывается искусство.

Грасс, как известно, не только писатель — в его послужном списке несколько художественных профессий: каменотес и скульптор, джазист и живописец. Он не понаслышке знает театр и балет. Полагаю, именно это разностороннее знание позволило ему внести в великую тему немецкой литературы традицию «романа о художнике», идущую еще от «Вильгельма Мейстера» и от «Генриха фон Офтердингена», свою, совершенно особую ноту. Изобретая для своих персонажей самые невероятные и экзотические художественные занятия — вспомним санитара из «Жестяного барабана», который сооружает свои творения из бечевки, вязальных спиц и дощечек, вспомним барабанные палочки самого Оскара Мацерата, выбивающие по лакированной жести причудливые и жутковатые фантазии, поставим в этот же ряд одного из главных героев романа «Собачьи годы», Эдди Амзеля, мастерящего не что-нибудь, а птичьи пугала, — Грасс методом остранения как бы «вылущивает» саму идею искусства, во всей ее первозданной чистоте, во всем ее бескорыстии, из скорлупы традиционной, привычной, рутинной формы. А такое извлечение, в свою очередь, сдвигает повествование в гротеск, резко сближая мир искусства и фантазии с грубой реальностью, принуждая их как-то соотноситься, конфликтовать друг с другом, вступать в сложные и непредсказуемые взаимодействия.

Нет, ни человеку, ни человечеству не свойственно стремиться «обратно к волкам», но иногда — вот она, главная болевая точка и мучительная загадка грассовского романа, — случаются в природе и истории генетические тупики, аппендиксы эволюции, рецидивы впадения в зверство. Грасс и не делает вид, что ему ведомы причины этой патологии, но как художник он умеет разглядеть ее симптомы. Фашизм в его романе начинается, казалось бы, с мелочей — с детских шалостей, с того, что несколько школьников избивают своего одноклассника, обзывая его к тому же «абрашкой». С поразительной художественной проницательностью романист ставит в один повествовательный ряд историю девочки Туллы, этой маленькой нелюди, и историю воцарения в Германии фашистского режима, причем образ Туллы с первых строк приобретает черты поистине демонические, тогда как приход фашизма показан скорее через быт, во всей повседневной ползучей неприметнос-

ти его эпидемического триумфа. В понимании Грасса фашизм — это не привнесенный извне общественный порядок, основанный на голом насилии, циничной демагогии и лжи, но прежде всего — массовый вывих человеческой природы, состояние души, готовой принять страх, ложь, демагогию, готовой к безропотному подчинению, а то и к фанатическому экстазу коллективного безумства. Роман Грасса напоминает нам: если нация начинает сходить с ума — этому трудно воспрепятствовать.

Впрочем, наивно было бы пытаться свести всю полноту и трепетную подлинность жизни, воплотившейся в этом удивительном романе, к некоему идейному высказыванию. «Собачьи годы» Гюнтера Грасса — это великая книга, в которой, как в жизни, есть место всему — трагическому и смешному, страшному и доброму, прекрасному и безобразному, обыденному и невероятному. В эту книгу не так уж трудно войти, а войдя, уже невозможно оторваться, пока не проживешь ее всю, до последней строчки.

*Памяти Вальтера Хена*

# Книга первая

# УТРЕННИЕ СМЕНЫ

## *Первая утренняя смена*

Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке Водолея? Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда... Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже... а до нее многие суки от многих кобелей... Но должен же кто-то начать — ты или он, вы или я... Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.

Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где тем не менее в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.

Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созваны были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восемьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку, так называемый «стежок». И он, этот стежок, приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.

Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через «кс», как «ксиву», но иногда и через «хс» — Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.

От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским «доминиканским» паводкам. И не приведи Бог, если в дамбе заводились мыши.

Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных «бычков», добытых честным двухнедельным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах — до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми ее тремя устьями, обгорелые спички — это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.

Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккурат против меннонитского кладбища, в восемьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу — в кронах деревьев потом неделями торчали гробы, — он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую «Дамбоспасательную эпистолу», после публикации преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным смотрителям дамб, сельским учителям и меннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, — вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, «запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться».

По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что в свою очередь привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого — не по времени, но по течению — устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль «стежка», между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.

Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: «Висла — это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей», — Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Матерна — ударение на последнем слоге: Матéрн — на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.

А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла, что глазами лупать.

По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает — мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А

еще говорят, кто-то видел плотинного графа — всадника на белом коне. Но страховая компания не желает верить россказням — ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало — из-за мышей — граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных смотрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами, поглотила в Гютланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гютланд — гютландские кровати и гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника, этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями, — поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.

Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом — дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Свянтополк все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Местви́на? Вот одна, босая, бросилась наутек — убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены. Еще один скрежет зубовный — и вот уже дочка князя Кестутиса идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся... когда, однако же, мельница заполыхала изнутри и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь и когда много позже — заходы, закаты — святой Бруно прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, — закаты, заходы, — и Наполеон, до и после, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева, — но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особливо щук — вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, — заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.

## *Вторая утренняя смена*

Вот она, здесь, на столешнице у Брауксля, и перекатывается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами — ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя — Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии — лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится, то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженой макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо — эта привычка у него от бабки, — и ищет камень.

А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами —чтобы ветер заглушить — и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.

Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят — «голыши», и немногие католики тоже говорят «голыши». Грубые меннониты — «голыши». И тонкие меннониты — «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпанагель и майорша фон Анкум — все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады малыш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу...» Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.

Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика — а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло — он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штутхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя — Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навыкате, и выражение в них

несгибаемое, а рука в кармане. Наконец, он соизволяет опустить взгляд чуть пониже — а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы. Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.

Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но когда от Монтау до Кэземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.

Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда — один лишь Брауксель это знает — Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель — тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет — то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набряк-шее тряпье, — вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это — паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, — Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его — а Висла все течет — к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.

## *Третья утренняя смена*

Каждый ребенок от Хильдесхайма до Зарштедта знает, что добывается у Брауксселя в рудниках — тех самых, что пролегли от Зарштедта до Хильдесхайма.

Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погрузившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии «гуляш-мортирами».

А вот опять кошка. Каждый ребенок знает — это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это платяной шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи, — в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо... Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют

на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет умница, умница, умница... Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удается побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и покуда вокруг все течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает — кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами: и в этот быстротекущий, уходящий, уже канувший миг — даже Брауксслю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, — в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пилка и даже шило; а в пазах рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; ножа, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.

## *Четвертая утренняя смена*

Тем временем — ибо пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем», — так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы, — а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.

Тем временем — ибо когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, — так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке,

Амзель отрывает от него взгляд и снова — а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, — снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.

Тем временем — ибо пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду — на руднике Брауксля заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня... Амзелю тогда все же удалось — то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком — вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из виду свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул вглубь.

— Эй, Скрыпун! — кричит Амзель. — Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?

Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.

— Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?

— Но ты не голышом швырнулся.

— А если нет голыша.

— А чем ты швырнулся, коли голыша нет?

— Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.

— Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.

— Этак любой дурак скажет: «Чего же ты Сенту не послал». Попробуй пошли эту тварь, она вон за мышами носится.

— Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?

— Заладил тоже — чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.

— Ты ножиком моим швырнулся.

— Это мой был ножик. Подарок — он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.

— Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.

— Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.

— Может, мне новый подарят на Вознесение.

— А я, может, не хочу новый.

— Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.

— А спорим, что не возьму?

— А спорим, что возьмешь?

— А спорим, что нет?

— А спорим, что да?

И они ударили по рукам — зажигательное стекло против оловянных гусаров, — причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.

Амзель настроен миролюбиво:

— Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай Боже.

Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Го-

воря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу — связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животина. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.

Наконец они тронулись — три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.

## *Пятая утренняя смена*

Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.

Пока что Брауксель нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему креслу, вот уже девять лет не в силах пошевельнуться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.

Верхняя горенка — это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим — на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к креслу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, плативщему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же — получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями», а также еще более вожделенную брабантскую валюту, контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д'Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще Бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.

А когда генерал-губернатор граф Рапп в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет — так называемых «специй» и «двух третей», — горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских «бумаг», счел, что он неплохо обеспечен,

и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, ввернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.

Вообще, католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками окроплялись святой водой и осенялись крестным знамением — роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истово меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особливо с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истовым меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:

Кто крючки да петли носит,
Того Боженька не бросит.
У кого карман да пуговицы,
Тот навек с чертями спутается.

Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молоть свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.

Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.

А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю... Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупать да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возит-

ся на мельнице, а дочь Лорхен Бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок: с этой поры она повсюду — в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи — всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто — пруссаки или русские — загнал его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодицу, делившую с ним одного господина.

## *Шестая утренняя смена*

Итак, давным-давно — Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, — когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, — в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, — сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, — сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного.

Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями: карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки, — все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебелях. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали — блик, блик, блик, — ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды застить солнце четыре раза.

Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген — к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы, — подсолнухи, они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидячей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто.

Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?

Девять лет в верхней горенке.

Сколько-сколько — за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?

Девять лет — свет-тень, свет-тень со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил?

Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.

Да как же такое могло случиться?

Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели — женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.

Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Стина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:

— Не зря я всю жисть думала, что кажной евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.

После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно — за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.

Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить, и не что-нибудь, а даже сына, — бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же несдвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен Матерн — та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, — вместо этого встала между подсолнухами у забора, который новый работник по весне, слава Богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял, и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком, и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее — тихо, если не считать жужжания летней мошкары, — и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке — он как раз приехал молоть — в превосходную пшеничную муку.

Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников

не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана, сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль-Паульчик», снова и снова «Пауль-Паульчик», а тем временем гусь в духовке, без полива, переворотов и прибауток, покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.

— Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь...

Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошкара.

А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода — в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия — огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть под воздействием гари, со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки — это кресло, еще доналеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино бренное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли сеточкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила и в отличие от оного отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой, — сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а, напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно-бело-красных бликах мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг — из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрас-

ную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась как воплощенный образец бабкиных доблестей по лестнице на кухню, ступила, наконец, на ее каменный, посыпанный опилками пол и в тот же миг обеими руками была в духовке, пытаясь заветными, только ей, бабке, известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти — после того как она совсем подгорелое соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула — удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки грозно, яростно и отчетливо прикрикивала:

— Ах ты, шлюха, ах ты, шалава! Где тебя, шлюха, черти носят! Лорхен, шалава! Ну погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты, стерва! Ах ты, шлюха!

И вот она выходит — с тяжелой деревянной поварешкой в руке — из чадной кухни в гудящий жужжанием сад, и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свинских бобов, но не останавливается, и вот она уже возле, вот она уже среди подсолнухов, и уже замахивается правой рукой, и молотит поварешкой что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев, по бедной Лорхен, а заодно и по подсолнухам, но не по хитрому Перкуну, который успевает черной молнией метнуться сквозь шпалеры свинских бобов за забор.

Несмотря на удары, а смотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная Лорхен только повизгивает:

— Ну помоги же, Паульчик, ну помоги же, Пауль! — Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки:

— Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!

## *Седьмая утренняя смена*

Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, — разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы? Треснувший кафель и пожухшие листья? Околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах?

И если Брауксель — вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, — на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины. А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна: все Матерны, особливо же «скрыпучая», скрежещущая зубами ветвь их рода — от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж и то за кузена вышла, и вплоть до младенца Вальтера Матерна, — все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать, почти оперным сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае семнадцатого года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немощи и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый — вышеописанный — фейерверк.

К этому следует добавить вот что: покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревян-

ной поварешки, из Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трех повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как ни подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе — поскольку от гуся отодралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, — он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжирались Ромейкесы и Кабруны, все Мильке и вдова Штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Брауксслю эффектной сцены выхода к гостям расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн; единственная, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст, — это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся Вислы жерди, доски и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье, а сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься.

## *Восьмая утренняя смена*

Много-много лет назад — если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки, — жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении Вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосин и парусина, канистры для питьевой воды и тросы, сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, деготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка — вот чем он торговал, а еще инструментом всех видов, от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе, — столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебедок и тисков. Морские сухари громоздились здесь вперемешку со спасательными жилетами, спасательный круг, целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами; пшеничная водка, любовно именуемая «хлебной», разливалась по стопкам из пузатой, зеленого стекла бутыли в оплетке; ткани на метр и мерный лоскут, но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, подержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но, несмотря на нафталин и деготь, керосин, карбид и шеллак, в лавке Альбрехта Амзеля — солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской, — первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, ибо Альбрехт Амзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы: ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой — копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами, россыпью и в снизках, речными миногами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, — красуясь выжженным на верхней стороне наименованием фирмы: «А.Амзель. Свежая и копченая рыба. Шивенхорст», — доставлялись в Данциг, на Главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки, в просторечии «фомки». С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди — и вот свет из новоготических стрельчатых окон Главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы.

А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь не безразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрехт Амзель

держал своего печника по каминам, благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, внешний вид которых благодаря торчавшим в небо трубам коптилен приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало: то прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины, — и все это под вывеской Альбрехта Амзеля, которого, и не без оснований, называли богачом. Так и говорили: «Амзель-богач» или еще «Амзель-жид». Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой церкви в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лоттхен Тиде, рыжеволосой и склонной к полноте дочери зажиточного крестьянина из Грос-Цюндера. Что примерно должно означать: да как это Альбрехт Амзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кэземарк из Грос-Цюндера не иначе как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию, и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары, — все-таки отдал ему свою дочь Лоттхен в жены.

Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лоттхен за Амзеля-жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато — для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много — Альбрехту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрехт Амзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства.

Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрехт Амзель — неважно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лоттхен Тиде, сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином, — Альбрехт Амзель, предприимчивый основатель атлетического кружка «Бонзак-1905» и ведущий баритон местного церковного хора, дослужился на берегах Соммы и Марны до многажды орденоносца, лейтенанта запаса и сложил голову в девятьсот семнадцатом всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда неподалеку от крепости Верден.

## *Девятая утренняя смена*

Вальтер Матерн, подтолкнутый Овеном, увидел свет в апреле. Мартовские Рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын мельника. И свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и, по тамошнему обычаю, окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой — из Балтийского моря.

Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним наперегонки, сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах — в том, что касается младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать: Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще ни называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус — ибо шахты Браукселя вот уже десять лет не выдают на-гора ни угля, ни руды, ни калийной соли, — наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя.

С младых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугал. И это при том, что против птиц как таковых он ничего не имел; зато уж птицы, сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пугалотворческого духа. Сразу после крестин — колокола еще не успели отзвонить — они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем накрахмаленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно, из года в год аккурат к Рождеству, вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель, в девичестве Тиде, осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу, давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тиде из Грос-Цюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, — позже третий сын и вправду погиб, — тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль Мертвой Вислы: шивенхорстские рыбаки Кристиан Гломме и его жена Марта Гломме, урожденная Лидке; Герберт Кинаст и его жена Иоганна, урожденная Пробст; Карл-Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашел свою смерть на Доггер-банке под флагом кайзеровского военно-морского флота; рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей куттер водил теперь ее брат Якоб Ниленц; а между невестками Эрнста Вильгельма Тиде, которые, щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным свежевычищенным пятном затесался старый пастор Блех — потомок того самого знаменитого дьякона А.-Ф.Блеха, который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой коптильни в Западном Нойфэре, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя пленендорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира из Весслинкена, на целую голову превосходил ростом свою спутницу, майоршу фон Анкум. Поскольку Дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в Кляйн-Цюндере, с начала пятнадцатого года уже не было в живых, Шпонагель подставлял майорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау, и его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау — дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера, она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляла в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых.

По песчаным тропкам, которые лишь приличия ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам-двойкам, а сам старик Тиде — к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему упрямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица Вислы, к которой лишь благодаря впадению Мотлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старика Тиде зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым, и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющий подле нее инвалид дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, как над церковной площадью тучей взмыли в воздух

обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет, — на рыбачьих церквах живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски, веером и поодиночке, наискось и пулей вверх, взлетают в воздух выпи, крачки, чирки. Куда-то разом исчезли все чомги. С крон прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух воронье. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбища и палисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают трясогузки, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится; целые облака воробьев с проводов и из сточных канав; ласточки с амбаров и из-под крыш; словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем, уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие: чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, а уж сороки, сороки!

И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем, пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника — виновника торжества — тревожную тень, полную значения и смысла.

И пять сотен птиц — ибо кто же считает воробьев? — способны, оказывается, привести гостей в замешательство, отчего они, от инвалида учителя Лау до всего клана Тиде, все теснее жмутся друг к дружке и сперва молча, а потом все явственней бормоча и все пугливее поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних, и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август Шпонагель спотыкается о сосновые корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест усмирения стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская фигура майорши и увлекает за собой всех — Гломмов и Киначта с женой, Айке и вдову Кабус, Больхагена и чету Бузениц; даже инвалид Лау и его супруга на сносях, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными; и только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника-младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает и самой последней достигает спасительных повозок-двоек и гордой четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст.

Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стремглав, тронулся восвояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой: то нависала над Бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой, подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону — мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так, отрядами, возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш и кусты сирени, на кроны сосен; но до самого вечера, когда гости, давно уже сыты и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение: ибо пугалотворческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.

## *Десятая утренняя смена*

Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт Амзель, торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стали бы, наверно, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфэре звать его «богатым жидом». А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто дрозд по-голландски? А в средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы? И принесли с собой всякие словечки, имена-фамилии и ветряные мельницы?

После того как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А.Амзель не был евреем — да вот же, достословно утверждал: «Разумеется, никаким жидом Амзель не был», — он теперь с тем же полным правом — ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное — может смело заявить: «Разумеется, Альбрехт Амзель был евреем». Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности, шестнадцатилетним пареньком, вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро по лавкам, покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля, Франкфурта-на-Одере, а потом и Берлина, чтобы четырнадцатью годами позднее, уже обращенным правоверным и зажиточным христианином, добраться — через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау — до устья Вислы. Тому самому «стежку», который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрехт Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло.

Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих жителей был свято убежден, что он, Альбрехт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского; сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту «дятел», а знаменитый путешественник, исследователь Африки, так и вовсе был Нахтигаль, то бишь «соловей», и только Адлер — «орел» — это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзель-дрозд: портновский сын четырнадцать лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом, попутно, но не менее успешно — сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка.

А между тем в году одна тысяча девятьсот третьем некий молодой, но не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер написал книгу. Неповторимое это произведение называлось «Пол и характер», оно было издано в Вене и в Лейпциге и на протяжении шестисот страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в тринадцатой главе сего неповторимого произведения — она называлась «Еврейство» — доказывалось, что, поелику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где, кроме Библии, других книг отродясь не держали.

Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля.

Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант, знай он, что некий господин Пфенниг вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году одна тысяча девятьсот шестом в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера — многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки — и его коллеги Свободы. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о «высокоодаренном юноше», сколь ни осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт: главная идея Вайнингера — догадка о бисексуальности — была не оригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса.

Итак, в полном неведении относительно всего этого, Альбрехт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера (который посредством сноски не преминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства), что у еврея, оказывается, нет души. Еврей не поет. Еврей не занимается спортом. Еврей должен преодолеть в себе свое еврейство... Вот Альбрехт Амзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок «Бонзак-1905», и не только основав, но еще и регулярно, в соответствующем костюме, становясь с сотоварищами в шеренгу, кувыркаясь на поперечных брусьях и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая (опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам) по обе стороны всех трех рукавов Вислы относительно новый тогда вид спорта — игру в лапту.

Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест так никогда и ничего не узнал бы ни о прусском городишке Штаргард, ни о закройщике — дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась.

Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов, и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери, и та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо:

— Ох, сыночек. Прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец, был, прости Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости.

Эдуард Амзель унаследовал во времена строгих законов — которые, однако, на территории вольного города Данцига еще не применялись — фамильное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелась и полка с книгами: «Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый Фриц», «Анекдоты», «Граф Шлиффен», «Хорал человеческий», «Фридрих и Катте», «Барбарина» — и несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер, читал и пометки на полях, оставленные рукой исправно певшего и занимавшегося спортом родителя, пронес книгу через все лихолетья и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Брауксля, готовая открыться сегодня и в любую другую минуту: Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческому.

## *Одиннадцатая утренняя смена*

Волосы у Брауксля отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой — они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная, наоборот, кончает работу и воробьи возвещают новый день, — волосы растут. И даже когда парикмахер недрогнувшей рукой укорачивает Брауксслю волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, — волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя — точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автора этих строк давно не будет на свете.

Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня

толкует наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны и происхождение Амзеля вообще никак не карают; Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни; Альбрехт Амзель еще, «разумеется», вовсе никакой не еврей; Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увальнем-колобком слоняется среди сохнущих рыбацких сетей, сияя всеми своими веснушками, и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей; неудивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видеться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин.

Птичьи пугала! Со всей определенностью здесь следует заявить: поначалу маленький Эдуард Амзель — а свое первое достойное упоминания пугало он соорудил пяти с половиной лет от роду — вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугала. Однако и местные жители, и проезжий народ — страховые агенты, стращавшие всех пожаром, коммивояжеры с образцами посевного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса, — все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении; покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Кинасту:

— Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзелю его малец понастроил. Ни дать ни взять пугала огородные, честное слово!

Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц; однако по обе стороны Вислы любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе «птичьими пугалами». Продукты эти — а он создавал по штуке в день — никогда не повторяли друг друга. Изделие, которое он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы сотворял вчера из полосатых штанов, некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук, и старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралось, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания, но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии.

И хотя все эти преходящие сооружения всякий раз несомненно свидетельствовали о живейшей и неуемной фантазии автора, истинную силу изделиям Амзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни: любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменно и цепко выхватывал из гущи бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность и функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды, не только формально, но и по силе воздействия: ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, малозаметный и почти не поддающийся учету эффект, то творения Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику.

Пугала его казались живыми, да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал, — в них все дышало жизнью! Вот они пустились взапуски по дамбе, бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют, кого-то приветствуют на том берегу или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на абордаж паром, преследуют, шлют проклятья — ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда

кого-то обозначают: рыбака Иоганна Ликфетта, пастора Блеха, снова и снова, в бессчетных вариантах, паромщика Криве — рот разинут, башка набекрень, — Бронсара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоская, как стол, пойма Вислы. Даже мосластая майорша фон Анкум, хотя ее имение-развалюха было в далеком Кляйн-Цюндере и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на шивенхорстской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей.

А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде — в Шивенхорсте своей школы не было, — столбенеть от удивления, когда самый веснушчатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника, для пущей наглядности положив к его ногам, под самые мыски его парусиновых туфель, всю плоскую, как сковородка, Большую пойму Вислы до самого Ногата, а сверх того — всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от устья до самого горизонта, и открытое море вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде.

## *Двенадцатая утренняя смена*

Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса и новоявленной берлинской стены на Новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды — ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа, прирожденного отца нашего края, — одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявления следующего содержания: «Всем рабочим и служащим фирмы «Брауксель и Ко. Экспорт-импорт» рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума». Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение: «Пугала создаются по образу и подобию человеческому», кои открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнерам.

Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду, — немудрено, что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры ни затевало местное юношество, он принимал в них непременное участие, а вернее, его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем у Фольхерта, или, привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергала его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным «пыткам», — однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и «ухватить» типичные движения и жесты мучителей. И вот два-три дня спустя после очередных колотушек — не исключено, что на десять ударов среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое

словечко «абрашка!» — та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного-единственного пугала.

Этим регулярным колотушкам, равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя некоторое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку «абрашка», в один прекрасный день, возможно вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожее, а как бы воспроизводящее его в девятикратном умножении «пугало», — вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова: но теперь уже не малышу Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков, теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением, так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось.

Дружбе, которая заключается во время драки или после нее, суждено, как правило, — мы знаем об этом из приключенческих фильмов — пройти затем еще не одну суровую и увлекательную проверку. Так и дружба Амзеля и Матерна будет подвергнута в этой книге — по одной только этой причине наше повествование затянется — еще многим испытаниям. Уже в самом начале, с большой, кстати, пользой для новой дружбы, кулакам Вальтера Матерна пришлось немало поработать, поскольку крестьянские и рыбацкие олухи никак не могли уразуметь смысл столь стремительно возникшего дружеского союза и по старой привычке, едва завидев робко выходящего из школы Амзеля, норовили утащить его за фольхертовский сарай. Ибо медленно течет Висла, медленно ветшают дамбы, медленно сменяются времена года, медленно плывут облака, медленно пробивается паром, медленно приходит электричество на смену керосиновым лампам, так что и в деревнях по обе стороны Вислы тоже не до всех и не сразу дошло: кто хочет потолковать с Амзелем-коротышкой, сперва должен с Вальтером Матерном словечком перемолвиться. И тайна этой удивительной дружбы постепенно стала творить чудеса. Одна и та же картина, символизируя собой обилие и пестроцветье множества других житейских эпизодов этой ранней дружбы, разыгрывающаяся на фоне незыблемых статичных фигур деревенского бытия — хозяин и работник, пастор и учитель, почтальон и лодочник, владелец сыроварни и инспектор объединения молочников, лесничий и деревенский сумасшедший, — запечатлелась в своей неповторимости навсегда, хотя никто не заснял ее на фотопленку: где-нибудь в дюнах, спиной к прибрежному лесу со всеми его отрадами и прелестями, работает Амзель. На песке в обозримом порядке разложены предметы одежды самых разных видов и форм. Законы моды тут не властны. Придавленные к поверхности земли горками песка или сучьями потяжелее, дабы их не унесло ветром, здесь мирно соседствуют фрагменты обмундирования доблестно сгинувшего прусского воинства с не менее доблестно задубевшим и забуревшим тряпьем — трофеями последнего паводка: ночные рубахи и сюртуки, штаны без поясной части, кухонные тряпки, фуфайки, скукоженный парадный мундир, шторы с дырками-гляделками, майка, лацканы, кучерские камзолы, набрюшники и нагрудники, траченные молью ковры, галстуки, вывернутые кишкой, флажки от стрелкового праздника и целое скатертное приданое — все это изрядно воняет и притягивает мух. Гусеница-многочлен из войлочных, фетровых и соломенных шапочек, шляп, а также всевозможных кепок, армейских касок, ночных колпаков, беретов вьется, норовя укусить себя за хвост, беззастенчиво являет миру каждый предмет своих сочленений и, тоже облепленная мухами, ждет своего часа. Солнечный свет падает на воткнутые в песок шта-

кетины, обломки стремянок и приставных лестниц, жердины, гладкие и узловатые прогулочные трости и просто палки, прибитые к берегу морской волной или речным течением, заставляя их отбрасывать разновеликие, блуждающие, споспешествующие ходу времени тени. Тут же, поблизости, гора старых бинтов, проволоки от искусственных цветов, полуистлевшей бечевы, ветхой кожи, покрывал, шерстяной требухи и черной, осклизлой прессованной соломы, сорванной ветром с крыш крестьянских овинов. Пузатые бутыли, подойники без дна, ночные посудины и просто кастрюли лежат отдельно. И среди всех этих сокровищ, гляди-ка, неожиданно резвый и прыткий — Эдуард Амзель. Взмокший, босой, прыгает прямо по песчаным колючкам, постанывая, прихрюкивая, похихикивая, уже воткнул в песок жердину, поперечиной приложил к ней штакетину, набросил проволоку — он не связывает, а именно набрасывает внахлест, и все прекрасно держится, — затем в три витка обвивает эту конструкцию красно-бурым, с серебряной ниткой, покрывалом, милостиво позволяет горшку из-под горчицы, увенчавшему себя пучком соломы, превратиться в голову, сперва отдает предпочтение плоской шляпе-тарелке, потом меняет студенческую шапочку на квакерский котелок, после чего, разметав всю гусеницу из головных уборов и всполошив целое полчище разноцветных и жирных пляжных мух, на короткое время останавливает свой выбор на ночном колпаке, чтобы в конечном счете утвердить на макушке пугала чехол для кофейника, которому последнее наводнение придало еще более выразительную форму. Он вовремя успевает смекнуть, что для завершения образа недостает еще жилетки, и не простой, а с шелковой спинкой, с безошибочным чутьем опытного старьевщика выхватывает из вороха тряпья и хлама то, что нужно, и, почти не глядя, уверенным движением набрасывает жилетку на плечи своего очередного детища. И вот уже он втыкает скособоченную убогую лесенку слева, две палки крест-накрест, в человеческий рост, справа, скашивает разболтанный кусок садовой ограды из трех штакетин, превратив его во фрагмент какой-то расхристанной арабески, набрасывает сверху, коротко прицелившись и точно попав, какую-то задубевшую хламиду, с треском и хрустом все это стягивает и укрепляет, затем с помощью всякого шерстяного отрепья придает этой фигуре, этому форейтору, возглавляющему всю группу, некую военно-командную стать, и в тот же миг, сгибаясь под ворохом тряпья, увешанный обрезками кожи, обмотанный веревками, увенчанный сразу семью шляпами и нимбом гудящих мух, он уже скатывается по склону куда-то вниз и вбок, даже не оглядываясь на то, что осталось позади и что по мере его удаления все явственнее обретает очертания птицеустрашающего образа; ибо со стороны дюн, из камыша, осоки, с пышных крон прибрежного сосняка некая сила уже поднимает в воздух как обычных, так и — с орнитологической точки зрения — редких птиц. Причина и следствие: та же сила сбивает их в тучу высоко над тем местом, где работает Эдуард Амзель. Своим причудливым птичьим шрифтом они выписывают на небе все более резкие, вихлявые и стремительные каракули страха. В этом тексте явственно варьируется на все лады корень «кар-р», слышно и его вихревое ответвление «мару-кру», он заканчивается — если вообще заканчивается — щемящим звуком «пи-и-и», но расцвечен и широчайшим спектром других фонетических ферментов, начиная от бессчетных «тю-и-ить» и множества «э-эк» и кончая рявканьем кряквы и истошными завываниями выпи. Нет такого ужаса, который, будучи разбужен творением Амзеля, не смог бы выразить себя в звуке. Но кто же, коли так, обходит дозором сыпучие гребни дюн, обеспечивая птицеустрашающей работе друга столь необходимый для творчества покой?

Вот они — эти кулаки, а вот и их хозяин Вальтер Матерн. Ему семь лет, и взгляд его серых глаз скользит по морю, словно море принадлежит только ему. Молодая сука Сента заливисто лает на астматическую балтийскую волну. Перкуна больше нет. Его унесла одна из многочисленных собачьих болезней. Перкун зачал Сенту. Сента, из рода Перкуна, родит Харраса. Харрас, из рода Перкуна, зачнет Прин-

ца. Принц же, из рода Перкуна, Сенты и Харраса, — а в начале начал хрипло воет литовская волчица — будет творить историю... но пока что Сента заливисто облаивает хилое Балтийское море. Хозяин же ее стоит босиком на песке. Одним только усилием воли и легкой вибрацией, от ступни до колен, он способен все глубже и глубже вбуравливаться в дюны. Песок вот-вот достигнет потрепанных обшлагов его вельветовых, задубевших от морской воды брючин — но тут Вальтер Матерн прыг из песка, песок по ветру, а сам он уже вниз по склону, и Сента прочь от мелкой воды, должно быть, оба что-то учуяли, оба — он коричнево-зеленый, вельвет и шерсть, она черная, вытянувшись стрелой, — перемахивают через верхушку соседней дюны, бросаются в камыши, выныривают на миг где-то совсем в другом месте, снова исчезают и затем — ленивое море едва успевает шестой раз лизнуть прибрежный песок — нехотя и тоскливо возвращаются назад. Ничего. Наверно, ничего и не было. Шиш с маслом. Дырка от бублика. Даже не кролик.

А наверху, там, где со стороны Путцигского Угла по направлению к Хоффу по яркой синьке неба тянутся аккуратные, почти одинаковые, словно нарисованные облака, неугомонные птицы своим истошно-пронзительным криком не устают подтверждать, что не совсем еще завершенное Амзелем птичье пугало на самом деле давно, давным-давно готово.

## *Тринадцатая утренняя смена*

Завершение года было встречено на производственной территории с благодатным спокойствием. Подмастерья, под присмотром штейгера Вернике, запустили с башни копра несколько веселеньких ракет, огненными линиями воспроизведших на небе наш фирменный знак, небезызвестный пернатый мотив. К сожалению, была слишком низкая облачность, что помешало волшебству развернуться в полную силу.

Сотворение фигур, эта забава, свершавшаяся то в дюнах, то на гребне дамбы, то на черничной поляне береговой рощи, обрела дополнительный смысл, когда однажды вечером — паром уже кончил ходить — паромщик Криве провожал домой шивенхорстского сельского учителя и его дочурку в красно-белую клеточку, причем шли они как раз той лесной опушкой, на которой Эдуард Амзель под охраной верного друга Вальтера Матерна и собаки Сенты выстроил над крутым склоном лесной дюны шесть или семь своих изделий самого свежего изготовления, выстроил хотя и рядом, но даже не рядком и уж тем паче не шеренгой.

Вдали за Шивенхорстом нехотя заходило солнце. Друзья отбрасывали на песок длинные, долговязые тени. А поскольку даже при таком освещении тень Амзеля оставалась заметно толще, пусть закатывающееся светило и засвидетельствует весьма незаурядную упитанность мальчика — с годами эта его полнота только усугубится.

Оба не шелохнулись, когда кривой и задубелый Криве и увечный учитель Лау с плетущейся позади девчушкой и тремя тенями подошли ближе. Сента выжидала, изредка деловито почесываясь. Ничего не выражающим взглядом — они частенько его тренировали — оба уставились вдаль, поверх выстроенных пугал, поверх скатывающейся вниз луговины, где обитают кроты, куда-то в направлении матерновской мельницы. Мельница, сидя гузном на козлах, хотя и вознесена округлым загривком холма на самое ветряное раздолье, крыльями не шевелила.

Но кто там стоит у подножия холма с огромным мешком муки, переломившимся через правое плечо? Да это же мельник Матерн, весь белый, стоит под мешком. И он тоже, как и крылья его мельницы, как и мальчишки на гребне дюны, как и Сента, застыл в неподвижности, хотя и совсем по другой причине.

Криве медленно вытянул вперед левую руку с корявым, бурым указательным пальцем. Хедвиг Лау, даже по будням одетая по-воскресному, буравила песок мыс-

ком лаковой туфельки с пряжкой. Указательный палец Криве уткнулся в экспозицию Амзеля:

— Вот это они самые и есть. — И его палец обстоятельно проследовал от одного пугала к другому. Мужицкая, почти восьмиугольная голова Лау послушно поворачивалась в такт каждому перемещению сучковатого пальца паромщика, отставая, впрочем, до самого конца этого действа (а числом пугал было семь) ровно на два такта. — Этот малец делает такие пугала, что у тебя, кум, ни одной пичуги на огороде не останется.

Поскольку туфелька продолжала буравить песок, это движение передалось оборке платья и косичкам с бантиками из той же материи. Учитель Лау почесал под шапкой макушку и обтискал глазами уже степенно, с чувством, с толком, все семь пугал снова, но в обратном порядке. Амзель и Вальтер Матерн, усевшись на крутом гребне дюны, вразнобой болтают ногами и не сводят глаз с неподвижных крыльев далекой мельницы. Упитанные икры Амзеля туго перехвачены резинками гетр — в припухлостях розовой кожи есть что-то кукольно-голышовое. Белый мельник у подножия холма все еще стоит. Все так же покоится на его правом плече неподъемный шестипудовый мешок. И хотя самого мельника хорошо видно, мыслями он совсем не здесь.

— Слышь, браток, если хочешь, могу спросить у мальца, сколько такое пугало может стоить, если оно вообще что-то стоит.

Медленнее, чем кивает мужицкая голова сельского учителя, кивнуть просто невозможно. А у дочурки его каждый день воскресенье. Сента, навострив уши, ловит каждое движение, большинство из которых угадывает наперед: она еще слишком молодая собака, чтобы привыкнуть к нерасторопности человеческих указаний. Когда Амзеля крестили и птицы подали первый знак, Хедвиг Лау еще плавала в водах материнского лона. Морской песок очень портит лаковые туфельки. Криве в своих деревянных башмаках, нехотя повернув голову в сторону дюны, сплевывает куда-то вбок сгусток табачной жижи, который в песке тут же превращается в шарик, и произносит:

— Слышь, малец, тут кое-кто любопытствует, сколько такое вот пугало огородное может стоить, если оно вообще что-то стоит.

Нет, белый мельник вдалеке не уронил свой мешок, и Хедвиг Лау не перестала буравить песок мыском туфельки, только Сента подскочила, взметнув пыль, когда Эдуард Амзель свалился с гребня дюны. И покатился вниз, дважды перевернувшись через голову. И вскочил, как бы завершив тем самым два кувырка, и оказался аккурат посередке между двумя взрослыми мужчинами в суконных куртках, чуть-чуть не доходя до девчоночьей туфельки, что буравит песок.

Только тут наконец белый мельник тронулся с места и неторопливо, за шагом шаг, стал подниматься на вершину холма. Лаковая туфелька с пряжкой прекратила буравить песок, красно-белое клетчатое платьице и такие же бантики в косичках то и дело подрагивали, теперь от хихиканья, сухого и бестолкового, как вчерашние хлебные крошки. Стороны приступили к торгу. Амзель, ткнув большим пальцем вперед и вниз, указал на лаковые туфельки с пряжками. Решительно мотнув головой, учитель то ли дал понять, что туфельки вообще не продаются, то ли временно изъял их из продажи. Несостоятельность натурального обмена вызвала к жизни звон твердой валюты. Покуда Амзель и Криве (а вместе с ними, но гораздо медленнее, и сельский учитель Эрих Лау) подсчитывали и вычисляли, то и дело загибая и выбрасывая пальцы, Вальтер Матерн продолжал восседать на гребне дюны и, судя по звукам, которые он издавал зубами, явно не одобрял всю эту торговлю, которую он позже назовет «суетней».

Криве и Эдуард Амзель сумели договориться гораздо быстрее, чем учитель Лау кивнуть. Его дочурка уже снова буравила песок своей туфелькой. Отныне одно пугало стоило пятьдесят пфеннигов. Мельник исчез. Мельница замахала крыльями. Сента к ноге. За три пугала Амзель запросил один гульден. Сверх того он за-

просил — и не без оснований, поскольку торговлю надо развивать, — по три старые тряпки на каждое пугало и в придачу лаковые туфельки Хедвиг Лау, когда они будут сочтены изношенными.

О, этот деловитый и торжественный день, когда заключена первая сделка! На следующее утро сельский учитель благополучно переправил все три пугала в Шивенхорст и установил их в своей пшенице за железной дорогой. Поскольку Лау, как и многие крестьяне в долине, выращивал либо эппскую, либо куявскую пшеницу, то есть безостые сорта, особенно подверженные птичьей потраве, пугала Амзеля получили прекрасную возможность зарекомендовать себя в деле. В своих кофейниковых нахлобучках, с пучками соломы вместо волос и ремнями крест-накрест, они вполне могли сойти за трех последних гренадеров первого гвардейского полка после битвы при Торгау, которая, если верить Шлиффену, была просто смертоубийственной. Так уже сызмальства возобладало явное пристрастие Амзеля к чеканному образу прусского воинства. Как бы там ни было, а эти три головореза свое дело сделали — над вызревающим полем яровой пшеницы, где прежде господствовали птичий грай и разорение, воцарилась мертвая тишина.

Весть об этом разнеслась по округе. Уже вскоре стали приезжать крестьяне из соседних деревень по обе стороны Вислы, из Юнкеракера и Пазеварка, из Айнлаге и Шнакенбурга, но и из глубинки — из Юнгфера, Шарпау и Ладекоппа. Криве посредничал, но Амзель поначалу цены все равно не взвинчивал и принимал, после того как Вальтер Матерн сделал ему серьезное внушение, сперва лишь каждый второй, а потом — каждый третий заказ. И себе, и своим клиентам он объяснял, что халтурно работать не хочет, а потому будет производить на свет по одному, от силы — по два пугала за день. Всякую помощь он отклонял. Помогать дозволялось лишь Вальтеру Матерну, который поставлял Амзелю сырье с обоих берегов и продолжал куда как надежно охранять художника и его творения с помощью двух своих кулаков и черной собаки.

Брауксель считает также необходимым сообщить, что уже вскоре у Амзеля было достаточно средств, чтобы за скромную плату снять у Фольхерта его хотя и развалюшистый, но все же запирающийся на замок сарай. В этом деревянном строении, пользовавшемся дурной славой, поскольку на одной из его балок якобы кто-то когда-то по какой-то причине повесился, то есть под крышей, которая способна вдохновить любого художника, хранилось все, что под рукой Амзеля должно было ожить в образе пугала. В дождливую погоду сарай из склада превращался в мастерскую. Дело здесь было поставлено как у настоящего ремесленника, ибо Амзель работал на своем капитале: на свои деньги в магазине матери, то есть по оптово-закупочным ценам, он приобрел молотки, две ножовки, дрель, щипцы, клещи и кусачки, долото, стамеску и перочинный нож с тремя лезвиями, шилом, штопором и пилкой. Нож этот он подарил Вальтеру Матерну. А Вальтер Матерн два года спустя, когда он стоял на гребне дамбы и искал, да так и не нашел камень, швырнул этот нож вместо камня в половодную Вислу. Но об этом мы уже слышали.

## *Четырнадцатая утренняя смена*

Некоторым господам не худо бы взять за образец рабочую тетрадь Амзеля, дабы научиться вести книгу как положено. Сколько уж раз Брауксель описывал обоим своим соавторам надлежащий порядок работы? Две поездки — обе, между прочим, за счет фирмы — сводили нас вместе, и обоим господам было предоставлено достаточно времени, дабы без всяких помех сделать необходимые записи, составить подробный план работы и всевозможные рабочие схемы. Вместо этого теперь в ответ сыплются вопросы: «Когда надо представить рукопись? Сколько строк должно быть в одной странице — тридцать или тридцать четыре? Вы действитель-

но согласны с жанром писем или мне следует отдать предпочтение более современным формам в духе, допустим, французского «нового романа»? Удовлетворит ли Вас, если я опишу Штрисбах попросту как мелкий ручеек между Верхним Штрисом и Легштрисом? Или следует ввести исторический контекст, упомянув, допустим, пограничный спор между городом Данцигом и Оливой, монастырем цистерцианцев? В частности, охранное письмо герцога Свянтополка, внука Субислава I, основателя монастыря, от одна тысяча двести тридцать пятого года? Там Штрисбах упоминается в связи с Сасперским озером: «Lacum Saspi usque in rivulum Strieza...»[1]. Или охранную грамоту Местви́на II от года одна тысяча двести восемьдесят третьего, где о пограничном ручье Штрисбахе сказано так: «Praefatum rivulum Striesz usque in Vislam...»[2]. Либо же охранное письмо с подтверждением всех владений монастырей Олива и Сарновиц от года одна тысяча двести девяносто первого? Там в одном месте Штрисбах пишется как «Стризде», а в другом сказано: «...prefatum fluuium Strycze cum utroque littore a lacu Colpin unde scaturit descendendo in Wislam...»[3].

Другой господин соавтор тоже на ответные вопросы не скупится и в каждое письмо норовит вставить напоминание об авансе: «...если дозволено упомянуть об устной договоренности, согласно которой каждый соавтор, начиная работу над рукописью...» Что ж, да получит господин артист свой аванс. Но не худо бы ему при этом положить перед собой рабочую тетрадь Амзеля — если не подлинник, то хотя бы фотокопию, — и хранить ее как святыню.

Пусть его вдохновит хотя бы жанр бортового журнала. Ведется на любом корабле, даже на пароме. Возьмем, к примеру, Криве: рожа сыромятная, вся в бороздах, глаза что мартовские лужи, без ресниц вовсе, и к тому же косят, что позволяет ему, однако, водить свой паровой паром поперек течения, то бишь тоже наискось, точнехонько от одной пристани к другой. Повозки и экипажи, рыбных торговок с их вонючими коробами, пастора и школяров, просто проезжих и коммивояжеров с образцами товара, пассажирские и товарные вагончики местной узкоколейки, скотину убойную и племенную, свадьбы с молодоженами и похоронные процессии с венками и гробом — всех их Криве переправлял через реку и все происшествия исправно заносил в бортовой журнал. Между обитым железом бортом парома и пристанью монетку не просунешь — так плотно, без малейшего стука умел причаливать Криве. К тому же дольше, чем кто-либо еще, он пробыл у наших друзей, Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля, надежным торговым агентом, не требуя с произведенных сделок никаких процентов, разве что иногда принимая в подарок табачок. А когда паром прекращал работу, он водил их обоих в места, одному ему, Криве, известные. Это он побудил Амзеля вплотную заняться изучением устрашающего действия ивы — ведь их, Криве и Амзеля, теории искусства, отразившись впоследствии в рабочем дневнике, вот к чему клонили: «Модели следует преимущественно заимствовать из природы». А уж позже, много лет спустя, под псевдонимом Зайцингер, Амзель развил этот тезис, записав в тот же дневник: «Все, что поддается набивке изнутри, принадлежит природе, включая, допустим, куклу».

Но та — полая — ива, к которой отвел друзей Криве, шевелила ветвями и была еще не набита. Вдали, на плоском фоне, машет крыльями мельница. Из-за поворота медленно выползает по узкоколейке последний поезд, пыхтя куда быстрее, чем он едет. Еще бы — масло растает! Молоко скиснет! Четыре босые ступни, два рыбацких сапога, пропитанные ворванью. Сперва дернина и крапива, потом клевер. Через два забора, три жердины отвалить, потом еще забор перелезть. И вдруг, по обе стороны ручья, ивы обступают на шаг ближе, на шаг дальше, оборачива-

---

[1] «Озеро Саспе вплоть до ручья Стриеза...» (*лат.*).
[2] «Вышеупомянутый ручей Стриез до впадения в Вислу...» (*лат.*).
[3] «...вышеупомянутая речушка Стризце по обоим своим берегам от селения Колпин...» (*лат.*).

ются, живые, бедрастые, даже с пупками; а одна — ибо даже среди ив бывает одна ива — была совсем-совсем пустая, покуда Амзель три дня спустя ее не набил; уселся толстячком-хомячком на корточки и изучает нутро ивы, потому что паромщик Криве сказал... А потом, выбравшись из огромного дупла, где он все обсмотрел, сидя на корточках, начинает внимательно обследовать все ивы по обоим берегам ручья, в особенности одну, о трех макушках, которая одной ногой на сухом бережку стоит, а другой в воде прохлаждается, потому что в незапамятные времена богатырь Милигедо, тот, что со свинцовой палицей, ей на пятку наступил, — вот ее-то Амзель и выберет моделью. И она стоит, не шелохнется. Хотя по виду — вот-вот сорвется прочь, тем более, что и туман — ведь рань несусветная, до школы еще сто лет, — туман с реки по лугам ползет-клубится, проглатывая ивы сперва по пояс, потом целиком, так что вскоре лишь три головы ивы-натурщицы будут плавать над туманной пеленой, о чем-то друг с дружкой переговариваясь.

Тут наконец Амзель вылезает из своего кокона, но хочет не обратно домой, к маме, которая и во сне ворочает свои амбарные книги, снова и снова все подсчитывая, а хочет, наоборот, быть свидетелем млечного часа, о котором говорил Криве. И Вальтер Матерн тоже хочет. А Сенты с ними нет, потому что Криве сказал:

— Ребятки, только псину с собой не брать, а то еще напугается и скулить начнет, когда дело до дела дойдет.

Что ж, без так без. Так что теперь между друзьями как бы пустое пятно о четырех лапах и с хвостом. Тишком босиком по серым лугам, с оглядкой назад, на клубящиеся клочья, то и дело подмывает свистнуть: «Сюда! К ноге!» — но идут молчком, потому что Криве сказал... Вдруг, прямо перед ними, как памятники — коровы в туманной мути. Тут же, неподалеку от коров, аккурат посередке между байстеровскими льнами и ивами у ручья, они залегают прямо в росу и ждут. Серая пелена мало-помалу сползает с дамб и с прибрежного леса. Вдали, над туманом, над тополями вдоль шоссе, что на Пазеварк, Штеген и Штутхоф, скрестились крылья матерновской мельницы. Неподвижные, будто выпиленные лобзиком. В такую рань даже мельник молоть не станет. Даже петух не крикнет, но уже скоро. Безмолвно и близко, как призраки, бредут гуськом, наклоненные ветром в одну сторону, с северо-запада на юго-восток, девять береговых сосен по большой дюне. Жабы — или это волы? — жабы, а может, волы, надрываются что есть мочи. Лягушки, те понежней, будто молебен затянули. И комары в унисон. Вот кто-то — но вроде не чибис — то ли всполошился, то ли просто подал голос. Все еще ни одного петуха. Коровы, острова в тумане, сопят. Сердце Амзеля как булыжник по жестяной банке. Сердцем Матерна хоть дверь высаживай. Одна из коров мыкнула теплым мыком. Другие отозвались нутряным, утробным сапом. Сколько же звуков в рассветном тумане: сердце по жести и в дверь, кто-то кому-то голос, девять коров, жабы-волы, комары... И вдруг, вроде и знака никто не подал — безмолвно. Сгинули лягушки, нет ни жаб, ни волов, ни комаров, никто никого не зовет, не приманивает, не кличет, коровы ложатся в траву, а Амзель с другом, затаив дыхание, усмиряя сердце, вдавив ухо в росистый клевер, слышат: вот они! Ровное шуршание от ручья. Как будто мокрая тряпка по половицам, но равномерно и по нарастающей: плюх-плюх-пшиф — плюх-плюх-пшиф. Неужто водяные? Или безголовые монахини? Кума лешего гномы? Да кто же это бродит? Неужто призрак или сам дьявол Злодей Асмодей? Или черный рыцарь Пиг-Пигуд? Или поджигатель Бобровский и его дружок Матерна, от которого все пошло? Дочка Кестутиса, ее, кажется, Туллой звали? И вдруг, вот они, высверком в траве, все еще в иле-тине, одиннадцать, пятнадцать, семнадцать бурых речных угрей ползут, плещутся в росе, извиваются, змеятся, проскальзывают сквозь клевер и рвутся все в одну сторону. Липкий-липкий извилистый след на примятой траве. Все еще в немоте жабы-волы и комары-мухи. Певуньи лягушки тоже помалкивают. Никто не зовет и никто не отзывается. Теплые коровы грузно лежат на черно-

белом боку. Каждая выставила вымя — бледно-розово-желтое, по-утреннему тугое: девять коров, тридцать шесть сосцов-титек, восемнадцать угрей. Тут на всех хватит, и вот они уже коричневато-черными шлангами приникли к розовато-пятнистым титькам: дружно-весело рядком смаком млеком-молоком... Сперва угри даже дрожат. Чья тут жажда, к кому-чему страсть? Потом, одна за другой, коровы роняют отяжелевшие головы в клевер. Течет молоко. Разбухают угри. Снова ревут жабы. Запевают потихоньку комары. Лягушки-вокалистки подхватывают. Все еще ни одного петуха, но зато Вальтер Матерн сдавленным голосом. Хочет подскочить и поймать рукой. Это запросто, там делать нечего. Но Амзель не хочет, у него другое на уме, он уже делает наброски. И вот угри уже уползают обратно к ручью. Коровы вздыхают. Первый петух. Медленно поворачиваются крылья мельницы. Из-за поворота узкоколейки уже слышно первый поезд. Амзель задумал совсем новое пугало.

Сказано — сделано. Поскольку у Ликфеттов как раз был убой, свиной пузырь достался задарма. Вымя получилось хоть куда — тугое, звонкое. Копченые шкурки настоящих угрей, насаженные на проволоку, набитые соломой и зашитые, были прикреплены к пузырю по кругу, так что угри, словно толстые волосы, извивались и шевелились в воздухе вокруг головы-вымени. И вот, покачиваясь между двумя скрещенными палками, над пшеницей крестьянина Карвайзе поднялась голова Медузы.

И точно в том виде, в каком Карвайзе пугало купил — это уж потом оно было дополнено чем-то вроде мантии, когда на перекрестье палок набросили дырявую шкуру сдохшей коровы, — Амзель зарисовал новое пугало в свой рабочий дневник: сперва как первоначальный и куда более выразительный набросок, одну голову без мантии, а затем уж и готовое изделие в дурацкой коровьей шкуре.

## *Пятнадцатая утренняя смена*

Ну вот, с господином артистом уже начались неурядицы. Покуда Брауксель и молодой человек изо дня в день усердно пишут — один склоняясь над рабочим дневником Амзеля, другой обращаясь к своей кузине и помышляя о ней, — этот третий уже в начале года исхитрился подхватить легкий грипп. Вынужден временно прерваться, не имеет надлежащего ухода, об эту зимнюю пору, оказывается, всегда был подвержен, еще раз «позволяет разрешить себе» напомнить об обещанном авансе. Распоряжение уже отдано, господин артист. Отправляйтесь в свой карантин, господин артист, надеюсь, он пойдет вашей рукописи на пользу. О, деловитая радость от того, что есть надежное поприще повседневному тщанию — рабочий дневник, куда Амзель красивым и только что разученным зюттерлиновским шрифтом заносил свои расходы по изготовлению птичьих, или, как их еще называют, огородных пугал. Свиной пузырь достался задарма. Драную коровью шкуру Криве сосватал ему за две пачки жевательного табаку.

О, красивое и округлое словечко «сальдо»: есть цифирки, пузатые и островерхие, которыми Амзель заносил в свой дневник выручку от продажи различных, садовых и огородных, пугал — в частности, вымя с угрями принесло ему полновесный гульден.

Эдуард Амзель вел этот дневник года два, чертил вертикальные и горизонтальные графы, выводил зюттерлиновские буквы кругляшами и с хвостиком, документировал историю создания множества пугал эскизами конструкций и цветовыми пробами, увековечил — задним числом — и почти все пугала, которые к тому времени были проданы, и красными чернилами ставил сам себе оценки за каждое изделие. Позже, уже гимназистом, он куда-то засунул эту мятую, затрепанную общую тетрадку в потрескавшейся коленкоровой обложке и лишь много лет спустя снова нашел ее во время срочных сборов — он покидал город на Висле,

торопясь на похороны своей матери, — в сундучке, который служил ему скамеечкой. Среди вещей, унаследованных от отца, среди книг о прусских героях и битвах, под толстенным томом Отто Вайнингера обнаружился рабочий дневник, а в нем добрая дюжина чистых страниц, которую Амзель позднее, уже будучи Зайцингером и Золоторотиком, правда нерегулярно, порой с годовыми паузами, заполнял многочисленными сентенциями.

Сегодня Брауксель, чьи деловые книги ведут в конторе один делопроизводитель и семь служащих, располагает этой трогательной тетрадкой в коленкоровых ошметках. У него, конечно, и в мыслях нет использовать бесценный и ломкий оригинал для освежения памяти! Нет, вместе с договорами, ценными бумагами, лицензиями и важными производственными секретами сей оригинал хранится в сейфе, тогда как фотокопия дневника действительно лежит сейчас прямо перед Брауксселем между набитой окурками пепельницей и чашкой полуостывшего утреннего кофе в качестве неизменного подспорья.

Первую страницу тетрадки почти целиком занимает всего одна фраза, скорее нарисованная, нежели написанная: «Пугала, изготовленные и проданные Эдуардом Амзелем».

Под ней, наподобие девиза, значительно мельче и без даты: «Начато на Пасху, потому что ничего нельзя забывать. Криве намедни сказал».

Брауксель, впрочем, считает, что нет особого смысла полностью воспроизводить в данной рукописи своеобычно-терпкую манеру письма восьмилетнего школьника Эдуарда Амзеля; с другой стороны, очарование этого языка, который вскоре, вместе с землячествами беженцев, отомрет и уже как мертвый язык, вроде латыни, будет представлять интерес лишь для науки, вполне допустимо передать в ходе работы над текстом формами прямой речи. Так что лишь когда Амзель, его друг Вальтер, паромщик Криве или бабушка Матерн раскрывают рот — вот тогда Брауксель и будет во всей красе воспроизводить местные обороты. При цитировании же дневника вполне уместно, поскольку, по мнению Брауксселя, главную ценность данной тетрадки определяет все же не столько отважное правописание даровитого школьника, сколько запечатленные в ней на самых первых порах целеустремленные пугалотворческие искания, — воспроизводить неповторимую манеру сельского школьника лишь в стилизованном виде, то есть наполовину подлинным, а наполовину литературным слогом, примерно вот так: «Севодни после дойки одним гульденом больше за пугало што одной ногой стоит а другую держит наперикосяк взял Вильгельм Ледвормер. Дал шлем улана и кусок подстежки когда-то из козы».

Более добросовестно Брауксель пытается дать описание сопутствующего этой записи рисунка: карандашами разных цветов — коричневый, киноварь, лиловый, ярко-зеленый, берлинская лазурь, — цветов, которые, однако, нигде не выступают в чистом виде, а, напротив, смешанной заштриховкой наслаиваются друг на друга, дабы вернее передать ветхость поношенного и драного тряпья, — вышеупомянутое пугало, которое «... одной ногой стоит а другую держит наперикосяк...», запечатлено целиком, очевидно по памяти, эскизы отсутствуют. Наряду с цветовым решением особенно поражает на редкость смелая, набросанная буквально несколькими штрихами и даже на сегодняшний взгляд вполне современная конструкция основного рисунка. Позиция «... што одной ногой стоит...» намечена контуром слегка наклоненной вперед лестницы с двумя отсутствующими перекладинами; позиции же «...а другую держит наперикосяк...» может соответствовать лишь та неповторимая поперечина, что под углом в сорок пять градусов выделывает антраша, как бы отламываясь в неудержимом плясовом порыве от середины лестницы куда-то влево, в то время как сама лестница, напротив, слегка кренится вправо. Первым делом, конечно, именно этот контурный рисунок, но и последующая цветовая заштриховка создают в конечном итоге образ лихого танцора, нацепившего на себя былую доблесть и вылинявшие обноски боевого мундира, в ко-

тором красовались мушкетеры славного пехотного полка принца Анхальт-Дессау в битве при Лигнице.

Чтобы не ходить вокруг да около — в дневнике Амзеля прямо-таки кишмя кишат пугала в военных мундирах. Вот гренадер третьего гвардейского батальона штурмует лейтенское кладбище; бедняк из Тоггенбурга стоит во фрунт в рядах своего итценплицкого полка; беллингский гусар капитулирует при Максене; бело-голубые натцмерские уланы, спешившись, рубятся с шорлемскими драгунами; в голубом, с красной подстежкой мундире, чудом остается в живых стрелок из полка барона де Ламотт Фуке; короче, все, что на протяжении знаменитых семи лет, да и раньше бушевало на пространствах между Богемией, Саксонией, Силезией и Померанией, унося ноги под Молльвицем, потеряв кисет под Хенненсдорфом, присягнув под Пирной Фрицу, переметнувшись к неприятелю под Колином, а при Росбахе снискав внезапную славу, — все это оживало под руками Амзеля, разгоняя, однако, отнюдь не лоскутное имперское воинство, а всего лишь птиц в дельте Вислы. И если Зайдлицу пришлось гнать Хильдбургхаузена — «... voilà au moins mon martyre est fini...»[1] — через Веймар, Эрфурт, Зальфельд аж до самого Майна, то крестьянам Ликфетту и Момзену, Байстеру, Фольхерту и Карвайзе за глаза хватало и того, что запечатленные в рабочей тетради пугала Амзеля в мгновение ока разгоняли пернатое население дельты Вислы с тучных полей эппской безостой пшеницы, вытесняя его на каштаны и ивы, ольху, тополя и гордые прибрежные сосны.

## *Шестнадцатая утренняя смена*

Он благодарит. Звонит по междугородному, разумеется за счет собеседника, семь минут, никак не меньше: деньги пришли, ему снова лучше, грипп миновал свой кризисный апогей и теперь отступает, завтра, самое позднее послезавтра он снова сядет за машинку; как уже говорилось, он, к сожалению, вынужден сразу писать на машинке, поскольку совершенно не в состоянии, увы, разбирать свои собственные каракули, зато во время болезни его осенило несколько прекрасных мыслей...

Будто он сам и вправду не знает цену подобным горячечным озарениям. Господин артист не видит большого проку от ведения приходно-расходной бухгалтерии, хотя Брауксель посредством многолетних подсчетов неутешительных балансов уже не раз подводил его к неутешительному сальдо.

Как знать, возможно, смышленый Эдуард Амзель перенял основы ведения книг не только из бортового журнала Криве, но и от своей матушки, которая в вечерние часы, вздыхая, склонялась над своими бухгалтерскими фолиантами, — не исключено, что он даже помогал ей в записях, подшивке документов, в проверке подсчетов.

Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, несмотря на все трудности послевоенных лет, исхитрилась держать фирму «А.Амзель» на плаву и даже смогла, на что сам Амзель, мир его праху, в военные годы никогда бы не отважился, перестроить и расширить дело. Она начала торговать рыбацкими куттерами, не только новенькими, прямо с верфи Клавитер, но и подержанными, которые полностью перебирались на Соломенной дамбе, а еще подвесными моторами. Она продавала куттеры или, что было еще выгодней, сдавала их в аренду молодым рыбакам, которые только что обженились.

И хотя к маме Эдуард относился с достаточным пиететом и никогда, даже ненароком, не воспроизводил ее в виде пугала, с тем большей беззастенчивостью он принялся — примерно с восьмого года жизни — копировать финансово-экономическую политику своей матушки. Если она сдавала в аренду рыбацкие куттеры, то он начал давать напрокат свои особенно прочные, специально для прокатных

---

[1] «...вот и конец моим мученьям по крайней мере...» (*франц.*).

целей изготовленные пугала. Многие и многие страницы его рабочего дневника скрупулезно документируют, сколько раз и кому выдавались пугала напрокат. Отдельным столбиком, все больше смахивающим на каланчу, Брауксель подсчитывает, сколько Амзель заработал на прокате птичьего страха — получается очень даже приличная сумма! Из прокатных пугал здесь будет рассмотрено лишь одно, которое хотя и не принесло высоких сборов, однако существенно повлияло на дальнейший ход событий нашего повествования, а тем самым, значит, и на всю эволюцию птицеустрашающего искусства.

Итак, вскоре после уже упомянутого ивового похода к ручью, после того как Амзель создал и продал пугало на тему «Угри, сосущие молоко», возникло еще одно произведение, отчасти обязанное своим обликом, с одной стороны, трехглавой иве, с другой же — восставшей из немощи, размахивающей поварешкой и скрежещущей зубами бабке Матерн, и работа эта тоже нашла отражение в дневнике Амзеля; однако рядом с эскизом конструкции здесь имеется надпись, безусловно обосабливающая данный художественный продукт ото всех прочих: «Придется сиводни уничтожить потому как Криве говорит ничего окромя беды не будет».

Макс Фольхерт, который вообще-то всю семейку Матернов недолюбливал, взял у Амзеля упомянутое пугало и установил прямо у забора в своем саду, который выходил на Штутхофское шоссе аккурат напротив матерновского огорода. Вскоре выяснилось, что прокатное пугало наводит ужас не только на птиц — при его виде лошади взбрыкивали и, высекая копытами искры, пускались в галоп. Мирно бредущее по домам коровье стадо кидалось врассыпную, едва размахивающая поварешкой ива бросала на них свою грозную тень. Ко всей этой пуганой скотине вскоре присоединилась и бедная, вечно встрепанная Лорхен, которую и так день-деньской гоняла бабка с поварешкой, причем самая что ни на есть доподлинная. Теперь же, узрев еще одну бабку, о трех головах и почему-то в обличье ивы, бедняжка, форменным образом зажатая этими бабками в тиски, совсем обезумела от страха и бродила теперь, простоволосая, шальная, по полям и прибрежной роще, по дюнам и дамбам, по дому и саду, а однажды чуть было не угодила на плетеное крыло вертящейся мельницы, если бы родной брат, мельник Матерн, вовремя не успел оттащить ее, ухватив за передник. По совету Криве и к явному неудовольствию старика Фольхерта, который позднее без всяких церемоний потребовал часть уплаченных денег назад, Вальтер Матерн и Эдуард Амзель за одну ночь разобрали злополучное пугало. Так художнику впервые пришлось осознать, что творения, если они позаимствованы у природы с достаточным усердием, имеют власть не только над птицами в небе, но и способны влиять и на коров, и на лошадей, а также и на бедную Лорхен, то бишь и на людей, сбивая их всех с привычного для сельских мест неторопливо-размеренного шага. В жертву этому знанию Амзель принес одно из самых впечатляющих своих пугал и никогда больше не использовал ивы в качестве моделей, что не мешало ему время от времени, особенно при низком тумане, прятаться в дупле старой ивы, а пластунский марш угрей к залегшим в траве коровам вспоминать как событие в высшей степени замечательное. Впредь он предусмотрительно избегал сращивать человека и дерево, а использовал, подвергая себя добровольному самоограничению, в качестве моделей неотесанные и бесхитростные, но вполне пригодные как прообраз пугала фигуры местных крестьян. Этот сельский люд, переодетый в мундиры прусских королевских гусар, стрелков, ефрейтор-капралов, штандарт-юнкеров и старших офицеров, поистине преображался, возносясь над садами и огородами, пшеничными нивами и полями ржи. Со спокойной совестью Амзель усовершенствовал свою систему проката и даже предпринял — впрочем, без роковых последствий — уголовно наказуемый подкуп должностного лица, склонив красиво упакованными подарками кондуктора местной прибрежной узкоколейки к бесплатной транспортировке его, Амзеля, пугал, или, фигурально выражаясь, к транспортировке ожившей и наконец-то не совсем бесполезной прусской истории.

## *Семнадцатая утренняя смена*

Артист протестует. Отступающий недуг не помешал ему самым пристальным образом изучить рабочие планы Брауксля, которые тот рассылает своим соавторам. Его никак не устраивает, что уже в этой утренней смене будет воздвигнут памятник мельнику Матерну. Он считает, что это право неотъемлемо принадлежит ему. Поэтому Брауксель, радея о сохранении и сплоченности авторского коллектива, добровольно отказываясь от создания всеобъемлющего полотна, тем не менее настаивает на своем праве запечатлеть здесь ту часть образа мельника, которая уже бросила свой отсвет на страницы рабочего дневника Амзеля.

Дело в том, что, хотя восьмилетний мальчуган и рыскал с особым тщанием по прусским полям боевой славы в поисках бесхозных мундиров, одна модель — а именно вышеназванный мельник — была позаимствована им прямо из жизни, без всяких прусских примесей, зато с мешком муки на плече.

В результате возникло кривое пугало, ибо мельник был, что называется, кривой, как черт. Поскольку на правом плече он всю жизнь протаскал мешки с зерном и мукой, плечо это было теперь чуть ли не на ладонь шире левого, так что всякий, кто смотрел на мельника спереди, испытывал необоримый соблазн немедленно схватить эту голову обеими руками и посадить, как кочан капусты, куда следует. Поскольку ни рабочую, ни выходную одежду он на заказ не шил, любой сюртук и пиджак, любое пальто и вообще все, что он надевал на плечи, казалось сшитым вкривь и вкось, сбивалось на шее складками, а правый рукав был короток и неизменно полз по всем швам. Правый глаз постоянно подмигивал в хитроватом прищуре. На той же правой стороне лица, даже когда на плечо не давил шестипудовый мешок, угол рта почему-то ехал вверх. Нос вело туда же. Вдобавок ко всему — а ради этого, собственно, и пишется весь портрет — его правое ухо, все расплющенное и раздавленное тысячами мешков, перетасканных за многие десятилетия трудов праведных, пласталось по голове наподобие оладьи, тогда как левое, отчасти по контрасту, отчасти же по прихоти матушки-природы, лопухом торчало в сторону. Собственно говоря, если смотреть на мельника спереди, то казалось, что у него вообще только одно ухо и есть, а между тем именно это, второе, как бы отсутствующее, а вернее сказать, лишь слабо угадывающееся ухо и было самым главным.

Он тоже, хотя и не настолько, как бедная Лорхен, был, что называется, не от мира сего. В деревнях вокруг поговаривали, что бабка Матерн, должно быть, в детстве слишком усердно прикладывала к его воспитанию поварешку. От средневекового разбойника и поджигателя Матерны, того самого, что вместе с дружком доживал свой век в темнице, потомкам передалось все самое худшее. Меннониты, что грубые, что тонкие, только перемигивались, а грубый меннонит-бескарманник Симон Байстер вообще уверял всех, что, дескать, католическая вера не идет всей семейке Матернов впрок, особливо мальцу, он только и знает, что с этим увальнем Амзелем, который с того берега, по всей округе шастать да зубами скрипеть: да одна псина их чего стоит — она же чернее преисподней. При этом надобно заметить, что по натуре мельник Матерн был человеком скорее мягким, врагов в окрестных деревнях у него, как и у бедной Лорхен, почти не было, зато насмешников — хоть отбавляй.

Итак, ухо мельника — а впредь, когда речь пойдет об ухе мельника, будет иметься в виду только правое, расплющенной оладьей прилегающее, раздавленное мешками, — так вот, ухо мельника достойно упоминания вдвойне: во-первых, потому что Амзель в своем пугале, которое отражено в рабочем дневнике в эскизном виде, это ухо с истинно творческой отвагой вообще отбросил; во-вторых, потому что это ухо, оставаясь совершенно глухим ко всем обычным мирским звукам, как-то: кашлю-говору-проповеди, церковному пению, звону коровьих колокольцев, выковке подков, всякому лаю собачьему, пенью птичьему, треньканью

сверчковому, — слышало, причем отчетливо, до малейшего шепотка, шушуканья и полуслова, все, что творилось и переговаривалось в мешке с зерном или же с мукой. Зерно голое или мякинное, какое на побережье и не выращивали почти, отмолоченное на грубой или тонкой молотилке; пшеница твердая или мягкая, полбенная двузернянка или эммер, хрупкая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая — ухо мельника, глухое ко всем другим звукам, прослушивало каждый мешок, точно устанавливая процент зерна порченого, прогорклого, а то и вовсе без ростков. Он сорт угадывал на слух, не раскрывая мешка: светло-желтую франкенштайнскую, пеструю куявскую, розоватую пробштайнскую и рыжую цветочную, которая особенно хороша на глинистых почвах, английскую колосистую и еще два сорта, которые на побережье только начинали пробовать: сибирскую зимнестойкую и шлипхакенскую белую, сорт номер пять.

Еще больший дар яснослышанья ухо мельника, глухое ко всем прочим звукам, обнаруживало в отношении муки. Если, прильнув — не как очевидец, а как ухослышец — к мешку с зерном, он дознавался, много ли в нем живет долгоносиков, включая куколки и личинки, много ли жуков-наездников и жуков-узкотелов, то, приложив свое ухо к мешку с мукой, он мог с точностью до единицы сказать, сколько в данных шести пудах пшеничной муки обитает мучных червей — tenebrio molitor. При этом — что и вправду поразительно — он благодаря своему плоскостопому уху, иногда сразу, а иногда после нескольких минут яснослышанья, был осведомлен даже о том, скольких дохлых мучных червей в данном мешке оплакивают их живые сородичи, ибо, как не без лукавства уверял он, прищурив правый глаз, кривя направо рот и ведя в ту же сторону носом, по шуму от живых червей всегда можно узнать о численности погибших собратьев.

Жители Вавилонии, как утверждал Геродот, засевали пшеницу зернами величиной с горошину; можно ли, спрашивается, положиться на сведения Геродота?

Мельник Антон Матерн особым способом досконально оценивал качество и состояние зерна и муки; можно ли, спрашивается, верить мельнику Матерну?

И вот в корчме у Люрмана, что между усадьбой Фольхерта и его же, Люрмана, сыроварней, устраивается спор. Корчма для этой цели отлично годилась и даже имела наглядные свидетельства славного прошлого по этой части. Во-первых, здесь можно было своими глазами узреть дюймовый, а по некоторым уверениям даже двухдюймовый гвоздь, по самую шляпку утопленный в массивную деревянную стойку, куда его много лет назад и тоже на спор с одного удара голым кулаком загнал Эрих Блок, плотницких дел мастер из Тигенхофа; во-вторых, белый потолок корчмы хранил на себе доказательства и другого рода — следы от сапог, числом не меньше дюжины, наводившие на мысль о кознях нечистой силы, благодаря которым кто-то разгуливал по потолку головой вниз. На самом же деле сила была, с определенными, конечно, оговорками, достаточно чистой и принадлежала Герману Карвайзе, который, когда некий агент-представитель страховой противопожарной компании усомнился в мощи его мускулов, попросту схватил вышеозначенного агента и, перевернув вверх тормашками, стал подбрасывать к потолку, всякий раз заботливо подхватывая у самого пола, чтобы человек не расшибся, а главное, мог потом подтвердить, каким образом доказательства доблестной пробы сил, то есть отпечатки его представительских сапог, запечатлелись на потолке трактира.

Когда испытывали Антона Матерна, тоже не обошлось без силы, но не телесной — вид у мельника был, пожалуй, тщедушный, — а скорее призрачной и таинственной. Дверь и окна закрыты. Лето осталось на улице. О времени года громко и на разные голоса напоминают только липучки-мухоловки. В стойке дюймовый гвоздь по самую шляпку, отпечатки сапог на сером, когда-то свежевыбеленном потолке. Фотографии и призы, обычные реликвии стрелковых праздников. На полке лишь несколько бутылей зеленого стекла с огнедышащим содержимым внутри.

Запахи махорки, сапожной ваксы и молочной сыворотки спорят друг с другом, но едва ощутимый перевес остается за сивушным духом, который набирает силу еще с субботнего вечера. В корчме болтают-пьют-спорят. Карвайзе, Момбер и молодой Фольхерт ставят бочонок крепкого нойтайхского пива. Тишком сгорбившись над шкаликом курфюрстской водки, которую обычно здесь никто, кроме городских, не пьет, мельник Матерн со своей стороны выставляет такой же бочонок. Люрман за стойкой, уже принес десятикилограммовый мешочек муки и держит наготове для окончательной третейской проверки мучное сито. Сперва мешочек просто так, ознакомления ради, покоится на ладонях у кривого-кособокого мельника, а уж потом к нему, как к подушке, приникает плоское мельничье ухо. И тотчас — поскольку в этот миг никто не жует, не мелет деревенской трактирной околесины, даже почти не дышит сивушным перегаром — явственней раздается пение липучек-мухоловок. Что все арии умирающих лебедей лоэнгринов во всех театрах мира супротив предсмертного хора разноцветных мух в сельской местности!

Люрман уже подсунул мельнику под свободную руку свою аспидную дощечку с грифелем на веревочке. На ней уже размечены — инвентаризация дело нешуточное — соответствующие графы: 1. Личинки; 2. Куколки, 3. Черви. Мельник пока что все еще слушает. Мухи жужжат. Ароматы сыворотки и ваксы набирают силу, поскольку сивушное дыхание все затаили. Но вот несподручная левая рука — правой мельник чуть приобнял мешочек — поползла по стойке к дощечке: в графе «Личинки» грифель с натужным скрипом выводит скошенную цифру семнадцать. Потом, с повизгиванием, — двадцать две куколки. Но их тут же стирает губка, и по мере просыхания мокрого пятна становится все отчетливей видно, что куколок всего девятнадцать. И, наконец, живых червей в мешке обретается восемь особей. А в довесок, поскольку условия пари этого не требуют, грифель в пальцах мельника торжественно возвещает на доске: «Мертвых червей в мешке пять штук». Вот теперь наконец сивушный дух берет свое, разом перебивая ваксу и сыворотку. И предсмертную песню мух тоже кто-то поубавил. Теперь настал черед Люрмана с его мучным ситом.

Короче, чтобы долго не томить: один к одному сошлось предуказанное число жестких пергаментных личинок, мягких, лишь на кончиках роговистых куколок и взрослых личинок, называемых в народе мучными червями. Недоставало лишь одного дохлого червя из предполагаемых пяти: по всей видимости — даже наверняка! — он, высохший и распавшийся на фрагменты, сумел ускользнуть через ячейки сита.

Так мельник Антон Матерн выиграл свой бочонок нойтайхского крепкого пива, а в утешение и в награду всем присутствующим, особенно же Карвайзе, Момберу и молодому Фольхерту, которым пришлось на этот бочонок раскошеливаться, он подарил то ли предсказание, то ли напутствие. Водружая бочонок аккурат на то самое место, где только что лежал испытуемый мешочек муки, он как бы между прочим, словно припоминая какие-то байки, заметил: он, плоскоухий мельник, покуда на этих двадцати фунтах муки своим плоским ухом кемарил, ясно услышал, что полагают некоторые черви — он, правда, не знает, сколько в точности, потому как все они галдели наперебой, — относительно видов на урожай. Эппскую пшеницу, как считают черви, надо сжать за неделю до Семи братьев, а куявскую и шлипхакенскую, сорт номер пять, после Семи братьев на третий день.

С тех пор, за много лет до того, как Амзель изготовил пугало яснослышащего мельника, всех Матернов неизменно встречали в округе то ли приветом, то ли присказкой:

— Здравствуй, дорогуша, ну что там сказали старику Матерну его мучные черви?

Шутки шутками, однако многие приходили и упрашивали мельника разуз-

нать у туго набитого мешочка, когда сеять озимую, а когда яровую пшеницу, когда — а мешочек довольно точно знал и это — начинать жать, когда свозить. Задолго до того, как он предстал в виде пугала и был запечатлен эскизом конструкции на страницах рабочего дневника Амзеля, мельник изрекал и другие, куда более мрачные предсказания, которые и по сей день, когда господин артист надумал у себя в Дюссельдорфе воздвигать мельнику памятник, подтверждаются отнюдь не в шутку, а самым недвусмысленным образом.

Ибо он сумел разглядеть в ближайшем будущем не только угрозу подступающей спорыньи; не только градобой, не записанный ни в одной страховке, — он с точностью до дня предсказал обвалы курса на Берлинской и Будапештской зерновых биржах, крах банков в тридцатом, смерть Гинденбурга, девальвацию данцигского гульдена в мае тридцать пятого; и о дне, когда заговорят пушки, мучные черви тоже, конечно, нашептали ему заранее.

Разумеется, благодаря своему удивительному уху он знал и о собаке Сенте, которая родит Харраса, гораздо больше, чем можно было догадаться по внешнему виду этой псины, черным пятном застывшей возле белого мельника.

И после большой войны, когда мельник со своим беженским удостоверением, разряд «А», ютился где-то между Крефельдом и Дюреном, он все еще мог по своему заветному мешочку, который пережил с ним все военные невзгоды и мытарства, предсказывать, как в будущем... Но об этом, по уговору между членами авторского коллектива, Брауксель не имеет права рассказывать, ибо об этом поведает господин артист.

## *Восемнадцатая утренняя смена*

Вороны на снегу — какой мотив! Снег укрыл толстыми шапками заржавелые машины скреперов и воротов — свидетелей славных времен соледобычи. Брауксель распорядился снег растопить, потому как мыслимое ли это дело: вороны на снегу, которые, если смотреть на них долго и пристально, превращаются в монахинь на снегу, нет уж, снег долой! Ночной смене, прежде чем она начнет проталкиваться в проходную, придется часок потрудиться сверхурочно — а если вдруг станут артачиться, Брауксель прикажет поднять со дна семисотдевяностометровой шахты новые, недавно приобретенные и испытанные модели — комбайны Перкунас, Пеколс, Потримпс, — дабы проверить их эффективность на снежных сугробах: вот тогда и поглядим, каково придется воронам-монахиням, тогда можно и не растапливать снег. Пусть лежит, ничем не запятнанный, под окном у Брауксля и в меру сил поддается описанию. Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет — немного сахару сверху, и ложка стоит, — а паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит, прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут... И дети бегают босиком и ищут янтарь, а находят синие черничины, выкапывают из норок мышей, босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы... Но кто ищет янтарь, бегает босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей, тот в один прекрасный день найдет в дамбе мертвую девочку, совсем-совсем засохшую — да это же Тулла, дочурка герцога Свянтополка, та самая Тулла, что раскапывала песок, ловила мышей и прикусывала их своими острыми резцами, Тулла, которая никогда не носила ни башмаков, ни чулок, — а дети бегают босиком, ивы колышут ветками, Висла по-прежнему течет, солнце всходит и заходит, а паром плывет, уплывает или скрежещет бортом о причал, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и вовсю пыхтит почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки... И мельница тоже покряхтывает, когда ветер восемь метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерн ими слева направо. И

бабка точно так же, вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента, черная и уже беременная, ломится через заросли бобов. Ибо ужасное видение приближается, уже воздета в роковом изломе десница, уже зажата в кулаке и грозно вздымается в небо деревянная поварешка, она уже отбрасывает свою черную тень на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней, вот она совсем рядом, совсем большая... Но и Эдуард Амзель, который вовсю глазеет по сторонам и ничего не забывает, потому что за него отныне все помнит его дневник, тоже требует теперь за свою работу несколько больше, чем прежде, — гульден двадцать за одно-единственное пугало.

Тут вот в чем дело. С тех пор как господин Ольшевский, учитель начальной школы, стал рассказывать детям про всяких богов, которые раньше были, которые и сейчас еще, оказывается, есть и еще с незапамятных времен существовали, — с тех пор Амзель всецело отдался мифологии.

А началось все с того, что овчарка одного самогонщика из Штутхофа по узкоколейке была доставлена вместе со своим хозяином в Никельсвальде. Кобеля звали Плутон, у него была безупречная родословная и почетная задача покрыть Сенту, что и воспоследовало. Ученик начальной школы Амзель поинтересовался, откуда пошло имя Плутон и что оно, в сущности, означает. Господин Ольшевский, молодой, тяготеющий к педагогическому реформаторству сельский учитель, охотно черпавший вдохновение в вопросах своих питомцев, с тех пор все чаще стал заполнять занятия по своему предмету, что фигурировал в расписании под названием «Родная речь и родной край», цветистыми и весьма многословными историями о чудесных деяниях и подвигах сперва Вотана, Бальдура, Фафнира и Фрейи, а потом уж Зевса, Юноны, Плутона, Аполлона, Меркурия и даже египетской богини Изиды. И уж совсем он впадал в раж, когда добирался до древних прусских богов Перкунаса, Пеколса и Потримпса и начинал рассказывать, как они обитали в пышных и раскидистых кронах вековых дубов-исполинов.

Разумеется, Амзель все это не просто мотал на ус, но и, как явствует из его дневника, творчески и с большим мастерством перерабатывал. Так, огненно-рыжего Перкунаса он украсил старыми наперницами, предусмотрительно раздобытыми в домах, где побывала смерть. Растресканный дубовый чурбан, на который Амзель со всех сторон понабил стоптанных лошадиных подков, в расщелины которого понатыкал цветастых перьев из петушиных хвостов, — это была голова Перкунаса. Пугало во всем своем великолепии — ни дать ни взять огненный бог! — недолго красовалось на дамбе для всеобщего обозрения: не прошло и дня, как оно было продано за гульден двадцать и перекочевало в равнинный Ладекопп, подальше от побережья.

Бледный Пеколс, о котором сказано, что он вечно смотрит исподлобья, и который поэтому в языческие времена ведал делами смерти, был изготовлен отнюдь не из постельных принадлежностей старых, не слишком старых и даже вовсе не старых мертвецов — такая отдающая саваном костюмировка была бы решением слишком очевидным и напрашивающимся, — нет, для этой цели было выбрано брошенное при переезде — вот он, дар благосклонной к художнику судьбы, — пожелтевшее, ветхое, пропахшее лавандой и плесенью, мускусом и мышами свадебное платье. В этом подвенечном наряде, лишь слегка переделанном на мужской манер, Пеколс был просто неотразим, так что пугало божества в облике невесты-смерти не замедлило перебраться в Шустеркруг, в тамошнее садоводческое хозяйство, принеся автору выручку аж в два гульдена.

Зато Потримпс, вечно смеющийся отрок с пшеничными колосьями в зубах, одно из самых вдохновенных творений Амзеля, чарующее своим игривым и многоцветным изяществом, ушло всего за один гульден, хотя, как известно, Потримпс оберегает посевы, что озимые, что яровые, от всех напастей— от посевного кукоря и свербигузки, полевой редьки и пырея, вики, торицы и ядовитой спорыньи. Больше недели это юношески стройное пугало, ажурный торс которого, выпол-

ненный из посеребренных станиолью ветвей орешника, украшал еще и передник из кошачьих шкурок, простояло на дамбе, зазывно шурша шафрановым ожерельем из крашеных яичных скорлупок, прежде чем его приобрел крестьянин из Фишер-Бабке. Его беременная и потому особенно приверженная мифологии половина посчитала пугало плодородного божества «прехорошеньким» и «ужасть как уморительным»; несколько недель спустя она разрешилась двойней.

Но и Сенте тоже перепало от милостей отрока Потримпса: ровнехонько через шестьдесят четыре дня она принесла шестерых кутят, покуда еще слепых, но, в строгом соответствии с родословной, густого черного окраса. Все шестеро были зарегистрированы и постепенно проданы, среди них и кобель Харрас, о котором в следующей книге еще не раз пойдет речь, ибо господин Либенау купил Харраса, дабы тот сторожил его столярную мастерскую. По объявлению, которое мельник Матерн поместил в местной газете «Последние новости», столяр приехал в Никельсвальде по узкоколейке, стороны быстро сторговались и ударили по рукам.

А в самом начале, где-то в темном первоистоке, была волчица из литовских чащоб, чей внук, черный кобель Перкун, зачал суку Сенту, а Сенту покрыл Плутон, и Сента ощенилась шестью кутятами, среди которых был и Харрас; а Харрас зачал Принца, а Принц будет героем другой истории — в книгах, которые Браукселю писать не надо.

Но никогда, ни разу в жизни не создавал Амзель птичье пугало по образу и подобию собаки, даже по образу и подобию Сенты, что так преданно носилась между ним и Вальтером Матерном. Все пугала, запечатленные в его дневнике, все, за исключением одного — присосавшихся к вымени угрей, и еще одного — полубабки-полуивы о трех головах, сотворены с оглядкой на людей и богов.

Параллельно школьным занятиям, облекая в наглядные образы учебный материал, который учитель Ольшевский, превозмогая жужжание мух и изнуряющий летний зной, рассеивал над головами своих задремывающих питомцев, одно за другим возникают птицеустрашающие творения, запечатлевшие наряду с богами также и галерею магистров славных немецких рыцарских орденов — от Германа Бальке и Конрада фон Валленрода вплоть до Юнгингена: вот уж где вдоволь погромыхало заржавелое кровельное железо, в прорезях которого, в обрамлении бочковых заклепок, гордо мерцали на белой промасленной бумаге черные рыцарские кресты. Тут уж, уступая доблестям Книпроде, Летцкау и фон Плауэна, волей-неволей пришлось потесниться не одному Ягайло, но и великому Казимиру, не говоря о столь сомнительных личностях, как разбойник Бобровский, Бенеке, Мартин Бардевик и бедолага Лещинский. А Амзель просто не мог насытиться преданиями прусско-бранденбургской старины: он лудил ее целыми столетиями — от Альбрехта Ахилла до Цитена, выжимая из плодородного компоста восточноевропейской истории свои пугала и наводя ими ужас на птиц в восточноевропейском небе.

Примерно в ту же пору, когда отец Харри Либенау, столярных дел мастер, купил у мельника Антона Матерна щенка Харраса, а мир еще не знал ни самого Харри Либенау, ни его кузину Туллу, всякий, кто умеет читать, мог прочесть под рубрикой «Родимый край» в одном из номеров «Последних новостей» статью, которая весьма пространно, вдохновенно и поэтично воспевала красоты восточнопрусского побережья. Страна и люди, особенности строения аистиных гнезд и архитектуры крестьянских усадеб, в частности косяков и карнизов над крыльцом, — все это описано с большим знанием дела. А в центральной части статьи, с которой Брауксель на всякий случай даже заказал себе фотокопию, говорилось и все еще говорится примерно вот что: «И хотя в общем и целом на нашем побережье все идет своим привычным чередом, а всепобеждающая техника еще не вошла сюда своим триумфальным маршем, в одной, пусть и побочной области можно наблюдать поистине разительные перемены. Птичьи пугала на привольных и холмистых пшеничных полях нашего благодатного края, еще несколько лет тому назад ба-

нально целесообразные, пусть чуточку чудные и грустные, но в целом, безусловно, еще вполне схожие с пугалами других земель и провинций, — теперь обнаруживают в полях между Айнлаге, Юнгфером и Ладекоппом, но и вверх по Висле вплоть до Кэземарка и Монтау, а в отдельных случаях даже южнее Нойтайха совершенно новую и разнообразную физиогномику. Буйная фантазия перемешалась здесь с древними народными поверьями: потешные, но и жутковатые фигуры возвышаются среди колышущихся на ветру нив, среди тучного изобилия садов. Не пора ли уже сейчас местным краеведческим и историческим музеям обратить внимание на эти сокровища пусть наивного, но столь искусного по форме народного творчества? Подумать только, ведь это в наши дни посреди плоской обезлички современной цивилизации снова, а быть может, и по-новому расцветает нордическое наследие, нарождается восточнопрусский симбиоз гордого духа викингов и христианского благочестия! Особенно поражает тройственная группа в привольно колосящемся поле между Шарпау и Бэрвельде — своей пронзительной простотой она напоминает тройное распятие Господа нашего и двух разбойников на Голгофе и в своей наивной набожности буквально хватает за душу путника, что держит путь по нашим бескрайним волнистым нивам, приворожая его к месту — а он и сам не знает почему».

Только пусть никто не подумает, будто Амзель сотворил эту группу — в дневнике остался запечатленным только один разбойник — исключительно в порыве детского благочестия и совершенно бескорыстно: согласно тому же дневнику, она принесла автору два гульдена двадцать.

А куда девались те деньги, которые крестьяне округа Большой Вердер — с легким ли сердцем или сперва изрядно поторговавшись — выкладывали на плоскую мальчишечью ладошку? Эти растущие богатства хранились в кожаном мешочке под присмотром Вальтера Матерна. Он хранил их бдительно, угрюмо поглядывая исподлобья, и не без скрежета зубовного. Обвязав тесемку вокруг запястья, он повсюду носил с собой этот мешочек, полный звонких монет Вольного города Данцига: под тополями вдоль шоссе и по ветродуйным просекам прибрежного леса, переправлялся с ним на пароме, крутил им в воздухе, бил им об забор, а также — с особым вызовом — о собственное колено и обстоятельно, не торопясь, развязывал, когда крестьянин превращался в клиента.

Так что кассу держал не Амзель. Вальтеру Матерну полагалось, покуда Амзель изображал напускное безразличие, назначать цену, ударять по рукам на манер барышников, скрепляя сделку рукопожатием, и загребать выручку. Кроме того, Вальтер Матерн отвечал за транспортировку проданных, равно как и выданных напрокат, пугал. Так он попал в кабалу. Амзель сделал его своим батраком. В коротких приступах гнева он бунтовал, силясь освободиться. История с перочинным ножом и была, в сущности, попыткой такого бессильного бунта; ибо Амзель, с виду столь неповоротливый увалень, катившийся колобком по жизни на своих толстых коротеньких ножках, неизменно умудрялся быть на шаг впереди. Так что когда оба шли по дамбе, сын мельника наподобие настоящего батрака всегда плелся на полшага позади неутомимого изобретателя и создателя все новых и новых птичьих пугал. Ему, как батраку, полагалось, кроме того, таскать за своим господином все материалы: жердины, палки, мокрое тряпье и вообще все, что вздумает принести в своих мутных водах Висла.

## *Девятнадцатая упренняя смена*

«Холуй! Холуй!» — кричали другие дети при виде Вальтера Матерна, который, как батрак, следовал за своим другом Эдуардом Амзелем. Кто сквернословит и богохульствует, того, как известно, ждет суровая кара; но кто станет всерьез спра-

шивать с деревенских мальчишек, этих сорвиголов, что поминают черта чуть ли не на каждом слове? А уж эти двое — Брауксель имеет в виду сына мельника и толстяка-увальня с того берега — были вообще не разлей вода, срослись, словно сам Господь Бог и дьявол, так что им эти подначки сельского юношества были все равно как бальзам. Кроме того, они ведь оба, тоже как Бог и дьявол, скрепили свое кровное братство одним ножом.

Вот так, душа в душу — ибо добровольное батрачество тоже было любовным проявлением дружбы, — друзья нередко сиживали в верхней горенке, странности освещения которой зависели, как помним, от взаимодействия солнечных лучей и крыльев матерновской ветряной мельницы. Сиживали рядком, на маленьких скамеечках в ногах у бабки Матерн. За окном день клонится к вечеру. Древесные червяки безмолвствуют. Тени от крыльев мельницы падают не в горенку, а уже во двор. Курятник на малой громкости, потому что окно закрыто. Только муха на липучке все тянет и тянет свою сладкоголосую прощальную арию. А внизу, так сказать в партере, сварливым голосом, словно бы заведомо недовольная любым слушателем, старуха Матерн рассказывает свои байки-небывальщины. Размахивая костлявыми морщинистыми руками и широко разводя их в стороны всякий раз, когда требуется обозначить любые встречающиеся в истории размеры, старуха Матерн рассказывает байки о наводнениях, байки о заколдованных коровах, в том числе и о сосущих молоко угрях и всякую прочую всячину: одноглазый кузнец, лошадь о трех ногах, дочка князя Кестутиса, что выходила ночами мышковать, и историю о гигантской морской свинье, которую выбросило на берег приливом неподалеку от Бонзака, как раз в тот год, когда Наполеон вздумал на Россию войной идти.

Но всякий раз — сколь бы длинными оселками она ни петляла — в конце концов, попадаясь на крючки ловких наводящих вопросов Амзеля, она вступала в гулкие ходы темного подземелья нескончаемой, потому что она не окончена и по сегодня, истории о двенадцати обезглавленных монашках и о двенадцати обезглавленных рыцарях, каждый со своим шлемом под мышкой, которые в четырех экипажах, две упряжки белых, две вороных, проезжали через Тигенхоф по громыхающей мостовой, останавливались на заброшенном постоялом дворе и там, сойдя, выстраивались парами — и сразу же ударяла музыка. Трубы, цитры, барабаны — во всю мощь. И к этому еще вдобавок цоканье языком и гнусавое пение. Скверные песни, похабный припев — мужскими голосами, это рыцари поют, прихвативши головы в шлемах под мышку, а затем вдруг, тонко так, жалостливо, благочестивый женский хор, будто в церкви. А потом снова безголовые монахини, головы они держат перед собой, и головы эти на разные голоса поют сами, а песни блудливые, непристойные, а пляски под них все с притопом да с прихлопом, с визгом да с кружением до одури. И тут же, снова выстроившись в благочестивую процессию, две дюжины безголовых фигур в освещенных окнах гостиницы отбрасывают на мостовую свои смиренные тени, покуда снова не загрохочут барабаны, не взвоют трубы, не взвизгнут смычки и весь дом не затрясется от пола до самой крыши. Наконец под утро, перед петухами, к воротам сами, без кучеров, подъезжают четыре экипажа, две упряжки белых, две вороных. И двенадцать рыцарей, дребезжа железом и осыпаясь ржой, покидают постоялый двор в Тигенхофе, и на плечах у них дамские вуали, сквозь которые мертвенно-бледными ангельскими чертами мерцают профили монахинь. И двенадцать монахинь, в рыцарских шлемах с опущенным забралом поверх орденского платья, тоже покидают постоялый двор. Они садятся в четыре экипажа, упряжка белая, упряжка вороная, садятся по шестеро, но не вперемежку — зачем, когда головами они уже и так обменялись? — и уезжают из притихшего городка, однако мостовая под ними снова грохочет.

— Еще и сейчас, — так говаривала старуха Матерн, прежде чем направить зловещие кареты в другие места, где те и по сей день останавливаются перед ча-

совнями и замками, — еще и сейчас в заброшенном трактире, где никто жить не хочет, по ночам из камина раздается благочестивое пение вперемежку с богохульными молитвами на восемь кошачьих голосов.

Выслушав все это, оба закадычных друга больше всего на свете хотели сразу же отправиться в Тигенхоф. Но сколько ни пытались они осуществить эту затею, им удавалось добраться только до Штегена, в крайнем случае — до Ладекоппа. Зато следующей зимой, которая, разумеется, для строителя птичьих пугал и должна быть самым творческим временем года, Эдуард Амзель все же нашел возможность побывать на заколдованном месте и снять с безголовых привидений все нужные мерки: так он создал свои первые механические пугала, хотя на это и ушла изрядная доля его состояния из заветного денежного мешочка.

## *Двадцатая утренняя смена*

Эта оттепель продолбит у Браукселя дырку в башке. Капель стучит и стучит по оцинкованному оконному карнизу. Поскольку в конторе у Браукселя есть и помещения вовсе без окон, он мог бы от этой весенней терапии отказаться. Но Брауксель остается, он явно хочет заиметь в башке дырку: цел-лу-лойд, цел-лу-лойд, — коли уж кукла, то обязательно с дырочкой в аккуратном целлулойдовом лобике. Ибо Брауксель однажды уже пережил оттепель и превращался в невесть что под талой водицей с худеющего снеговика; но еще раньше, за много-много оттепелей до того, Висла текла под толстым, изрезанным санными следами ледяным покрывалом. А юношество всех окрестных рыбацких деревень вовсю забавлялось катанием под парусом на закругленных коньках, называемых попросту «снегурками». Катались по двое, брали в руки сколоченную из досок раму с натянутой на нее простыней — это и был парус — и, поймав ветер, неслись вперед, аж дух захватывало. У всех изо рта пар. Снег, конечно, мешал, его сперва разгребали лопатами. Там, за дюнами, все земли без разбору, что плодородные, что нет, укрыты сугробами. Сугробы на обеих дамбах. Прибрежный снег незаметно переходит в снег на льду, который укрыл под собою бескрайнее море со всеми его рыбами. В скособоченной снежной шапке, наметенной с востока, на округлом белом холме стоит на своих скрещенных козлах матерновская ветряная мельница, стоит посреди белых полей, которые не убегают с глаз долой лишь благодаря прочным заборам, и мелет, мелет. Засахаренные наполеоновские тополя. Прибрежный лес почти не виден, словно художник-любитель густо замазал его белилами прямо из тюбика. Когда снег начал сереть, мельница сказала себе «Кончай работу!» и отвернулась из-под ветра. Мельник и его работник отправились домой. Кривобокий мельник по пятам за своим работником. Черная псина Сента, нервная с тех пор, как у нее отняли и продали всех щенков, рыщет по своим же следам и кусает снег. А прямо напротив мельницы, на заборе, с которого они предварительно ногами оббили снег, сидят в своих теплых зимних одежках и варежках Вальтер Матерн и Эдуард Амзель.

Сперва они попросту молчат. Потом начинается разговор, темный, невнятный, одним словом — технический. Про мельницы с одним мельничным поставом, про голландские мельницы, хоть и без козел и без седла, но зато с тремя поставами да еще с поворотным ветряком, о хитроумном устройстве мельничных крыльев, со всеми их иглицами, рычагами и щитиками, позволяющими регулировать скорость вращения в зависимости от силы ветра. Поминаются мельничные веретена и мельничная параплица, мельничные балки и мельничные валы. Сложные взаимоотношения между седлом и тормозным приспособлением. Это только мелюзге лишь бы горланить: «Крутится мельница, вертится мельница...» А Вальтер Матерн и Амзель не горланят Бог весть что, они знают, почему и когда мельница крутится то быстрее, то медленнее, это зависит от того, насколько выпуще-

ны тормозные башмаки. И даже когда падает снег, если ветер дает свои восемь метров в секунду, мельница мелет равномерно, невзирая на беспорядочную снежную круговерть. Ничто в мире не способно сравниться с мельницей, которая мелет в метель, — даже пожарная команда, которая под проливным дождем тушит загоревшуюся водонапорную башню.

Но когда мельница сказала себе «Кончай работу!» и ее крылья, будто выпиленные лобзиком, замерли в снежной круговерти, Амзелю вдруг показалось, может, оттого, что он на секундочку то ли прищурил, то ли смежил веки, что мельница вовсе не остановилась. Бесшумно мела метель, надувая с Большой дюны мельтешащую бело-черно-серую рябь. Терялись вдали тополя у шоссе. В корчме Люрмана яичным желтком зажегся свет. Не слышно пыхтения поезда из-за поворота узкоколейки. Ветер вдруг сделался колючим. Взметнулись и застонали кусты. Амзелю жарко, как в печке. Его друг клюет носом. Амзель видит нечто. А его друг ничего не видит. Пальчики Амзеля трутся друг о дружку в рукавицах, потом выскальзывают наружу, рыщут и нашаривают в левом кармане тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой — и сразу как электричеством! На руках и на лице у Амзеля ни снежинки — сразу же тают. Губы сами приоткрылись, а слегка прищуренные глазки видят сразу столько всего, что словами и не расскажешь. Они подъезжают друг за дружкой. Без кучеров. И мельница как мертвая. Четыре кареты на полозьях, две упряжки белых — на снегу почти скрадываются, две вороных — эти, наоборот, как нарисованные, а из них вылезают и помогают друг другу двенадцать и двенадцать, все безголовые. И вот уже безголовый рыцарь ведет безголовую монашенку на мельницу. А всего их было двенадцать пар — каждый рыцарь вел свою монахиню, и каждый нес свою голову, рыцари под мышкой, монахини перед собой, и все они зашли в мельницу. Однако в расстановке процессии возникли явные сложности, ибо — несмотря на одинаковые вуали и одинаковые доспехи — старые распри, еще со времен рагнитского лагеря, навязли у них в зубах. Первая монахиня не разговаривает с четвертым рыцарем. Что не мешает обоим весело болтать с рыцарем Фицватером, который знает литовские земли, как дыры в своей кольчуге. Девятая монахиня в мае должна была разродиться, но не разродилась, потому что восьмой рыцарь — его зовут Энгельгард Ворон — ей и шестой монахине (той, что каждое лето объедалась вишнями), схвативши меч толстого, десятого рыцаря, того, что уселся на балке с закрытым забралом и, со смаком отдирая мясо от костей, уплетал курицу, снес головы вместе с шестой и девятой вуалью. И все это только из-за того, что хоругвь Святого Георгия еще не была соткана, а река Шяшупа меж тем уже замерзла и годилась для переправы. И покуда оставшиеся монахини тем поспешнее ткали хоругвь — последнее багряное поле уже почти было закончено, — третья монахиня, та, что с восковым лицом всегда тенью следовала за одиннадцатым рыцарем, сходила и принесла лохань, дабы было что подставить под кровавые струи. И тогда седьмая, вторая, четвертая и пятая монахини облегченно рассмеялись, отбросили в сторону свое рукоделие и склонили перед восьмым рыцарем, чернокудрым Энгельгардом Вороном, свои головы вместе с вуалями. Тот, не будь лентяй, сперва снес голову десятому рыцарю, который, расположившись на балке, уплетал курицу, — снес вместе с курицей, шлемом и забралом, после чего вернул ему меч, а уж этот толстый, безголовый, но тем не менее жующий десятый помог восьмому чернокудрому, помог второй, третьей — восковолицей, что всегда держалась в тени, а уж заодно и четвертой и пятой монахиням избавиться от своих голов и вуалей, а Энгельгарду Ворону — от головы и шлема. Со смехом подставили лохань. Теперь ткачих-монахинь осталось совсем немного, а хоругвь все еще не была закончена, хотя Шяшупа все еще была подо льдом и годилась для переправы, хотя англичане со своим Ланкастером уже встали лагерем, хотя лазутчики уже разведали дороги и вернулись, хотя князь Витовд решил не вмешиваться, а Валленрод уже позвал всех к столу. Но лохань уже была полна и даже переплескивалась. И тогда настал черед десятой,

толстой монахини — ибо, раз был толстый рыцарь, должна быть и толстая монахиня — подойти вразвалку и трижды поднять лохань, в третий раз уже тогда, когда Шяшупа освободилась ото льда; а Урсуле, восьмой монахине, которую все и всюду ласково кликали Туллой, пришлось опуститься на колени и подставить свою нежную, покрытую пушком шею под меч. А она только в марте приняла обет и уже двенадцать раз успела его нарушить. И не помнила точно, когда с которым по счету, потому как все с закрытым забралом; а тут еще англичане с Генрихом Дерби во главе — не успели лагерь разбить, а уже туда же, и всем невтерпеж. Был среди них и Перси, но не Генри, а Томас Перси. Для него Тулла из тонкого шелка соткала особую маленькую хоругвь, хотя Валленрод и запретил все особые флаги. А вслед за Перси захотели и Джекоб Доутремер и Пиг Пигуд. В конце концов сам Валленрод вышел супротив Ланкастера. И вырвал из рук у Томаса Перси его маленькую карманную хоругвь и повелел фон Хаттенштайну поднять только что изготовленную хоругвь Святого Георгия и переправить ее через освободившуюся ото льда реку, а восьмой монахине, которую все кликали Туллой, приказал опуститься на колени, покуда сколачивается мост, во время коей работы утонуло четыре лошади и один смерд. И она пела куда прекрасней, чем пели до нее одиннадцатая и двенадцатая монахини. Умела и рулады выводить, и трелью рассыпаться, так что нежно-розовый язычок легкой пташкой порхал под темно-багряными сводами нёба. Грозный Ланкастер плакал, пряча слезы под забралом, так ему не хотелось ни в какой крестовый поход, но у него были нелады с семьей, хоть потом он и стал королем. И тут вдруг, поскольку никто не хотел переправляться через Шяшупу, а всем, наоборот, до слез захотелось домой, из пышной кроны дерева, где он до этого спал, выпрыгивает самый младший из рыцарей и пружинистым шагом, крадучись, устремляется прямо к склоненной шее с нежным девичьим пушком. Он вообще-то из Мерса был, очень ему хотелось бартов в истинную веру обратить. Но барты к тому времени были уже все обращены и основали Бартенштайн. Вот ему и остались только литовские земли, а сперва пушок на шее у Туллы. По нему он и хрястнул, аккурат возле первого позвонка, а после на радостях подбросил свой меч в воздух и, пригнувшись, поймал его на загривок. Такой он был ловкий парень, этот шестой, самый молодой из двенадцати. Четвертому этот трюк так понравился, что он решил его повторить, но неудачно — с первой попытки смахнул голову десятой, толстой, а со второй — первой, строгой монахине, обе головы, одна строгая, другая с двойным подбородком, так и покатились. Вот и пришлось третьему рыцарю, который никогда не снимал кольчугу и считался среди них мудрым, самому тащить лохань, поскольку живых монахинь у них больше не осталось.

Недолгий поход по литовскому бездорожью оставшиеся рыцари проделали с головами на плечах в сопровождении англичан без хоругви, дружины из Ханау с хоругвью и ополченцев из Рагнита. Князь Кестутис бухал в непролазных топях. В дебрях гигантских папоротников кикиморой завывала его дочка. От гулкого, зловещего уханья шарахались кони. А в итоге Потримпс так и остался непохороненным. Перкунас ни в какую не желал гореть, а неослепленный Пеколс по-прежнему угрюмо глядел исподлобья. Ах, почему они не додумались снять фильм! Статистов сколько угодно, натуры для съемок непочатый край, реквизита завались! Шестьсот пар ножных лат, арбалеты, металлические нагрудники, размокшие сапоги, жеваные уздечки, семьдесят штук льняного полотна, двенадцать чернильниц, двадцать тысяч факелов, сальные свечи, скребницы для лошадей, пряжа в мотках, солодовые палочки — эта жевательная резинка четырнадцатого столетия, — чумазые оруженосцы, своры псов, господа за игральной доской, арфисты, шуты, погонщики, галлоны ячменного пива, пучки штандартов, стрел, вертелов и копий для Симона Бахе, Эрика Крузе, Клауса Шоне, Рихарда Вестралля, Шпаннерле, Тильмана и Роберта Венделла, без которых не сколотился бы мост, не было бы шальной переправы, засады в грозу под затяжным дождем: пучки молний, дубы в

щепки, кони на дыбы, совы таращатся, лисы петляют, стрелы свищут, славному немецкому рыцарству делается не по себе, а тут еще в кустах ольшаника слепая провидица завывает: «Вела! Вела!» — «Назад! Назад!», — но лишь в июле им суждено снова узреть ту речушку, которую и сегодня еще поэт Бобровский воспевает в загадочных, темных виршах. Шяшупа текла как прежде, мирно журча и пенясь о прибрежные валуны. И гляди-ка, целая толпа старых знакомых: на бережку рядком сидят двенадцать безголовых монахинь, у каждой в левой руке собственная голова в собственной вуали, а правой рукой они черпают водичку из прозрачной Шяшупы и освежают ею свои разгоряченные лица. А чуть поодаль угрюмо стоят безголовые рыцари и охлаждаться не желают. И тогда оставшиеся рыцари, те, что еще с головами, решают, что отныне они будут заодно с безголовыми. Неподалеку от Рагнита взаимно и в одночасье они снесли друг другу буйные головушки, впрягли верных своих коней в простые повозки и отправились в белых и вороных упряжках колесить по обращенным и необращенным землям. Они возвысили Потримпса, низринули Христа, в который раз тщетно попытались ослепить Пеколса и снова вознесли крест. Они останавливались в трактирах и на постоялых дворах, в часовнях и на мельницах и так, с музыкой да потехой, прошли через столетия: стращали поляков, гуситов и шведов, побывали и при Цорндорфе, когда Зейдлиц решил исход битвы своими кавалерийскими эскадронами, подобрали на дороге, по которой без оглядки отступал корсиканец, четыре брошенных экипажа, радостно пересели в них из своих грубых крестоносных повозок и так, уже на рессорах, стали свидетелями второй битвы при Танненберге, которая, впрочем, точно так же, как и первая, вовсе не при Танненберге имела место. В рядах дикой буденновской конницы они едва-едва унесли ноги от Пилсудского, когда тот, не иначе как с помощью Пресвятой Девы Марии, разгромил их в излучине Вислы, а в те годы, когда Амзель создавал и продавал свои птичьи пугала, все еще не угомонились и колобродили где-то между Тапиау и Нойтайхом. И все они, двенадцать и двенадцать, не намерены были прекращать свои непотребства, покуда не будет ниспослано им избавление и каждый не сможет снова носить на плечах свою голову или хотя бы то, что от нее осталось.

Под конец они собирались сперва в Шарпау, потом в Фишер-Бабке. Первая монахиня уже иногда носила голову четвертого рыцаря, хотя по-прежнему с ним не разговаривала. И вот однажды они направились в Штутхоф, но не по дороге, а прямиком через поле, между шоссе и дюнами, остановились — только Амзель один их и видел — перед матерновской мельницей и вылезли: было как раз второе февраля, Сретенье, что они и намеревались отпраздновать. Помогли друг дружке выйти из экипажей, взобраться на горку, войти в мельницу. И сразу же после этого — один Амзель это слышал — мельница вся, от козел до чердака, пошла ходить ходуном, содрогаясь от стуков и вскриков, воя и клацанья, ведьмовских заклинаний и молитв. Тут и зацокало что-то, и с металлическим звоном присвистнуло, а снег между тем все мело и мело откуда-то с дюн, надо полагать все же с неба. Амзель весь горит и крепче сжимает в глубине своего кармана лаковую туфельку с пряжкой, между тем как друг его спит и знай себе посапывает. Короткий антракт, ибо они там внутри тем временем валяются в муке, скачут верхом на балках, засовывают пальцы между веретеном и тормозом и поворотным брусом устанавливают, раз уж сегодня Сретенье, мельницу против ветра: она раскручивается медленно, поначалу с неохотой; и тут двенадцать голов благостными голосами затягивают «Мать стояла в смертной боли»: О Пеколс, как хладны наши косточки, семерых из двенадцати холод сковал — juxta crucem lacrimosa — О Перкунас, мы горим все двенадцать, вот уж пеплом один из нас стал — Dum pendebat filius — О Потримпс, в муке катаясь, кровь Христа мы пьем, покаясь... И вот наконец, покуда в помольном ковше, перекатываясь, подпрыгивает, гремя шлемом, голова восьмого, черного рыцаря вместе с добродушной толстомясой головой десятой монахини, матерновская мельница раскручивается все быстрей и быстрей — и это при

полном безветрии. И вот уже младший из рыцарей, тот, что с нижнего Рейна, лихо швыряет свою поющую голову с широко раззявленным забралом восьмой монахине. А та как будто ни при чем, даже узнавать не хочет, и вообще ее зовут Урсула, а не Тулла, и ей вполне достаточно собственного общества, вон как скачет на штыре, что крепит мельничную балку. Он, понятное дело, трясется — крутится мельница, вертится мельница, — головы в помольном ковше уже горланят вовсю, и деревянный штырь уже скрипит от натуги, вороны в муке, обвязка крыши уже потрескивает, засовы уже выпрыгивают из скоб, черепушки вверх-вниз по лестнице скок-поскок, паломничество с чердака в закром и обратно, старая матерновская мельница молодеет на глазах от такого зуда-блуда и молельного восторга, она превращается — один Амзель со своей лаковой туфелькой это видит — в рыцаря, что, сидя гузном на козле, разит направо и налево, врубаясь в снегопад, превращается — один Амзель со своей туфелькой это понимает — в монашку в широком орденском платье, что, раздувшись от бобов и экстаза, машет рукавами, ветряной рыцарь, ветряная монахиня, бедность, бедность, бедность. Но уже выхлебано свернувшееся молоко кобылицы. Уже забродила брага из посевного куколя. И острые резцы уже обгладывают лисьи косточки, пока черепушки все еще мыкают горе: бедность, солодовый рай. Потом все-таки переметнулись, перевертыши, головы припрятали, и из великого попрания поднимается, возликовав, чистейший голос аскезы, отрешение, сладостная песнь песней богоугодного бичевания — ветряной рыцарь взмахивает ветряным бичом, ветряной бич настигает ветряную монахиню — аминь — или нет, еще не аминь, ибо пока с небес, бесшумный и бесстрастный, падает белый снег, а Амзель, прищурив глазенки, прирос к забору, нашаривая в глубинах левого кармана своего тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой, что принадлежала когда-то Хедвиг Лау, и уже вынашивает свой очередной замысел, — где-то на чердаке проснулся огонек, который дремлет в закутке всякой мельницы.

И тогда все скопом — едва их головы шустро и без разбору повскакивали на обрубки шей — они покинули мельницу, крылья которой крутились все медленнее, пока почти вовсе не остановились. Зато сама мельница — покуда они расселись по экипажам и на быстрых полозьях умчались в сторону дюн, — занявшись изнутри, начала разгораться все сильней. Тут только Амзель кубарем свалился с забора, увлекая за собой товарища. «Пожар! Пожар!» — вопили оба во все горло, повернувшись в сторону деревни, но уже поздно было что-либо спасать.

## *Двадцать первая утренняя смена*

Наконец-то рисунки доставлены. Брауксель немедленно распорядился их окантовать, застеклить и развесить. Средний формат: «Скопление монахинь между кёльнским собором и кёльнским главным вокзалом», «Евхаристический конгресс. Мюнхен», «Монахини и вороны, вороны и монахини». Потом большие листы, формат А-1, черная тушь, местами с прорисовкой: «Разоблачение послушницы», «Большая аббатиса», «Аббатиса на корточках» — это особенно удачная работа. Автор просит пятьсот марок. Что ж, это по-божески, вполне по-божески. Этот рисунок сразу в конструкторское бюро. Мы встроим почти бесшумные электромоторчики: ветряная монахиня взмахивает ветряным бичом...

Ибо покуда полиция обследовала пепелище, поскольку подозревали поджог, Эдуард Амзель построил свое первое, а по весне, когда всякий снег утратил всякий смысл и выяснилось, что католическую мельницу из религиозных побуждений подпалил меннонит Симон Байстер, — и свое второе механическое птичье пугало. Много денег, много монет из заветного кожаного мешочка ушло на эту затею. Судя по чертежам в дневнике, он изготовил ветряного рыцаря и ветряную монахиню, облачил их в соответствующий наряд с лоскутными рукавами-крыль-

ями и, усадив на козлы, отдал на произвол ветрам; однако ни ветряной рыцарь, ни ветряная монахиня, хотя обе эти работы мгновенно нашли покупателей, не воплотили в себе то, что запечатлелось в душе Эдуарда Амзеля снежной ночью на Сретенье; словом, художник в нем остался не удовлетворен; вот и фирма «Браукселъ и Ко» вряд ли закончит разработку мобильных птичьих пугал раньше середины октября и только тогда запустит их в серийное производство.

## *Двадцать вторая утренняя смена*

После пожара сперва паром, потом поезд узкоколейки доставили бескарманного и беспуговичного, то бишь грубого меннонита, мелкого землепашца и рыбака Симона Байстера, который из религиозных побуждений учинил поджог, в город, а точнее — в городскую тюрьму Шисштанге, что находилась в районе Новосад, у подножия Ячменной горы, и на несколько лет стала его постоянным местом жительства.

Сента, из рода Перкуна, ощенившаяся шестью кутятами, Сента, чей черный окрас так замечательно выделялся на фоне белого мельника, начала, после того как всех щенков ее продали, проявлять признаки собачьей нервозности, а после пожара и вовсе впала в столь опасное умопомешательство — аки волк зарезала в деревне овцу, а потом напала на представителя противопожарной страховой компании, — что мельник Матерн вынужден был послать своего сына Вальтера к Эриху Лау, учителю сельской школы в Шивенхорсте: у отца Хедвиг Лау имелось охотничье ружье.

В жизнь друзей пожар на мельнице тоже внес кое-какие перемены. Судьба — а точнее сельский учитель, вдова Амзель и мельник Матерн вкупе с директором департамента учебных заведений доктором Батке — сделала из десятилетнего Вальтера Матерна и десятилетнего Эдуарда Амзеля двух гимназистов, которым даже удалось сесть за одну парту. И покуда на пепелище матерновская мельница отстраивалась заново — от проекта голландской, кирпичной мельницы с поворачивающимся чепцом пришлось отказаться ради сохранения исторического образа исконно немецкой мельницы на козлах, ибо здесь как-никак переночевала императрица Луиза, — разразился праздник Пасхи, сопровождаемый умеренным паводком, традиционным нашествием мышей и бурным лопаньем вербных почек; а вскоре после Пасхи Вальтер Матерн и Эдуард Амзель уже щеголяли в зеленых бархатных шапочках реальной гимназии Святого Иоанна. У обоих был одинаковый размер головы, но в остальном Амзель был много, много толще. Кроме того, у Амзеля на макушке был только один вихор, а у Вальтера Матерна целых два, что, по некоторым суеверным утверждениям, является предвестьем ранней кончины.

Необходимость добираться от устья Вислы до гимназии Святого Иоанна превратила наших друзей из обычных учеников в учеников приезжих. А приезжие ученики много видят по дороге и еще больше врут. Приезжие ученики умеют спать сидя. Приезжие ученики делают домашние задания в поезде, благодаря чему у них вырабатывается неровный, тряский почерк. И даже в зрелые годы, когда домашние задания делать уже не надо, эта своеобычность почерка сохраняется, разве что тряскость исчезает. Вот почему господин артист вынужден печатать свою рукопись прямо на машинке — бывший приезжий ученик, он пишет совершенно неразборчивыми каракулями, все еще сотрясаемый толчками воображаемых поездов своего детства.

Поезд узкоколейки отправлялся с Прибрежного вокзала, который городские жители называли Нижним, проезжал через Кнюппелькруг и Готтсвальде, под Шустеркругом переправлялся на канатной переправе через старицу — Мертвую Вислу, а под Шивенхорстом, уже на паровом пароме, через так называемый Стежок

попадал в Никельсвальде. Затем, втащив на дамбу Вислы каждый из четырех вагончиков по отдельности и оставив Эдуарда Амзеля в Шивенхорсте, а Вальтера Матерна в Никельсвальде, трудяга-паровозик устремлялся дальше через Пазеварк, Юнкеракер и Штеген к Штутхофу, конечной станции узкоколейки.

Все приезжие ученики всегда садились в первый вагончик, сразу за паровозом. Из Айнлаге приезжали Петер Иллинг и Арнольд Матрай. В Шустеркруге подсаживались Грегор Кнессин и Иоахим Бертулек. В Шивенхорсте, неизменно сопровождаемая матерью, к поезду соизволяла прибыть Хедвиг Лау. Впрочем, нежное дитя часто страдало от воспаления миндалин и тогда не появлялось. Совершенно непонятно, как это узкогрудый трудяга-паровозик осмеливался трогаться в путь, так и не дождавшись Хедвиг Лау. Дочь сельского учителя была, как и Вальтер Матерн с Эдуардом Амзелем, в шестом младшем классе. Позже, начиная с четвертого среднего, она погрубела, перестала болеть воспалением миндалин и, поскольку никто больше не трясся за ее драгоценное здоровье и даже жизнь, превратилась в столь скучную особу, что вскоре Брауксель вообще прекратит упоминать ее имя на этих страницах. Но пока что Амзель все еще питает некоторую слабость к этой тихой, почти заспанной, хотя и хорошенькой — пусть только в масштабах побережья — девчушке. Вот она, чуть-чуть слишком белокурая, чуть-чуть слишком голубоглазая, с чересчур свежим личиком и раскрытым учебником английского на коленях, сидит прямо напротив Амзеля.

Хедвиг Лау носит косички с бантиками. Даже когда поезд начинает приближаться к городу, от нее все равно пахнет маслом и молоком. Амзель, прищурив глаза, ловит золотисто-белокурые отблески прибрежной девичьей красы. А за окном после Кляйн-Пленендорфа вместе с первыми пилорамами начинается лесопогрузочный порт: чайки сменяют ласточек на проводах, телеграфные столбы остаются. Амзель раскрывает свой рабочий дневник. Косички Хедвиг Лау кокетливо и легко покачиваются над учебником английского. Амзель быстрыми штрихами набрасывает рисунок: мило, очень даже мило! Висячие косы он по художественным соображениям решительно отвергает и вместо этого свивает из них два бублика, чтобы закрыть ее слишком розовые, почти красные ушки. Но не то чтобы он сказал — мол, сделай так, так гораздо лучше, косы у тебя дурацкие, надо носить бублики, нет, дождавшись, когда за окном показывается предместье Кнайаб, он молча кладет свой дневник на ее раскрытый учебник, и Хедвиг Лау, изучив рисунок, мановением ресниц выражает согласие, почти покорность, хотя внешне Амзель вовсе не похож на тех мальчишек, которых привыкли слушаться одноклассницы.

## *Двадцать третья утренняя смена*

Брауксель питает неистребимое отвращение к неиспользованным бритвенным лезвиям. Его верный друг и правая рука в свое время, еще в пору акционерного общества «Бурбах-калий АО», освоивший в качестве забойщика весьма обильные соляные залежи, «освящает» лезвия Брауксля и приносит их ему после своего первого бритья, благодаря чему Брауксслю не приходится преодолевать того отвращения, какое — с той же силой, хотя и не к бритвенным лезвиям, — от рождения мучило Амзеля. А именно: Амзель не мог выносить и, следовательно, носить новую, пахнущую обновкой одежду. Равно как и запах свежего белья вынуждал его с трудом подавлять в себе приступы подкатывающей дурноты. Покуда он пребывал в лоне сельской школы, этой его аллергии были положены естественные пределы, поскольку что шивенхорстская, что никельсвальденская поросль просиживала школьные парты в перешитом и перелатанном, перелицованном и перештопанном, протертом почти до дыр тряпье. Но реальная гимназия Святого Иоанна требовала иного облачения. И вот мать одела Амзеля во все новехонькое, с иго-

лочки: зеленая бархатная шапочка уже упоминалась выше, к ней присовокупились рубашки спортивного покроя, песочно-серые бриджи дорогого сукна, синяя куртка из чертовой кожи с перламутровыми пуговицами и — не исключено, что по заявке самого Амзеля, — лаковые башмаки с пряжками; ибо Амзель не имел ничего против пряжек и лака, перламутровых пуговиц и чертовой кожи, и лишь мысль о том, что все эти новые одежки будут соприкасаться с его живой кожей, с его шкурой простого крестьянина, который сам сродни своим птичьим пугалам, — эта мысль приводила его в содрогание, больше того, свежее белье и неношеная одежда вызывали у него мучительный зуд и экзему; точно так же и Брауксель после бритья новыми лезвиями вынужден опасаться появления отвратительных лишаев вокруг подбородка.

К счастью, тут Вальтер Матерн мог выручить своего друга. Его школьный костюм был пошит из перелицованного сукна, его ботинки на шнурках уже дважды побывали у сапожника, гимназическую шапочку бережливая мать Вальтера Матерна тоже купила ношеную, поэтому первые две, если не три недели поездки друзей в школу по узкоколейке начинались с одной и той же неизменной церемонии: где-нибудь в товарном вагоне, среди бессловесной убойной скотины, друзья обменивались школьной одеждой; в том, что касается обуви и шапочек, это было проще простого, зато куртка, бриджи и рубашка Вальтера Матерна — отнюдь, кстати, не замухрышки — были его другу явно узки, тесны и неудобны, и тем не менее они ласкали его тело и дух, поскольку были ношеными, перелицованными и пахли старьем, а не обновкой. Надо ли объяснять, что новая одежда Амзеля висела на его друге мешком, к тому же лак и пряжки, перламутровые пуговицы и смешная курточка из грубой замши были ему не слишком к лицу. Амзель, однако, с наслаждением пряча свои ноги чучельного крестьянина в грубые, сморщенные, залатанные башмаки, искренне восторгался лаковыми ботинками на ногах у Вальтера Матерна. Тому пришлось их разнашивать до тех пор, покуда Амзель не признал их ношеными и не счел такими же растрескавшимися, как та лаковая туфелька с пряжкой, что хранилась у него в ранце и так много для него значила.

Забегая вперед, надо сказать, что это традиционное переодевание долгие годы оставалось если не главным связующим звеном, то по крайней мере важным компонентом дружбы Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля. Даже носовые платки, свежевыстиранные и складочка к складочке отутюженные, которые Амзелю заботливо подкладывала в карман его матушка, приходилось обновлять его другу, равно как и гетры и носки. Впрочем, дело не ограничивалось одной одеждой — ту же болезненную чувствительность Амзель выказывал по отношению к новым карандашам и ручкам: карандаши Вальтеру Матерну приходилось затачивать, снимать парадный глянец с нового ластика, расписывать новые зуттерлиновские перья; разумеется, он, точно так же, как верный друг Браукселя и его правая рука, неминуемо должен был бы опробовать и новые бритвенные лезвия, если бы в ту пору на веснушчатом мальчишеском лице Амзеля уже созрел первый рыжеватый пушок.

## *Двадцать четвертая утренняя смена*

Кто это там стоит, облегчившись после завтрака и изучая собственное дерьмо? Кто этот человек, задумчивый и озабоченный, вечно в погоне за прошлым? И почему это принято глазеть именно на иссохший и лысый череп? Театральщина, гамлетовская болтовня, актерство! Брауксель, чьим пером пишутся эти строки, поднимает взгляд и спускает воду, созерцание помогло ему припомнить одну историю, которая дала обоим друзьям возможность — Амзелю скорее трезво, а Вальтеру Матерну по-актерски — и впрямь пережить приключение, от которого веет театральщиной.

Гимназия, расположенная в Мясницком переулке, разместилась там весьма таинственно и путано в зданиях бывшего монастыря францисканцев, то есть имела свою предысторию и, значит, была для обоих друзей гимназией не только реальной, но и идеальной, так как в древних стенах бывшего монастыря обнаружилось великое множество укромных уголков и потаенных мест, о которых ни учителя, ни даже гимназический сторож ведать не ведали.

Брауксель, руководящий сейчас шахтой, в которой не добывается ни калийная соль, ни руда, ни уголь и которая тем не менее работает вовсю, углубившись своим стволом уже на восемьсот пятьдесят метров в недра, сразу распознает все маленькие радости этого запутанного подземного царства: ведь под всеми классными комнатами, под гимнастическим залом и под писсуаром, под актовым залом и даже под учительской комнатой тянулись потайные ходы, ведшие в таинственные подземелья и темницы либо по кругу и даже в опасные тупиковые лабиринты. Когда после Пасхи начались уроки, Амзель первым вошел в классную комнату на первом этаже. Коротконогий увалень в башмаках Вальтера Матерна, он, едва ступив на натертые половицы и поведя своим розовым хомячковым носом, мигом учуял: сырость! подвал! приключение! — тут же остановился, сплел в задумчивости свои толстые пальчики, слегка попружинил на мысках тут и там, после чего носком правого ботинка отметил на одной из половиц крест. Поскольку же условный знак не повлек за собой ответного условного свиста, голова Амзеля на пухлой подушечке шеи недоуменно обернулась — там, за спиной, в лаковых ботинках Амзеля стоял Вальтер Матерн и явно не соображал что к чему, только таращился, как бычок, пока наконец свет понимания не озарил — от носа ко лбу — всю его физиономию и он не издал короткий ответный условный свист через зубы. Поскольку пустота под половицами отзывается гулко и загадочно, оба сразу почувствовали себя в классной комнате шестого начального почти уютно, чуть ли не как дома, пусть за окнами класса и не текла красавица Висла, раздвигая прибрежные дамбы своими могучими плечами.

Так что после первой же гимназической недели оба они, столь небезразличные к рекам, нашли доступ к небольшой речушке и тем самым как бы возместили себе отсутствие Вислы. В помещении раздевалки возле гимнастического зала, который во времена францисканцев служил библиотекой, надо было открыть крышку люка. Врезанный в половицы квадрат, пазы которого были забиты отходами многолетней чистоплотности, но все же не настолько, чтобы укрыться от всевидящего ока Амзеля, поддался наконец усилиям Вальтера Матерна и из черного отверстия дохнуло все тем же: сырость! подвал! приключение! Так они обнаружили начало затхлого подземного лаза, который отличался от других ходов под классными комнатами тем, что выходил в шахту городской канализации и по ее тоннелям вел прямиком в Радауну. Маленькая эта речушка, обязанная своим таинственным именем, а также изобилием раков и рыбы Радаунским озерам, текла из этих озер по округу Берент и, миновав Петерсхаген, втекала в город со стороны Нового рынка. Попетляв — где под открытым небом, а где и в трубах под землей — по старому городу, ныряя под многочисленные мосты, облагороженная лебедями и плакучими ивами, она, наконец, между Карповым омутом и Брабанком сливалась с Мотлавой незадолго до впадения той в Мертвую Вислу.

Таким образом, Амзель и его друг могли, когда в раздевалке не было посторонних, подняв квадратную крышку заветного люка — что они и делали, — заползти в подземный ход — оба заползали,— где-то на уровне писсуара спуститься в шахту — по вмурованным в кирпичную кладку железным скобам первым спускался Вальтер Матерн, — на дне шахты без труда открыть заржавленную железную дверь — Вальтер Матерн открывал — и пройти по сухому, но зловонному и изобилующему крысами тоннелю в своих обменянных друг у друга ботинках до самого конца. А если точнее: пройдя под Куриным валом и Тележным валом, под зданием управления Главной страховой компании, под Городским пар-

ком, под железнодорожными путями между Петерсхагеном и главным вокзалом, тоннель выводил к Радауне. Прямо напротив кладбища Святого Сальвадора, что уютно расположилось у подошвы Епископской горы между Гренадерским переулком и меннонитской церковью, тоннель под сводами мощной арки выбегал к реке. Тут же, чуть поодаль от проема, в отвесную каменную стену набережной снова были вмурованы железные скобы, по которым можно было взобраться до замызганных перил парапета. А уж отсюда открывался вид, хорошо знакомый Браукселю по многочисленным гравюрам: из свежей майской зелени парка во всем своем краснокирпичном великолепии вздымается панорама города — от Оливских ворот до Легенских, от Святой Катарины до Святого Петра на Поггенпфуле многочисленные башни и шпили своей разновеликой высотой и неодинаковой статью доказывают, что они друг другу не ровня и далеко не одногодки.

Прогулку по тоннелю друзья совершали уже два или три раза. При этом Вальтер Матерн прикончил добрую дюжину крыс. Когда во второй раз они вышли на свет Божий у берегов Радауны, их заметили старички, коротающие досуг в парке за пенсионерскими посиделками, но в полицию заявлять не стали. Да им и самим уже поднадоело — ведь Радауна все же не Висла, но тут, опять-таки под гимнастическим залом, но еще до шахты, ведшей в городскую канализацию, они наткнулись на боковой ход, кое-как заложенный кирпичами и потому поначалу ими не замеченный. Фонарь Амзеля выхватил его из темноты. Неизученное ответвление подземного хода нельзя оставлять без внимания. Тем более, что ход был наклонный и вел куда-то вниз. Вскоре они оказались в довольно просторном, в человеческий рост, каменном тоннеле, который явно не относился к городской канализации, но вел по ветхим, гулким и шуршащим средневековым плитам не куда-нибудь, а под церковь, и не простую, а готическую церковь Святой Троицы. Знаменитая эта церковь стояла около музея в какой-нибудь сотне метров от реальной гимназии. В одну из суббот, когда было только четыре урока, а до ближайшего поезда оставалось еще два часа, друзья и совершили то открытие, о котором здесь и будет рассказано — и не потому только, что средневековые подземные ходы так увлекательно описывать, но потому, что открытие это дало шестикласснику начальной школы Эдуарду Амзелю пищу для созерцания, а его однокласснику Вальтеру Матерну — повод для актерства и скрежета зубовного. Не считая того, что Брауксель, руководящий, как известно, целой шахтой, обо всем, что касается подземных миров, умеет и любит изъясняться с особым шиком.

Скрипун — прозвище придумал Амзель, и оно в школе прижилось — идет впереди. В левой руке у него карманный фонарь, в правой — увесистая палка, чтобы отпугивать, а при случае и приканчивать огромных подземных крыс. Но крыс немного. Каменная кладка стен на ощупь крошковата, грубая, но сухая. Воздух прохладный, но не замогильно-холодный, как в склепе, к тому же в нем чувствуется легкий сквознячок, хотя и не очень понятно, откуда тянет. И эхо шагов не отдается, как в городских тоннелях. Так же, как в первом ответвлении и в связующем проходе, здесь довольно крутой уклон. На Вальтере Матерне наконец-то его собственные башмаки, ибо лаковые ботинки с пряжками от лазаний по подземельям достаточно натерпелись, так что теперь их обладатель может спокойно разгуливать в ношеной обувке. Так вот откуда сквознячок и хорошая рудничная вентиляция — из этой вот дырки! Так и прошли бы мимо, кабы не Амзель. Вон там, слева. Через этот лаз — семь кирпичей в высоту, пять в ширину — Амзель Скрипуна довольно быстро проталкивает. С ним-то самим посложнее. Зажав фонарик в зубах, Матерн изо всех сил тянет Амзеля сквозь проем, в немалой мере способствуя превращению почти новенького костюма друга в обычную школьную рванину. Наконец оба стоят по ту сторону, удовлетворенно пыхтя. Оказывается, они очутились на довольно просторной площадке — это дно круглого шахтного колодца. Взоры обоих немедленно устремляются вверх, ибо оттуда сочится слабый, размытый свет: там виднеется проломанная, но с большим искусством выкован-

ная решетка, что вмурована в пол церкви Святой Троицы — они позже сами в этом удостоверятся. Вместе со слабеющим светом взгляды их сползают вниз, и там, внизу, фонарь совершенно отчетливо выхватывает из темноты прямо чуть ли не у них под ногами — да-да, скелет.

Он лежит скрюченный, явно какой-то неполный, с перепутанными или въехавшими друг в дружку костями. Правая лопатка продавила четыре ребра. Грудину с отростком проткнули правые ребра. Левой ключицы вообще нет. Позвоночный столб в области первого поясничного позвонка переломился, как тростинка. Кости рук и ног почти все кучей — в общем, кто-то явно гробанулся.

Скрипун стоит столбом, даже позволяет забрать у себя фонарь. Амзель принимается скелет высвечивать. При этом, вовсе не по его злому умыслу, а просто сама по себе возникает игра света и тени. Мыском своего лакового ботинка — впрочем, качественное определение «лаковый» Брауксслю вскоре уже не понадобится — он проводит в мучнистой, лишь поверху заскорузлой корке шахтного дна борозду вокруг этих бренных останков рухнувшего тела, отходит в сторону, пускает вдоль этой борозды шустрого электрического зайчика из своего фонаря, прищуривает глазки, как всегда, когда он видит прототип или модель, склоняет набок голову, облизывает кончиком языка губы, прикрывает один глаз ладонью, поворачивается кругом, оглядывается через плечо, извлекает Бог весть откуда маленькое карманное зеркальце, принимается жонглировать светом, скелетом и отражением, затем, закинув руку с фонарем высоко за голову и наклонив зеркальце под углом, пускает луч света, то приподнимаясь на цыпочки и перебегая с места на место, дабы увеличить радиус, то для сравнения становясь на колени, разглядывает скелет в зеркальце, потом без зеркальца, повернувшись к нему лицом, исправляет прорисованную борозду то тут, то там, рисующим мыском своего ботинка придает контуру упавшего человека почти карикатурные очертания, уточняет их, стирая и прорисовывая заново все тем же мыском, гармонизирует, снова заостряет, стремится передать экстаз через статику, всецело подчинен лишь одной задаче — сейчас же сделать набросок с этого скелета, удержать его в памяти и после, уже дома, увековечить в своем дневнике. Что же удивительного в том, что Амзель, после того как все предварительные этюды закончены, испытывает вполне понятное желание поднять с земли череп, что завалялся у скелета где-то между частично недостающими ключицами, и деловито засунуть его в свой школьный ранец, к тетрадям и книжкам, к хрупкой и ломкой туфельке Хедвиг Лау. Он хочет отвезти этот череп на Вислу и увенчать им одно из пугал, что стоят у него на стапелях, а лучше всего — то новое пугало, которое он только что набросал, так сказать, во прахе. И вот уже его рука с толстыми, растопыренными пальцами-сардельками распростерлась над бренными останками ключиц, уже изготовилась подцепить череп за глазницы, дабы выудить его в целости и сохранности, — но в этот миг Скрипун, простоявший все это время столбом без сколько-нибудь заметных признаков жизни, начинает скрипеть всеми своими зубами. Он скрипит и скрежещет как обычно — слева направо. Но гулкая акустика шахты превращает этот звук в столь зловещий скрежет зубовный и разносит его так далеко и громко, что рука Амзеля невольно замирает на полпути, а сам он, оглянувшись через пухлое плечо, испуганно направляет луч фонарика на своего друга.

Скрипун ничего не говорит. Пусть за него все скажет скрежет зубовный. А скажет он вот что: Амзель не смеет тянуть свои лапы куда не след. Амзель ничего с собой не возьмет. Череп брать нельзя. Не нарушай его покой. Не прикасайся к нему. Лобное место. Голгофа. Могильный курган. Скрежет зубовный.

Но Амзель, постоянно испытывающий нужду в костюмировке и реквизите, то бишь в самом наинасущном, уже снова тянет руку к черепу, и рука эта — ибо не каждый день случается найти череп — вторично появляется в световом круге, выхваченном из пыльной тьмы лучом фонаря. Но тут его в первый, а затем и во второй раз настигает удар палки, которая прежде разила только крыс. И гулкая

акустика шахты усиливает и разносит во все стороны обидное слово, выкрикнутое между первым и вторым ударом:

— Абрашка!

Да, Вальтер Матерн обзывает своего друга «абрашкой» и лупит его палкой. Амзель валится на бок подле скелета. Клубы пыли вздымаются в воздух и медленно оседают. Амзель снова встает. Ну кто еще способен плакать такими крупными, такими отдельными слезами? Но кроме того, Амзель исхитряется, роняя из обоих глаз свои тяжелые слезы, превращающиеся на полу шахтного колодца в серые пыльные жемчужины, еще и изобразить то ли добродушную, то ли издевательскую улыбку.

— Walter is a very silly boy[1].

Снова и снова повторяет он на разные лады эту фразу из английского учебника для шестого класса, передразнивая их учителя. Ибо он не может иначе, он должен, даже сквозь слезы, кого-то изображать, в крайнем случае самого себя.

— Walter is a very silly boy. — И тотчас же перейдя на родное деревенское наречие, добавляет: — Это мой жмурик! Это моя черепушка! Это я нашел! Только примерить хотел. Потом бы обратно принес.

Но взывать к Скрипуну бесполезно. Вид костей, разбросанных смертным жребием, заставляет его нахмурить брови и вообще повергает в раздумья. Скрестив руки и опершись на свой дрын, он всецело погружается в созерцание. Всегда, когда он видит смерть — утопшую кошку, крыс, которых он только что собственноручно прикончил, чаек, пропоротых его неотвратимым ножом, раздувшуюся дохлую рыбину, которую перекатывают по прибрежному песку мелкие волны, или вот сейчас, когда он видит скелет, у которого Амзель хочет отнять череп, — он делает зубами слева направо и не может иначе. Вечное недоумение молодого буйволенка сменяется на мальчишеском лице мучительной гримасой. Взгляд, обычно сонный, чтобы не сказать туповатый, становится пронзительным, нехорошим и выдает беспредметный гнев: да, в подземельях, склепах и шахтах под церковью Святой Троицы и вправду повеяло театральщиной. Тем более, что Скрипун вдобавок начинает молотить себя кулаком по лбу, потом наклоняется, хватает череп, поднимает его на уровень глаз и собственных мрачных мыслей, погружается в созерцание — между тем как Амзель, отойдя в сторонку, присаживается по нужде.

Кто это там присел, дабы облегчиться? И кто стоит неподалеку и держит перед собой чужой череп? Кто это с любопытством обернулся, изучая собственное дерьмо? Кто уставился на голый череп в потугах самопознания? У кого нет червячков, а еще недавно были, наверно от салата? Кто держит легкий череп и видит червячков, которые когда-нибудь и его вот так же? Кто? Кто? Два человека, каждый озабочен и задумался о своем. У каждого свои причины. Причем оба они друзья. Вальтер Матерн кладет череп на место, откуда взял. Амзель уже снова царапает в пыли мыском туфли и ищет, ищет, ищет. Вальтер Матерн громко произносит куда-то в пустоту торжественные слова:

— Пойдем лучше отсюда. Здесь царство мертвых. Может, это сам Ян Бобровский или Матерна, от которого весь наш род.

Амзелю нет дела до этих громких прорицаний. Он не верит, что легендарный разбойник Бобровский или разбойник, поджигатель и далекий предок Матерна могли когда-то облекать данный скелет своей плотью. Он уже откопал некий металлический предмет, поскреб его, потом плюнул, обтер и теперь предъявляет металлическую пуговицу, в которой он, не колеблясь, распознает принадлежность мундира наполеоновского драгуна. Вторая осада Данцига — уверенно датирует он свою находку и упрятывает ее в карман. Скрипун не возражает, он и не слушает почти, в мыслях он все еще где-то с разбойником Бобровским или своим пред-

[1] Вальтер очень глупый мальчик (*англ.*).

ком Матерной. Остывающее дерьмо вынуждает обоих друзей ретироваться через дырку в стене. Вальтер Матерн лезет первым. Амзель протискивается задом, напоследок еще раз направив луч фонаря на мертвецкие кости.

## *Двадцать пятая утренняя смена*

Пересменок в конторе «Брауксель и Ко»: друзья заторопились возвращаться. Игрушечный поезд прибрежной узкоколейки на Нижнем вокзале дольше десяти минут никого не ждал.

Пересменок в конторе «Брауксель и Ко»: сегодня празднуется двухсотпятидесятилетие Фридриха Великого. По такому случаю надо бы Брауксслю один из забоев целиком заполнить продуктами той славной эпохи — да здравствует прусское подземное царство!

Пересменок в конторе «Брауксель и Ко»: в раздевалке около гимнастического зала реальной гимназии Святого Иоанна Вальтер Матерн аккуратно укладывает квадратную крышку люка в пазы деревянного пола. Ребята обивают друг с друга пыль.

Пересменок в конторе «Брауксель и Ко»: что принесет нам Великое Противостояние в ночь с четвертого на пятое февраля? В знаке Водолея Уран занимает неявную оппозицию, тогда как Нептун образует к ней квадратуру. Два более чем опасных симптома! Выйдем ли мы, выйдет ли Брауксель из этих звездных коллизий без ущерба? Суждено ли вообще завершиться этому опусу, повествующему о Вальтере Матерне, суке по кличке Сента, реке по имени Висла, об Эдуарде Амзеле и его птичьих пугалах? Брауксель, чье перо выводит эти строки, хотел бы, невзирая на крайне тревожные симптомы, все же избежать апокалипсических интонаций и поведать о последующем эпизоде спокойно и взвешенно, пусть даже аутодафе и сродни маленькому апокалипсису.

Пересменок в конторе «Брауксель и Ко»: после того как Вальтер Матерн и Эдуард Амзель стряхнули друг с друга средневековую пыль, они тронулись в обратную дорогу. Вниз по Кошачьему переулку, вверх по Ластадии. Вот они выходят на Якорный. За зданием почтамта стоит новый лодочный павильон школьного союза гребцов — там как раз поднимают из воды лодки. Дождавшись, когда снова сведут Коровий мост, они переходят Мотлаву, по пути не один раз плюнув с моста в воду. Гвалт чаек. Подводы на мощных балках моста. Катят пивные бочки, пьяный грузчик висит на трезвом грузчике и обещает селедку целиком, от головы до хвоста, «спорим, что съем! спорим, что съем!». Теперь через Амбарный остров: «Эрих Каркатуш — мука, посевное зерно, бобовые культуры»; «Фишер & Никель — приводные ремни, асбестовые изделия»; через рельсы по путям, капустные листья, хлопья упаковочного волокна. Около витрины Ойгена Флаковского «Шорные и набивные материалы» они останавливаются: тюки сухих водорослей, индийской фибры, джутовой пряжи, конского волоса, рулоны маркизетного шнура, фарфоровые кольца, тяжелые кисти и позументы, позументы! Теперь прямиком через ручейки конской мочи по Мюнхенскому переулку, потом через Новую Мотлаву. Они поднимаются вверх по Плетневой набережной, вскакивают в прицепной вагон трамвая в сторону Соломенной слободы, но доезжают только до Долгосадских ворот и своевременно прибывают на вокзал к поезду той узкоколейки, что пахнет маслом и молоком, что медленно поспешает, но вовсю пыхтит на повороте и тянет, тянет свои вагончики вдоль побережья. Эдуард Амзель по-прежнему сжимает в кармане горячую пуговицу наполеоновского драгуна.

Друзья — а оба, конечно же, остаются неразлучными кровными братьями, невзирая на черепушку жмурика и словечко «абрашка», — больше о скелете под церковью Святой Троицы не говорили. Лишь однажды, в Подойниковом переулке, между спортивными товарами Дойчендорфа и молочным заводом Вальтинат,

перед витриной магазина, где были выставлены чучела белок, куниц, сов, токующих глухарей и орла, который, распахнув свои огромные чучельные крылья, когтил чучельного ягненка, перед витриной, что, низвергаясь широкой лестницей из оконных глубин до самого стекла, являла взору мышеловки, лисьи капканы, пачки ядовитого порошка от насекомых, пакетики нафталина, «комариной смерти», «грозы тараканов», крысиный яд и вообще весь арсенал крысоловов, птичий корм, собачьи галеты, пустые аквариумы, баночки с сушеными мухами и водяными блохами, заспиртованных лягушек, саламандр и змей в склянках, рогатых жуков, волосатых пауков и обыкновенных морских коньков, человеческий скелет — по правую сторону витрины, скелет шимпанзе — по левую, скелет бегущей кошки в ногах у маленького шимпанзе на предпоследней полке витрины, тогда как на самой верхней во всей поучительной наглядности были по порядку разложены черепа мужчины, женщины, старика, ребенка, младенца-недоноска и младенца-урода, — перед этой всеохватной витриной-энциклопедией — в самом магазине можно было купить породистого щенка и доверить официально зарегистрированному специалисту утопление котят, — перед витриной, стекло которой два раза в неделю до блеска мыли, Вальтер Матерн без обиняков предложил другу, если надо, купить на оставшиеся в кожаном мешочке деньги пару-тройку черепов, дабы использовать их в пугалостроении. Амзель отмахнулся, ответив с подчеркнутой лаконичностью, в которой, однако, не было никакой обиды, скорее легкая снисходительность, что тема скелета хотя и не устарела и не закрыта, но все же не настолько жгучая, чтобы тратить на нее последние деньги; если уж входить в расходы, то лучше по дешевке, на вес купить у окрестных крестьян и птичников гусиных, утиных и куриных перьев; ибо он, Амзель, задумал нечто совсем неожиданное — создать птичье пугало в виде огромной птицы; витрина в Подойниковом переулке со всем ее чучельным зверинцем навела его на эту мысль, особенно орел, закогтивший ягненка.

О, святой и уморительный миг вдохновения: ангел стучит себя пальцем по лбу. Музы с истерзанными от поцелуев устами. Планеты в Водолее. Кирпич с крыши. Яйцо о двух желтках. Пепельница доверху. Капель за окном: цел-лу-лойд. Короткое замыкание. Шляпные картонки. Что там сворачивает за угол? Лаковая туфелька с пряжкой. Кто входит без стука? Да это же сама Барбарина, Снежная Королева, а вот и снеговики. Все, что поддается набивке: Бог, угри, птицы. Что добывается в шахтах? Уголь, руда, соль, птичьи пугала, минувшее...

Это пугало возникнет чуть позже. Ему на годы суждено стать последним творением Амзеля. Под названием — вероятно, все же ироническим — «Большая птица Долбоклюй» (имя, которое, как явствует из примечания, предложил не Амзель, а паромщик Криве) в виде эскиза конструкции и цветного рисунка оно дошло до нас как заключительная работа того дневника, что и сегодня более или менее надежно хранится у Брауксля в сейфе.

Тряпки — так примерно сказано в дневнике — надо обмазать дегтем или варом. После чего эти обмазанные варом или дегтем тряпки надо с внешней стороны, а если перьев достаточно, то и с внутренней, обклеить крупным и мелким пером. Но не как в жизни, а чтобы было почуднее.

У обмазанной и обклеенной на такой манер Большой птицы Долбоклюй, когда она, размером несколько выше человеческого роста, появилась на дамбе, вызывая всеобщую оторопь, перья и впрямь стояли дыбом. Вид у нее был, однако, совсем не чудной, а попросту жуткий. Даже самые прожженные рыбачки разражались проклятьями, уверяя, что от этакой твари враз родимчик хватит, можно окосеть, схлопотать бельмо, а то и выкидыш. Мужики, правда, внешне сохраняли каменную невозмутимость, но трубки у них остывали. Иоганн Ликфетт сказал:

— Нет, братцы, этого мне даже даром в подарок не надо...

Покупатель нашелся с трудом. И это при том, что цена, невзирая на деготь и перья, была небольшая. С утра Долбоклюй вообще простаивал на дамбе в пол-

ном одиночестве, мрачно вырисовываясь на фоне пустынного неба. Только когда из города возвращались школьники, некоторые из них как бы невзначай захаживали на дамбу, однако останавливались на почтительном отдалении, присматривались, обменивались суждениями, зубоскалили, но покупать не желали. Ни одной чайки в безоблачном небе. Не шуршат в дамбе мыши — ушли. Висла и рада бы сделать крюк, да не может. Во всей округе уже майские жуки — только не в Никельсвальде. Когда наконец учитель Ольшевский — он всегда был немного со странностями — больше ради полноты удовольствия, нежели для того, чтобы оградить от потравы каких-то две сотки своего палисадника, смеясь громче обычного, выказал некоторый интерес — он называл себя человеком просвещенным, — Большая птица Долбоклюй была немедленно сбагрена по цене намного ниже начальной.

Две недели простояло чудище в палисаднике, отбрасывая черную тень на беленые стены скромной учительской хижины. Ни одна птаха пикнуть не смела. Ветер с моря топорщил вороные дегтярные перья. Кошек охватывал психоз, и они стали исчезать из деревни. Младшие школьники обходили птицу стороной, по ночам мочились в постель, просыпались с криком и белыми от ужаса ногтями. В Шивенхорсте у Хедвиг Лау воспалились миндалины, а вдобавок пошла кровь из носа. Старику Фольхерту, когда он колол дрова, в глаз попала щепка. Глаз долго не заживал. Когда наконец бабку Матерн посреди курятника хватил удар, многие прямо заявили, что это все из-за проклятой Большой птицы; и это при том, что куры и даже петух во дворе Матернов уже неделями перетаскивали в клювах солому, что испокон веков считается предвестьем смерти. И все в доме Матернов — первой бедная Лорхен — слышали древесного червячка, эти покойницкие ходики. Старуха Матерн отнеслась к предзнаменованиям серьезно и заказала последнее причастие. Которое и приняла в свой смертный час среди перетаскивающих солому кур. В гробу она выглядела, пожалуй, почти умиротворенно. На ней были белые перчатки, а в скрюченных пальцах она держала благоухающий лавандой кружевной платок. В цветочек, как и положено. Правда, перед тем как закрыть гроб и опустить его в освященную по католическому обряду землю, ей, к сожалению, забыли вынуть из волос булавки. Этим упущением объясняются, должно быть, те свирепые мигрени, которые сразу же после похорон напали на мельничиху Матерн, урожденную Штанге, и с тех пор мучили ее до конца дней.

Когда тело положили в верхней горнице, а односельчане, шурша накрахмаленными сорочками и платьями, толпились на кухне и на лестнице, чтобы, прощаясь с покойницей, произнести свое: «Ну вот ее и нет больше с нами», «Ну вот ей и не нужно больше хлопотать», «Ну вот и отмучилась, теперь будет ей вечный покой», — паромщик Криве попросил разрешения приложить правый указательный палец покойницы к одному из немногих оставшихся своих зубов, который вот уже несколько дней как нагноился и мучительно нарывал. Мельник, стоя между окном и деревянным креслом, весь какой-то чужой в парадном черном костюме, без мешка и мучного червяка на плече, без привычной ряби света и тени, поскольку новая мельница еще не работала, задумчиво кивнул. Тут же с правой руки старухи Матерн осторожно стянули перчатку, и Криве прикоснулся своим гнилым зубом к кончику ее скрюченного указательного пальца. О, святой и упоительный миг чудесного исцеления: ангел стучит пальцем по лбу, налагает десницу, гладит против шерсти и скрещивает пальцы. Жабья кровь, вороний глаз, молоко кобылицы. На двенадцатую ночь, три раза через левое плечо, семь раз на восток. Булавки из головы. Волосы со срамного места. Пушок с темечка. Выкопать, по ветру развеять, ссаками пропитать, за порог вылить, ночью одному, еще до петухов, на Матфея. Яд из куколя. Сало новорожденного. Пот мертвеца. Простыни умершего. Палец покойника — ибо гнойник под зубом Криве после прикосновения скрюченного указательного пальца правой руки покойной бабки Матерн и вправду, похоже, рассосался, да и боль, в строгом соответствии с приметой — палец мерт-

веца врачует больные зубы — сперва поутихла, а потом и вовсе прошла.

Когда гроб уже вынесли из дома и он, покачиваясь, поплыл сперва мимо усадьбы Фольхерта, потом мимо хибарки и палисадника учителя, один из несущих гроб мужиков вдруг споткнулся, поскольку Большая птица Долбоклюй все еще жуткой пернатой тенью нависала над учительским кровом. Споткнуться нельзя просто так. Это всегда что-то значит. А уж на похоронах, с гробом, и подавно — это переполнило чашу. Крестьяне и рыбаки сразу нескольких окрестных деревень призвали учителя Ольшевского к порядку, пообещав, если не подействует, сделать это по всей форме через департамент учебных заведений.

В следующий понедельник, когда Амзель и Вальтер Матерн возвращались из школы, учитель Ольшевский уже поджидал их в Шивенхорсте на паромном причале. Он стоял в своих брюках-гольф и спортивном жакете в крупную клетку, в парусиновых туфлях и в соломенной шляпе. Покуда вагончики поезда загонялись на паром, он при молчаливой поддержке паромщика Криве произнес, обращаясь к друзьям, небольшую речь. Он сказал, что больше так не может, некоторые родители уже жалуются, даже грозились написать директору департамента учебных заведений, в Тигенхофе уже тоже что-то прослышали, разумеется, тут не обходится без самых примитивных суеверий, тем более, что ими пытаются объяснить смерть бабушки Матерн — «этой превосходной женщины!» — и все это в нашем просвещенном двадцатом столетии, но никому, особенно здесь, на Висле, не дано плыть против течения, поэтому он, наверно, скажет так: сколь ни прекрасно это пугало, но сельские жители, особенно в здешних местах, до такой красоты еще не доросли.

А еще учитель Ольшевский сказал своему бывшему ученику Эдуарду Амзелю дословно вот что:

— Мой мальчик, ты теперь ходишь в гимназию, ты сделал важный шаг в большую жизнь. В деревне тебе отныне будет тесно. Так что пусть твое усердие, твое художество, твой, как говорится, Божий дар ищет себе нового выхода там, в большом мире. Но здесь, у нас, тебе пора остепениться. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра.

На следующий день слегка повеяло апокалипсисом: Амзель разобрал свой склад в сарае у Фольхерта. Выглядело это так: Матерн отомкнул навесной замок, и на удивление много добровольных помощников принялись выносить барахло «старьевщика» — так прозвали Амзеля в окрестных деревнях — из сарая на улицу. Четыре начатых пугала, связки досок, реек, штакетин. Разлеталось по ветру выщипанное набивочное волокно. Матрасы изрыгали сухие водоросли. Конский волос рвался из диванных подушек. Пожарная каска, изумительный длинноволосый мужской парик из Крампица, кивер, широкополые панамы, плюмажи, колпаки от сачков для бабочек, шляпы велюровые и фетровые, шляпа калабрийская и веллингтоновская, которые были получены в подарок от семейства Тиде из Грос-Цюндера, — словом, все, что способно прикрыть макушку, кочевало теперь с одной головы на другую, извлеченное из затхлой дровяной тьмы на медовый солнечный свет: «Старье берем! Старье берем!» Сундук Амзеля, содержимое которого могло бы свести с ума сотню профессиональных бутафоров и костюмеров, изливался потоками рюшей и мишуры, ручейками кисеи и стекляруса, струйками кружев, багетного шнура и благоухающих гвоздикой шелковых кистей. Все, у кого руки-ноги есть, все, кто пришел помочь старьевщику, теперь впали в примерочный раж, надевали, снимали, снова бросали в кучу — свитера и пиджаки, панталоны и даже лиственно-зеленые, лягушачьи литовки. Заезжий молочник-оптовик подарил Амзелю зуавский китель и сливово-сизый жилет. Эхма, а корсет-то, корсет! Двое уже укутались в необъятные блюхеровские крылатки. Одержимые танцевальным демоном невесты, обдавая всех ароматом лаванды, кружились в подвенечных платьях. Бег в шароварах, как в мешках, — по двое. Истошный зеленый вопль рабочего халата. Колобок муфты. Дети в накидках, как мышата. Бильярд-

ное сукно с дырками для луз. Сорочки без воротника. Брыжи и наусники, матерчатые фиалки, восковые тюльпаны и бумажные розы, наградные бляхи стрелковых праздников и собачьи жетоны, анютины глазки в волосы, наклейки-мушки и фальшивые серебряные кружева. «Старье берем! Старье берем!» Обувь, впору или нет, тоже пошла в ход — кто натягивал галоши, кто шаркал в шлепанцах, мелькали сапожки, сапоги на шнуровке и с отворотами, остроносые гнутые штиблеты топтали табачно-бурые гардины, кто-то босиком, но в гамашах отплясывал на фамильных шторах с графским, княжеским, а может, и королевским гербом. Прусское, куявское, вольное данцигское, все летело в одну кучу — какой праздник в крапиве за фольхертовским сараем! А на самом верху, над всем этим нафталиновым раем, гордо реяла, подпираемая жердями, Большая птица Долбоклюй — главный виновник всеобщего возмущения, страх и ужас окрестной детворы, Ваал здешних мест, весь в дегте и перьях.

Солнце светит почти отвесно. Разведенный опытной рукой и штормовой зажигалкой Криве, огонь разгорается уверенно и жадно. Все отходят на шаг-другой назад, но остаются, желая быть свидетелями великого сожжения. И пока Вальтер Матерн, как всегда во время официальных церемоний, производит довольно много шума, пытаясь скрежетом зубовным переспорить треск пламени, Эдуард Амзель, прозываемый «старьевщиком», а иногда — быть может даже и сейчас, во время этого веселого аутодафе, — «абрашкой», стоит как ни в чем не бывало на своих веснушчатых ногах-коротышках, радостно потирает друг о друга подушечки ладоней, щурит свои глазенки и что-то видит. И это не желто-зеленый едкий дым, не сморщенная паленая кожа, не обжигающий полет искристой моли заставляет его сощурить свои круглые глаза в узенькие щелочки; скорее уж это гигантская птица, охваченная многоязыким пламенем, дым которого тяжело оседает и низко стелется по крапиве, дарит его животворными идеями и прочими изюминками вдохновения. Ибо, видя, как эта воспалившаяся тварь, рожденная из тряпья, дегтя и перьев, брызжа огнем, треща и оживая до неправдоподобия, совершает свою последнюю попытку взлететь, а потом, взметнувшись огненным фонтаном, вдруг разом обрушивается, Амзель решает (и записывает это в своем дневнике) позднее, когда он вырастет, еще раз вернуться к идее Большой птицы Долбоклюй: он построит гигантскую птицу, которая беспрерывно горит, но никогда не сгорает — нет, она вечно, по самой природе своей, апокалипсической и декоративной одновременно, горит, полыхает и стреляет искрами.

## *Двадцать шестая утренняя смена*

За несколько дней до четвертого февраля, прежде чем критический звездный час поставит под вопрос само существование нашего мира, Брауксель решает обогатить на одну позицию свой ассортимент, или, как он еще выражается, демониарий: он распорядился начать конструкторские разработки задуманного Амзелем горящего Perpetuum mobile[1]. Не настолько богат идеями этот мир, чтобы — пусть даже и в канун рокового звездного часа, что сулит нам конец света, — отказаться, понуря голову, от одного из самых прекрасных человеческих озарений; тем более, что и сам Амзель после знаменательного аутодафе за фольхертовским сараем явил нам пример стоической выдержки, когда принял участие в тушении огня, охватившего вышеупомянутый сарай в результате залета искр и последующего воспламенения.

Спустя несколько недель после публичного сожжения амзелевских запасов и последних птицеустрашающих моделей, после пожара, который, как увидим, зажег в смышленой головке Амзеля не один запальный шнур, породив в ней крохотное, но неугасимое пламя, вдова Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, и госпо-

[1] Вечный двигатель (*лат.*).

дин Антон Матерн, мельник из Никельсвальде, получили по почте в одинаковых казенных голубых конвертах письма, из которых явствовало, что в такой-то день к такому-то часу каждого из них в кабинете директора реальной гимназии Святого Иоанна ожидает для беседы директор департамента учебных заведений господин доктор Батке.

По все той же узкоколейке вдова Амзель и мельник Матерн — они сидели друг против друга, причем места им достались у окна, — отправились в город. У Долгосадских ворот они сели в трамвай и доехали до Подойникова моста. Поскольку прибыли они в город заблаговременно, оба успели уладить кое-какие дела. Ей нужно было зайти к «Хану и Лехелю», потом к «Хаубольду и Ланзеру»; ему, в связи с новой мельницей, надо было навестить строительную фирму «Прохнов» в Адебарском переулке. На Длинном рынке они снова встретились, выпили у Шпрингера по стаканчику, потом взяли — хотя вполне могли бы добраться и пешком — такси и прибыли на Мясницкий переулок слишком рано.

Несколько округляя время, скажем так: минут десять им пришлось посидеть в приемной доктора Размуса Батке, прежде чем сам он, в светло-серых ботинках и вообще одетый по-спортивному, весьма важный, хотя и без очков, показался на пороге. Вальяжным движением коротенькой холеной ручки он пригласил обоих в свой кабинет, а когда скромные сельские жители оробели при виде кожаных кресел, бодро воскликнул:

— Только без церемоний, прошу вас! Я искренне рад познакомиться с родителями двух столь многообещающих наших учеников.

Три стены книг, во всю четвертую — окно. Трубочный табак директора издавал английское благоухание. Шопенгауэр ярился между стеллажами, потому что Шопенгауэр... Графин с водой, стакан, чистилка для трубки на массивном, красного дерева, столе под зеленым сукном. Четыре руки на кожаных подлокотниках не знают, куда себя деть. Мельник Матерн повернулся к директору своим оттопыренным, а не плоским червячнослышащим ухом. Вдова Амзель, внимая уверенным разглагольствованиям директора, после каждого придаточного предложения кивает. В разговоре были затронуты, во-первых: экономическое положение на селе, то есть необходимость ожидаемого ввиду новых польских таможенных законов урегулирования рынка, а также проблемы сыроварен во всей Большой пойме Вислы. Во-вторых, Большая пойма вообще и как таковая, в особенности ее колышущиеся, повсюду колышущиеся, куда ни глянь, колышущиеся на ветру пшеничные нивы; преимущества эппского и зимнестойкого сибирского сортов; борьба с посевным куколем — «но в целом благодатнейший край, да-да, житница...» И наконец, в-третьих, заключил доктор Размус Батке, два таких славных, таких способных, хотя и с совершенно разными наклонностями ученика — маленькому Амзелю вообще все дается играючи, — два ученика, связанных столь тесной и столь положительной дружбой, — надо видеть, как трогательно защищает маленький Матерн своего товарища от подтруниваний, разумеется вполне беззлобных подтруниваний, некоторых одноклассников, — словом, два столь достойных всяческого поощрения ученика из-за каждодневных и длительных поездок по этой ужасной, допотопной, хотя в чем-то, быть может, даже весьма забавной узкоколейке, совершенно лишены возможности проявить себя в полную силу; поэтому он, директор заведения и, уж поверьте, стреляный гимназический воробей, перевидавший на своем веку множество самых разных приезжих учеников, предлагает еще до наступления каникул, а еще лучше — прямо со следующего понедельника перевести обоих мальчуганов в другую школу. В Конрадинуме, это гимназия в Лангфуре, директор которой, его старый друг, уже в курсе дела и согласен, имеется интернат, проще говоря — общежитие для учеников, в котором значительной части питомцев, то есть, проще говоря, воспитанников, за умеренную плату — гимназия пользуется финансовой поддержкой весьма богатого благотворительного фонда — обеспечивается питание и жилье; одним словом, оба будут там в надеж-

ных руках и прекрасно устроены, так что он, как директор заведения, всячески советует такую возможность не упускать.

Вот так уже в следующий понедельник Эдуард Амзель и Вальтер Матерн сменили зеленые бархатные шапочки гимназии Святого Иоанна на красные шапочки Конрадинума. Вместе со своими чемоданами при посредстве все той же узкоколейки они покинули устье Вислы, большое побережье, дамбы от горизонта до горизонта, наполеоновские тополя, рыбачьи коптильни, паром сыромятного Криве, новую мельницу на новых козлах, угрей между коровами и ивами, отца и мать, бедную Лорхен, грубых и тонких меннонитов, Фольхерта, Кабруна, Ликфетта, Момбера, Люрмана, Карвайзе, учителя Ольшевского, а также призрак старухи Матерн, который начал бродить по дому, потому что трупную воду после обмывания позабыли выплеснуть за порог крест-накрест.

## *Двадцать седьмая утренняя смена*

Сыновья богатеев-крестьян и сыновья помещиков, сыновья слегка обнищавшей мелкопоместной знати из Западной Пруссии и сыновья кашубских кирпичных заводчиков, сын аптекаря из Нойтайха и сын священника из Хоенштайна, сын окружного советника из Штюблау и Хайни Кадлубек из Отрошкена, малыш Пробст из Шенварлинга и братья Дик из Ладекоппа, Боббе Элерс из Кватшина и Руди Кизау из Страшина, Вальдемар Бурау из Прангшина и Дирк Генрих фон Пельц-Штиловски из Кладау на реке Кладау; итак, сыновья нищего и дворянина, крестьянина и пастора, не совсем в одно время, но по большей части вскоре после Пасхи, стали питомцами интерната, что находился подле Конрадинума. Реальная гимназия, носившая такое название, в течение многих десятилетий при поддержке фонда имени Конрада оставалась частным учебным заведением, однако во времена, когда Эдуард Амзель и Вальтер Матерн стали конрадианцами, город уже помогал школе крупными денежными дотациями. Поэтому и назывался Конрадинум теперь городской гимназией. И только интернат все еще оставался не городским учреждением, а был предметом частных забот и финансовых попечений Конрадийского фонда.

Спальный зал для шести-, пяти- и четвероклассников, называемый еще малым спальным залом, располагался на первом этаже и выглядывал окнами в школьный сад, туда, где рос крыжовник. Хотя бы один писун находился всегда. Им и воняло, а еще сушеными матрасными водорослями. Наши друзья спали рядом, кровать к кровати, под олеографией, изображавшей Крановые ворота, башню обсерватории и Длинный мост во время зимнего ледохода. Оба никогда или почти никогда не мочились в постель. Крещение для новичков — попытку намазать Амзелю зад сапожной ваксой — Вальтер Матерн пресек в два счета. На прогулочном дворе оба неизменно стояли под одним и тем же каштаном и держались особняком. Правда, малышу Пробсту и Хайни Кадлубеку, чей отец торговал углем, дозволялось присутствовать и слушать, как Вальтер Матерн с мрачным и глубокомысленным видом отмалчивался, а Эдуард Амзель тем временем изобретал новый, таинственный язык и осваивал с его помощью новый окружающий мир.

— Ыцитп гурков ен оннебосо.

Птицы вокруг не особенно.

— Йеборов в едорог отэ ондо, йеборов в енверед месвос еогурд.

Воробей в городе это одно, воробей в деревне совсем другое.

— Драудэ Лезма тировог торобоан.

Без устали и без труда составлял он длинные и короткие предложения, слово за словом выворачивая их задом наперед, и даже научился довольно бегло говорить на этом новом языке, так сказать, с обратным местным акцентом, щедро пересыпая свою таинственную речь перевернутыми местными словечками. Вместо

«мертвяк» он говорил «квятрем», вместо «черепушка» — «акшупереч». Непроизносимый мягкий знак он попросту убирал, трудно выговариваемые сочетания согласных, все эти «встр», «дпр» и «льщ», о которые, если произносить их наоборот, язык сломаешь, он упрощал и сглаживал, говорил «сез» вместо «здесь», «етсащен» вместо «несчастье». Вальтер Матерн в общем и целом его понимал, даже давал иногда короткие, тоже перевернутые и в большинстве случаев безошибочные ответы типа: «Заметано — Онатемаз!» Был неизменно склонен к решительности и лаконизму: «Ад или тен?» Малыш Пробст столбенел от изумления, а Хайни Кадлубек, которого, конечно же, звали Кебулдак, уже делал первые успехи в новом наречии.

Множество изобретений и открытий, сродни Амзелеву языкотворчеству, свершилось вот так же, на школьных дворах нашей планеты, чтобы потом кануть в забвение и возродиться под конец на скамеечках городских парков, задуманных в пандан к школьным дворам, в детском бормотании старцев, которые подхватят и разовьют самые смелые дерзания отрочества. Когда Господь Бог еще ходил в школу, на небесном школьном дворе ему и его школьному другу, смышленому пострелу Черту, пришло в голову сотворить мир; четвертого февраля сего года, как уверяют Брауксля научно-популярные разделы многих газет, этот мир может пойти прахом — тоже, наверно, на каком-нибудь школьном дворе кого-то осенило.

Кроме того, кое-что роднит школьные дворы с вольером курятника: гордая поступь находящегося при исполнении своего служебного долга петуха весьма напоминает гордую поступь надзирающего за учениками учителя. Петухи точно так же вышагивают, сложа руки за спиной, поворачиваются резко и вид имеют многозначительный.

Старший преподаватель Освальд Брунис — авторский коллектив вознамерился поставить ему памятник — делает сейчас, когда он несет дежурство на школьном дворе, прямо-таки образцово-показательную любезность автору сравнения оного двора с вольером курятника, а именно: через каждые девять шагов он принимается мыском левого ботинка разгребать гравий школьного двора; больше того, он даже сгибает в колене свою учительскую ногу и так на некоторое время замирает — привычка не совсем бессмысленная, поскольку старший преподаватель Освальд Брунис постоянно кое-что ищет: не золото и не чье-то сердце, не счастье, не Бога и не славу — он ищет редкие камешки. Школьный двор, искрясь на солнце слюдой и кварцем, усыпан гравием сплошь.

Что же удивительного, если ученики по очереди, иногда, впрочем, и сразу по двое, то и дело подходят к своему наставнику, дабы предъявить, кто всерьез, а кто и подстрекаемый бесом всеобщей школьной потехи, самые заурядные камешки, нарытые ими в гравиевых кущах. Однако каждый камешек, даже самый распоследний серый голыш, старший преподаватель Освальд Брунис зажимает между большим и указательным пальцами левой руки, держит сперва против света, потом на свету, правой рукой извлекает из нагрудного кармашка своего торфяно-бурого, местами даже безупречно чистого сюртука привязанную на резинке лупу, привычным и точным движением определяет лупу на послушно оттягивающейся резинке между камешком и глазом, после чего, всецело полагаясь на надежность резинки и элегантно уронив лупу, как бы разрешая ей самой шмыгнуть обратно в нагрудный карман, взвешивает камешек на левой ладони и, раскрутив его сперва маленькими, а потом и рискованно-большими, до самого края ладони досягающими кругами, резким ударом свободной правой руки по тыльной стороне левой ладони зашвыривает его прочь.

— Красивый камешек, но ни к чему, — подытоживает Освальд Брунис результаты своих наблюдений и той же рукой, что только что катала никчемный камешек на ладони, лезет в коричневый растрепанный кулек, который вообще всегда и в частности всякий раз, когда старший преподаватель Освальд Брунис появля-

ется на этих страницах, торчит у него из кармана. Петляя магическими кругами, словно жрец, творящий молитву в храме, рука подносит извлеченный из коричневой бумаги мятный леденец ко рту, где он сперва взвешивается на языке, потом смакуется, сосется, уменьшается в размерах, растекается сладким соком между коричневыми от табака зубами, перекладывается из-за щеки за щеку, постепенно превращаясь — покуда время перемены стремительно тает, а смятенные души школяров все больше съеживаются от страха, покуда воробьи ждут не дождутся, когда же эта перемена кончится, а сам учитель гордо расхаживает по школьному двору, шарит ногой в гравии и отбрасывает ненужные камешки — из полновесного мятного леденца в маленький прозрачный обсосок.

Маленькая перемена, большая перемена. Короткие игры, торопливые шепотки. Драки и победы, беды и обеды — а прежде всего, как помнится Брауксслю, страх: вот сейчас звонок...

Пустые школьные дворы — воробьиное раздолье. Тысячу раз видано, в жизни и в кино: ветер гонит по меланхолическому гравию пустынного, такого гуманистического, такого прусского школьного двора промасленные обертки школьных бутербродов.

Школьный двор гимназии Конрадинум состоял из Малого, квадратного дворика, укрытого сенью старых, растущих как попало каштанов, а по сути — небольшой и светлой каштановой рощи, и продолговатого, примыкающего к нему без всякого забора Большого двора, окаймленного юными, опирающимися на штакетины ограждения, педантично рассаженными липами. Новоготический спортивный зал, новоготический писсуар и новоготическое, четырехэтажное, увенчанное зачем-то колокольней без колоколов, темно-бордовое, старого кирпича, утопающее в зарослях плюща здание школы окаймляли Малый двор с трех сторон, укрывая его от ветров, что нещадно гоняли по Большому двору из восточного угла в западный столбы пыли; ибо здесь ветрам противостояли лишь низкорослый школьный сад, огороженный мелкоячеистой сеткой забора, и двухэтажное, но тоже, впрочем, новоготическое здание интерната. В ту пору, покуда еще не была разбита за южным фасадом спортивного зала современная, с гаревой дорожкой и газоном спортплощадка, Большой двор служил во время уроков гимнастики игровым полем. Упоминания заслуживает еще разве что солидный, метров пятнадцать в длину, навес, возвышавшийся на просмоленных деревянных столбах между молоденькими липами и школьным садом. Сюда, водруженные на попа, передним колесом вверх, ставились велосипеды. Маленькая школьная забава: стоило раскрутить переднее колесо, как мелкие камешки, застрявшие в шинах даже после недолгого проезда по гравию Большого двора, со свистом летели во все стороны, барабаня по листьям крыжовника за сетчатым забором школьного сада.

Кому хоть раз в жизни приходилось играть в футбол, ручной мяч или волейбол, бейсбол или даже просто лапту на усыпанной гравием площадке, тот потом долго еще, едва ступив на шуршащий гравий, будет вспоминать разодранные в кровь колени и все остальные ссадины, которые так плохо заживают под мелкими мокрыми струпьями, превращая все гравиевые спортплощадки в места массового кровопролития. Мало что еще на этом свете врезается в нашу память и нашу кожу столь же неизгладимо, как гравий.

Однако ему, гордому петуху на школьном дворе, вечно сосущему и причмокивающему Освальду Брунису — не забудем, ему будет воздвигнут здесь памятник, — ему, с лупой на резинке, с клейким кульком в клейком кармане, ему, тому, кто собирал камни и камешки, выискивая редкие, преимущественно искрящиеся и сверкающие экземпляры — кварц, полевой шпат, роговую обманку, — подбирал их с земли, разглядывал, выбрасывал или заботливо прятал, ему Большой школьный двор Конрадинума был вовсе не полем кровавых мучений, а неиссякаемым поприщем неутомимых исканий правой ногой через каждые девять шагов. Ибо Освальд Брунис, преподававший все или почти все предметы — геогра-

фию и историю, немецкий и латынь, если очень надо, то и закон Божий, — был кем угодно, но только не тем типичным учителем гимнастики, каким его видит в самых страшных снах все школьное юношество: с черной мохнатой грудью, с черными волосатыми конечностями, с пронзительным свистком и ключами от кладовки на шее. Брунис никогда и никого не заставлял дрожать под турником, мучиться на параллельных брусьях, плакать, повиснув на гимнастическом канате. Ни разу не потребовал он от Амзеля совершить прыжок махом с переворотом или прогнувшись через нескончаемо длинного коня. Ни разу по его наущению ни сам Амзель, ни его пухлые коленки не обдирались о кусачий гравий.

Мужчина лет пятидесяти, со сладкими — буквально каждый волосок липнет к волоску — от бесконечных мятных леденцов и опаленными сигарой усиками. На круглой макушке бобрик седых волос, в котором нередко — иной раз до самого обеда — торчат репьи, подброшенные чьей-то шкодливой рукой. Лицо, испещренное морщинками ухмылок, хихиканья и смеха. Вьющиеся кусты волос из обоих ушей. В мохнатых, растрепанных бровях притаился Эйхендорф. Водяная мельница, веселые подмастерья и фантастическая ночь где-то вокруг трепетных крыльев носа. И только в уголках губ и еще, пожалуй, чуть-чуть над крыльями носа угадываются черты других сладкоежек: Гейне, «Зимняя сказка», и Раабе, «Балбес». При этом всеми любим и никем не принимаем всерьез. Холостяк в бисмарковской шляпе, классный наставник шестого начального, где учатся Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, два друга с устья Вислы. Оба уже почти не пахнут коровником, скисшим молоком и копченой рыбой, да и гарь от пожара, въевшаяся в их волосы и одежду после знаменательного публичного сожжения за фольхертовским сараем, уже вся выветрилась.

## *Двадцать восьмая утренняя смена*

Минута в минуту прошел пересменок, и это несмотря на деловые неурядицы — брюссельские аграрные соглашения доставят фирме «Брауксель и Ко» немалые трудности со сбытом, — так что пора обратно на усыпанный гравием школьный двор. Похоже, новая школа сулила нашим друзьям немало радостей. Едва их перевели из гимназии Святого Иоанна в Конрадинум, едва они обжились в затхлом, провонявшем скверными мальчишками интернате — кто не слыхал на своем веку интернатских историй? — едва успел гравий школьного двора врезаться в их память и кожу, как вдруг объявили: через неделю шестой начальный отправляется на полмесяца в Заскошин. Под надзором старшего преподавателя Бруниса и учителя гимнастики, старшего преподавателя Малленбрандта.

Заскошин! Какое ласковое слово!

Лесная школа находилась в Заскошинском бору. Ближайшая деревня называлась Майстерсвальде. Туда — через Шюддельказу, Страшин-Прангшин и Гросс-Салау — класс в сопровождении обоих педагогов и был доставлен автобусом. Деревня застраивалась давно, и не вдоль улицы, а как придется. Песчаная рыночная площадь, достаточно просторная для ярмарки скота. О ней же напоминали деревянные колья с проржавленными железными кольцами для привязи. Сверкающие лужи при малейшем порыве ветра подергивались рябью: незадолго до прибытия автобуса прошел ливень. Но никаких коровьих лепешек, конских яблок, зато множество воробьиных сходок, постоянно меняющих месторасположение и состав участников, чей щебет стократ усилился, едва Амзель вышел из автобуса. Приземистые деревенские лачуги, частично под соломенными крышами, силились разглядеть рыночную площадь своими подслеповатыми оконцами. Была тут и двухэтажная неоштукатуренная новостройка, торговый дом Хирша. Новенькие, прямо с завода, плуги, бороны, сеноворошилки мечтали о покупателе. Дышла, уткнувшиеся в небо. Напротив, чуть наискосок, краснокирпичное здание фабрики, вымер-

шее, с забитыми окнами по всему растянувшемуся фасаду. Лишь в конце октября урожай сахарной свеклы вернет в этот заколоченный гроб жизнь, вонь и заработки. Неизбежный филиал сберкассы города Данцига, две церкви, закупочный молочный пункт, цветовое пятно — почтовый ящик. А перед витриной парикмахера, чтобы не сказать цирюльника, еще одно цветовое пятно — медово-желтый, кренящийся на ветру медный диск играл переливами света при малейшей перемене облачности. Сирая, холодная деревушка, почти вовсе без деревьев.

Майстерсвальде, как и все поселения к югу от города, относилось к округу Верхний Данциг. Скудная, унылая земля по сравнению с тучными, илистыми почвами долины Вислы. Свекла, картофель, польские неостистые овсы, простая стекловидная рожь. И на каждом шагу камень. Крестьяне, бродившие по полям, то и дело нагибались, чтобы подобрать с земли один из несметного полчища многих и в слепой ярости зашвырнуть куда подальше — то бишь на поле соседа. Та же картина и по воскресеньям: крестьяне в черных картузах с поблескивающими лаковыми козырьками бредут через свекольное поле, в левой руке зонт, а правой, наклонившись, подбирают и швыряют куда попало — и камни падают, падают дождем, каменные воробьи, супротив которых никто, даже Эдуард Амзель, еще не придумал пугала.

Итак, Майстерсвальде: согбенные черные сюртуки, гневные острия зонтов торчком в небо, подбор — швырок, подбор — швырок, и даже объяснение, откуда эта каменная напасть: дескать, это черт в наказание за неисполненную клятву отомстил крестьянам тем, что всю ночь летал над землей, изрыгая души проклятых, что комом лежат у него в желудке, на окрестные луга и пашни. А поутру оказалось, что души превратились в камни, а поскольку они проклятые, то крестьянам теперь никуда от них не деться — будут швырять и гнуться до скончания своего горбатого века.

Отсюда классу предстояло вольным строем, со старшим преподавателем Брунисом во главе, со старшим преподавателем Малленбрандтом в арьергарде, пройти пешком три километра сперва холмистым полем, на котором по обе стороны шоссе среди обильных каменных посевов робко проглядывала малорослая рожь, потом через начинающийся Заскошинский бор, покуда между стволами буков не забрезжили беленые кирпичные стены лесной школы.

Жидковато, что и говорить! Брауксель, чье перо выводит эти строки, органически не способен описывать безлюдные ландшафты. Не то чтобы ему недоставало вдохновения, нет, но едва он начинает прорисовывать чуть волнистый склон холма, то есть его сочную зелень, и многочисленные штифтеровские оттенки холмов за ним — вплоть до зыбкой серо-голубой дымки у самого горизонта, а затем помещает на еще не оформленный передний план неизбежные камни, усеявшие поля в окрестностях Майстерсвальде, и пресловутого черта, а также укрепляющие передний план кустарники, то есть перечисляет их, говорит: бузина, орешник, дрок гладколистный, сосна горная — словом, кусты, мелкие и крупные, тощие и круглые, по склону вверх и по склону вниз, кусты сухие и с колючками, кусты-шатуны и кусты-шептуны — ибо в этих местах всегда ветрено, — едва он за это принимается, как его тут же подмывает вдохнуть во всю эту штифтеровскую глухомань немножко жизни. И Брауксель говорит: а за третьим кустом, если считать слева, на три пальца выше вон того лоскута кормовой свеклы, да нет, не под лещиной — ох уж эта лещина, все заполонит! — вон там, там, да вон же, чуть пониже того красивого, большого, неподъемного, мшистого валуна, словом, за третьим кустом слева посреди этого безлюдного ландшафта притаился человек.

Нет, не сеятель. И не столь излюбленный в масляной живописи землепашец. Мужчина лет сорока пяти. Бледный смуглый черный отчаянный прячется в кустах. Нос крючком, уши торчком, зубов нет. Глянь-ка, да у этого человека ангустри, перстень на мизинце, и в последующих утренних сменах, покуда школьники будут играть в лапту, а Брунис сосать свои мятные леденцы, ему будет уделено

немало внимания, поскольку он носит при себе узелок. А в узелке что? И кто этот человек?

Это цыган Биданденгеро, и узелок у него не простой, а говорящий.

## *Двадцать девятая утренняя смена*

Излюбленным видом спорта в те школьные годы была лапта. Уже на усеянном гравием школьном дворе Конрадинума свеча, запущенная столь мастерским ударом, что, покуда мяч сперва зло вгрызался в небо, а потом как бы нехотя пикировал вниз, игроки бьющей команды, рассыпаясь веером, успевали без помех добежать до своих «меток» и вернуться, набрав очки, — такая свеча считалась геройством, по сравнению с которым пятьдесят пять «солнышек» или семнадцать отжимов на турнике были так, ерундой. Ну а уж в заскошинской лесной школе в лапту играли с утра до вечера, для проформы перемежая это занятие двумя-тремя уроками в день. На игру эту Вальтер Матерн, его друг Эдуард Амзель и старший преподаватель Малленбрандт смотрели с трех совершенно разных точек зрения.

Для Малленбрандта лапта была мировоззрением. Вальтер Матерн был мастером свечи. Он запускал в небо свечи и ловил их играючи, успевая тотчас же выбросить мяч из ловушки своему партнеру, что приносило команде дополнительные очки.

Что до Эдуарда Амзеля, то он колобком мчался по игорному полю как сквозь чистилище. Толстенький коротконожка, он являл собою идеальную мишень для ответных бросков противника. Он был самым уязвимым местом в своей команде. За ним устраивали настоящую охоту. Его загоняли в квадрат по четверо и совершали над ним разнузданные, почти людоедские пляски с мячом. На нем опробовались самые изощренные финты, покуда он с визгом не валился в траву, всем телом предощущая шмякающий удар мяча задолго до самого удара.

Мяч приносил Амзелю спасение лишь тогда, когда друг Вальтер Матерн запускал его свечкой; Вальтер Матерн, собственно, и старался бить одни только свечи, чтобы дать Амзелю возможность под прикрытием взлетевшего в небо мяча успеть пересечь игровое поле. Однако, увы, далеко не каждая его свеча столь надолго зависала в воздухе, так что уже после нескольких дней такого в буквальном смысле слова игривого мировосприятия на веснушчатом теле Амзеля замерцали многочисленные синие «фонари», которые потом долго не хотели гаснуть.

Уже и в ту пору — пересменок: после относительно мягкого детства, проведенного на обоих берегах Вислы, начались, теперь уже вдали от Вислы, страдания Амзеля. И они еще долго не кончатся. Ибо старший преподаватель Малленбрандт считался крупным специалистом и даже написал то ли книгу, то ли главу в книге о спортивно-состязательных играх немецких школьников. В ней он кратко и исчерпывающе высказал свое понимание лапты. Во введении отметил, что национальное своеобразие лапты как истинно народной игры особенно наглядно выявляется в сопоставлении с безликим, вненациональным футболом. Затем, параграф за параграфом, изложил правила. Одинарный свисток означает: мяч вне игры. Засчитанное попадание — когда атакующих «запятнали» — фиксируется двойным свистком арбитра. Бежать с мячом запрещается. Вообще мячи: мячи бывают отвесные, так называемые «свечи», дальние, плассированные с угла, ложные свечи, катыши, ползуны, рикошеты, отскоки, «пятнающие» попадания и в три передачи. Подача мячей осуществляется ударом биты и бывает, в зависимости от типа производимого удара, для отвесных и дальних мячей — снизу или боковая, для плассированных мячей — от локтя, а также двумя руками, когда мяч подбрасывается на высоту плеча. Отвесные мячи, или так называемые «свечи», поучал Малленбрандт, ловятся игроком так, чтобы рука с ловушкой и пойманный мяч образовывали одну линию с уровнем глаз ловящего. Кроме того,— и это новшество

прославило старшего преподавателя по всем городам и весям,— по его предложению расстояние, которое игрокам следует пробегать до «меток», было с пяти метров увеличено до пятидесяти пяти. Это ужесточение правил игры — Амзелю довелось в буквальном смысле прочувствовать его на собственной шкуре — было воспринято почти всеми гимназиями на севере и востоке Германии. Малленбрандт был ярым врагом футбола, и многие считали его истовым католиком. На шее, а точнее, на волосатой груди у него болтался металлический свисток. Одинарный свисток означал: мяч вне игры. Двойной свисток означал: только что ученика Эдуарда Амзеля «запятнали» мячом, попадание засчитывается. А вот свечи, которые Вальтер Матерн запускал, стараясь спасти своего друга, Малленбрандт частенько не засчитывал: «Заступ!»

Но зато следующая свеча в порядке. И за ней еще одна — тоже. А вот следующая сорвалась — подающий чуть накренил корпус, и мяч, отклонившись от игрового поля, со свистом и треском ныряет в чащу леса. По свистку Малленбрандта — мяч вне игры! — Вальтер Матерн мчится к забору, перемахивает его одним прыжком, ищет во мху и под кустами на опушке, как вдруг мяч сам выпрыгивает к нему из орешника.

Мяч пойман, быстрый взгляд: из ветвей и листвы торчат голова и плечи мужчины. На ухе, на левом, покачивается медная серьга, потому что мужчина смеется, беззвучно. Смуглый бледный загорелый. Ни одного зуба во рту. Биданденгеро — это и означает «беззубый». А под мышкой — говорящий узелок. Вальтер Матерн, держа мяч обеими руками и пятясь, выбирается из леса. Никому, даже Амзелю, он не расскажет об этом бесшумно смеющемся незнакомце в кустах. Уже следующим утром, и после обеда тоже, Вальтер Матерн нарочно смазывает по одной подаче, запуская мяч в лес. И, не дожидаясь свистка Малленбрандта, мчится через все поле и перемахивает через забор. Но ни один куст, ни одно деревце не выбрасывает ему мяч обратно. Один мяч он после долгих поисков нашел под папоротником, а второй так и запропастился — не иначе лесные муравьи в муравейник затащили.

## *Тридцатая утренняя смена*

Усердные штрихи карандаша и воробьи; штриховать и оставлять «воздух»; плодиться и взрываться.

Усердие пчел, муравьев, усердие леггорнских кур; усердные саксонцы и усердные прачки.

Утренние смены, любовные письма, матерниады: Брауксель и его соавторы тоже брали уроки — у кое-кого, кто всю жизнь не покладал рук, барабаня по лакированной жести.

А что же восемь планет? Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран, к которым, как зловеще намекают астрологические календари, может присоединиться незримая луна Лилит? Неужто они двадцать тысяч лет усердно двигались по своим орбитам лишь затем, чтобы послезавтра войти в роковое неблагоприятное противостояние в знаке Водолея?

Не все свечи получались как надо. Поэтому подачи, в том числе и якобы «срезавшиеся», а на самом деле запущенные «в молоко» нарочно, надо было усердно тренировать.

Открытая деревянная веранда, так называемый «зал отдыха», замыкала лужайку с севера. Сорок пять деревянных кушеток, сорок пять аккуратно сложенных в изножьях кушеток грубошерстных, кисло пахнущих одеял поджидали шестиклассников для полуторачасового послеобеденного отдыха. А уж после мертвого часа неподалеку от веранды, на восточной стороне лужайки Вальтер Матерн тренировал подачу.

Здание лесной школы, зал отдыха, игровое поле и обегающую их от угла к углу сетчатую изгородь со всех сторон обступал густой, недвижный или шумный, Заскошинский бор — смешанный лес, где водились кабаны, барсуки, гадюки и где — прямо через лес — проходила государственная граница. Ибо лесной массив начинался на польской земле, первыми кустами и соснами прорастая на песчаных почвах Тухлерской пустоши, уже слегка перемежаясь на волнистых холмах Кошнадерии березой и буком, упрямо тянулся на север, к более мягкому приморскому климату: на валунных мергелях произрастал смешанным лесом, а заканчивался на побережье светлыми лиственными рощами.

Иногда через границу переходили цыгане, которых здесь считали безобидными. Они кормились дикими кроликами, ежами и случайными приработками. Лесную школу они снабжали белыми грибами, лисичками и рыжиками. Лесник прибегал к их помощи, когда неподалеку от лесных дорог высоко на стволах надо было уничтожить осиные гнезда — по дорогам шли обозы с лесом, и осы пугали лошадей. Цыгане называли себя «гакко», обращаясь друг к другу, говорили «мора!», а местные, разумеется, кликали их «цыганами» или еще «смугляками».

И вот однажды некий гакко бросил шестикласснику мяч, залетевший в чащу леса после сорвавшейся подачи. Этот мора беззвучно смеялся.

Теперь шестиклассник, прежде тренировавший лишь правильные отвесные подачи, с тем же усердием тренировал подачи неправильные.

Шестикласснику даже удалось дважды так сорвать подачу, что мяч летел в то же самое место, но никто больше не выбросил ему мяч обратно.

Так где же Вальтер Матерн тренировал свои подачи — правильные и неправильные? За верандой для отдыха, к востоку, был расположен плавательный бассейн, примерно семь на семь, в котором давно никто не купался — бассейн засорился, протекал, словом, никуда не годился; правда, лужи дождевой воды застаивались и испарялась в его растрескавшемся бетонном ложе. И хотя школьники в бассейне не купались, посетители, и в избытке, здесь были: лягушки, прохладные и шустрые, величиной с мятный леденец, усердно прыгали повсюду, словно у них тут тренировка; большие одышливые жабы попадались редко, зато лягушек было хоть пруд пруди — целые конгрессы и школьные дворы лягушек, лягушачьи балетные ансамбли и лягушачьи ассамблеи; лягушки, чтобы надувать их через соломинку, лягушки, чтобы совать их за воротник, чтобы давить и чтобы в ботинки подкладывать; лягушки, чтобы подбрасывать их в почему-то всегда слегка подгорелый горох с салом и в чужие кровати, в чернильницу и в конверт под видом письма, и, наконец, лягушки, чтобы тренировать на них подачу.

Каждый день Вальтер Матерн тренировался в сухом бассейне. Тем паче, что запас аккуратных, гладких, одна к одной, лягушек был неисчерпаем. Тридцать подач — и тридцать серо-голубых красавиц прощались со своими молодыми земноводными жизнями. Черно-коричневых бывало обычно только двадцать семь, ими Вальтер Матерн завершал неутомимую череду своих упражнений. Он, впрочем, вовсе не стремился к тому, чтобы запустить, скажем, серо-голубую лягушку как можно выше — выше вершин шумного или безмолвного Заскошинского бора. Но и не к тому, чтобы любым местом биты по лягушке болотной обыкновенной просто попасть. Он ведь жаждал усовершенствоваться не в дальних и не в коварных плассированных мячах — в дальних, к тому же, Хайни Кадлубек все равно был вне конкуренции, — нет, Вальтер Матерн тренировал на разноцветных лягушках только такие удары, когда бита в строгом соответствии с рекомендациями виртуозов описывает дугу снизу вверх, что и сулит образцовую, едва ли не строго вертикальную и почти не подверженную порывам ветра свечу. Если бы вместо переливчатых лягушек бита на конце этой дуги встречала упругий, шершаво-коричневый, лишь по линиям швов гладкий и блестящий кожаный мяч, Вальтеру Матерну за каких-нибудь полчаса удавались бы дюжина превосходных и штук пятнадцать-шестнадцать вполне приличных свечей. Справедливости ради следу-

ет также сказать, что, невзирая на усердное и успешное освоение удара свечой, число лягушек в обезвоженном бассейне нисколько не убавлялось: они продолжали бодро, хотя и с неодинаковой резвостью, тренировать прыжки в высоту и длину прямо под ногами Вальтера Матерна, который стоял среди них, словно лягушачья смерть. То ли они и вправду этого не понимали, то ли были до такой степени преисполнены сознания собственной многочисленности, — в этом смысле они отчасти сродни воробьям, — что никакой лягушачьей паники в бассейне не наблюдалось.

В сырую погоду на дне смертоносного бассейна появлялись также тритоны, пятнистые саламандры и банальные ящерицы. Но этим юрким созданиям бита не угрожала, ибо к тому времени у шестиклассников завелась игра, стоившая тритонам и саламандрам не жизней, а только хвостов.

Итак, испытание мужества: дергающиеся, извивающиеся во все стороны кончики хвостов, которые тритоны, саламандры и ящерицы отбрасывают, когда их хватаешь, — впрочем, хвосты можно и отрубать коротким ударом пальца, — вот эти живые, трепещущие отростки нужно проглотить, и именно в подвижном состоянии. Лучше, конечно, проглотить не один, а несколько прыгающих по бетону хвостов. Кто отважится на такое, тот герой. При этом полагается заглотать от трех до пяти хвостов, не запивая их водой и не заедая хлебом. Но и это еще не все: тому, кто уже удерживает в своем нутре три, а то и пять неутомимо бьющихся хвостов ящериц, тритонов или саламандр, запрещено меняться в лице. Оказывается, Амзель может! Загнанный, замордованный лаптой Амзель распознает в заглатывании тритоньих хвостов спасительную возможность и спешит за нее ухватиться: он не только внедряет в свое пухлое, коротконогое тело сразу семь вертких хвостиков, он, оказывается, в состоянии — если только ему пообещают освободить его от лапты после обеда и отправить вместо этого с кухонным нарядом чистить картошку — пройти дополнительное испытание: проглотив семь хвостов и продержав их в себе минуту, он может, не засовывая пальцев в горло, одною только силой воли, а главным образом от безумного страха перед беспощадным кожаным мячом, изрыгнуть все семь хвостов обратно — и гляди-ка, они все еще дергаются, уже, правда, не так сильно, потому что в слизи им трудно, но дергаются на бетонном дне бассейна среди прыгающих лягушек, которых не стало меньше, хотя незадолго до Амзелевого испытания мужества и последующего дополнительного испытания отрыжкой Вальтер Матерн усердно тренировал здесь удары свечой.

Одноклассники под сильным впечатлением. Снова и снова пересчитывают они семь воскресших хвостов, хлопают Амзеля по округлой веснушчатой спине и обещают, если Малленбрандт согласится, отказаться сегодня от своей традиционной мишени. Если же Малленбрандт почему-либо станет возражать против его кухонного дежурства, они все равно больно бить не будут, только сделают вид...

Множество лягушек слушают этот странный торг. Семь проглоченных и снова выплюнутых хвостов потихоньку замирают. Вальтер Матерн, опершись на свою биту, стоит у сетчатого забора и долго смотрит в кущи возвышающегося кругом Заскошинского бора. Что он там потерял?

## *Тридцать первая утренняя смена*

Так что нам светит? Завтра ввиду множества звезд, усеявших небо над нами мерцающим месивом, Брауксель вместе с утренней сменой уйдет под землю и там, в архиве, на глубине восьмисот пятидесяти метров — когда-то в этой штольне хранились заряды взрывников — завершит свой труд: ибо главное в работе летописца — не терять голову.

Первая неделя каникул в заскошинской лесной школе — с яростными сражениями в лапту, прогулками строем и весьма снисходительными уроками — в вос-

поминаниях Браукселя уже подходит к концу. Планомерный расход лягушек и нерегулярное, ибо зависимое от погоды, заглатывание тритоньих хвостов — с одной стороны; вечерние сборы с пением у костра — спина мерзнет, лицо горит — с другой. Кто-то разодрал коленку. У двоих горло заболело. Сперва у малыша Пробста вскочил ячмень на глазу, потом ячмень вскочил у Йохена Витульски. Пропала авторучка, то ли украли, то ли Хорст Белау сам ее потерял, — долгое разбирательство. Боббе Элерсу, отличному «метчику» в лапте, приходится раньше срока уезжать домой в Кватшин, у него серьезно заболела мама. В то время как один из братьев, Дик, тот, что в интернате постоянно мочился в постель, здесь, в Заскошине, торжественно предъявляет сухие простыни, его брат, прежде из сухих, начинает регулярно орошать не только кровать ночью, но и кушетку на веранде в мертвый час. Чуткий, вполглаза послеобеденный сон. Сквозь полудрему, непривычно тихое без игроков, зеленеет поле для лапты. У Амзеля во сне выступили на лбу крупные жемчужины пота. Медленным взглядом буйволенка ощупывает Вальтер Матерн далекую сетчатую изгородь и лес, стоящий за нею стеной. Ничего. У кого терпения хватит, тот увидит, как вырастают холмы на игровом поле: кроты ведь работают без обеда. На обед был горох с салом — почему-то всегда слегка подгорелый. На ужин вроде бы обещали жареные лисички, а потом манный пудинг с черничным соусом, но дадут совсем другое. А после ужина все сядут писать домой открытки.

Никакого костра сегодня. Кто-то играет в «братец не сердись», кто-то в «орел или решку». В столовой сухой деловитый перестук настольного тенниса тщетно пытается заглушить рокот ночного черного леса. В своем кабинете старший преподаватель Брунис, досасывая мятный леденец, разбирает коллекционную добычу сегодняшнего дня: здешние места богаты биотитом и московитом — они замечательно друг о дружку трутся. Слюда искрится, а гнейсы хрустят. Когда Вальтер Матерн скрежещет зубами, никакая слюда не искрится.

Он сидит на краю черного ночного поля, на бетонном валике бедного водой, но богатого живностью лягушатника. Рядом с ним Амзель.

— Нов в усел немет яакак.

Вальтер Матерн уставился в близкую, все ближе подступающую стену Заскошинского бора. Амзель потирает места, по которым сегодня прошелся мяч. Так за каким точно кустом? А смеется совсем неслышно? Правда, что ли, узелок? Правда, что ли, Биданденгеро?

Нет, это не слюда; это зубы Вальтера Матерна слева направо. Ему отвечают одышливые жабы. Кряхтит и постанывает лес со всеми своими птицами. И не течет, не впадает в море Висла.

## *Тридцать вторая утренняя смена*

Перо Браукселя выводит эти строки под землей. Ух и темень же в немецком лесу! Призраки слоняются. Лешие колобродят. Ух и темень же в польском лесу! Цыгане-барахольщики шастают. Злодей Асмодей! Или Бенг Дирах Беельзебуб. Вельзевул по-нашему, а для крестьян так и просто Чертяка. Пальцы горничной, которая была когда-то слишком любопытна, теперь вот превратились в мертвецкие свечи, в блуждающие болотные огоньки — кому свет, тому и смерть. Братишка Бальдур тяжело ступает по мху: одиннадцать на одиннадцать считай сорок девять. Ух, а уж в немецко-польском лесу и вообще темень тьмущая. Нечистый гуляет, Бальдур летает, болотные огни сплошняком, муравьев жуть сколько, деревья сцепились насмерть, цыгане-бродяги шастают: Леопольдова цыпка, и цыпка-мама, и цыпка-сестра, и сестренкина цыпка, а еще цыпка Гиты и цыпка Гашпара, и у всех, у всех огоньки в руках, спичками чирк-чирк, покуда не нашлась, вот она, чистенькая Машари показывает плотницкому сыну, где ей из гусино-белой посуды моло-

ко... Молоко густое и почти зеленое, потому что смолистое, а вокруг уже сползаются змеи, одиннадцать раз по одиннадцать, считай сорок девять.

Через папоротники граница проходит на воздусех. Тут и там красно-белые мухоморы сражаются с черно-красно-белыми муравьями. Сестренка! Сестренка! Это кто там потерял сестру? Желуди плюхаются в мох. Кеттерле кричит, потому что углядела искорку: но это гнейс лежит рядом с гранитом и об него трется. Слюда крошится. Сланец хрустит. Да кто их услышит?

Услышит Ромно, человек за кустом. Биданденгеро, беззубый, но слышит отлично: желуди сыплются, сланец шуршит, шнурованный ботинок его поддел, узелок цыц, ботинок все ближе, грибы клякнут, змея, скользя, уползает в следующее столетие, черничины лопаются, папоротники дрожат — перед кем? Наконец свет, как в замочную скважину, проникает в лес, спускаясь сверху вниз, словно по ступенькам. Кеттерле — это сорока, а вот и пор, ее перо, падает. Шнурованные башмаки топчут лес как хотят. Да он еще и хихикает, учило-мучило-зубрило — Брунис! Освальд Брунис! — хихикает, потому что они трутся, пока совсем не искрошатся: искристо-сланцево-зернистые, прожильчато-чешуйчатые — двуслюдяные гнейсы, кварц и полевой шпат. Редкость, большая редкость, бормочет он себе под нос, выставляет вперед шнурованный ботинок, вытаскивает лупу на резинке и тихо хихикает из-под своей бисмарковской шляпы.

А еще он подбирает прекрасный, изумительный осколок искристого розового гранита, вертит его перед глазами под густыми кронами леса, подставляя под редкие лучи по ступенькам спустившегося солнца, покуда все блестки-зеркальца не скажут ему: пи-и-и! Этот камень он не выбрасывает, держит на свету, шепчет свои заклинания и не оборачивается. Потом куда-то уходит, все еще что-то бормоча. Подставляет свой искристый гранит под следующий, и еще один, и еще вот этот солнечный зайчик, чтобы тысячи крохотных зеркалец снова и снова пискнули ему свое «пи-и-и!» — каждое зеркальце по очереди и лишь немногие хором. Вот его ботинок ступает совсем рядом с кустом. За кустом сидит беззубый, Биданденгеро, сидит тихо, как мышка. И в узелке — цыц! — тихо. Ромно больше не сорока. И пор, ее перо, больше не падает. Потому что кричало-долбило-зубрило, учило, Освальд Брунис, совсем рядом.

Где-то в глухой чаще он радостно смеется под своей шляпой, ибо он нашел в немецко-польском Заскошинском бору, в самых его дебрях, чрезвычайно редкий камень — красно-розовый искристый гранит. Но поскольку тысячи маленьких зеркал никак не хотят прекратить свое многоголосое «пи-и-и!», у старшего преподавателя Освальда Бруниса делается сухо и горько во рту. Надо набрать хвороста и еловых шишек. А из трех больших камней, которые, кстати, и искрятся неважно, надо соорудить очаг. Чиркалки-спички из шведской коробки пусть покажут свои пламенные язычки, именно здесь, в самой глухой глуши дремучего леса, чтобы тотчас же снова крикнула кеттерле и — пор — потеряла свое перо.

А у старшего преподавателя в котомке отыскивается сковорода. Черная, промасленная, усеянная искристыми крошками, потому что в котомке он носит не только сковороду, но и искристые слюдяки, и искристый гранит, и даже редкостные двуслойные гнейсы. Но кроме сковороды и искристых камешков котомка учителя таит в себе, оказывается, множество коричневых и голубых бумажных пакетов и кульков разного объема и веса. А вдобавок бутылку без этикетки и круглую жестянку с завинчивающейся крышкой. Сухо потрескивают язычки пламени. Шипит и булькает смола. Прыгают на сковороде искристые крошки. Сковорода пугается, когда ее поливают из бутылки. Пламя вскидывается между тремя камнями очага. Шесть кофейных ложечек с верхом из жестянки. На глаз сыпануть из большого голубого пакета и из маленького коричневого кулька. Теперь один черенок ложки, но с верхом, из маленького голубого, одна щепотка из маленького коричневого. Потом мерно помешивать слева направо, а левой рукой в это же время посыпать кое-чем из маленькой баночки с дырочками. Теперь справа нале-

во, а сорока тем временем снова, а по ту сторону границы все еще ищут сестренку, хотя ветер не разносит.

А Брунис становится на свои учительские колени и дует, пока костер не разгорится повеселее. И мешать надо, пока каша не начнет закипать и медленно, сонно густеть. Своим учительским носом с пышными волосяными метелками из каждой ноздри он водит над дымящейся, булькающей посудиной: пар капельками оседает на его подпаленных усах, а капельки, покуда он помешивает свое варево, медленно застывают, превращаясь в твердые прозрачные бусины. Со всех сторон сползаются муравьи. Густой чад нехотя стелется по мху, застревает в папоротнике. Под косыми лучами переменчивого лесного солнца большая куча искристых камней — кто бы это мог их навалить? — наперебой вопит на разные голоса: пи-и-и! пи-и-и! пи-и-и! Каша над пламенем уже подгорает, но по рецепту она и должна подгорать. Немножко загара ей не повредит. Теперь раскладывается и слегка намазывается маслом пергаментная бумага. Наконец, руки берут сковороду: вязкое, ленивое тесто, коричневое и пузырчатое, растекается, словно лава, по пергаментной бумаге, тотчас же покрываясь стеклянистой корочкой, даже бороздками от внезапного холода, и темнеет. Торопливо, пока не застыла, нож в руке старшего преподавателя разделяет лепешку на квадратики со среднюю карамельку величиной; ибо снадобье, над которым старший преподаватель Освальд Брунис колдовал в самых глухих дебрях Заскошинского бора где-то между криками «сестренка!» и стрекотом сороки, есть не что иное, как мятные леденцы.

А потому что ему захотелось сладенького! Потому что его запас сладостей исчерпался. Потому что его котомка всегда полным-полна пакетиками, кульками и коробочками. Потому что в пакетиках и кульках, коробочках и в бутылке у него всегда наготове мята и сахар, имбирь, анис и кислый аммоний, пиво и мед, перец и баранье сало. Потому что он из крохотной коробочки — это его фирменный секрет! — посыпает остывающую леденцовую массу толченой гвоздикой: теперь благоухают лес и грибы, черника, мох и пышная многолетняя хвоя; папоротники и смолы силятся заглушить этот аромат — да где там, сдаются. Муравьи сбегаются как безумные. Змеи во мху покрываются карамелевой глазурью. Сорока кричит иначе: пор — ее перья — склеились. Как теперь искать сестренку? На сладкой или на кислой тропинке? И кто там плачет в кустах и хлюпает носом, потому что весь подгорелый чад шел прямо на него? А узелок не иначе маку объелся, коли был тише воды, ниже травы, когда учитель — видать, у него вместо ушей жернова — черенком ложки с жутким скрежетом принялся соскабливать со сковороды прилипшие остатки карамели.

Те из леденцовых крошек, что не упали в мох и не запрыгнули в расщелины между камнями, старший преподаватель Освальд Брунис, собрав в пригоршню, отправляет под свои и без того сладкие усики: рассасывает, причмокивает, смакует. Сидя возле сникшего, устало долизывающего золу костерка, он липкими пальцами, то и дело давя по пути отовсюду лезущих муравьев, ломает теперь уже твердую, стеклянно-коричневую лепешку, что лежит на промасленной пергаментной бумаге, примерно на пятьдесят заранее намеченных квадратиков. Этот леденцовый лом вместе с застывшими в нем, как в янтаре, муравьями он ссыпает в большой голубой пакет, где до варки карамели у него был сахар. Теперь все — сковорода, смятые пакеты и кульки, пакет с пополненным запасом сладостей, жестянка с крышкой, пустая бутылка, а также крошечная коробочка с толченой гвоздикой — отправляется обратно в котомку, туда, где уже сложены искристые камешки. А хозяин котомки уже на ногах и держит покрытую коричневой карамелевой корочкой ложку в своем учительском рту. Вот он уже шагает по мху в своих шнурованных башмаках и бисмарковской шляпе. После себя он оставляет только промасленную бумагу и мелкие крошки леденцов. А вон уже и ученики — галдя и мелькая между разрозненными стволами рощи, идут напролом по черничнику. Малыш Пробст плачет — он напоролся на гнездо лесных ос. Шесть его ужалили.

Теперь четверо одноклассников его несут. Освальд Брунис приветствует своего коллегу, старшего преподавателя Малленбрандта.

Когда класс ушел, удалился, оставив после себя только эхо, дальние крики, смех, строгие голоса учителей-мучителей, три раза прокричала сорока. Пор — снова упало ее перо. Тогда Биданденгеро вылез из своего куста. И остальные гакко — Гашпари, Гита и Леопольд — выбрались из кустов, соскользнули с деревьев. Около промасленной бумаги, служившей прокладкой для карамелевой лепешки, они встретились. Бумага была вся черная от муравьев и двигалась по направлению к Польше. И цыгане решили последовать примеру муравьев: бесшумно ступая по мху, стремительно раздвигая папоротники, они поспешили в южную сторону. Последним, мелькая меж стволов и уменьшаясь в размерах, шел Биданденгеро. И тихое хныканье — словно узелок у него за спиной, этот кулек с младенцем, эта голодная беззубая кроха, сестренка, словно она плакала, — он тоже унес с собой.

Но граница была недалеко и охранялась не слишком строго. А два дня спустя после таинственной варки леденцов случилось вот что: Вальтер Матерн на поле подачи расставил ноги пошире и против обыкновения — да и то только потому, что Хайни Кадлубек сказал, что он, Вальтер, одни свечи и бьет, а вот дальние мячи ему слабó, — запустил дальний мяч, да такой, что он перелетел через обе «метки», через весь ромб поля и через бедный водой, но богатый лягушками плавательный бассейн. Словом, Вальтер Матерн запустил мяч в лес. И пришлось ему, покуда Малленбрандт не пришел и не начал пересчитывать мячи, перемахнуть через сетчатый забор и отправляться на поиски.

Но мяч не находился, сколько Вальтер его ни искал — будто сгинул. Он уже смотрел под каждым папоротником. Возле старой лисьей норы — он знал, что нора пустая, — он опустился на колени. Засунул в нору сук и давай шуровать в темной, жуткой дыре. Он уже собрался улечься на живот, чтобы засунуть руку в нору по самое плечо, как вдруг крикнула сорока, полетело сорочье перо и мяч стукнул его по спине: который же это куст мячом кидается?

Куст оказался человеком. Узелок вел себя тихо. Медная серьга в ухе покачивалась, потому что человек беззвучно смеялся. Розовый кончик языка трепетал в беззубом рту. Потертый шнур тяжело вдавился в ткань рубахи на левом плече. На шнуре спереди были нанизаны три ежа. Кровь капала с их острых носиков. Когда мужчина слегка повернулся, Вальтер увидел, что сзади на том же шнуре у него, будто для противовеса, привязан мешочек. Длинные, маслянисто-черные волосы на висках мужчина заплел в толстые, упругие косички. Так делали еще цитенские гусары.

— Вы гусар?

— Немножко гусар, немножко старьевщик.

— А как вас зовут?

— Би-дан-ден-геро. Ни одного зуба не осталось.

— А ежи зачем?

— Запекать в глине.

— А вот этот узелок?

— Сестренка, маленькая сестренка.

— А вон тот мешочек сзади? А что вы тут ищете? А ежей вы чем ловите? А где вы живете? А у вас правда такое чудно́е имя? А если лесник вас поймает? А правда, что цыгане?.. А перстень на мизинце? А узелок спереди?..

Пор — и снова прокричала сорока из чащи леса. Биданденгеро заторопился. Сказал, что ему срочно надо на фабрику без окон. Там господин учитель. Ждет дикого меду для своих леденцов. У него для учителя блестящие камешки и еще есть один подарочек.

Вальтер Матерн остался один с мячом, не зная, как быть, на что решиться и куда направиться. Наконец он уже собрался было двигать обратно к сетчатому

забору, на поле, — игра ведь не кончилась, — как вдруг из кустов колобком выкатился Амзель, вопросов не задавал, и так все слышал, рвался только в одну сторону: за Биданденгеро. И друга тянул за собой. Они пошли следом за человеком с ежами, и, когда теряли его из виду, им помогали алые капли крови на папоротниковых метелках. По этому следу они и шли. А когда ежики на шнурке у Биданденгеро перестали окликать их своей кровью, им стала верещать сорока: пор — и где-то впереди мелькало сорочье перо. А лес становился все гуще, смыкался все плотней. Ветки хлестали Амзеля по лицу. Вальтер Матерн наступил на красно-белый мухомор, поскользнулся, упал в мох и зубами уткнулся в кочку. Окаменелая лиса. Деревья корчат рожи. Паутина прямо в лицо. Пальцы в смоле. У коры кисловатый привкус. Наконец лес чуть расступился. Солнечный свет, словно по ступенькам, спустился и упал на сложенные учителем камни. Послеполуденный концерт: гнейсы, прореженные авгитом, обманка роговая, сланцы, слюда, Моцарт, гермафродиты-кастраты от «Господи, помилуй!» до поочередного «Dona nobis»[1] — многоголосое «пи-и-и!», но учителя в бисмарковской шляпе здесь нет.

Только холодное кострови́ще. Промасленной бумаги и след простыл. И лишь когда буки за опушкой снова сомкнулись и закрыли небо, они ее обогнали: черная от муравьев, она тоже куда-то двигалась. Муравьи торопились переправить ее через границу, как Биданденгеро своих ежей. Но безнадежно отставали — что муравьи, если даже наши друзья отставали тоже, тщетно пытаясь нагнать сорочье перо, которое и звало, и дразнило, и посмеивалось: сюда! вот оно я! сюда! Вброд через папоротники, по пояс. Мимо аккуратных, чистеньких буковых стволов. Сквозь лучи зеленых лампад под куполом леса. Пропал, мелькнул, снова исчез — Биданденгеро, вон он. Но уже не один. Сорока созвала других смугляков. Здесь Гашпари и Гита, Леопольд и цыпка Гиты, цыпка тетя и Леопольдова цыпка, словом, все они здесь, гакко, старьевщики-барахольщики и лесные гусары, собрались под буками в тихом папоротнике вокруг Биданденгеро. А цыпка Гашпари притащила за собой Бороду — так звали козу.

И когда лес снова расступился, восемь или девять гакко, включая Бороду, то есть козу, вышли из леса. От последних деревьев они сразу нырнули в высоченную, в человеческий рост, траву ровной, без единого деревца, к югу протянувшейся лощины: а посреди лощины, в волнах зноя, как мираж, стоит фабрика.

Длинное, выгоревшее, одноэтажное здание. Неоштукатуренная кирпичная постройка, воротники черной гари вокруг зияющих проемов окон. Наполовину разрушенная труба выставила в небо свою выщербленную челюсть. Но все же стоит, не падает, и высотой, похоже, поспорит с буками, что сплошной стеной обступили лощину. При этом труба не кирпичная, хотя в этих местах полно кирпичных заводов. Испускала прежде пары перегонки спирта, а теперь, когда фабрика приказала долго жить, а труба остыла, на ней свили свое нескладное, расхристанное гнездо аисты. Но, видно, и гнездо тоже брошено. Растрескавшееся жерло трубы укрыто гнилой, черной, лоснящейся на солнце соломой.

Рассыпавшись веером, они приближаются к фабрике. Сорока больше не кричит. По шею в траве, цыгане плывут через поле. Бабочки порхают над полевыми цветами. Амзель и Вальтер Матерн наконец выбрались на опушку леса и залегают в траву: сквозь дрожащие былинки они видят, как все гакко через разные оконные проемы, но одновременно проникают в заброшенную фабрику. Дочка Гашпари привязывает козу Бороду к крюку в стене.

Белая долгорунная коза. Не только фабрика, кляклая черная солома на треснувшей трубе, не только поле дрожит в зыбком мареве, но и коза Борода, кажется, вот-вот испарится на солнце. Нет, сейчас не время следить за порханием бабочек. В нем если и есть смысл, то не слишком серьезный.

Амзель не уверен: может, они вообще уже в Польше. Вальтер Матерн вроде

---

[1] «Ниспошли нам...» (*лат.*).

бы видел в одной из оконных дырок голову Биданденгеро: промасленные косички на гусарский манер, медная побрякушка в ухе, мелькнул — и нет.

А Амзелю показалось, что сперва в одном, потом в другом окне он видел бисмарковскую шляпу.

Зато вот границу никто не видит. Разве что беззаботные летуньи капустницы. А со стороны фабрики, на разные лады меняя громкость и окраску, наплывает по небу какой-то странный, булькающий звук. Не то чтобы пение, ругань или там крик, нет. Скорее усиливающееся верещание и гуканье. Коза Борода дважды блеет в небо свое сухое приветствие.

И тут из четвертой оконной дырки выпрыгивает первый гакко: это Гита, и он тащит с собой свою цыпку. Та отвязывает Бороду. А из окна уже еще один и потом еще двое в пестрых нищих лохмотьях: это Гашпари и Леопольд, а с ними Леопольдова дочурка в своих бесчисленных юбках. И ни один не выходит в дверь, все смугляки выскакивают через оконные дырки, последним, головой вперед, Биданденгеро.

Ибо все цыгане поклялись своей царице Машари: через дверь никогда, только в окно.

Веером, как пришли, гакко плывут по полю к лесу, который поглощает их без следа. Напоследок еще раз белая коза. Сорока не кричит. Пор, ее перо, не падает. Тишина, покуда не оживает снова притихший было лесной луг. Бабочки порхают. Шмели урчат, словно двухэтажные автобусы, зудят свою молитву стрекозы, а им вторят модницы мухи, осы и вся прочая насекомая братия.

Но кто посмел захлопнуть такую красивую книжку с такими прекрасными картинками? Кто выжал лимон на свежеиспеченные безе июньских облаков? Из-за кого вдруг молоко скисло? Отчего это кожа у Амзеля и Вальтера Матерна разом покрывается пупырышками, словно мурашки по ней ползут?

Узелок. Кулечек с младенцем. Беззубая кроха. Это она, сестренка, орет благим матом, и крик ее разносится из окон заброшенной фабрики над неугомонным летним лугом. И не черные провалы окон, а темная дверь выплевывает из своей пасти бисмарковскую шляпу: кричало-орало, учило-мучило — старший преподаватель Освальд Брунис стоит с орущим узелком на руках под всевидящим солнцем, не знает, как кулек держать, и зовет: «Биданденгеро! Биданденгеро!» — да только лес ему не отвечает. Но ни Амзель с Вальтером Матерном, которых этот пронзительный крик поднял на ноги и медленно, шаг за шагом по шуршащей траве притянул к фабрике, ни учитель Брунис с надрывающимся узелком на руках, ни вся пестрая, как из детской книжки, вселенная летнего лесного луга не выказали ни малейшего удивления, когда случилось еще одно чудо: с юга, с польской стороны, размеренно помахивая крылами, над лугом пролетели аисты. Они же буселы, черногузы, батяны, бачаны... В здешних краях про аиста говорят — адебар. Два аиста заложили торжественный вираж и по очереди плавно опустились в почерневшее расхристанное гнездо на треснувшую верхушку трубы.

И тут же начали трещать клювами. Все взгляды — учителя из-под бисмарковской шляпы и учеников — устремились вверх по трубе. Детский кулечек вдруг разом затих. «Адебар-адебар» — выстукивали аисты погремушками своих клювов. Освальд Брунис неожиданно обнаружил у себя в кармане искристый камешек — может, это был даже двуслюдяной гнейс? Видимо, он предназначался для малышки как игрушка. «Адебар-адебар». Вальтер Матерн хотел подарить узелку тот кожаный мячик, который проделал с ними столь долгий путь и с которого, по сути, все и началось. «Адебар-адебар». Но полугодовалая малышка, оказывается, уже держала в своих пальчиках игрушку — ангустри, серебряный перстенек Биданденгеро.

Этот перстенек Йенни Брунис, должно быть, и по сей день не снимает с руки.

# *Последняя утренняя смена*

Похоже, так ничего и не состоялось. Конец света не ощущается. Брауксслю снова можно писать при свете дня. Но по крайней мере одно знаменательное событие на дату четвертое февраля все же пришлось: все три рукописи закончены и представлены в срок; так что Брауксель может с удовлетворением положить любовные письма молодого Харри Либенау на свою стопку утренних смен; а на «Утренние смены» и «Любовные письма» он водрузит признания господина артиста. Если понадобится послесловие, его напишет сам Брауксель: в конце концов, это он руководит шахтой и авторским коллективом, он выплачивает авансы, устанавливает и согласовывает сроки, он будет держать корректуры.

Как все происходило, когда к нам заявился молодой Либенау и предложил себя в качестве автора второй книги? Брауксель его проэкзаменовал. Он прежде писал лирику, да, и публиковал. Все его радиопьесы передавались по радио. Предъявил лестные и ободряющие рецензии. Его стиль характеризовали как свежий, динамичный и несбалансированный. Брауксель для начала поспрашивал его о Данциге:

— А назовите-ка мне, мой юный друг, переулки между Хмельной улицей и Новой Мотлавой.

Харри Либенау выпалил их назубок:

— Чибисный, Опорный, Линьковый, Погорелый, Адебарский, Монаший, Еврейский, Подойниковый, Точильный, Башенный и Лестничный.

— А как, молодой человек, — не унимался Брауксель, — вы изволите нам объяснить, откуда у Портшезного переулка такое красивое название?

Харри Либенау чуть обстоятельней, чем нужно, объяснил, что в этом переулке в восемнадцатом столетии стояли паланкины местных патрициев и знатных дам, это были как бы такси той эпохи, на которых без ущерба для богатого одеяния оную знать транспортировали через грязь и нечистоты городских улиц.

На вопрос Брауксля, кто ввел в тысяча девятьсот тридцать шестом году в экипировку данцигской полиции современные итальянские резиновые дубинки, Харри Либенау ответил с радостной готовностью новобранца:

— Дубинки ввел начальник полиции Фрибосс!

Но мне все еще было мало:

— А кто, мой юный друг, — уж это вы вряд ли припомните — был последним председателем данцигской партии центра? Как звали этого достопочтенного господина?

Но Харри Либенау действительно хорошо подготовился, даже Брауксель из его ответа почерпнул для себя кое-что новое:

— Священник и старший преподаватель, доктор теологии Рихард Стахник в тысяча девятьсот тридцать третьем году был избран председателем партии центра и депутатом данцигского фолькстага. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, после роспуска партии центра, арестован и полгода провел в заключении; в тысяча девятьсот сорок четвертом году депортирован в концентрационный лагерь Штутхоф, но спустя некоторое время освобожден. В течение всей своей жизни доктор Стахник занимался вопросом канонизации блаженной Доротеи фон Монтау, которая в тысяча триста девяносто втором году повелела замуровать себя живьем подле данцигского кафедрального собора.

Мне пришло в голову еще множество каверзных вопросов. Я хотел выяснить, как пролегало русло речушки Штрисбах, названия всех шоколадных фабрик в Лангфуре, высоту Гороховой горы в Йешкентальском лесу — и я получил вполне удовлетворительные ответы. Когда, наконец, Харри Либенау в ответ на вопрос: какие известные актеры начинали свою карьеру в данцигском городском театре? — мгновенно назвал безвременно умершую Ренату Мюллер и кумира экрана Ханса

Зенкера, я дал понять моему креслу, что экзамен окончен и выдержан успешно.

Так что после трех рабочих заседаний мы сошлись на том, что между «Утренними сменами» Брауксля и «Любовными письмами» вышеозначенного Харри Либенау нужен лишь небольшой связующий переход. Вот он:

Тулла Покрифке родилась одиннадцатого июня тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

В день, когда родилась Тулла, погода была неустойчивая, с преобладанием облачности, а позже и незначительных осадков. Ветер, слабый до умеренного, шевелил ветви каштанов в Малокузнечном парке.

В день, когда родилась Тулла, недавний канцлер доктор Лютер по пути из Кёнигсберга в Берлин приземлился в аэропорту Данциг-Лангфур. В Кёнигсберге он произнес речь в Колониальной ассамблее; в Лангфуре в ресторане аэропорта он соизволил перекусить.

В день, когда родилась Тулла, оркестр данцигской полиции под руководством главного капельмейстера Эрнста Штиберица давал концерт в Сопотском курортном парке.

В день, когда родилась Тулла, пилот Линдберг, совершивший перелет через океан, взошел на борт крейсера «Мемфис».

В день, когда родилась Тулла, полицией, согласно полицейскому отчету от одиннадцатого числа июня месяца, было задержано семнадцать человек.

В день, когда родилась Тулла, делегация Вольного города Данцига прибыла в Женеву на сорок пятую сессию Ассамблеи народов мира.

В день, когда родилась Тулла, на Берлинской бирже были отмечены крупные экспортные закупки акций на искусственный шелк и электричество. Зарегистрировано повышение курса акций на эссенский каменный уголь — четыре и пять десятых процента; на цинк заводов «Ильзе и Штольберг» — плюс три процента. Кроме того, поднялись в цене некоторые виды внутриотраслевых товаров. Так, за ацетатный шелк давали на четыре, за бембергский искусственный шелк — на два процента больше, чем накануне.

В день, когда родилась Тулла, в кинотеатре «Одеон» шел фильм «Его самый большой блеф», где Гарри Пиль сыграл одну из самых блистательных своих ролей, к тому же двойную.

В день, когда родилась Тулла, данцигское окружное отделение Национал-социалистской рабочей партии Германии созывало всех на большой митинг в зале Святого Иосифа, в Хмельном переулке, с пяти до восьми. С докладом на тему «Немецкие пролетарии ручного и умственного труда — соединяйтесь!» должен был выступить ответственный партийный работник, товарищ Хайнц Хаке из Кёльна на Рейне.

В день, когда родилась Тулла, в Красном зале Сопотского курортного театра повторно должно было состояться мероприятие под лозунгом «Народ бедствует! Кто спасет народ?». «Явка — массовая!» — призывал своих сограждан некий господин Хоенфельд, член данцигского народного собрания — фолькстага.

В день, когда родилась Тулла, учетная ставка банка Вольного города Данцига осталась неизменной и составила пять и пять десятых процента. Данцигские ржаные облигации котировались по девять гульденов шестьдесят за центнер ржи — вполне приличные деньги.

В день, когда родилась Тулла, книга «Бытие и время» еще не вышла, но уже была напечатана и объявлена.

В день, когда родилась Тулла, доктор Ситрон еще имел частную практику в Лангфуре; позже ему пришлось бежать в Швецию.

В день, когда родилась Тулла, колокольня на данцигской ратуше каждый четный час выбивала «Лишь Господь в небесной выси», а каждый нечетный — «Ангелов всех вожатый небесный». А колокольня церкви Святой Катарины каждые полчаса играла «Иисус Христос, яви нам очи».

В день, когда родилась Тулла, шведский пароход «Оддевулд» порожняком входил в данцигскую гавань рейсом из Окселёсунда.

В день, когда родилась Тулла, датский пароход «София» выходил из данцигской гавани с грузом леса рейсом на Гримсбю.

В день, когда родилась Тулла, в торговом доме «Штернфельд», в Лангфуре, детское платьице из репса стоило два гульдена пятьдесят. Юбка «принцесса» для девочки — два шестьдесят пять. Игрушечные ведерки шли по восемьдесят пять гульден-пфеннигов. Лейки по гульдену двадцать пять. А жестяные барабаны, лакированные, с палочками, предлагались по гульдену семьдесят пять.

В день, когда родилась Тулла, была суббота.

В день, когда родилась Тулла, солнце взошло в три часа одиннадцать минут.

В день, когда родилась Тулла, солнце зашло в двадцать часов восемнадцать минут.

В день, когда родилась Тулла, ее кузену Харри Либенау был один год и четыре дня.

В день, когда родилась Тулла, старший преподаватель Освальд Брунис удочерил полугодовалую девочку-найденыша, у которой уже резались молочные зубки.

В день, когда родилась Тулла, Харрасу, сторожевому псу ее дяди, был один год и два месяца от роду.

# Книга вторая

# ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА

Дорогая кузина Тулла!

Мне советуют хотя бы в самом начале поставить во главу угла тебя и твое полное имя: обращаясь к тебе, которая повсюду была, есть и будет сутью, именовать тебя расплывчато и бесформенно, будто я и впрямь начинаю самое обычное письмо. Тогда как я рассказываю себе, исключительно и неизлечимо себе одному; или есть какой-то смысл сообщать тебе, что я рассказываю все это для себя? Ваши семьи, семья Покрифке и семья Даммов, были родом из Кошнадерии.

Дорогая кузина!

Поскольку каждое мое слово к тебе заведомо тщетно, поскольку все мои слова, даже когда я рассказываю себе, несгибаемо и твердо только себе, имеют в виду тебя, не лучше ли нам заключить наконец бумажный мир и подвести под мое времяпрепровождение и под мой скудный заработок скромный ленточный фундамент: так и быть, я рассказываю тебе. А ты не слушаешь. Ну а обращение — словно мне все равно, написать тебе одно письмо или сотню, — пусть будет формальной прогулочной тросточкой, которую я давно хотел бы выбросить, которую я частенько и в сердцах еще буду выбрасывать — в Штрисбах, в море, в акционерный пруд, но пес, черный и о четырех лапах, умный дрессированный пес принесет мне ее обратно.

Дорогая Тулла!

Моя мать, урожденная Покрифке и сестра твоего отца Августа Покрифке, была родом, как и все Покрифке, из Кошнадерии. Седьмого мая, когда Йенни Брунис было примерно полгода, я чин-чином родился. Семнадцать лет спустя кто-то двумя пальцами взял меня за шкирку и усадил в большой, довольно натурального вида танк, назначив заряжающим. И все это в Силезии, то есть в местах, не-

знакомых мне в той же мере, в какой родная Кошнадерия южнее Коница знакома до слез, — так вот. посреди Силезии наш танк двигался в укрытие и в целях маскировки въехал задом в деревянный сарай, который силезские стеклодувы до крыши уставили изделиями своего тонкого ремесла. И если до того я без устали и передышки искал, о Тулла, рифму к твоему имени, то в этот миг ползущий в укрытие танк вкупе с пронзительным звоном и дребезгом лопающихся бокалов произвели эффект, в результате которого твой кузен Харри обратился к нерифмованному языку: отныне я стал писать простыми предложениями и пишу сейчас, поскольку некий господин Брауксель посоветовал мне попробовать силы в романе, настоящий нерифмованный роман.

Дорогая кузина Тулла!

О красотах Боденского озера и тамошних девушках я не знаю ничего; зато о тебе и Кошнадерии я знаю все. Ты родилась одиннадцатого июня. Координаты Кошнадерии: тридцать пять и три десятых градуса северной широты и семнадцать с половиной градусов восточной долготы. При рождении твой вес составлял два килограмма и триста граммов. К Кошнадерии как таковой относятся семь деревень: Франкенхаген, Пецтин, Дойч-Цекцин, Гранау, Лихтнау, Шлангентин и Остервик. Оба твоих старших брата— Зигесмунд и Александр — родились еще в Кошнадерии; Тулле же и ее брату Конраду метрики выписаны в Лангфуре. Фамилия Покрифке встречается в приходской книге Остервика еще до тысяча семьсот семьдесят второго года. Что касается Даммов, семьи твоей матери, то она упоминается уже несколько лет спустя после разделов Польши сперва во Франкенхагене, а затем в Шлангентине; вероятно, они перебрались сюда из прусской Померании, потому что происхождение фамилии от епископского угодья Дамерау представляется мне крайне сомнительным, тем более что Дамерау вместе с Обкассом и Гросс-Цирквицем уже в 1275 году было пожаловано архиепископу фон Гнезену. Дамерау называлось тогда Луиссева Дамброва, иногда и попросту Дубрава, непосредственно к Кошнадерии это село никогда не относилось, так что Даммы в любом случае пришлые.

Дорогая кузина!

Ты появилась на свет на Эльзенской улице. Мы жили в одном доме. Сдавал дом мой отец, столярных дел мастер Либенау. Чуть наискосок напротив, в так называемом акционерном доме, жил мой будущий учитель, старший преподаватель Освальд Брунис. Он удочерил девочку и назвал ее Иенни, хотя в наших краях девчонок отродясь так не называли. Черного пса, овчарку, во дворе нашей столярной мастерской звали Харрас. Тебя крестили именем Урсула, но с самого начала стали именовать Туллой. Вероятно, это имя как-то связано с кошнадерским водяным духом, который обитал в Остервикском озере и именовался в письменных источниках по-разному: Туля, Дуля, Тюля или Тюляш, а то и просто Тул. Когда Покрифке еще жили в Остервике, надел, который они арендовали, был на Мшистой горе, неподалеку от озера, прямо на коницком проселке. Наименование Остервик начиная от середины четырнадцатого века и до дня рождения Туллы в 1927 году писалось так: Остирвиг, Остирвих, Остервигх, Остервиг, Остервык, Островит, Островите, Остервик, Островитте, Остров. А в произношении кошнадерцев оно вообще звучит как Устевитч. Польский корень названия деревни Остервик, слово ostrow, означает остров в реке или в озере; дело в том, что изначально, то есть в четырнадцатом столетии, деревня располагалась на острове в Остервикском озере. Березовые и ольховые кроны смотрелись в омуты, богатые карпами. Но помимо карпов и карасей, плотвы и всенепременной щуки, в озере обретались также: рыжая корова с белой звездочкой на лбу, способная говорить человеческим голосом на Иванов день, сказочный кожаный мост, два мешка желтого золота со вре-

мен гуситских нашествий и вздорный водяной дух — Туля, Дулечка, Тюляш.

Дорогая Тулла!

Мой отец, столярных дел мастер, частенько любил повторять:

— Нет, Покрифке никогда тут по-людски не заживут. Оставались бы, откуда пришли, на своей капусте.

Намеки на кошнадерскую белокочанную капусту явно предназначались моей матери, урожденной Покрифке, ибо это она сманила своего брата с женой и двумя детьми с родных кошнадерских песков в городское предместье. Это по ее настоянию столярных дел мастер Либенау нанял к себе подсобным рабочим бывшего испольщика и батрака Августа Покрифке. И это моей матери удалось уговорить отца по дешевке сдать четверым своим родичам — Эрна Покрифке уже была беременна Туллой — освободившуюся трехкомнатную квартиру прямо над нами.

За все эти добродеяния твоя мать не слишком-то моего отца благодарила. Даже больше того — при каждом семейном скандале норовила обвинить его и его столярную мастерскую в глухоте ее глухонемого сына Конрада. Наша с утра до ночи надрывающаяся, почти не знающая передышек дисковая пила, заставлявшая подвывать и до хрипоты лаять всех собак в округе, включая Харраса, якобы привела к тому, что ушки маленького Конрада еще в материнской утробе увяли и перестали слышать.

Столярных дел мастер слушал Эрну Покрифке вполуха, потому что ругалась она по-кошнадерски. Разве это можно понять? Разве это можно выговорить? Жители Кошнадерии вместо «церковь» говорили «серхва». «Гора» у них называлась «хра», «дорога» — «троха». «Тятуфкин лух» — это был на самом деле «тятушкин», то есть батюшкин луг — надел остервикского священника, примерно два моргена кочковатой, худосочной земли. Когда Август Покрифке рассказывал о своих странствиях по Кошнадерии, то бишь про свои коробейницкие зимние походы в Цекцин, Абрау, Герсдорф, Дамерау и Шлангентин, это звучало примерно так: «Йду уф Сехсыну. Йду уф Оброх. Йду уф Херсдоф. Йду уф Домеру. Йду уф Шлахтыну». Если он описывал поездку по железной дороге до Коница, то это называлось «по железяфке уф Куних». Когда остряки, желая посмеяться, спрашивали, сколько же у него в Остервике было земли, он отвечал — дескать, сто двенадцать моргенов, но потом, подмигнув, неизменно поправлялся, намекая на пресловутые кошнадерские летучие пески:

— Тольки сотню бесперечь гдей-то ветер носит.

Признайся, Тулла,

подсобный рабочий из твоего отца был неважный. Даже к дисковой пиле мастер не мог его приставить. Мало того что у него постоянно приводной ремень соскакивал, так он еще и портил самые дорогие пильные полотна, нарезая себе лучину для растопки из бросовой, напичканной гвоздями тарной доски. Лишь с одной задачей он справлялся в срок и к полному удовольствию всех подмастерьев: кастрюля с клеем на железной плите в комнате над машинным цехом всегда стояла наготове, полная и горячая, для пяти подмастерьев, трудившихся за пятью верстаками. Клей пускал пузыри, сварливо что-то бурчал, мог отдавать медовой желтизной или серостью глины, мог растекаться, как гороховый суп, и растягиваться пленкой не хуже слоновой шкуры. Местами застывая, местами прорываясь горячей жижей, клей то и дело убегал из кастрюли, пускал все новые и новые «языки», не оставляя ни клочка эмали на кастрюльной поверхности и не позволяя распознать в этой страшной посудине обыкновенную суповую кастрюлю. Кипящий клей помешивали обрезком обрешеточной рейки. Но клей слой за слоем налипал и на дерево, образовывал бугры и набухшие морщинистые складки, все

больше оттягивая руку Августа Покрифке, покуда не превращал обрезок доски в роговистое страшилище, которое подмастерья называли слоновьим окороком и выбрасывали, заменяя его новым обрезком все той же, казалось, нескончаемой обрешеточной рейки.

О, костный клей, столярный клей! На кривом, покрытом слоем пыли в палец толщиной стеллаже штабелем лежали темно-коричневые, одна к одной, фабричные плитки клея. Начиная с моего третьего и до семнадцатого года жизни я преданно носил с собой в кармане штанов кусочек клея — такой он был для меня святыней; твоего отца я называл богом клея, ибо у этого божества были не только сплошь заляпанные костным клеем пальцы, которые при малейшем движении вкусно похрустывали, от него еще исходил и запах, который повсюду ему сопутствовал. Ваша трехкомнатная квартира, твоя мать и твои братья пахли клеем. Но щедрее всего он наделял этим дурманом свою дочурку. Клейкими пальцами он трепал ее по щеке. Частичками клея он обсыпал свою девчушку, когда показывал ей нехитрые — ловкость рук и никакого мошенства — фокусы. Словом, бог костного клея превратил Туллу в девочку из столярного клея; ведь где бы Тулла ни шла, стояла, бежала, где бы она ни остановилась вчера, где бы ни прошла утром, где бы ни пробежала неделю назад, что бы Тулла ни схватила, выбросила, долго или мельком трогала, чем бы она ни играла — стружками, гвоздями, шарнирами, — во всяком месте и на всяком предмете, которые попадались Тулле на пути, оставался либо едва слышный, либо почти адский, но в любом случае ничем не заглушимый запах костного клея. Вот и твой кузен Харри тоже к тебе приклеился: сколько лет нас было не разлить, и пахли мы сродственно.

Дорогая Тулла!

Когда нам было по четыре года, вдруг выяснилось, что у тебя не хватает извести. Примерно то же самое говорили о мергельных почвах Кошнадерии. Валунный мергель четвертичных времен, когда образовывались основные морены, содержит, как известно, углекислую известь. Однако выветренные и размытые дождями мергельные пласты на полях кошнадеров были бедны известью. И тут уж не помогали никакие удобрения, никакие государственные дотации. Никакие молитвы и полевые процессии — кошнадеры все как один были католики — не могли вернуть полям известь. Зато тебе доктор Холлац прописал известковые таблетки, и уже вскоре, в пять лет, извести у тебя оказалось достаточно. Ни один из твоих молочных зубов больше не шатался. Резцы у тебя слегка выступали вперед, и для Йенни Брунис, девчонки-подкидыша из дома напротив, эти резцы скоро станут неотступным кошмаром.

Тулла и я, мы оба никогда не верили,

что цыгане и аисты якобы были заодно в тот день, когда была найдена Йенни. Типичная сказочка папаши Бруниса: у этого никогда и ничто не происходило просто так, повсюду ему мерещились скрытые силы, и он исхитрялся неизменно пребывать в рассеянном ореоле чудаковатости: и когда подкармливал свою манию собирательства слюдяных гнейсов новыми, нередко и вправду превосходными экземплярами — в шизанутой Германии хватало таких же шизиков, с которыми он вел переписку, — и когда на улице, на школьном дворе или в классе изображал из себя то ли древнекельтского друида, то ли прусское дубовое божество, то ли Заратустру — у нас его считали масоном, — он всегда и всюду давал волю тем своим качествам, за которые наш мир так любит и ценит чудаков, называя их «оригиналами». Но лишь Йенни, его обращение с этой кукольной малюткой, превратило старшего преподавателя Освальда Бруниса в окончательного оригинала, прославившегося в этом качестве не только в окрестностях гимназии и на Эль-

зенской улице, но и во всех параллельных и поперечных улицах и переулках и во всем — таком большом и таком маленьком — предместье Данцига под названием Лангфур.

Йенни была упитанным ребенком. Даже когда вокруг Бруниса и Йенни слонялся Эдди Амзель, девочка не казалась грациозней. Поговаривали тогда, что этот Эдди и его друг Вальтер Матерн будто бы были свидетелями того, каким чудесным образом Брунис нашел Йенни. Как бы там ни было, но Амзель и Матерн оказались двумя четвертинками того кленового листка, над которым тихо подтруниивала вся наша Эльзенская улица, да и вообще весь Лангфур.

Для Туллы пишу я этот ранний портрет:

я изображу тебе потешного, нос картошкой, господина, чье лицо испещрено тысячами морщинок; на коротком седом бобрике господин носит широкополую мягкую шляпу. Вот он вышагивает в зеленой грубошерстной крылатке. Справа и слева его эскортируют, стараясь не отставать, двое учеников. Эдди Амзель — это, как принято говорить, толстый увалень. Все одежки на нем вот-вот лопнут. Пухлые подушки колен оторочены складочками жирка. Всюду, где его тело вырывается наружу, всходит густой посев веснушек. В целом он производит впечатление существа бескостного. Совсем не то, что его друг — этот широк в кости и держится независимо, словно желая показать, что учитель, Эдди Амзель и пышка-малютка находятся под его защитой. Девочке уже пять с половиной, но она все еще возлежит в большой детской коляске, потому что ходить как следует пока не может. Коляску везет Брунис. Иногда ее везет Амзель, и уж совсем редко — Скрипун. А в изножье коляски скомкан приоткрытый коричневый кулек. Детвора чуть ли не со всего квартала по пятам следует за коляской — каждый надеется получить конфету, которую они называют «сосачкой».

Но лишь перед акционерным домом, что стоит напротив нашего, Тулла, я и другие ребята получали, как только старший преподаватель Брунис останавливал непривычно высокую коляску, пригоршню леденцов из коричневого пакетика, причем он никогда не забывал сунуть один и себе, даже если его полустарческий рот еще не управился с предыдущим и продолжал мусолить на языке прозрачный стеклянистый обсосок. Иногда и Амзель посасывал конфетку за компанию. Но вот чтобы Вальтер Матерн взял леденец — такого я не припомню. Зато пальчики Йенни также склеивались от квадратных мятных подушечек, как пальцы Туллы склеивались от костного клея, из которого она делала катыши — она ими играла.

Дорогая кузина!

Подобно тому как я стремлюсь выяснить все про тебя и твой столярный клей, точно так же нужно установить ясность и в вопросе с кошнадерами, или, как их еще называли, кошнаверами. Чистым вздором представляются мне попытки обосновать происхождение слов «кошнавер» или «кошнадер» якобы историческими, но ничем не подкрепленными толкованиями. Согласно им, кошнадеры во время польских восстаний якобы чрезвычайно активно и деятельно вовлеклись в немецкие погромы, поэтому собирательное обозначение «кошнадеры» или «кошнаверы» каким-то образом связано с немецким и тоже собирательным понятием «копфшнайдеры», или, проще говоря, головорезы. И хотя у меня лично есть все основания принять эти гипотезы на веру — ты, неисправимая кошнадерка, выказывала все наклонности к этому кровавому ремеслу, — я все же склонен придерживаться куда более прозаического, но и более вразумительного объяснения, согласно которому служилый человек из управы в Тухеле, по фамилии Кошневский, в 1484 году подписал грамоту, в которой излагались все права и обязанности подчинен-

ных управе деревень, кои деревни впоследствии и стали по имени подписавшего грамоту называться кошневскими. Конечно, полной уверенности все равно нет. Названия городов и весей таким образом, вероятно, еще как-то можно раскусить, но Туллу, не столько девочку, сколько загадочное Нечто, разгадать с помощью историй о добросовестном служилом местной управы по фамилии Кошневский никак невозможно.

Тулла,

чье тугое белокожее тело не знало устали, могла полчаса провисеть головой вниз на перекладине для отбивки ковров и при этом еще петь через нос. Косточки под голубыми прожилками, мускулы без единой складочки жира — все это превращало Туллу в неугомонное, бегающее-прыгающее-лазающее, а в целом, казалось, — летучее создание. Поскольку глаза у Туллы были от матери — миниатюрного разреза, близко и глубоко посаженные, — самыми приметными в ее лице были ноздри. Когда Тулла злилась — а она по многу раз на дню делалась вдруг злющей, надменной и будто застывшей, — она закатывала глаза, и в разрезах век мерцали только голубоватые, в прожилках, белки глазных яблок. Эти ее мерцающие злые белки напоминали об увечьях, о пустых, выколотых глазницах, о бродягах и побирушках, которые выдают себя за нищих слепцов. Мы, когда она делалась такой вот ледышкой и начинала мелко дрожать, говорили:

— Тулла опять закрытые занавески показывает.

Сколько помню себя, я всегда бегал за своей кузиной — точнее говоря, таскался хвостом за тобой и твоим запахом костного клея, стараясь не отставать больше чем на два шага. Твои братья Зигесмунд и Александр уже ходили в школу, у них была своя жизнь. С нами оставался только глухонемой кудряш Конрад. Ты да он, меня допускали из милости. Мы забирались в деревянный сарай под толевой крышей. Пахло досками и смолой, а меня превращали в глухонемого: ведь вы, ты и он, могли разговаривать руками. Убранные или скрещенные пальцы что-то означали, и меня эти знаки настораживали. Ты и он, вы рассказывали друг другу какие-то истории, от которых ты начинала хихикать, а он сотрясаться в беззвучном смехе. Ты и он, вы оба вынашивали коварные замыслы, жертвой которых по большей части оказывался опять же я. Если ты вообще кого-то в жизни любила, то только его, кудряша; а меня вы унижали до того, что заставляли засовывать руку тебе под платьице. Под толевой крышей деревянной халупы было душно. Кисловатый запах дерева. Солоноватый вкус ладони. И я не мог, не мог уйти, приклеился — твой костный клей. Во дворе заходилась дисковая пила, сыто рычал строгальный станок, гудел выпрямитель. Во дворе поскуливал Харрас, наш сторожевой пес.

Слушай внимательно, Тулла!

Вот каким он был: черный кобель со слегка вытянутым корпусом, стоячими ушами и длинным хвостом. Не длинношерстный бельгийский грюнендаль, а жесткошерстная немецкая овчарка. Мой отец, столярных дел мастер, незадолго до нашего рождения купил его в Никельсвальде, деревушке в устье Вислы, еще щенком. Тридцать гульденов запросил за него хозяин, владелец никельсвальденской мельницы, известной тем, что на ней переночевала императрица Луиза. У Харраса были мощные челюсти и сухие, плотно смыкающиеся губы. Его темно-карие, чуть косо поставленные глаза следили за каждым нашим шагом. Шея сильная, крепкая, без подвеса и подглоточного мешка. Длина хвоста на шесть сантиметров превосходила высоту лопаток: я сам промерял. С какой бы стороны ни смотреть на Харраса — постав лап по отношению к туловищу всегда был правильный. Пясти и плюсны крепкие, пальцы плотно сжатые. Подушечки лап в меру упругие,

без трещин. Длинный, плавно ниспадающий круп. Плечи, предплечья, скакательные суставы — сильные, хорошо омускуленные. Псовина — волосок к волоску, остевые волокна прямые, жесткие, плотно прилегают к телу и сплошь черные. И подшерсток черный. Не темный волчий окрас на сером или желтом основании. Нет, повсюду, вплоть до стоячих, высоко посаженных, с легким наклоном вперед ушей и глубокой, мощной груди, на бедрах с умеренно длинными штанами — его шерсть повсюду отливала и поблескивала глубокой чернотой: чернотой зонтика и священника, чернотой вдовы и мундиров, чернотой школьной доски и фалангистов, чернотой дроздов, Отелло и Рура, чернотой фиалок и томатов, лимонов и муки, молока и снега.

Харрас умел искать, находить, приносить поноску, подавать голос; по следу шел с низко опущенным носом. Однако на розыскных испытаниях на Бургерском лугу он оплошал. Харрас был кроющим кобелем и состоял в племенной книге. Правда, хождение на поводке у него немного не ладилось: тянул. В облаивании был хорош, но по следу работал посредственно. Столярных дел мастер Либенау отдал его на дрессировку в полицейскую школу в Верхнем Штрисе. Там его отучили от поедания собственного кала — беды многих молодых собак. На его жетоне были выбиты цифры 517, что в сумме давало число 13.

Повсюду в Лангфуре — на Быстрой мельнице и в Колонии Шихау, от Саспе до Брёзена, по Йешкентальскому проезду и к Святому колодцу вниз, вокруг стадиона имени Генриха Элерса, за крематорием, перед торговым домом Штернфельда, у акционерного пруда, в канаве у ограды полицейского участка, на определенных деревьях Упхагенского парка, на определенных липах аллеи Гинденбурга, на цоколях пестрящих событиями афишных тумб, на основании флагштока перед ждущим новых митингов спортзалом, на столбах не затемненных пока что уличных фонарей предместья Лангфур — оставлял Харрас свои пахучие метки; и хранил им верность все свои собачьи годы.

В холке рост Харраса составлял шестьдесят четыре сантиметра. В пятилетней Тулле росту было один метр пять сантиметров. Ее кузен был на четыре сантиметра повыше. Его отец, рослый и статный столярных дел мастер, утром имел рост метр восемьдесят три, а после работы на два сантиметра меньше. Август и Эрна Покрифке, так же, как и Йоханна Либенау, в девичестве Покрифке, все были ростом не выше метра шестидесяти двух: кошнадеры, никудышная порода, что с них взять!

Дорогая кузина Тулла!

Какое бы дело мне было до Кошнадерии, если бы вы, Покрифке, не вышли оттуда. А так я знаю: деревни Кошнадерии с 1237-го по 1308-й принадлежали герцогам Поммерельским. После того как этот род вымер, кошнадеры до 1466 года платили подати Тевтонскому ордену. До 1772-го их приняло в свой состав Польское королевство. Во время европейского аукциона Кошнадерия перепала пруссакам. Те поддерживали порядок до 1920-го. С февраля двадцатого деревни Кошнадерии стали деревнями Республики Польша, покуда осенью 1939-го они не вошли в составе округа Данциг — Западная Пруссия в Великий Германский Рейх: насилие. Погнутые булавки. Пляшущие флажки. Постои и расквартирования: шведы, гуситы, отряды СС. «Если-ты-не, тогда...» «Огнем-и-мечом...» «Сегодня с четырех сорока пяти утра...» Циркульный перепляс на штабных картах. В контратаке овладев Шлангентином... Танковый дозор неприятеля по дороге на Дамерау... Наши войска отбивают массированное наступление к северо-западу от Остервика. Отвлекающие атаки двенадцатой полевой дивизии люфтваффе к югу от Коница приостановлены. В ходе выравнивания линии фронта нашими войсками оставлена так называемая Кошнадерия. Отступившие подразделения занимают позиции к югу от Данцига... И так без конца: сильные дяди, мастера стращать,

они и сегодня уже снова грозно вздымают кулаки, зажав в них штабные пресс-папье...

О Тулла!

Как поведать тебе о Кошнадерии, о Харрасе и его пахучих метках, о костном клее, мятных леденцах и детской коляске, когда созерцание кулака становится чуть ли не манией! А ведь коляска должна еще и катиться... Итак, в один прекрасный день катилась коляска. Много-много лет назад катилась коляска на четырех высоких колесах. На четырех высоких старомодных колесах катилась черная, лакированная, вся в трещинах от старости. Спицы, пружины, ручка, чтобы толкать коляску перед собой, — все эти некогда блестящие хромированные детали выказывали тут и там обшарпанные, серые, незрячие залысины. Залысины изо дня в день росли, незаметно: прошлое... Итак, в один прекрасный день, когда летом тридцать второго... Тогда, тогда, тогда, когда я был пятилетним мальчуганом, во время Олимпиады в Лос-Анджелесе, уже тогда были кулаки, умевшие разить быстро, деловито и вполне увесисто; и все же, будто и не замечая, куда ветер дует, миллионы людей в одно и то же время катили коляски на высоких и низких колесах, катили на солнце, катили в тень.

На четырех высоких старомодных колесах летом тридцать второго катилась черная, лакированная, изрядно потрепанная уже коляска, которую гимназист Эдди Амзель, знавший все лавки старьевщиков в округе, выторговал в Поденном переулке. Толкали ее попеременно он, старший преподаватель Освальд Брунис и Вальтер Матерн. Просмоленные, выкрашенные масляной краской и тем не менее сухие доски, по которым ехала коляска, были досками Брёзенского морского пирса. Брёзен, это приветливое местечко, морской курорт с 1823 года, с зачуханной рыбачьей деревушкой и курортным залом под величественным куполом, с пансионами «Германия», «Евгения» и «Элиза», с малорослыми дюнами и жидкой прибрежной рощицей, с рыбацкими лодками и купальней на три отсека, со спасательной вышкой «Немецкого общества спасения на водах» и аж сорокавосьмиметровым морским пирсом, расположилось аккурат посередке между Новой Гаванью и Глеткау на берегу данцигской бухты. Пирс в Брёзене был двухъярусный и имел по правую руку выдвинутый в море коротким ответвлением волнорез, защищавший его на случай шторма. На двенадцати своих флагштоках брёзенский пирс каждое воскресенье поднимал двенадцать гордо реющих стягов: поначалу только флаги балтийских городов, потом, один за другим, флаги со свастикой.

Под флагами городов катится по доскам коляска. Старший преподаватель Брунис, непривычно чужой во всем черном, толкает ее перед собой, но вскоре позволит себя сменить либо толстяку Амзелю, либо угрюмому Матерну. В коляске сидит Йенни, которой скоро будет шесть лет, а ходить ей все еще нельзя.

— Давайте спустим Йенни побегать! Ну пожалуйста, господин Брунис. Только попробуем. Мы ее с двух сторон поддержим.

Нет, Йенни Брунис ходить не разрешается.

— Нет-нет, еще потеряется. Еще затолкают в этой воскресной давке. — Давка не давка, но народу полно: люди гуляют, слоняются, встречаются, расстаются, кланяются, не глядя проходят мимо. Машут, берут под руку, указывают на мол, на скалу Орлиное гнездо, приветствуют, припоминают, злятся. И все так нарядно одеты — с ниточки с иголочки, все новенькое и в цветочек. Без рукавов и по сезону. Тенниски и новенькие матроски. Галстуки на ветру. Ненасытные фотоаппараты. Соломенные шляпы с обновленной прокладкой. Выбеленные зубной пастой парусиновые туфли. Высокие каблуки боязливо избегают щелей в настиле пирса. Мнимые капитаны прильнули к биноклям. Или просто, прикрыв глаза ладонью, мужественно смотрят вдаль. Матросских костюмчиков не меньше, чем детишек: носятся, играют, прячутся, пугаются. Я тебя вижу, ты меня нет. Эники-беники-ели-

вареники. Вышел-месяц-из-тумана. Вон там, да вон он, господин Англикер с Нового рынка со своими двойняшками. У двойняшек одинаковые большие банты, и они с одинаковой неспешностью бледными языками лижут мороженое. А вон господин Кошник с Гертовой улицы вместе с женой и гостем из Рейха. Господин Зелльке дает своим сыновьям по очереди посмотреть в бинокль: шлейф дыма, палубные надстройки — это на подходе паром «Кайзер». У супругов Берендтов кончились все гостинцы для чаек. Госпожа Грунау, у которой прачечная-гладильня возле Большой коптильни, с тремя молоденькими ученицами. Булочник Шеффлер с Малокузнечного переулка со своей хохотушкой женой. Хайни Пиленц и Оттен Зоннтаг без родителей. А вон и господин Покрифке с пальцами в клею. На нем виснет его костлявая грымза жена, которой то и дело приходится с крысиным проворством вертеть головой во все стороны.

— Тулла! — приходится ей кричать. И тотчас же: — Александр! — И еще: — Зигесмунд, следи за Конрадом!

Ибо здесь, на пирсе, кошнадерцы на своем жутком наречии говорить стесняются, хоть столярных дел мастера Либенау и его жены поблизости и нет. Мастеру этим воскресным утром пришлось остаться в мастерской и чертить, чтобы в понедельник машинист-пильщик знал, что и как распиливать. А жена его без мужа гулять не выходит. Но зато сын его здесь, потому что Тулла здесь. Оба младше Йенни, тем не менее обоим можно не только ходить, но и бегать. Можно на одной ножке за старшим преподавателем Брунисом и его немного застенчивыми учениками прыгать крест-накрест, как в «классики». Можно вдоль по пирсу до самого конца, где он завершается остроносым, опасным треугольником. Можно по лестницам справа и слева вниз, на нижний ярус, где всегда рыбаки и ловится макрель. Можно в быстрых сандалиях носиться по узким нижним мосткам и тайком от взрослых прятаться между балками пирса под самым настилом, под шарканьем сотен выходных туфель, под легким перестуком прогулочных тростей и зонтиков. В прохладной зеленоватой тени. Там, под верхним ярусом, не бывает дней недели. Вода пахнет строгостью и прозрачна до самых ракушек и бутылок, что перекатываются по дну. На опорах, что держат на себе пирс и народ на пирсе, нехотя покачиваются бороды водорослей: вокруг них, тут и там, стайки колюшки — серебристые, шустрые, привычные. С верхнего яруса падают окурки, распуская вокруг себя коричневатую мантию, приманивая, а потом отталкивая небольших, в палец длиной, рыбешек. Стайки мальков движутся стремительными рывками: кидаются вперед, замирают, поворачивают, распадаются, собираются снова уже чуть глубже и уплывают — туда, где развеваются новые бороды водорослей. Покачивается пробка. Бутербродная бумага набухает и вяло кружится. Между просмоленными балками Тулла Покрифке одергивает свое выходное платьишко, уже все в пятнах. Ее кузену приказано сунуть под платье руку. Но он не хочет и глядит в сторону. Тогда и она, значит, не-хочет-не-может-не-будет, — и уже спрыгнула с перекрестья балок вниз на мостки, уже мчится, хлопая сандалиями по доскам, потряхивая косичками, вспугивая клюющих носами рыбаков, уже взбираясь по лестнице, туда, где простор пирса, где двенадцать флагов, где воскресное утро; а ее кузен Харри идет следом, идет за ее дурманящим запахом костного клея, который легко и громко заглушает запах водорослевых бород, запах просмоленных и все же гниющих балок, запах высушенных ветрами мостков и даже запах моря.

И ты, Тулла,
как-то воскресным утром сказала:
— Да спустите вы ее. Хочу поглядеть, как она ходит.

Как ни удивительно, старший преподаватель Брунис кивает, и Йенни разрешено пройтись по дощатому настилу брёзенского морского пирса. Кто-то смеется, многие улыбаются, потому что Йенни такая толстушка и так неловко передви-

гается по дощатому настилу причала на своих ножках-сарделька́х, перехваченных резинками гетр и втиснутых в лаковые туфельки с пряжками.

— Амзель, — интересуется Брунис из-под черной фетровой шляпы, — а тебе, когда ты был, допустим, шестилетним ребенком, сильно досаждала твоя, прямо скажем, тучность?

— Да не особенно, господин учитель. Вальтер всегда присматривал. Только за партой сидеть было неудобно, скамейка слишком узкая была.

Брунис угощает конфетами. Пустая коляска стоит поодаль. Матерн с неуклюжей осторожностью ведет Йенни. Флаги вытянулись в одну сторону и трепещут. Теперь Тулла хочет вести Йенни. Коляска, надо надеяться, никуда не укатится. Брунис посасывает мятный леденец. Йенни идти с Туллой не хочет, она вот-вот разревется, но Матерн рядом, да и Эдди Амзель тут как тут — мигом и очень похоже изображает курятник. Тулла поворачивается на каблучках. На носу пирса столпился народ — там вроде кто-то собирается петь. Лицо Туллы превратилось в треугольник, такой маленький, что ярость в нем неимоверна. На конце пирса уже поют. Тулла закатывает глаза: закрытые занавески. Группа подростков — «юнгфольк», «юность народа» — встала у самых поручней полукругом. Иссушенная ярость кошнадеров: Тул-Дул-Тулла. Не все мальчики в форме, но все поют, а из слушателей многие подтягивают и одобрительно кивают. «Мы любим бури...» поют все, а единственный непоющий на неестественно прямых руках держит треугольный черный вымпел с вышитой на нем руной. Коляска стоит в стороне, брошенная и пустая. Теперь они поют: «В ранний час, когда светает, наступает наша эра». Потом кое-что повеселее: «Чудак по имени Колумб...» Кудрявый юнец лет пятнадцати, правая рука которого, возможно и вправду пораненная, висит на перевязи, жестами смущенными, но приказующими призывает слушателей подхватывать если не всю песню о Колумбе, то хотя бы припев. Молоденькие девушки, взявшись под руки, и солидные мужи, среди которых господин Покрифке, господин Берендт и торговец колониальными товарами Мацерат, начинают подпевать. Упругий норд-ост натягивает флаги и скрадывает фальшивые нотки веселого хора. Если вслушаться внимательно, можно расслышать то забегающий вперед, то отстающий от ритма песни перестук детского жестяного барабана. Это, должно быть, сын Мацерата, торговца колониальными товарами. Мальчик немного со странностями. Бессмысленный припев прямо-таки нескончаемой песни звучит так: «Глория-виктория, виде-виде-вит-юххай-расса», — и пение между тем мало-помалу становится обязательным. Оглядки: «А этот почему не поет?» Прищур искоса: ага, супруги Ропинские тоже поют. И даже старик Завацкий, прожженный социалист, рот раскрывает. Ну же, дружно! Смелей! Вон, даже господин Цурек и почтовый секретарь Бронски тоже поют, хотя оба работают на площади Хевелиуса, на польской почте. «Виде-виде-вит-бум-бум». А что же господин старший преподаватель? Неужто не может по крайней мере заложить за щеку свой мятный леденец и хотя бы для вида? «Глория-виктория!» В стороне, брошенная и пустая, на четырех высоких колесах стоит коляска. Поблескивая черным, в трещинах, лаком. «Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!» Папаша Брунис хочет взять Йенни на руки и освободить ее ножки-сардельки от лакированной обувки с тугими пряжками. Но его ученики — «Глория-виктория!» — особенно Вальтер Матерн, его отговаривают. Эдди Амзель тоже поет: «Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!» У него, наверно из-за комплекции, чудный голос — бархатно-мягкое мальчишеское сопрано, на некоторых строчках припева, особенно на «...юххай-расса-а-а-а», будто рассыпающееся серебром. Это называется верхним голосом. Многие уже оглядываются, желая знать, где это звенит такой прозрачный родничок.

Теперь они поют — поскольку, ко всеобщему изумлению, у песни о Колумбе все же сыскался заключительный куплет — песню об урожае: «Я нагрузил тележку с верхом...» А теперь — хотя это, конечно, куда лучше поется вечером: «Стра-

ны прекрасней в наше время...» Тут уж Эдди Амзель дает своему сопрано развернуться вовсю. Брунис сосет леденец почти демонстративно и прячет в глазах усмешливые огоньки. Матерн на фоне безоблачного неба все больше мрачнеет. Коляска отбрасывает одинокую тень...

Где же Тулла?

Ее кузен честно отпел шесть куплетов песни о Колумбе. Во время седьмого он смылся. Только запах моря — дурмана костного клея совсем не слышно; просто Август Покрифке со своей женой и глухонемым Конрадом стоят у западных поручней пирса, а ветер с северо-восточного переменился на восточный. Все Покрифке повернулись к морю спиной. Они поют. Конрад тоже своевременно, хотя и беззвучно, открывает рот и вытягивает трубочкой губы, и даже когда, без особого успеха, предпринимается попытка исполнить канон «Мастер Якоб, мастер Якоб», он вступает вовремя.

Где же Тулла?

Ее братья Зигесмунд и Александр давно улизнули. Ее кузен Харри видит обоих на волнорезе. Они, смельчаки, ныряют с волнореза головой вниз. Зигесмунд разучивает прыжок с переворотом и из стойки на руках. Одежда братьев, придавленная ботинками, лежит тут же, на этом узеньком и ненадежном отростке пирса. Туллы там нет. От причала Глеткау — а при желании можно угадать вдали даже большой Сопотский причал — точно по расписанию отходит прогулочный пароходик. Пароходик весь белый и оставляет за собой длинный шлейф черного дыма — точь-в-точь как корабли на детских рисунках. Те, кто намерен отправиться на пароходике из Брёзена в Новую Гавань, столпились на носу пирса с левой стороны, где причал. Где же Тулла? «Юность народа» все еще поет, но их никто уже не слушает, поскольку пароходик все увеличивается в размерах. И Эдди Амзель тоже уже отключил свой верхний голос. Детский барабан, забросив песенные ритмы, подлаживается теперь к тарахтенью корабельной машины: это прогулочный пароход «Щука». Но и прогулочный пароход «Лебедь» выглядит точно так же. Только колесный пароход «Пауль Бенеке» выглядит совсем иначе. Во-первых, у него колеса с лопастями; во-вторых, он больше, гораздо больше; а в-третьих, он курсирует между Данцигом-Лангбрюкке, Сопотом, Гдингеном и Хелой, а в Глеткау и в Брёзен вообще не заходит. Где же Тулла? Сперва кажется, будто прогулочный пароходик «Щука» вовсе даже и не намерен приставать к брёзенскому причалу, но потом он ложится в дрейф и уже вскоре, быстрее, чем думалось, подваливает к пирсу правым бортом. Вода бурлит не только вокруг кормы и носа. Потом, словно в нерешительности, пароходик вдруг останавливается и вспенивает море. Выбрасываются швартовы, скрипят причальные тумбы. Табачно-бурые привальные подушки по правому борту смягчают последний толчок. Всем детям, а также некоторым женщинам очень страшно, потому что «Щука» сейчас загудит. Дети позатыкали уши, пооткрывали рты, трепещут заранее: и тут пароход издает низкий, под конец хрипло захлебывающийся гудок и замирает, принайтованный накрепко. Детвора уже снова лижет вафли с мороженым, но некоторые малыши на пароходе и на пирсе по-прежнему хнычут и затыкают уши, не сводя глаз с трубы, потому что знают: «Щука», прежде чем отчалить, прогудит еще раз и выпустит струю белого пара, который воняет тухлыми яйцами.

Где же Тулла?

Прекрасен белый пароход, когда на нем нет пятен ржавчины. На «Щуке» нет ни единого, только флаг Вольного города и вымпел пароходства «Висла» выгорели и пообтрепались. Одни с борта — другие на борт. Тулла? Ее кузен оглядыва-

ется назад: там, на правой стороне пирса, отныне и вовеки стоит детская коляска на четырех высоких колесах. Она отбрасывает скошенную одиннадцатичасовую тень, которая без швов и стыков срастается с тенью перил пирсового ограждения. И к этому путаному теневому узору приближается еще одна тень, тощая и однозначная: это Тулла идет снизу. Она побывала у развевающихся водорослевых бород, заколдованных рыбаков, тренирующихся мальков. Костлявая, в коротком платьице, она поднимается по лестнице. Острые коленки подкидывают надвязанную кружевную оборку. От лестницы она прямиком устремляется к коляске. Последние пассажиры всходят на борт прогулочного парохода «Щука». Несколько детей все еще — или уже снова — плачут. Тулла сплела руки за спиной. Хотя зимой кожа у нее белая с голубоватым оттенком, загорает она быстро. Сухой желто-бронзовый, в цвет столярного клея загар резко оттеняет оспинки прививок: один, два, три островка на левом предплечье, каждый величиной с вишенку, мерцают столь мертвенной белизной, что их невозможно не заметить. Каждый пароход привозит чаек и увозит чаек. Правый борт пароходика обменивается с левой стороной причала прощальными словами: «Приезжайте в следующий раз. И не забудьте пленку проявить, нам интересно. И всем передайте от нас привет, слышишь?» Тулла стоит подле пустой детской коляски. Пароход гудит снова — высоко, низко, потом захлебывается. Тулла и не думает затыкать уши. Ее кузен с удовольствием бы заткнул, но не решается. Глухонемой Конрад, стоя между Эрной и Августом Покрифке, смотрит на пенящиеся буруны за кормой парохода, крепко зажав ладонями оба уха. Смятый коричневый бумажный кулек лежит в изножье. Тулла леденцы не трогает. На волнорезе двое мальчишек затеяли схватку с третьим: двое плюхаются в море, сразу же выныривают, все трое хохочут. Старший преподаватель Брунис все-таки взял Йенни на руки. Йенни не знает, заплакать ей или нет, раз уж пароход прогудел. Старший преподаватель и его ученики советуют ей не плакать. Эдди Амзель завязал по углам своего носового платка четыре узла и натянул сооруженную таким способом шапочку на свою лысью шевелюру. Поскольку он вообще выглядит смешно, в носовом платке с узелками он смешно не выглядит. Вальтер Матерн не сводит мрачного взгляда с белого парохода, который, трясясь, отваливает от причала. Мужчины, женщины, дети, ватага из «юности народа» с черным вымпелом на борту — все машут, кричат, смеются. Чайки кружат, падают, взлетают и, вывернув шеи в полете, глазеют своими черными пуговицами. Тулла Покрифке слегка пинает ногой правое заднее колесо — тень коляски остается почти неподвижной. Мужчины, женщины, дети постепенно отходят от причала, разбредаются. Прогулочный пароход «Щука», нарисовав на небе клубы черного дыма и пыхтя, ложится в дрейф и берет курс на вход в Новую Гавань, сразу начиная уменьшаться в размерах. В ровной глади моря он торит пенную, быстро исчезающую борозду. Не все чайки улетают за ним вслед. Тулла решает действовать: откинув головку с косичками назад, она затем резко выбрасывает ее вперед и плюет. Ее кузен краснеет — отныне и вовеки. Он оглядывается, пытаясь понять, видел ли кто-нибудь еще, как Тулла плюнула в детскую коляску. С левой стороны возле перил пирса торчит трехлетний шкет в матросском костюмчике. Шелковая лента с тисненой золотой надписью обхватила его матросскую фуражку: «Зайдлиц». Кончики ленты бьются на северо-восточном ветру. На груди у него висит детский жестяной барабан. Из его кулачков выростают деревянные, сильно обшарпанные барабанные палочки. Но он не барабанит, у него голубые глаза, и он наблюдает ими, как Тулла во второй раз плюет в пустую детскую коляску. Сотни летних ботинок, парусиновых туфель, сандалий, прогулочных тросточек и солнечных зонтов приближаются к ней с оконечности пирса, когда Тулла прицеливается плюнуть в третий раз.

Не знаю, был ли кто-нибудь, кроме меня и сына торговца колониальными товарами, свидетелем того, как моя кузина трижды подряд плюнула в пустую дет-

скую коляску Йенни, а затем, худая и злющая, нарочито медленно поплелась в сторону курортного зала.

Дорогая кузина!

Пока что не могу снова не поставить тебя на поблескивающий масляной краской дощатый настил брёзенского морского пирса: в одно из воскресений следующего года, но того же месяца, то есть ветреного и богатого медузами месяца августа, когда мужчины, женщины и дети с пляжными сумками и надувными резиновыми зверями в который раз покидали пыльное предместье Лангфур и направлялись в Брёзен, чтобы во множестве расположиться в купальнях и на пляже, чтобы в несколько меньшем количестве прогуливаться по морскому пирсу, в день, когда восемь флагов балтийских городов и четыре флага со свастикой обвисали на двенадцати флагштоках понурыми безжизненными тряпками, потому что над Оксхефтом бушевала морская гроза, когда огненные медузы нещадно жалили, а некусачие медузы распускали в теплой морской воде свои сиреневато-белые зонтики, — в такой вот августовский день Йенни потерялась.

Старший преподаватель Брунис кивнул. Вальтер Матерн вынул Йенни из коляски, а Эдди Амзель недоглядел, когда и как Йенни затерялась в пестрой воскресной толпе. Гроза над Оксхефтом все ширилась. Вальтер Матерн Йенни не нашел. И Эдди Амзель не нашел. Ее нашел я, потому что искал свою кузину Туллу — я всегда искал ее, а находил по большей части Йенни Брунис.

Но в тот день, когда грозовая туча с запада разбухала на глазах, я нашел их обеих, а Тулла к тому же держала за ошейник Харраса, которого я с отцовского дозволения взял с собой.

На одном из мостков, что были проложены под пирсом вдоль и поперек, а точнее, в торце одного из мостков, который заканчивался тупиком, я нашел обеих. Заслоненная балками и подкосами, в своем белом платьице, в неверных зеленоватых отсветах, в полутени — над ней шарканье легких летних туфель, под ней хлюпанье и буханье жадных лижущих волн, — заплаканная, затравленная, пухлощекая, забилась в угол Йенни Брунис. Потому что Тулла ее пугала. Тулла приказывала нашему Харрасу лизать Йенни в лицо. А Харрас Туллу слушался.

— Скажи «говно», — приказала Тулла, и Йенни покорно повторила.

— Скажи: «Мой отец всегда пердит», — приказала Тулла, и Йенни пришлось признать то, что старший преподаватель иногда действительно совершал.

— Скажи: «Мой брат повсюду все ворует», — не унималась Тулла.

Но тут Йенни неожиданно возразила:

— Но у меня нет никакого брата, правда же нет.

Тогда Тулла своей длинной тощей рукой выудила из-под мостков и подняла наверх тряскую некусачую медузу. Ей пришлось обеими пригоршнями держать этот слизистый белесый студень, к центру которого сходились от краев бугристые подушчатые наросты и голубовато-фиолетовые, в узелках, прожилки.

— Ты сейчас же это съешь, и чтобы ничего не осталось, — распорядилась Тулла. — Она совсем безвкусная, ешь давай.

Йенни не шелохнулась, и тогда Тулла показала ей, как надо есть медузу. Она со смаком втянула в себя примерно две столовых ложки студенистого желе, почавкала им во рту и потом выпустила из щели между двумя верхними резцами струйку медузной кашицы чуть ли не Йенни в лицо. Высоко над пирсом грозовая туча уже надкусила солнце.

— Теперь ты видала, как это делается. Делай сама.

Личико Йенни стало растягиваться в плаксивую гримасу. Тулла пригрозила:

— Или я собаку...

Но прежде чем Тулла смогла натравить нашего Харраса на Йенни — он бы, конечно, ничего страшного с ней не сделал, — я свистнул Харраса к ноге. Он под-

чинился не сразу, но затем все же подставил мне загривок с ошейником. Теперь я его держал. В небе, пока еще далекий, прокатился гром. Тулла, совсем рядом, плюхнула остатки медузы мне на рубашку, протиснулась мимо и была такова. Харрас рванулся за ней. Два раза мне пришлось крикнуть «Стоять!». Левой рукой я придерживал собаку, правой взял Йенни за ручку и повел ее на предгрозовой пирс, где старший преподаватель Брунис и его ученики уже метались между вспугнутыми грядущим ненастьем воскресными гостями, искали Йенни, кричали «Йенни!» и уже подозревали самое худшее.

Еще до первого порыва ветра администрация курорта успела спустить все двенадцать флагов — восемь разных и четыре одинаковых. Папаша Брунис держал коляску за ручку: коляска подрагивала. Первые капли уже отделились от туч. Вальтер Матерн усадил Йенни в коляску — дрожь не унялась. И даже когда мы уже укрылись в сухом месте и старший преподаватель Брунис дрожащими пальцами выдал мне три мятных леденца, коляска все еще продолжала мелко трястись. Гроза, этот передвижной театр, с помпой унеслась дальше.

Моей кузине Тулле

однажды на том же пирсе пришлось пронзительно кричать. Тогда мы уже умели писать наши имена. Йенни уже не возили в детской коляске, она, как и все мы, ножками-ножками топала в школу имени Песталоцци. В свой срок наступили каникулы с детскими проездными билетами, купальным сезоном и вечно новым брёзенским морским пирсом. На двенадцати флагштоках в ветреную погоду теперь трепетали шесть флагов Вольного города Данцига и шесть флагов со свастикой, эти последние принадлежали уже не курортной администрации, а Брёзенскому комитету партии. И прежде чем каникулы кончились, однажды утром, в одиннадцать с чем-то, утонул Конрад Покрифке.

Твой брат, твой кудряш. Тот, что смеялся беззвучно. Пел со всеми. Все понимал сразу. Не будет больше разговоров руками: локоть, лоб, нижнее веко, два скрещенных пальца возле уха, два пальца прижавшись, щека к щеке: Тулла и Конрад. Теперь только один выставленный палец, потому что под волнорезом...

Всему виной зима. От ее льдов, оттепелей, плавучих торосов и февральских штормов брёзенскому пирсу крепко досталось. И хотя курортная администрация более или менее его подновила — выкрашенный в белую краску, щеголяя новенькими флагштоками, пирс и впрямь сиял как на параде, — но часть старых опор, обломанных глубоко под водой льдом и тяжелыми штормовыми валами, осталась коварно торчать на дне, что и обрекло Туллиного младшего брата на погибель.

Хотя купаться с волнореза в тот год было запрещено, мальчишек, которые приплывали сюда с пляжа и использовали волнорез как вышку для прыжков, хватало с лихвой. Зигесмунд и Александр Покрифке младшего брата с собой не взяли; но он поплыл за ними сам, по-собачьи, вовсю бултыхая руками и ногами, — правильно плавать он еще не умел, но на воде держался уверенно. Втроем, все вместе, они прыгнули с волнореза, наверно, раз пятьдесят и столько же раз благополучно вынырнули. Потом они вместе прыгнули еще семнадцать раз, а вот вынырнули все втроем лишь шестнадцать. Никто бы, возможно, так сразу и не заметил, что Конрад не выплывает, если бы наш Харрас не поднял тревогу. С пирса он следил за прыжками и теперь, одного из братьев недосчитываясь, начал носиться по волнорезу взад-вперед, неуверенно тявкая в разные стороны, пока вдруг не сел и не завыл, задрав морду к небу.

В это время к причалу как раз приставал прогулочный пароходик «Лебедь»; однако весь народ сгрудился на правой стороне пирса. И только мороженщик, до которого всегда доходило после всех, продолжал монотонно выкрикивать свое: «Ванильное, лимонное, клубничное, крюшон, ванильное, лимонное...»

Только ботинки успел скинуть Вальтер Матерн и тут же, головой вниз, сига-

нул прямо с перил пирса. И точно против того места, которое наш Харрас указывал сперва воем, потом скребя по краю волнореза лапами, он нырнул. Эдди Амзель держал ботинки своего товарища. Тот показался на миг из воды и тут же нырнул снова. К счастью, Йенни ничего этого не видела: господин старший преподаватель отдыхал с ней в тени деревьев в курортном парке. Лишь когда Зигесмунд Покрифке и еще один мужчина, но не из спасательной команды, поочередно стали помогать Матерну, им удалось вытащить глухонемого Конрада, чью голову заклинило между двумя короткими, как пеньки, обрубками сломанных свай.

Только его уложили на мостки, откуда ни возьмись объявился спасатель с кислородной маской. Пароходик «Лебедь» во второй раз подал голос и продолжил свой маршрут по пляжам и купальням бухты. Никто не догадывался заткнуть мороженщика: «Ванильное, лимонное, клубничное...» Лицо у Конрада посинело. Ладони и ступни были желтые, как у всех утопленников. Правое ухо, застрявшее между сваями, порвалось возле мочки: из него сочилась на доски светлая, алая кровь. Глаза его не хотели закрываться. Его кудри так и остались кудрями. Вокруг него, который теперь, утопленником, казался еще меньше, чем был при жизни, расположилась лужа воды. Покуда предпринимались попытки оживления — они еще долго, согласно инструкции, прикладывали ему к лицу кислородную маску, — я зажимал Тулле рот. Когда маску наконец убрали, она впилась зубами в мою ладонь, а потом, перекрывая позывные мороженщика, зашлась долгим, пронзительным, до самого неба досягающим криком, потому что ей уже не приведется больше часами беззвучно беседовать с Конрадом — знаком двух пальцев, щека к щеке, пальцами ко лбу и особым знаком любви, не приведется ни в укромном деревянном сарае, ни в прохладной тени пирса, ни тишком-тайком в крепостном рву на окраине, ни у всех на виду и все же ото всех по секрету — на людной Эльзенской улице.

Дорогая Тулла!

У твоего крика, видимо, долгое дыхание: он и сегодня гнездится в моем слухе, сохраняя все тот же, один-единственный, пронзительный и высокий, до неба досягающий тон.

Ни в следующее, ни через одно лето нашего Харраса никакими силами на волнорез было не затащить. Он оставался при Тулле, которая даже на пирс не заходила. Это их единодушие, впрочем, имело свою предысторию.

Летом того же года, только немного до того, как глухонемой Конрад Покрифке утонул во время купания, Харрасу пришла повестка на вязку. В полиции родословная пса была известна, поэтому раз, а когда и два раза в год оттуда по почте приходило извещение, подписанное лейтенантом полиции по фамилии Мирхау. Отец никогда не отказывал этим посланиям, неизменно составленным в почти приказном тоне: во-первых, он и вообще, и как столярных дел мастер в особенности не хотел никаких неприятностей с полицией; во-вторых, вязка, если в ней задействован такой кобель, как Харрас, каждый раз приносила довольно кругленькую сумму; а в-третьих, для отца эти приглашения были предметом нескрываемой гордости за его собаку; когда оба они торжественно отправлялись на «оплачиваемую владельцем одной из сторон случку», можно было подумать, что это отца, а не Харраса пригласили на столь ответственное мероприятие.

На сей раз и мне, хотя и непросвещенному, но и не совсем несведущему, впервые было дозволено их сопровождать. Отец, невзирая на жару, в костюме, который он еще надевал разве что по случаю собрания столярной ремесленной гильдии. Темно-серая жилетка солидно облегала его живот. Из-под велюровой шляпы он извлек светло-кофейную сигару «Фельфарбе» по пятнадцать пфеннигов за штуку. Едва Харраса отцепили от будки и надели на него намордник — как-никак в полицию шли, — он жадно рванул с места, очередной раз выказывая свой давний

порок: неважное хождение на поводке. Поэтому на Верхнештрисской улице мы были гораздо раньше, чем об этом можно было бы заключить по солидному остатку отцовской сигары.

Верхнештрисская улица — это та, что от Главной Лангфурской идет на юг. По левую руку двухэтажные, на две семьи, коттеджи, в которых жили полицейские со своими семьями; по правую мрачные кирпичные казармы, построенные еще для маккензенских гусаров, а теперь приютившие в себе полицейские службы. В начале Пелонкерского прохода, почти нехоженой, даже без таблички, аллеи — зато, правда, со шлагбаумом и караульной будкой, — мой отец, даже не потрудившись снять шляпу, показал письмо лейтенанта полиции. И хотя отец прекрасно знал дорогу, вахмистр повел нас через усыпанные гравием казарменные дворы, где полицейские в светло-серых тиковых гимнастерках либо упражнялись, либо стояли полукругом перед начальником. В соответствии с уставом все рекруты руки держали за спиной, и со стороны казалось, будто они слушают доклад. Береговой ветер выдувал из закута между полицейским гаражом и полицейским спортзалом островерхие блуждающие бурунчики пыли. Вдоль нескончаемых конюшен конной полиции полицейские рекруты преодолевали полосу препятствий, торопясь перемахнуть через стенки и рвы с водой, проползти под бревнами и проволочными заграждениями. Все казарменные дворы были обсажены молоденькими, в детскую руку толщиной, липами, что боязливо жались к подпоркам-штакетинам. Далее нам порекомендовали взять Харраса на короткий поводок. На небольшом каре — справа и слева слепые стены складов, напротив еще какое-то приземистое здание — дрессировали десяток или, может, дюжину овчарок: приучали их подходить к ноге, делать стойку, приносить поноску, подавать голос, преодолевать, подобно рекрутам, стенку и под конец, после основательной, с низким носом, работы по следу, нападать на полицейского, который, будучи переодетым в арестанта, но во всем ватном, изображал классическую попытку к бегству. Вполне приличные собаки, но с Харрасом ни одну не сравнить. Все металлически- или пепельно-серой масти с белыми отметинами, либо палево-желтые с черным крупом, либо темно-дымчатые со светло-коричневым подшерстком. На площадке воздух звенел от команд и дрессированного, раздельного собачьего лая.

В канцелярии полицейского питомника служебных собак нам пришлось подождать. Лейтенант Мирхау носил прямой, как по шнурку, пробор слева. Харраса увели. Лейтенант Мирхау обменялся с отцом парой слов из разряда тех, которыми только и могут обменяться столярных дел мастер и лейтенант полиции, ненадолго оказавшись в одном помещении. Затем голова Мирхау склонилась над работой. Его пробор — видимо, лейтенант просматривал рапорты — бегал за строчками. В кабинете, по обе стороны двери, было два окна. Через них можно было бы посмотреть на дрессировку полицейских собак во дворе, не будь окна до верхней трети закрашены. На беленой стене, той, что напротив окон, висели две дюжины фотографий в узкой черной окантовке. Все были одного формата и обрамляли двумя пирамидальными группами — в нижнем ряду шесть фотографий, в среднем четыре, в верхнем две — еще одну, центральную, более крупную и вертикального формата, тоже окантованную черной рамкой, но пошире. На всех двадцати четырех пирамидально размещенных фотографиях были изображены овчарки, идущие подле полицейского по команде «рядом». С большой фотографии в центре смотрело лицо престарелого человека в островерхой каске. Во взгляде из-под набрякших век сквозила усталость. Я, видимо, слишком громко спросил, кто это такой. Не поднимая головы и пробора, лейтенант ответил, что это Президент Рейха и чернильную надпись на фотографии этот пожилой господин сделал собственноручно. Но и фотографии собак с полицейскими тоже пестрели понизу убористыми чернильными надписями: вероятно, там были зафиксированы клички собак, сведения об их родословной, имена, фамилии и звания полицейских, а еще, наверно, поскольку это были явно полицейские собаки, и отличия этих собак

и приставленных к ним полицейских за годы службы, равно как и фамилии и клички взломщиков, контрабандистов, бандитов, взятых с помощью той или иной овчарки...

Позади письменного стола, за спиной у лейтенанта Мирхау, стену украшали, тоже в симметричном порядке, шесть с моего стула неудобочитаемых документов, каждый в рамке и под стеклом. Судя по шрифту и разновеликости отдельных строчек, это могли быть только грамоты — выписанные витиеватыми готическими буквами, с золотым тиснением, с величественными «шапками» вверху и печатями внизу. Вероятно, собаки, проходившие службу в полиции и выдрессированные в этом питомнике, занимали на каких-то важных соревнованиях полицейских собак — или правильней сказать собак полиции? — первые, вторые, ну, может, и третьи места. На письменном столе, справа от склоненного, медленно поспевающего за продвижением работы пробора, стояла в ненатуральной позе, ростом со среднюю таксу, бронзовая, а может, крашеная гипсовая овчарка, у которой, как с первого взгляда мог определить любой собачник, стойка была коровья, а круп слишком резко ниспадал к корню хвоста.

Несмотря на всю кинологию, пахло в канцелярии полицейского питомника служебных собак вовсе не собаками, а скорее известкой: канцелярию недавно побелили, к тому же и от шести или семи гераней, что красовались на подоконниках, исходил кисловатый, нежилой дух; отец из-за этого громко расчихался, и мне было за него неудобно.

Добрых полчаса спустя привели Харраса. По нему ничего не было видно. Отец получил двадцать пять «вязочных» гульденов и нежно-голубое свидетельство о вязке, текст которого отмечал важные подробности случки, такие, как «немедленную и радостную готовность кобеля к покрытию», а также сообщал номера двух записей в племенную книгу. Лейтенант Мирхау сплюнул в белую эмалированную плевательницу, красовавшуюся возле задней левой ножки его письменного стола, чтобы навсегда врезаться в мою память, затем вяло откинулся на спинку стула и сказал, что об окончательных результатах нас известят. Остаток вознаграждения за вязку, если и как только успешность таковой обозначится, он, как обычно, распорядится перевести по почте.

На Харрасе уже снова был намордник, отец уже получил в руки свидетельство о вязке и пять бумажек по пять гульденов, мы уже были в дверях, когда Мирхау еще раз оторвал пробор от своих рапортов:

— Вам надо лучше следить за животным: Хождение на поводке безобразное. В родословной, по-моему, достаточно ясно сказано, что животное в третьем поколении происходит из Литвы. Того и гляди не сегодня завтра мутация начнется. У нас тут уже всякое бывало. И вообще: собаководу Матерну следовало лично проследить за случкой суки Сенты с мельницы Луизы и кобеля Плутона из Нойтайха и выписать официальное подтверждение. — Внезапно его палец уткнулся в меня. — И не слишком доверяйте животное детям! У животного заметны первые признаки одичания. Нам-то все равно, но у вас потом могут быть неприятности.

Это не тебя,

это меня имел в виду лейтенантский палец. Хотя именно ты портила Харрасу выучку.

Тулла, тощая, костлявая. В любую дырку в любом заборе. Комочком под лестницей, кубарем с лестницы, волчком по лестничным перилам.

Лицо Туллы, в котором большие, к тому же обычно с засохшим ободком, ноздри — она и говорила через нос — были важнее всего и превосходили выразительностью даже близко посаженные глаза.

Туллины содранные, потом в струпьях, заживающие, снова рассаженные колени.

Туллин дурман, дурман костного клея, ее куколки из плиток столярного клея, ее парики из стружек, которые один из подмастерьев специально строгал для нее из длинного бруса.

Тулла могла делать с нашим Харрасом все, что хотела; и она делала с ним все, что ей вздумается. Наш пес и ее глухонемой брат долгое время были, по сути, ее свитой, тогда как мне, сгоравшему от желания в свите состоять, дозволялось лишь ходить следом и лишь издалека вдыхать дурман костного клея, даже когда я нагонял ее на речушке Штрисбах, у акционерного пруда, на Фребельском лугу, на кокосовом складе маргаринной фабрики «Амада» или в крепостном рву; ибо если моя кузина достаточно долго подлизывалась к моему отцу — а подлизываться Тулла умела, — ей разрешалось брать Харраса с собой. В Оливский лес, к реке Саспе и за Родниковые поля, напрямик через лесные склады за Новым Городком и на брёзенский морской пирс — повсюду Тулла водила нашего Харраса, пока глухонемой Конрад не утонул во время купанья.

Тулла кричала пять часов кряду,

а потом будто сама стала глухонемой. Два дня подряд, покуда Конрада не предали земле на Объединенном кладбище, в аллее Гинденбурга, она неподвижно провалялась на кровати, возле кровати, под кроватью, хотела совсем сжаться в комочек, а на четвертый день после смерти Конрада вдруг переселилась в собачью конуру, что стояла у нас возле торцевой стены дровяного сарая и вообще-то предназначалась только для Харраса.

Но, как выяснилось, места в конуре хватило обоим. Они лежали рядышком. Или Тулла лежала в конуре одна, а Харрас ее сторожил, улегшись поперек входа. Впрочем, подолгу это не продолжалось, так что вскоре оба уже снова лежали вместе, бок о бок, в конуре. Харрас покидал будку лишь для того, чтобы обрычать и наспех облаять очередного поставщика, принесшего обивку для дверей или пильные диски; и когда ему приспичивало поднять лапу или выдавить из себя свою колбаску, когда его тянуло к миске с едой или плошке с водой — только тогда Харрас ненадолго покидал Туллу, чтобы потом спешно и задом — повернуться в конуре он теперь мог лишь с трудом — втиснуться в свое теплое логово. Он спускал с порога конуры свои скрещенные лапы, она свои тоненькие, шпагатом перехваченные косички. Солнце нагревало над ними рубероид крыши собачьей будки, или они слушали, как по этому рубероиду стучит дождь; а когда они не слышали дождя, тогда, возможно, слышали говорок фрезы, гул выпрямителя, воркотню строгального станка и истеричный, лишь ненадолго опадающий, чтобы потом взвиться с удвоенным накалом, вой дисковой пилы, которая, впрочем, не прекращала эти свои взлеты и падения даже в дождь, когда капли барабанили по стеклу и во дворе столярной мастерской всегда на одних и тех же местах натекали лужи.

Лежали они на опилках. В первый день к конуре подходили мой отец и мастер по машинам Дрезен, с которым отец в нерабочее время был на ты. В своих деревянных башмаках приходил Август Покрифке. Эрна Покрифке пришла в шлепанцах. Моя мать не приходила. Все говорили примерно одно и то же: «Ну хватит, выходи, вставай и брось дурить». Но Тулла не выходила, не вставала и дурить не бросила. У всякого же, кто пытался переступить незримую черту вокруг собачьей будки, эта охота пропадала на первом же шагу: из конуры — хотя Харрас даже не менял положения скрещенных передних лап — раздавался нарастающий рык, и ничего хорошего он не сулил. Урожденные кошнаверы и уже почти коренные лангфурцы, съемщики трехкомнатных квартир в нашем доме, обменивались с этажа на этаж следующим соображением: «Сама вылезет, когда надоест и когда поймет, что через такую дурь никакого Конрада ни в жисть не воскресить».

Но Тулла не понимала,

не вылезала, и на исходе первого дня ей в собачьей конуре ничуть не надоело. Вдвоем они лежали на опилках. Опилки каждый день меняли. Менял их вот уже много лет Август Покрифке, и Харрас эту услугу ценил. Таким образом, из всех, кто в эти дни суетился вокруг Туллы, папаша Покрифке оказался единственным, кому было дозволено с корзиной ядреных, крупных опилок в руках приблизиться к будке. Совок и метлу он зажал под мышкой. Как только Август Покрифке со всем этим добром направился к конуре, Харрас сам, без просьб и понуканий, из нее вылез и зубами, сперва легонько, потом сильней потянул Туллу за платье, пока и та не выползла на свет божий и не уселась возле конуры на корточках. Так же, на корточках, но никого не видя, с глазами, закаченными так, что мерцали одни белки — «с задернутыми занавесками», — она помочилась. Не переча, скорее безучастно, она дожидалась, когда Август Покрифке поменяет опилки и выложит ту порцию своих доводов, на которую он как отец оказался способен:

— Ну, давай поднимайся. Тебе скоро в школу, хоть сейчас покамест каникулы. Ишь чего учудила. Думаешь, мы нашего мальчика не любили? И хватит чуркой-то прикидываться. А то заберут тебя вон в сумасшедший дом, будут там мытарить с утра до ночи. Решат еще, что ты совсем дурочка. Ну, поднимайся! Вон темнеет уже. Мама оладьи поставила. Пойдем, а то заберут...

(*Продолжение следует*)

# ХАНС БЁРЛИ

## *Стихи*

*Перевод с норвежского А. ГРАФОВА*

### От переводчика

Читатель «Иностранной литературы» уже знаком с творчеством Ханса Бёрли, одного из крупнейших норвежских поэтов XX века. В шестом номере журнала за 1983 год было напечатано несколько его стихотворений в переводе И.Бочкаревой и Ю.Вронского.

Родившись в семье лесоруба, Бёрли всю жизнь проработал в лесу — и выпустил шестнадцать поэтических сборников. «Лес — это та действительность, которую я знаю, — говорил Бёрли. — От леса я получал все, что мне было необходимо для поддержания жизни. Он питал и меня, и мое творчество».

Бёрли остается верен своим темам: Лес (как образ мироздания), Поэзия, Боль, Смерть, Радость. В его стихах есть нечто от диалога — с Тем, Кто стоит за миропорядком, за Лесом. Это позволяет говорить о своеобразной религиозности поэта, чем Ханс Бёрли и интересен для меня лично.

### *Бессилие Бога*

За замкнутым лицом человека —
пустое пространство,
холодный грот
со сталактитами и летучими мышами,
где бесконечный крик
борется с собственным эхом.

Мы — бессилие Бога,
мы — Его одиночество.

### *Перед запертой дверью*

Ты стоишь перед запертой дверью
и ждешь.
Ломит колени,
во внутренностях
медленно течет ручей...

Там, за дверью, — чье-то дыхание;
тени бегут по стене...

Ты ждешь дрожа, что дверь откроется
и тот, кто за нею,
предстанет перед тобой.

А пока ты стоишь перед дверью вечности,
пытаясь заглянуть
в замочную скважину.

## *Ты*

Слова схожи с ядом,
искусство — с выпущенными кишками
или кошачьей рвотой.
Метеорологи предсказывают конец света.

И все-таки я по-прежнему верю,
что человек способен говорить с человеком.
Ибо в каждом из нас растет
слово любви —
потаенное, как мандрагора, —
слово ТЫ.

## *Утро*

Только что вернулся из страны снов
и еще помню их запах.
Лежу в утреннем свете,
поблескивающем, как олово,
и сквозняк гладит меня по лицу.
Каждое колыхание занавески
и березовых ветвей за окном
пробегает легкой тенью в светлой тьме
моих опущенных век.

Я лежу совсем тихо
и погружаюсь сквозь самого себя
на дно вселенной.
Не хочу открывать глаза!
Не хочу впускать вещи,
линии, формы,
одиночество.
Лежу на дне бытия —
слепой,
как нерожденная бабочка в коконе.
Меня покачивает эхо прибоя,
и я предчувствую,
как развернутся мои крылья —
там, под землей.

## *Размышления у костра*

Измерить тебя можно
лишь тобою самим.
Твой бесконечный бег за золотым закатом
лишь продлевает странствия Того,
кто следует за тобою
и стоит сейчас у твоего гаснущего костра,
держа в руках твой истинный образ.

## *Радость*

Морозная радость жизни
ждет тебя у лесного костра,
у брода, на перекрестке —
везде и всегда.
Даже в дни неудач
и в часы бессонницы
радость ищет тебя, поскуливая,
как преданная собака,
которая бежит,
уже изранив лапы о лед, —
бежит за хозяином.

## *Не уходи!*

Осень плывет над моими полями,
последние перелетные птицы
с прощальным криком скрылись из вида.

Не уходи от меня! Ты был
впереди и позади, справа и слева,
всегда. Своей нежной властью
ты велишь смерти
поворачивать прочь от наших дверей,
слову — рождаться из бессонницы и страданий,
как рождается цветок
среди останков на поле брани.

Я никогда не видел тебя. Я не знаю
тебя в лицо. Ты был только
улыбкой в сумерках,
шелестом ветра в колосьях.

Не уходи! Кроты сидят
у своих нор, задрав мордочки,
и прикидывают, далеко ли от нас небо.

## *Великое одиночество*

Малое одиночество:
в сердце — унылый подвальный запах.
Это знакомо каждому.

Но испытал ли ты
леденящее полярное дуновение
великого одиночества?
Это — как тьма над водами,
когда Бога нет.
Такое одиночество
вздымается морским валом
и захлестывает ту надежду,
что пытается перебраться
через каменный забор между двумя душами.

Великое одиночество —
это когда все становится волчьим воем
под пустыми небесами:
звезда погасла, волхвы заблудились.

## *Ворона*

Поверь мне: без вороны
наша жизнь была бы куда печальней —
без вороны, которая борется с ветром
над блеклой землей после осеннего дождя.
Без вороны, что каркает, сидя
на куче навоза под весенним небом.
Без вороны, чей агатовый глаз
заглядывает в твое окно на рассвете.
Без вороны возникла бы пустота
в ветрах и в глазах.

Всякая жизнь есть Жизнь.
Вороне невдомек, что она ворона.

## *Смерть*

Смерть — это дерево,
могучий дуб из легенды.
Корни этого дерева
пронизывают мировую тьму
и впитывают ее
словно животворящий сок.
А ветви его
растекаются реками света.
Дерево-смерть
выпьет всю тьму до последней капли,
и твой череп станет пустым,
как вычищенная до блеска чаша,
готовая наполниться
и принять в себя свет, свет...

© H.Aschehoug & Co (W.Nygaard), 1976

# АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС

## *Дневник войны со свиньями*

РОМАН

*Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО*

### 24

Поправив галстук и подтянув пончо на плечах, Видаль зашагал с беспечно уверенным видом. «Как быстро ее развратили. Нет, это надо сказать по-другому: вчера бегали за ней, сегодня она бегает за мной». Ему стало грустно, что его занимают такие пошлые мелочи, когда он только что получил достовернсе доказательство — да, именно это выражение пришло ему на ум, — что с Джими что-то случилось. И тут же ему представилась эта девушка, протягивающая ему свои руки с толстыми заскорузлыми пальцами. Кто-то — возможно, Джими, но скорее Аревало — говорил, что порой крайнее безобразие может вызвать любовь, граничащую с безумием. Он попытался вообразить эту девушку такой, какой, вероятно, мог бы ее увидеть. Страшная слабость, чуть ли не тошнота нахлынула на него. «Какой стыд», — пробормотал он. Он вспомнил, что Бог знает как давно ничего не ел, и направился в булочную, говоря себе, что надо было согласиться на предложение Летисии выпить мате, пусть в этом предложении подразумевалось не только мате. Как только придет домой, вскипятит воду — четыре-пять мате, несколько кусочков хлеба, и эта неуместная слабость пройдет. Ему казалось, что, сбежав с бдения, он поступил дурно. Когда вошел в булочную, покупателей там не было — только дочери Рея. Не здороваясь (просто из робости), он попросил:

— Шесть сдоб, четыре рогалика и булочку грубого помола.

— Старик еще там, на бдении? — спросила одна из дочек.

— Чтобы их там убили всех разом, — отозвалась другая.

Возможно, из-за усталости Видалю стало очень грустно. Он подумал, что вряд ли у него хватит сил и иллюзий, чтобы выдержать эту жизнь. Дружба равнодушна, любовь низменна и неверна, единственное, что получаешь сполна, это ненависть. До сих пор он остерегался, будет и дальше остерегаться нападения молодых (в этом смысле все ясно), но когда он вышел на улицу Паунеро, ему привиделась как некий выход, которым не стоит пренебрегать, его собственная рука с воображаемым револьвером, приставленным к виску. Это видение, которое, вероятно, было всего лишь причудой внезапной тоски, вызвало в нем протест против всего на свете и, в частности, против себя самого — ведь он пытается любой ценой защитить то, что сам же хочет уничтожить.

Маделон, мывшая тротуар перед обивочной мастерской, сделала ему знак остановиться и подождать ее; она занесла швабру и ведро, заперла дверь, перешла улицу. Видаль подумал, что, если разговор у Маделон будет долгий, он упадет в обморок. Поскорее хлеб и мате, откладывать нельзя.

— Мне надо с тобой поговорить, — заявила женщина. — Это очень важно. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Можно зайти к тебе?

Они вошли в комнату Видаля. Видаль хотел было положить пакет на ночной столик, но подумал, что, если предложить поесть Маделон, то он и сам сможет, не нарушая приличий, сразу съесть кусочек. Развернув бумагу, он сказал:

— Хочешь?

---

*Окончание.* Начало см. в № 4 за 1996 г.

— В такую минуту? Как ты мог подумать? — запротестовала Маделон и разрыдалась.

— Что случилось? — со стоном спросил Видаль.

Она взяла его руки (ее руки были мокрые), прижала их к своему телу. Видаль узнал запах дешевого мыла, лаванды, белья, волос.

— Любовь моя! — услышал он.

Его обдало ее дыханием, и он подумал: «А ведь я еще не завтракал». Она его обнимала, а он глядел вблизи на желтоватую, потную кожу, на родимые пятна, на короткие ногти, покрытые толстым слоем лака. С некоторой гордостью он сказал себе, что Нелида сделала его бессильным для Маделон. И под предлогом, будто хочет с ней поговорить, он ее отстранил.

— Что с тобой? — спросил он.

— Я должна сказать тебе что-то очень важное, — повторила она, сжимая его в объятиях.

В неудобном, даже причиняющем боль положении — ее твердое предплечье давило ему на шею и вынуждало слегка склоняться вбок — он спросил себя, почему в это утро женщины его добивались. Они предлагали себя, когда он был так угнетен, так мало расположен к этому. Не следовало ли понимать сей факт как доказательство враждебного хода вещей? Другое возможное (и менее пессимистическое) объяснение — все дело в том, какая идет полоса. И тут же снова спросил себя, действительно ли Маделон предлагает себя или просто хочет что-нибудь ему сказать. Словно прочитав его мысли, женщина объяснила:

— Угито мне сказал, что его племянник, а этот парень в курсе всех дел, сказал ему... Ай, не могу поверить!

— Что он ему сказал? — спросил Видаль, едва скрывая раздражение.

— Сказал ему, что ты помечен и будешь следующей жертвой.

Он почувствовал сильнейшее раздражение против этой женщины, как если бы она была виновата в том, о чем его известила. Дура, да и только! Неужели она предполагает, что, узнав такую новость, он захочет ее обнимать? Думая об этом, он ощутил, что она с особым старанием прижимала его ниже пояса. Вполне объективно, но не без опаски, как человек, знающий, что в любой момент он может быть вовлечен в нежелательное действие, Видаль спросил себя, что будет потом, что будет он делать с этой женщиной, которая так тяжело дышит в его объятиях. Ибо он не забыл прежнюю Маделон и, будучи по натуре жалостливым, не хотел ее отталкивать, но сомневался, зависит ли в такой ситуации его поведение от его воли. Он попытался вообразить ее молодой, но видел-то ее нынешнюю и слышал нынешний ее запах.

— Эти Больоло, дядя и племянник...

— Забудь о них, — посоветовала Маделон. — У тебя опасность не возбуждает желания? У меня — да.

Тут приоткрылась дверь, и они услышали:

— Извините.

Одного этого слова Нелиде было достаточно, чтобы выразить всю силу своего гнева. Лицо девушки приобрело странный сероватый оттенок с розовыми пятнами, глаза блестели, точно в лихорадке. После ее весьма краткого появления дверь громко захлопнулась. На Видаля нахлынуло отчаяние, словно произошла катастрофа, и в первую минуту он, не колеблясь, обвинил Маделон; но прежде чем заговорить, сообразил, что женщина, возможно, смотрит на вещи иначе, и ограничился словами:

— В этой комнате нас не оставят в покое. Исидорито рядом в смежной... Каждую минуту кто-то может явиться...

— А ты запри дверь на ключ, и конец! — возразила Маделон.

— Да, конечно, но я уже занервничал. Ты же знаешь, как со мной бывает, когда я нервничаю. Клянусь, я тогда ни на что не годен.

— Не преувеличивай.

— Вдобавок уже поздно, и я должен вернуться на бдение. Я люблю все делать не спеша. Встретимся в какой-нибудь из ближайших вечеров.

Женщина вяло возражала, попросила назначить время свидания и предложила ему спрятаться в их мастерской — не стоит, мол, пренебрегать предупреждением Угито. Мягко ее подталкивая, Видаль провел ее к дверям, и, когда остался один, он, как бывало в обществе друзей, притворился, будто ему очень хорошо, чего на самом деле не было; напротив, начав теперь размышлять об истинной причине своего отступления, он огорчился, что выказал себя грубияном с Маделон и неверным по отношению к Нелиде. Правда, второй упрек себе он сразу же отверг — ничто не дает ему права думать, будто между ним и девушкой есть нечто большее, чем дружеские отношения. О настоящей причине своего отступления он еще поразмышляет потом. От мате он отказался (уже было поздно) и, покусывая булочку, вышел из своей комнаты, надеясь, что на улице не встретит Маделон. Лучше пройти дворами через санузел. Во втором дворе он столкнулся с Нелидой, которая от него отвернулась. Он смущенно стал лепетать какие-то объяснения, но их пришлось прервать, потому что появилась Антония.

## 25

Когда он возвратился в дом Нестора, там шел разговор о стариках, которых — больше ради забавы, чем со злости, — бросали в костры Святого Петра и Святого Павла. Было известно, что четверо или пятеро стариков из их квартала получили ожоги — несчастным оказали первую помощь в аптеке Гаравенты, кроме одной старухи с ожогами второй степени, которую положили в больницу. Говорили также о похищениях, новом методе в этой войне, — тут, по мнению Видаля, проявлялась прежде всего жажда наживы.

— Если бы только исчезновение Джими было связано с похищением. Сам не знаю почему, мне это первое пришло на ум...

— А теперь ты думаешь, что могло быть что-то похуже? — спросил Аревало.

— С такими скотами...

— Не следует терять спокойствия, — заметил большерукий.

— Спокойствие! Мы вколотим его кулаками! — грозно прорычал Рей. — Вы только выясните местонахождение нашего друга. Клянусь, я его вызволю!

Зашла речь о том, стоит ли заявлять в полицию — будет ли от этого польза, или же это бессмысленно, даже опасно. У Видаля чуть не вырвалось: «Если он похищен, его, вероятно, отпустят», но он сдержался, опасаясь, что это предсказание вызовет нежелательные для него вопросы.

Затем беседа сосредоточилась на друге, у тела которого они сидели, и о близких уже похоронах. Остролицый по поводу отсутствия сына заметил:

— Я считаю это аморальным.

— Молодежь, — проговорил большерукий со свойственной ему снисходительностью, — блюдет свои интересы. Разве не сказано: «Предоставь мертвым погребать...»?

— Растак твою бабушку! — вознегодовал Данте, у него как будто улучшился слух.

— Прежде чем ехать на кладбище, — предложил Рей, — почему бы нам не пройти круг по кварталу, неся гроб на руках? В случае насильственной смерти это делается. Поднимем Нестора повыше и так покажем врагам, что мы не струсили.

Видаль посмотрел на двоих чужаков — сперва на большерукого, затем на остролицего, — ожидая от них возражений. После паузы, во время которой было слышно, как первый из них зашевелился на стуле, садясь поудобнее, высказался Данте:

— Вряд ли нам в нашем положении следует кого-то провоцировать.

— Тем паче с поднятым на плечи гробом, — прибавил Аревало.

Видаль восхитился хитростью обоих чужаков: уверенные в торжестве благоразумия, они, чтобы не испортить дела, не стали первыми выступать в его защиту. Когда же выяснилось, что все, за исключением Рея, оказались сторонниками умеренности, большерукий привел еще один аргумент:

— Кроме того, не проявим ли мы безответственность, если подвергнем опасности парней из похоронного агентства?

— Да, они ведь люди трудящиеся, ни в чем не повинные, — прибавил остролицый.

Это заявление вызвало немедленный отпор, и на миг показалось, что умеренность потерпит поражение. Но обе стороны отвлекло новое событие, а возможно, и спасло, ибо разрушило опасные планы: явился сын Нестора. Парень красноречиво поблагодарил друзей отца за присутствие и сказал, что столь замечательное доказательство преданности — огромное утешение для него, удрученного тем, что он не мог участвовать в бдении у тела отца; полиция, что и говорить, это ветвь неумолимой бюрократии, ей подавай формальности и допросы, до сыновней скорби ей дела нет.

Аревало прошептал как бы про себя:

— Неужто ты плачешь?

— Несчастный парень, жаль его, — признался Видаль.

— Вы думаете, он замешан в убийстве? — спросил Рей.

— Если его до сих пор не тронули, — рассудил Аревало, — его поведение на трибуне наверняка было омерзительным.

## 26

Видаль едва успел вытереть слезы. Объявили, что пора выезжать на кладбище, — в комнатах и в коридорах началось движение. Видаль боялся снова расплакаться, надо было следить за собой — иногда самый невинный пустяк сотрясает душу. Очень растрогал его вид доньи Рехины — растрепанная, ничего не замечающая, она шла, почти не подымая ног, будто ее волокли. Видаль посмотрел в другую сторону и увидел Данте. С ребяческим возбуждением Данте повторял:

— Глядите, мальчики, не разлучаться. Держимся все вместе, все вместе.

«Слепой и глухой, — подумал Видаль. — Укутанный кожей. Каждый старик превращается в скотину».

— Самое главное, — заметил Аревало и, подражая Джими, подмигнул одним глазом, — это не позволить просочиться нежелательным элементам.

— Кто сядет с сыном Нестора? — спросил Рей.

— Мы четверо сядем вместе, — уточнил Данте.

— Это уже известно, — пробормотал или подумал Видаль.

Он в последний раз глянул на опустевшее жилище, рассеянно подошел к автомобилю и, сев, прильнул лицом к окошку, чтобы друзья не заметили волнения, с которым он не мог совладать. И тут он произнес слова, которые его самого удивили:

— Из похоронного автобуса все выглядит по-другому.

— Растак твою бабушку, — возразил Данте, он в это утро слышал так хорошо, будто наконец приобрел слуховой аппарат. — Мы-то еще не едем в похоронном автобусе.

На авениде Освободителя они обогнули памятник Испанцам.

— Я и вправду стар! — заявил Аревало. — Хотите, расскажу вам об одном из моих первых впечатлений? Я смотрю на эту авениду, которая тогда называлась авенидой Альвеара, и мимо проезжают автомобили с открытым верхом и с сиреной в виде бронзовой змеи. Куда подевались эти великолепные «рено», «испано-суизы» и «делоне-бельвили»?

Как бы в тон ему ностальгически отозвался Данте:

— Мне говорили, что на улице Малавия было озеро.

— А другое озеро — перед часовней Святой Девы Гваделупской, — отозвался Аревало.

Бабье лето давало себя знать. Видаль скинул с плеч пончо и возмутился:

— Какая жара!

— Это влажность, — возразил Данте.

— Слыхали вы что-нибудь, — поинтересовался Рей, — о намечаемом Марше стариков? Очень своевременная манифестация и, вероятно, будет иметь большой эффект.

— Брось, — возразил Аревало. — Ты представляешь, что это будет? Они восстановят против себя весь город. Зрелище Дантова Ада.

Видаль подумал, что Джими наверняка сделал бы акцент на прилагательном, чтобы подшутить над Данте, — им всем эта шуточка уже изрядно надоела.

— Зрелище светопреставления, — подтвердил Данте. — Нет, вы все-таки не отдаете себе отчет. Эти бесчинства, все эти чудовищные зверства — разве не возвещают они не что иное, как конец света?

— Каждый старик, — сказал Аревало, — приходит однажды к выводу, что конец света уже близок. Даже у меня терпение на исходе...

— А молодняк! — проворчал Рей. — Неужто мы должны восхищаться этими сопляками с их дурацкими бреднями?

— Во всяком случае, мы-то, старики, уже утомлены жизнью, — сказал Видаль.

— И ты мне будешь говорить, что погоня за модой у женщин это не последняя стадия безумия? Разве она не указывает на полное разложение и всеобщий конец? — упорствовал Данте.

Они ехали по улице Хуана Б.Хусто, мимо Пасифико. Аревало тоже стоял на своем:

— Стариков даже трудно защитить. Пригодны только сентиментальные доводы: сколько они для нас сделали, у них тоже есть сердце, они страдают и так далее. Будто люди не знают, как избавляются от стариков эскимосы и лапландцы.

— Ты это уже говорил, — напомнил ему Данте.

— Вот видите? — своим астматическим голосом продолжал Аревало. — Мы повторяемся. Нет ничего более похожего на старика, чем другой старик — такое же положение, такой же атеросклероз.

— Такой же — что? — спросил Данте. — Когда говорят с закрытым ртом, я не слышу. Ох, смотрите, смотрите! Когда я был маленький, мы жили в соседнем квартале. Дом этот уже снесли.

Видаль вспомнил дом своих родителей — патио и глицинии, собаку Сторожа, ночной шум трамвая, который на повороте визжал, а потом ускорял ход и грохот его возрастал, пока он не проедет мимо.

— А вот вы не знаете, где был публичный дом! — сказал Аревало. — На улице Монтевидео, не доходя до авениды Альвеара. А за поворотом была конюшня.

— Что-что? — переспросил Данте.

— А помнишь, Рей, — сказал Видаль, — рядом с твоей булочной жила столетняя старуха.

— Да, донья Хуана. Когда я затеял расширение, она еще жила там. Гостеприимная была женщина. За ее столом ваша креольская кухня могла кое-чем похвалиться. Какие похлебки! Какие слоеные пироги! Я обязан ей тем, что она учила меня вашей истории, тогда как раз приезжала инфанта Исабель, я видел ее в карете, запряженной лошадьми. У доньи Хуаны были две племянницы, одна некрасивая, другая хорошенькая, обе веснушчатые.

— Пилар и Селия, — вспомнил Видаль. — Хорошенькая, Селия, умерла молодой. Я по ней с ума сходил.

— Где те времена, — вздохнул Данте, — когда женщины бегали за нами?

Видаль подумал: «Сказать или не сказать?»

— Они уже не вернутся, — заключил Рей.

— Было бы странно, если бы вернулись, — флегматично заметил Аревало.

— Знаете, сам бы этому не поверил, — сказал Видаль. — Сегодня две женщины вешались мне на шею. Да, мне. как слышите.

— Ну, и что было? — поинтересовался Рей.

— Ничего, че. Слишком они были некрасивые.

«Кроме того, — подумал он (но не сказал), — существует Нелида».

— А не в том ли дело, — съязвил Данте, — что это ты слишком стар? Когда мы были молодыми, мы на такие мелочи не обращали внимания.

«Это правда», — подумал Видаль. Они миновали Вилья-Креспо. После паузы, более долгой, чем прежние, Рей сказал:

— Молчим, молчим. О чем ты думаешь, Аревало?

— Прямо смешно, — признался тот. — У меня было что-то вроде видения.

— Только что?

— Да, только что. Мне померещилась пропасть, это было прошлое, куда проваливались люди, животные, всякие вещи.

— О да, — сказал Видаль. — От этого голова кружится.

— И от будущего тоже голова кружится, — продолжил его мысль Аревало. — Я его представляю себе как бездну наоборот. По ее краям выглядывают новые люди и вещи, и кажется, они-то останутся, но они тоже проваливаются и исчезают в небытии.

— Вот видишь! — сказал Данте. — Старики не такие уж тупицы. Бывают даже весьма интеллигентные старики.

— Поэтому нас называют совами, — подытожил Аревало.

— Свиньями, — поправил Рей.

— Свиньями или совами, — ответил Аревало. — Сова — символ философии. Мудрая, но отталкивающая.

Они въехали на кладбище и прошли в часовню. После заупокойной службы опять расселись по машинам; Видаль заметил, что их машина была третьей и последней в процессии. Было жарко. Ехали медленно.

— Что ты там говорил, Видаль, — спросил Аревало, — о хорошенькой девушке, которая умерла молодой?

Видаль не сразу сообразил, о ком речь.

— Да, я по ней с ума сходил. Ее звали Селия.

Машина резко затормозила. По лобовому стеклу расползлось искрящееся белое пятно, стекло растрескалось, стало непрозрачным. Видаль открыл дверцу и вышел посмотреть, что случилось. Его поразила необычайная тишина, словно остановился не только траурный кортеж, но весь мир замер. Из первой машины вышел большерукий и, как бы в патетической пантомиме, поднес к лицу обе своих огромных руки. Позади повозки с цветами толпа — люди смеялись, плясали, судорожно извивались, резко распрямлялись. Видаль разглядел, что лицо большерукого покрыто кровавой пеленой, и лишь тогда понял, что судорожные движения людей в толпе объяснялись тем, что они замахивались и бросали камни.

— Мы очутились в мышеловке! — простонал Данте.

Вокруг сыпались камни. Кто-то сдавленным голосом выкрикнул:

— Бегите!

Этого возгласа оказалось вполне достаточно, чтобы Видаль бросился наутек. Когда же дыхание у него пресеклось, он упал наземь, ползком добрался до какой-то тумбы и спрятался за ней. Ползти по траве, по земле было неприятно. Содрогнувшись, он встал на ноги. Но в тот же миг рядом упало несколько камней, и он снова пустился бежать, пока хватило сил, а потом зашагал, думая, что заблудиться он не должен и что кладбищу этому конца нет. Вдруг он ощутил мягкие удары, будто кто-то барабанил пальцами по его спине, затылку. Это были капли. Круп-

ные тяжелые капли. Начался дождь. Видаль подумал: «Нечистый дождь, он смешивается с потом». Торопясь, временами спотыкаясь, он все шел вперед, пока не оказался на улице Хорхе Ньюбери, затем, прихрамывая, выбрался на авениду Коррьентес, по другую сторону парка. «Есть слово, — сказал он себе. — Есть такое слово». Он был чересчур возмущен, чтобы найти это слово, но наконец все же вспомнил: «Мученье. Какое мученье». И еще подумал: «Остановлю первое попавшееся такси». Проехало несколько такси, все мчались мимо, как бы не замечая его поднятой руки. Он зашел в бар и, тяжело облокотившись на стойку, попросил:

— Кружечку очень холодного пива и два куска ветчины.

Хозяин, протирая тряпкой сушилку для посуды, сказал ему:

— Если вам угодно, сеньор, но я бы не советовал. Слишком душно.

Чтобы не показаться упрямым, Видаль поблагодарил и направился к выходу. «Чего от нас ждут, и вполне резонно, — подумал он, — это чтобы мы позволяли себя мучить. Коли ты стар, поделом тебе».

## 27

Снаружи лило как из ведра, и Видаль вопросительно взглянул на своего советчика за стойкой. Тот, вероятно ожидая этого взгляда, быстрым, резким движением головы указал на улицу. Видаль прошел до авениды Доррего. Держась у стен домов, он лишь чуть-чуть замочил одно плечо. Три-четыре раза махал рукой, подзывая такси, но ни один таксист не остановился. Уже начав спускаться по лестнице в метро, он вдруг подумал, что там кто-нибудь может поддаться искушению столкнуть его под поезд. Огорченный своей усталостью и слабостью, он сказал себе: «И еще очень скверно то, что я далеко от дома». Снова очутившись под дождем, он почувствовал, что одежда от воды и пота промокает и снаружи и изнутри. «К счастью, я еще не стар, — утешил он себя. — Другой бы от меньшей простуды схватил двустороннее воспаление легких или хронический бронхит», — и он попробовал слегка покашлять. Хотя автобус 193 подвозил его почти до дома, Видаль не решился сесть в него — вполне возможно, что среди множества пассажиров окажется какой-нибудь с агрессивным характером. Пока он размышлял о том, что единственный доступный для него вариант — это немыслимое путешествие пешком на огромное расстояние, дождь прекратился. Видаль истолковал этот факт как перст судьбы и пустился в беспримерный поход. Он уже потерял счет часам, которые провел без еды и сна.

Если на него нападут на большой улице, там, пожалуй, могут найтись защитники, но все равно и на пустынной улице, где далеко видно, ему грозит опасность... Выйдя на улицу Бонплан, он заметил, что ветер подул с юга и похолодало. «Судьба старого идиота, — подумалось ему. — Избежать стольких опасностей и умереть от простуды». Добравшись до улицы Солер, он увидел вдалеке группу парней — быть может, вполне безобидную, однако, чтобы с ними не встретиться, он сделал большой крюк и пересек трамвайные пути на улице Парагвай по переходу возле винных погребов. Достаточно было одного неровного камня в брусчатке, чтобы он споткнулся и упал. Весь дрожа, в полном изнеможении, он пролежал неподвижно несколько минут. Когда же встал на ноги, ему почудилось, будто он забыл что-то очень важное, что-то такое, о чем вспомнил несколько секунд назад. «Да я просто засыпаю, — промелькнуло у него. — Какой позор!» Он продолжил свой путь и наконец на площади Гуэмес ему удалось поймать такси, потрепанную машину, и водитель в ней был пожилой. Таксист внимательно выслушал адрес, опустил флажок и сказал:

— Вы правильно поступили, сеньор. В известном возрасте не следует садиться в такси с молодыми водителями.

— Почему? — спросил Видаль.

— А вы не знаете, сеньор? Они ради забавы увозят стариков подальше, а потом где-нибудь выбрасывают.

Видаль на заднем сиденье полулежал. Но тут он выпрямился и, нагнувшись к водителю, возмущенно сказал:

— Пусть не думают нас убедить, будто эту войну ведут по какой-то научно обоснованной необходимости. По сути это просто дурацкая кампания.

— Верно говорите, сеньор. Наш креол — человек компанейский. Парнишки воображают, будто охотятся на дичь, а на самом-то деле охотятся на нас.

— И мы живем, не зная покоя. Постоянно ожидать неприятностей хуже всего.

— О том я и говорю, — согласился водитель. — Предположим, что действительно имеется никому не нужный, бесполезный старикан. Почему бы не доставить его по-людски в какое-то определенное место и не прикончить современными способами?

— Не окажется ли такое лекарство хуже самой болезни? — спросил Видаль. — Ведь тут возможны злоупотребления.

— Да, вы правы, — признал таксист. — Правительство наше меры не знает. Если не верите, вспомните про плату за телефон.

Видаль расплатился и вышел из машины. Пожалуй, никогда еще он не испытывал такой усталости. Внезапно он вспомнил о друзьях. Хоть бы никто из них не пострадал от града камней, которыми разбили в кровь лицо большерукого. Как же это он забыл про них! Ну конечно, сперва его мысли были заняты бегством, потом — тем, как бы добраться до дому. Да, забыл начистоту, как сказал бы бедняга Нестор. Хватит ли сейчас сил сходить к Данте или в булочную? «Что до Аревало, это уж такой чудак, и, насколько мне известно, никто из наших не бывал у него дома, даже Джими, а он ужасно любопытный». Последнюю мысль Видаль излагал кому-то как бы сквозь сон.

## 28

Хотя Видаль едва держался на ногах, он не стал сразу решать — то ли ему рухнуть в постель, то ли опять выйти и попытаться узнать, что там с друзьями. Нет, вначале надо подбодрить себя несколькими мате. В ожидании, пока согреется вода, он потихоньку жевал хлеб, как вдруг в комнату вошла Нелида.

— Простите, что я вошла без стука, — сказала девушка, глядя ему в глаза. — Дурная привычка.

— Полноте. Что тут такого?

— Всегда застаю вас в самый интересный момент. Но я хотела вас предупредить.

— О чем предупредить, Нелида?

— Чтобы не доверяли лицемерным особам, которые вам мило улыбаются, а за вашей спиной, если им выгодно, доносят на вас. Ваша подружка, которая любезничает с Больоло, наверняка прекрасно знает, что его племянник...

— Да, да, я знаю, Нелида. Она и приходила меня предупредить.

— А заодно?.. Все они приходят, потому что влюблены в вас по уши.

— Не говорите так, Нелида. Маделон в меня не влюблена, и она не моя подружка.

— Маделон! Если между вами ничего нет, почему Больоло допускает, чтобы его племянник на вас доносил? А знаете почему? Потому что вы, если захотите, можете его оттеснить.

— Нет, Нелида, я не стану никого оттеснять.

— Я только спрашиваю себя, что вы нашли в этой старухе.

— Ничего, Нелида. Вы не рассердитесь, если я вам что-то скажу? Я смертельно хочу спать. Как раз хотел лечь. Собрался раздеться.

— Кто же вам мешает?

— Но, Нелида... — запротестовал он и, смирясь с судьбой, погасил керосинку.

— Что еще за «но»?

И он увидел, что она, усевшись на край кровати, спокойно снимает туфли и чулки, и восхитился этим спокойствием и изяществом ее рук, которые стягивали чулки от коленок до пят и бросали их на стул. «Неужели возможно, что мне выпало такое счастье?» — подумал он. Девушка встала и, словно в комнате никого не было, секунду погляделась в зеркало, затем, одним-единственным движением — по крайней мере, так ему показалось — сбросив одежду, обнажилась, и тело ее в полумраке засветилось белизною. Трепеща от волнующего предчувствия, он услышал, что ему шепчут совсем близко: «Глупый, глупый». Его обнимали, ласкали, целовали, пока он слегка не отстранил ее, чтобы получше рассмотреть.

— Знаешь, — сказал он, — я умираю по тебе, да, умираю, и я так глуп, что сам никогда бы не посмел.

Вторым откровением для него были ее раскрытые уста, в жарком поцелуе он упал с Нелидой на кровать и, поскольку не мог говорить, прижал ее к себе — от аромата лаванды голова у него пошла кругом. Потом, когда он от нее оторвался, Нелида влепила ему изрядную пощечину.

— Почему? — жалобно спросила она. — Почему?

— Почему ты меня ударила? — спросил Видаль. — Я хотел...

— Это мое дело, — отрезала она, но гнев ее быстро прошел.

— Неужели это не сон? — удивился Видаль. — Я сам себе не верю, ведь я все время засыпаю на ходу.

— И это тоже сон? — смеясь, спросила Нелида и погладила его лицо. — Если хочешь, поспим.

— Антония и ее мать не ждут тебя?

— А я же собираюсь переезжать, так они подумают, что я осталась у теток.

— Переезжать?

— Ты не знал? Позавчера умерла моя бедная тетя Паула, та, которая пекла пирожные, помнишь? Я по привычке все говорю «у теток», хотя теперь осталась только одна. Мне посоветовали пойти туда пораньше, чтобы кто-нибудь в дом не забрался.

— Это далеко отсюда? — с тревогой спросил Видаль.

— Нет, на улице Гватемала, ближе к улице Хулиана Альвареса.

— Когда-то я жил в том районе.

— Неужели? Расскажи про себя.

— Я родился на улице Парагвай. Самое красивое в нашем доме — это, конечно, был патио с глициниями. У меня был пес, звали его Сторож. Но я не хочу нагонять на тебя тоску этими пустяками. Антония и ее матушка, верно, будут по тебе скучать.

— Не знаю. Видишь ли, положение там стало невыносимым. Думаю, бедняжке Антонии не очень-то хочется иметь свидетелей, в конце концов это ее мать. А старуха стала просто невозможной. С годами она полностью изменилась, превратилась в страхолюдного мужчину — представляешь, потому ее и прозвали Солдафоном. Меня беспокоит, что будет с девочками. Ох, прости, миленький, я мешаю тебе уснуть.

Глаза у него слипались, однако он не решался прервать беседу... Вероятно, когда-то, давным-давно, ему уже приходилось испытывать подобное блаженство. «Но, — подумал он, — это такая роскошь, к которой я теперь не привык и которую не стану упускать».

## 29

Видаля разбудил грохот, истолкованный им как выстрел по филину. Он стал припоминать свой сон. Он был в каком-то убежище, в сложенной из камня хижине, которая, как ему объяснили, очень прочна и надежна. С удовлетворением хозяина, осматривающего свои владения, он взглянул вверх — а крыши-то и не было. Сверху на его голову опускались свирепые филины, потом тяжело взмывали опять в воздух, чтобы снова напасть на него. Он выстрелил из винтовки по тому филину, который ухал громче других. Уже вполне проснувшись, Видаль повернул голову налево: Нелида лежала рядом. «Хороша моя жизнь в последнее время, если я рядом с ней вижу такие сны!» — подумал он. Видя, что она спит, он вспомнил одну подробность, которая ему была приятна, так как относилась к его молодости: он обычно засыпал и просыпался раньше, чем его женщины. Да, об этом он не вспоминал уже Бог знает сколько лет.

Как человек, повторяющий что-то, чтобы не забыть, он шаг за шагом стал вспоминать все с того момента, как Нелида вошла в его комнату. При этом похвалил себя, что не поддался соблазну, и неуместному, и даже, возможно, роковому, — не спросил: «А как же твой жених?» В какой-то миг, из глупой совестливости по отношению к незнакомцу, он едва не задал этот вопрос. Теперь же он мог бы его задать из желания утвердить себя в правах собственности. «Чего-чего, а требовать мы горазды», — развеселясь, подумал он.

И внезапно ему показалось, будто он интуитивно постиг, что любовный акт — это и есть объяснение загадки Вселенной. С горделивой скромностью человека, сознающего, что большие выигрыши достаются нам не столько за заслуги, сколько по приятной необходимости, ибо кто-то должен их получать, он сказал себе, что его в эту ночь запишут в число выигравших. И чтобы поделиться своим ликованием, он придвинулся к девушке. Серьезно посмотрев на нее, медленно произнес: «Необычайно хороша». Очень осторожно, словно больше всего заботясь о том, чтобы ее не разбудить, он снова ее обнял.

Позже оба они, лежа навзничь, мирно беседовали.

— Опять я не даю тебе поспать, — сказала наконец Нелида.

— Нет-нет, ты здесь ни при чем, — возразил Видаль. — Это голод. Я уже два дня ничего не ел.

— Что бы тебе сготовить?

— У меня почти ничего нет.

— Сейчас оденусь и пойду поищу что-нибудь у Антонии.

— Нет, не уходи. У нас есть хлеб, заварка, сухие фрукты, а может, найдется и плитка шоколада. Только плитка шоколада — это для Исидорито, и, если мы ее съедим, он рассердится. У него, знаешь, бывают приступы слабости.

Нелида рассмеялась.

— А у нас-то какая слабость!

Она включила свет, встала. Видаль, лежа в постели, указывал ей, где что находится, и смотрел, как она, голая, ходит по комнате.

— Я поставлю греть свежую воду, — заявила девушка, выливая остатки воды из чайника. — А знаешь, что мне приснилось? Будто мы с тобой отправились на охоту, ты, я и твоя собака Сторож.

— Это просто невероятно! Мне тоже снилось, что я охотился на каких-то жутких птиц.

Она с удовольствием признала, что это невероятно.

— А мне о тебе говорили, — сообщила Нелида. — Одна женщина, с которой я вчера познакомилась в доме тети Паулы. Моя тезка.

— Неужели это та Нелида, которая раньше жила в этом доме?

Да, наверняка то была она.

— А ты ее не забываешь, — заметила Нелида.

— Кармен живет с нею? — спросил Видаль, возможно, чтобы не подать виду, будто он интересуется прежней своей любовью.

— Что за вопрос, че! Девочка-то еще не замужем.

После минутного замешательства Видаль понял, что ему говорят о дочке Нелиды, но не признался, что он-то спросил о матери. И опять у него едва не вырвалось: «Что же теперь будет с твоим женихом?» Но он сдержался, как бы не попасть впросак...

— От такого пиршества мы силы не восстановим, — заметила Нелида.

Они ели и смеялись. «Не разбудим ли мы Исидорито? — подумал Видаль. — Как бы он не застал Нелиду в моей комнате!» Но тут же успокоил себя: «Если не ошибаюсь, ей это безразлично. Она права. Главное — запомнить эту ночь. Лучшую ночь в моей жизни». Сразу же ему стало неприятно, что он смотрит как на воспоминание на то, что сейчас переживает, — словно это уже прошлое. Столь же неприятна была другая мысль: этим он отделяет себя от Нелиды. И еще ему подумалось: «В последнее время у меня появилась дурная привычка спрашивать себя, не в последний ли раз происходит со мной то, что происходит. Своим унынием я будто нарочно все себе отравляю».

— Почему бы тебе не перейти жить ко мне? — спросила Нелида.

Сперва он эту идею отверг просто потому, что она была для него неожиданной; затем, слегка удивленный, нашел ее приемлемой и в конце концов счел необходимым уточнить, что на новом месте он будет нести расходы по хозяйству (тем он дал выход своему самолюбию, не выясняя сумму расходов и не подсчитав, какими деньгами он располагает). Девушка слушала его не очень внимательно, даже с плохо скрываемым нетерпением. Видаль, слегка задетый, спросил себя: «Может быть, я кажусь ей старомодным?» Не понимая, в чем его оплошность, он снова предпочел промолчать. И тут на него что-то нашло — он вдруг задал столько раз подавляемый вопрос:

— А как твой жених?

«Ну конечно, — подумал он, — это еще одна ошибка того же типа, в них сказывается неодолимая дистанция между поколениями».

— Для тебя это очень важно? — осведомилась Нелида.

— Очень, — храбро ответил он.

— Вот и прекрасно. Я боялась, что для тебя это неважно. Не беспокойся, я ему скажу, что все кончено. Я выбрала тебя.

Размышляя об этом заявлении, столь ценном и лестном для него — в этот день ему было дано все, чего может пожелать влюбленный, и дела и слова, — он повел Нелиду к постели, как вдруг раздался громкий стук в дверь.

Видаль накинул старый коричневый плащ и пошел посмотреть, кто стучит.

## 30

— На чердак, братец, на чердак! — возбужденно крикнул ему Фабер, просовывая седую голову в дверь, которую Видаль держал полуоткрытой.

— Что случилось? — спросил Видаль, становясь против щели, чтобы Фабер не увидел Нелиду.

— Вы не слышали выстрелы? Прямо как в кино. Да, дон Исидро, о вас не скажешь, что вы чутко спите. Что до меня, то я хотя и глохну, а во сне слышу ого-го как!

Он двинулся, чтобы войти, словно что-то подозревал или же заметил Нелиду. Видаль, придерживая рукой приоткрытую створку двери, прислонился всем телом к другой створке.

— И не подумаю идти на чердак! — заявил он.

Фабер снова принялся объяснять:

— Они увидели, что дверь заперта — управляющий теперь вешает на нее висячий замок, — и хотели пробить ее пулями. Хорошо еще, появился патрульный. знаете, их посылают напоказ, чтобы люди думали, будто порядок обеспечен. Но они посулили, что возвратятся, дон Исидро, если мне не верите, спросите у других. Все слышали это.

— Я вам говорю, я остаюсь в своей квартире. Во-первых, я не считаю себя стариком.

— Это ваше право, сеньор, — согласился Фабер, — но осторожность никогда не помешает.

— И потом, я их не боюсь. Чего стану я бояться этих ребят из нашего района, жалких недотеп, на которых досыта насмотрелся с самого их детства? И парни эти тоже меня знают, и им прекрасно известно, что я не старик. Даю вам слово, они сами это мне сказали.

— Те, что посулили возвратиться, они не из нашего района. Они из Клуба муниципальных служащих и прочесывают все улицы города, охотятся за стариками, выискивают тех, кто прячется по домам, потом сажают в клетку и возят по улицам — наверно, чтобы выставить их на поругание.

— А потом что с ними делают? — спросила Нелида.

Она стояла позади Видаля, который подумал: «Наверно, Фабер видит ее голые плечи».

— Одни говорят, сеньорита, будто их убивают в газовой камере для бешеных собак. Нашего галисийца управляющего один его земляк уверял, что, подъехав к улице Сан-Педрито, открывают клетки и гонят стариков хлыстами прямехонько к кладбищу Флорес[1].

— Закрой дверь! — приказала Нелида Видалю.

Видаль закрыл и сказал:

— Он с ума сошел. Не пойду я на чердак со стариками.

— Послушай меня, — посоветовала Нелида, — на твоем месте я бы на эту ночь все же спряталась, а утром при первой возможности ушла бы отсюда.

— Мне уйти? Куда?

— На улицу Гватемала. Ты же переселяешься ко мне, разве мы не договорились? Постарайся не привлекать внимания, а потом пусть они попробуют тебя найти, если они такие ушлые.

Видаль только что решительно отверг предложение укрыться на чердаке, но теперь, когда это выглядело как часть плана Нелиды, идея становилась приемлемой. Для начала, чтобы не привлекать внимания, как она ему посоветовала, много вещей он с собою не возьмет. Будет говорить, что этот переезд не окончательный, а временный. Под предлогом спасения своей жизни он может позволить себе удовольствие пожить неделю с женщиной. Возможно, что потом возвратиться будет нелегко и что к тому времени у него образуется новая привычка, привычка жить с Нелидой в противовес прежней привычке жить с сыном, а это почти все равно что жить одному. Но так далеко он не заглядывал.

— Если ты всерьез меня приглашаешь, — сказал он с легким волнением, обнимая Нелиду, — завтра я к тебе приду.

— Ты не придешь, если я не дам тебе адрес. Кроме того, возьми ключи, чтобы не пришлось звонить и ждать, пока откроют. Я-то как-нибудь войду в дом.

Ключи были у нее в кармане. Стали искать бумагу и карандаш, наконец нашли, и девушка написала адрес. Видаль, не читая, спрятал бумажку.

---

[1] Флорес — район Буэнос-Айреса.

## 31

Ступив на крутую и шаткую лестницу, Видаль понял, что был прав: идти на чердак было унижением. Низкий потолок, вонь, грязь, перья на полу лишь усугубили его уныние. Будто в конце туннеля — чердак тянулся вдоль всего левого крыла их дома, — Видаль различил вдали огонек свечи и чернеющие в полутьме две фигуры. Видаль их узнал: Фабер и управляющий. Ползком он пробрался к ним.

— Вот идет блудный сын, — заметил Фабер. — Не хватает Больоло.

— Этот не придет, — отозвался управляющий, — он прячется у дочки обойщика. Теперь, когда папаша погиб, она принимает мужчин прямо дома.

— Он не один такой, многие прячутся у своих подружек, — сказал Фабер.

— И очень этим гордятся, — согласился управляющий. — Но ведь первым делом выясняют, кто с кем путается, вот и хватают их как миленьких.

Вероятно, управляющий и Фабер говорили так без злого умысла. Чтобы доказать им или, быть может, себе, что к нему это не относится, Видаль включился в разговор.

— Казалось, — заметил он, — что эта война со свиньями или со стариками на время затихла, а вот теперь опять разгорелась, да еще с такой жестокостью.

— Последние судороги перед кончиной, — пояснил Фабер, чуть повизгивая, как это у него бывало. — Молодежью овладело разочарование.

— Результаты ничтожные, — поддержал его Видаль. — В этой войне ничего не происходит, одни угрозы. Я, пожалуй, не вправе так говорить, мне уже довелось побывать в нескольких переделках.

Управляющий сурово возразил:

— Хорошо вам так говорить, а ваш друг Нестор — разве его не убили? А ваш друг Джими — разве он не исчез? Дай Бог, чтобы он оказался жив.

— Молодежью овладело разочарование, — повторил Фабер. — В ближайшем будущем, если демократическое правительство удержится, старики будут хозяевами. Тут простая математика, поймите. Большинство голосов. Давайте поглядим, что нам сообщает статистика. Что смерть теперь наступает не в пятьдесят лет, а в восемьдесят, а завтра будет и в сто. Прекрасно. Небольшое усилие воображения, и оба вы представите себе, какое количество стариков накапливается и каким мертвым грузом давит их мнение на руководство государственными делами. Конец диктатуре пролетариата, она должна уступить место диктатуре стариков.

Лицо Фабера постепенно мрачнело.

— О чем задумались? — спросил управляющий. — Вы чем-то огорчены?

— Честно признаюсь, — сказал Фабер, — прежде чем сюда подниматься, надо было мне заглянуть в санузел. Вы меня поняли?

— Еще бы не понять, — посочувствовал управляющий. — У меня уже давно такая же забота.

— И я тоже только об этом и думаю, — подал голос Видаль.

Они рассмеялись, стали по-братски хлопать друг друга по плечам.

— Не трогайте меня, — предупредил управляющий, — не то я поплыву.

— Осторожней со свечой, — посоветовал Фабер и придержал ее.

— Если все эти ящики загорятся, мы облегчим работу молодежи.

— Ох, не шутите!

— А если рискнуть и быстренько сбегать в санузел? — предложил Фабер.

— Это нельзя, мы подведем парней нашего дома, — заявил управляющий. — Они же сказали, будто мы ушли, а что будет, если те увидят, как мы спускаемся. Нет, нельзя.

— Тогда я впадаю в младенчество! — плача от хохота, заявил Фабер.

— Неужто здесь наверху не найдется подходящего местечка? — поинтересовался управляющий.

— Может быть, там, за последним рядом ящиков? — предположил Видаль.

— А это не над квартирой Больоло? — спросил управляющий.

— Ну уж этого я не знаю, — ответил Видаль.

— Наконец-то! — воскликнул управляющий. — Вот я и догадался, это вы в тот раз промочили ему потолок. А теперь ему промочит целое трио!

С трудом двигаясь от судорожного хохота — как ни сдерживались, он прорывался, — они на четвереньках добрались до указанного Видалем закоулка. Там и постояли минуту-другую.

— Если он не наймет лодку, утонет, — предсказал Фабер.

Направились обратно. Управляющий шепнул Видалю, кивая на Фабера:

— Старается изменить голос. А гнусавит еще сильней.

— Крякает, как утка, — кивнул Видаль.

Внезапно они притихли в тревоге — внизу поднялся шум. Слышалось шушуканье, глухие удары, будто кого-то подталкивают, и, наконец, громко произнесенное грязное словцо.

— Бог мой, что это там? — дрожащим гнусавым голосом спросил Фабер.

Никто ему не ответил.

Тяжелые шаги, сопровождаемые отчаянным скрипом лестницы, медленно приближались к чердаку. Когда показалась эта туша, Видаль сперва даже испугался. Он не сразу ее узнал, пока девочка не посветила фонарем: огромная, цилиндрической формы, распухшая, бронзовая, как индеец, донья Далмасия глядела на них с гневным выражением, глаза ее блуждали.

— Кто они? — спросила женщина.

— Сеньор управляющий, Фабер и Видаль, — ответила внучка.

— Трое трусишек, — с явным презрением проговорила женщина. — Детей испугались и прячутся. Знайте же, трусы, что я хотела остаться внизу. Пусть они приходят, я их всех одним ударом уложу. Но дочка велела идти наверх, свинство все это, и она еще говорит, будто я слепая.

Воцарилось молчание.

— Что там теперь происходит? — спросил Видаль.

— Она про нас забыла, играет с внучкой, — ответил Фабер.

— Не знаю, как ей доверяют ребенка, — заметил управляющий. — В настоящее время эта женщина стала мужчиной, да еще премерзким. Вот какие штуки откалывает старость.

## 32

*Вторник, 1 июля*

Вторжение доньи Далмасии подействовало угнетающе. Все трое приумолкли. Час, видимо, был уже поздний, а в это военное время заполненные страхом дни изматывали до крайности. В тишине и полутьме Видаль задремал. Ему снилось, что он, задев рукой свечу, опрокинул ее, что чердак загорелся и что он, одна из жертв, проходит очищение огнем. Теперь он, по каким-то резонам, которые во сне он не мог вспомнить, желал победы молодым, и все объяснялось одной фразой, казавшейся ему весьма убедительной: «Чтобы жить как молодой, я умираю как старик». Усилие, с которым он ее произносил, а может быть, и исходившее из его уст бормотанье разбудили его.

Тут он, видимо, вспомнил, пусть инстинктивно, что недавно при других обстоятельствах проснулся, согнутый в дугу из-за люмбаго, — и он сразу же попробовал сделать несколько движений, проверяя гибкость поясницы: боли не было и в помине.

«Как всегда, я просыпаюсь первый», — с некоторой гордостью сказал он себе. При свете зари, проникавшем через слуховое окошко, он увидел Фабера и управ-

ляющего. «Спят, как два дышащих трупа», — подумал он, и его удивило открытие, что дыхание в некоторых случаях может быть отталкивающим процессом. Поднявшись, он чуть не споткнулся о тело девочки, спавшей с полуоткрытыми глазами, так что видны были белки, и это придавало ей вид лежащей в обмороке. В нескольких шагах от нее, раскинувшись, спала старуха. На лестнице Видаль почувствовал большую слабость и сказал себе, что надо что-нибудь съесть. Давным-давно, вероятно, когда он был еще совсем маленьким, у него бывали натощак приступы дурноты. Спустившись вниз, он остановился, держась за поручни. Было тихо. Люди еще спали, но нельзя было терять время — ведь скоро они начнут вставать.

В его комнате было темно и холодно, и снова появилось ощущение, слишком частое в последнюю неделю, будто все вокруг спокойно. Удрученно он спросил себя, не кроется ли в этом мнимом покое предвестье беды. Он смотрел на предметы в комнате, как если бы он возвратился из долгого путешествия и стоит где-то снаружи, отделенный от них стеклом.

Видаль умылся, надел лучшую одежду, завернул в газету смену белья и несколько носовых платков. В последнюю минуту вспомнил про ключи и бумажку с адресом Нелиды. Все это нашлось в кармане другого пиджака. Под адресом и указаниями: «дверь 3, подняться по лестнице, дверь Е, идти по коридору, подняться по лестнице на антресоль, дверь 5» — Нелида написала: «Жду тебя!» Видалю подумалось, что такие вот нежные слова женщин очень много значат в жизни мужчин. Потом спохватился, что надо оставить Исидорито объяснение своего ухода. Он не знал, что написать. Сказать правду в записке нельзя, что-то выдумать он затруднялся, да и некогда было думать. Наконец он написал: «Один мой друг пригласил меня провести три-четыре дня за городом. Там спокойно. Береги себя». Перед тем как уйти, прибавил: «Подробности не сообщаю на случай, если записка попадет в чужие руки».

По дороге в санузел, куда он решил сходить, чтобы на какое-то время избавиться от этой заботы, когда будет у Нелиды, он встретил младшую из внучек доньи Далмасии, которая, вероятно, его не заметила, поглощенная тем, чтобы не наступить на стыки между плитами. Кроме этой девочки, никто его не видел. Очутившись на улице, еще безлюдной, невольно взглянул на мастерскую обойщика. Случись ему нечаянно увидеть в одном из окон Больоло, он, пожалуй, посмотрел бы на того не с ревностью или злобой, а с чувством братского сообщничества. Возможно, потому, что уже много лет у него не было любовных приключений, Видаль воспринимал эту новую для него ситуацию почти как тщеславный юноша. Он подумал, что, будь он похрабрее, хорошо бы зайти к Джими, узнать, вернулся ли тот домой, но желание поскорей добраться до дома Нелиды победило, словно рядом с нею он будет надежно защищен — не от угроз молодежи, которые теперь его почти не пугали, но от заразы, такой вероятной из-за тесного общения с опасной средой, заразы, исходившей от коварной, ужасающей старости.

## 33

Возможно, потому, что утро было холодное и сырое, Видаль на своем пути встретил всего один карательный отряд. «Звери, — подумал он, — но не настолько, чтобы рисковать своим здоровьем». На площади Гуэмес он вспомнил, что именно здесь, возвращаясь с кладбища в Чакарите, он поймал такси: казалось невероятным, что это было не в далеком прошлом, а всего лишь накануне. Защищенный толстыми стволами деревьев, чья нежно-зеленая листва смыкалась над его головой, он шел по улице Гватемала, вглядываясь в номера домов и стараясь, чтобы кучка парней на углу — кажется, улицы Араос — не заметила его. Оказалось, что дом под номером 4.174 состоял из двух корпусов с садиком между ними, магно-

лией и солнечными часами. Он толкнул полуоткрытую дверцу железной ограды, зашел в сад, поглядел на свою бумажку и отомкнул самым большим ключом одну дверь — в вестибюле никого не было. Он поднялся по лестнице, открыл другую дверь, прошел по длинному коридору между крытой галереей слева, выходившей в патио, и стеною с рядом дверей справа. Из-за второй или третьей двери выглянула молодая женщина, которая беззастенчиво уставилась на него. Видаль подумал: «Бедная Нелида! Столько было разговоров о ее доме, а это всего лишь еще один муравейник». Он снова справился по записке, поднялся по витой зеленовато-серой железной лесенке и оказался перед дверью с белым блестящим эмалированным кружочком, на котором была цифра 5. Чтобы не входить без предупреждения, он постучал, и когда уже хотел вставить ключ в замок, ему открыла Нелида.

— Какое счастье! — воскликнула она. — Я боялась, что ты передумаешь и не придешь. Входи. Теперь, по-моему, с нами ничего плохого не может случиться.

Видаль с восхищением подумал: «Другие женщины не показывают, что любят. Остерегаются. Они не уверены в себе и не так сильны». Квартира Нелиды его ошеломила. «Действительно дом. Она не преувеличивала». Они стояли в зале, показавшемся ему огромным, с высоким, расписанным гирляндами потолком; зал был разделен как бы на две комнаты — в одном конце столовая со столом, стульями, буфетом, холодильником; в другом — гостиная со столом, плетеной кушеткой, такими же креслами, креслом-качалкой, телевизором. Видаль заметил в смежной спальне кровать и гардероб. Ему подумалось, что после долгой ходьбы по всем этим коридорам и лестницам особенно удивительно очутиться вдруг в такой комфортабельной, хорошо обставленной квартире.

— А мне у тебя нравится, — сказал он.

— Но ты же почти ничего не взял с собой.

— Ты сама мне советовала не привлекать внимание моим переездом.

— Ты пришел, чтобы остаться? — спросила Нелида.

— Если ты меня принимаешь.

— Несколько дней потерпишь, а когда все успокоится, сходим за твоими вещами. Подождешь минутку? Я займусь завтраком...

Пока Нелида хлопотала на кухне, Видаль прошелся по квартире. Он увидел внутренний дворик с цветочными клумбами, спальню, где стояли двуспальная кровать, гардероб, два ночных столика, и в двух больших овальных рамах черного дерева висели две фотографии, похожие на рисунки пером, — господин и дама старомодного вида.

— Кто это на фотографиях? — спросил он.

— Дедушка и бабушка, — отозвалась из кухни Нелида. — Не беспокойся, я их уберу. Как только я сюда переехала, я решила их снять.

Он хотел было ответить, что они ему не мешают, но сдержал себя, побоялся, что такой ответ будет не вполне пристойным. В этой квартире ему было хорошо. Жаль, конечно, что не удастся забрать все свои вещи, теперь единственное, что его огорчало, так это мысль о возвращении даже на время на улицу Паунеро. В этом блаженном состоянии он все же подумал: «Смогу ли я здесь жить, не чувствуя себя нахлебником?»

## 34

Одно его удивило: Нелида, не таясь, говорила ему, что он в любви еще хоть куда. «Удивительно, что я этому удивляюсь, — сказал он себе, — я ведь уже немолод, а в таком возрасте надо бы знать, чего ты стоишь...» Он, разумеется, считал, что девушка слишком великодушна. Лежа с нею рядом, глядя в потолок и отдаваясь чувству блаженства, он лениво подумал о много раз слышанном утверждении,

будто всем мужчинам после этого бывает грустно, что он счел невероятным; вспомнил также признания друзей, как им не терпелось вернуться домой, выйти на воздух. Он пришел к выводу, что, видимо, мужчины обычно не бывают так счастливы, как он теперь. Он повернулся, посмотрел на нее — хотелось ее благодарить, говорить с нею.

— Ты не будешь тосковать по дому? — спросила Нелида.

— Как это тебе пришло в голову!

— Люди часто тоскуют по своим привычкам.

— Например, по тому, чтобы идти через два двора в уборную? Когда долго так живешь, кажется, что это не так уж трудно; но достаточно один день пожить с удобствами, и чувствуешь, что вернуться к прежнему невозможно.

— Я была бы не в силах опять поселиться с доньей Далмасией и девчонками. Странно, что ты никогда не пытался оттуда переехать.

— Одно время у меня было немного денег, и я собирался переселиться в отдельную квартиру. Но потом жена от меня ушла, я остался один с мальчиком, и только благодаря соседкам, которые за ним присматривали, когда меня не было, я не потерял работу. Не бывает худа без добра...

Произнеся эту фразу, он заметил, что Нелида смотрит куда-то в сторону, и с тревогой спросил себя: «Может быть, я ей скучен? Она молода, привыкла к обществу молодых, а я уже давно общаюсь только со стариками».

— И ты так и не купил квартиру? — спросила Нелида.

— В те годы квартиры не покупали, их снимали. Да, то была мечта, и она не осуществилась. Как мечта стать учителем. Было время, когда я хотел стать учителем. Трудно поверить, правда?

Нелиде, казалось, было приятно, что у него когда-то было такое стремление. Пока они обменивались воспоминаниями, Видаль заметил, что она, рассказывая о событиях, случившихся два-три года назад, неизменно говорила: «Давно это было». Внезапно он вспомнил о не дававшем ему покоя разговоре, который должен был состояться у нее с женихом.

— А своему жениху ты уже сказала? — спросил он.

— Нет, пока еще нет. Но надо сказать.

Видалю подумалось, что он все бы отдал за то, чтобы этот разговор был уже в прошлом.

— Я пойду с тобой, если хочешь, — предложил он.

— Это не нужно, — ответила Нелида. — Мартин — парень не злой.

— Мартин? Какой Мартин?

— Да мой жених. Мне было бы неприятно говорить ему такие вещи при свидетелях.

— Где ты с ним встретишься?

— Смотря в какое время... До пяти часов он в ремонтной мастерской. Позже придется его искать в каком-нибудь из заведений, где он играет. Я тебе говорила, что он участвует в трио «Лос Портеньитос»?

— Да, говорила. Лучше пойди в мастерскую. Мне не нравится, чтобы ты ходила по всяким там кафе, тем более вечером.

— Он играет в «Эскините» на улице Тамес и в подвальчике, таком, знаешь, вертепе, который называется «FOB»[1], и в «Салоне Магента» на улице Гуэмес. Пойду я на минутку на кухню. Ты не голоден?

Видаль остался лежать, как лежал, навзничь; он был слишком утомлен, чтобы идти за ней или менять положение. «Эта усталость совсем не такая, как та, которую путают с грустью. Она бодрит, как висящий на стене диплом». Жаль, что еще не состоялся разговор Нелиды с женихом; он-то ничего против того парня не имеет, только огорчается, что это из-за него Нелиде придется идти в «Эскиниту»

---

[1] Кармашек для часов (*англ.*).

или в «Салон Магента», уж не говоря о подвальчике с иностранным названием. Ах, лучше отвлечься, повспоминать о той квартире, которую он не снял; а вот если бы он ее снял, то жил бы на авениде Онсе, и друзья были бы у него теперь другие (за исключением Джими, которого он знал еще по школе), и Нелиду бы он не встретил. В этой комнате, рядом с нею, казалось невероятным, что на улицах Буэнос-Айреса убивают, стреляют... Захотелось пофантазировать — вот было бы забавно, если бы война эта происходила только в районе вокруг площади Лас-Эрас и была бы следствием козней одного лишь мерзавца, сеньора Больоло, направленных против одной лишь жертвы, Исидро или Исидоро Видаля.

— Иди есть! — позвала Нелида.

На столе стояла миска с равиолями.

— Ух как есть хочется! — воскликнул он.

— Не знаю, понравится ли тебе.

Видаль ее успокоил. Равиоли вызвали у него в памяти картины счастливых времен, воскресных дней, когда он был мальчиком, образ матери.

— Видишь ли, — обратился он к Нелиде в искреннем порыве, — эти равиоли еще вкусней, чем те, о которых я вспомнил. А я-то думал, что вкусней не может быть.

Они выпили красного вина, поели отбивных с картофелем. Когда дело дошло до риса с молоком, Нелида сказала:

— Если ты это не любишь, извини. Я пока не знаю твоих вкусов.

Он поцеловал ее за «пока», поблагодарил за это слово, прозвучавшее как обещание долгого будущего для них обоих. Затем умолк, спрашивая себя, что можно еще добавить, о чем говорить, чтобы ей не наскучить. Выпил второй стакан вина и, когда Нелида поднялась, чтобы приготовить кофе, снова начал ее целовать.

## 35

Видаль уверенно протянул руку, ища тело девушки, но его не нашел. Досада окончательно его разбудила — Нелиды не было дома. Сердце отчаянно забилось, он вскочил с кровати, пробежал по комнатам, открыл дверь, выходящую в патио.

— Нелида! Нелида! — позвал он.

Девушка исчезла. Огорченный, вероятно слишком огорченный (скорее всего беспричинно), он попытался понять, в чем дело. И вдруг вспомнил. Нелида, наклонясь над ним, — теперь он, казалось, видит ее, — что-то ему говорила. Одна за другой вспоминались сказанные ею фразы.

— Я иду объясниться с Мартином. Не выходи и никому не открывай. Жди меня. Я не задержусь. Жди меня.

Хотя он был тогда в полусне, он прекрасно понял ее слова: они его встревожили, рассердили (еще называет этого типа по имени!), но так как на него внезапно нахлынула сильнейшая усталость после бессонных ночей, прогулки пешком из Чакариты, тяжелой ночи на чердаке и любовных объятий, он лежал неподвижно, не в силах ни возразить, ни пошевелиться. «И я, как дурак, позволил ей уйти. Теперь я здесь, будто в клетке». Нелида пообещала (почти таким же тоном, каким говорят врачи, чтобы внушить больному уверенность): «Я не задержусь». Но он, не зная, как давно она ушла, не исключал возможности, что она ушла всего несколько минут тому назад и что вопреки благим намерениям она может Бог весть на сколько задержаться. Он медленно оделся. Чтобы скоротать время, пошел на кухню приготовить мате. Пока искал спички и заварку, спрашивал себя, действительно ли судьба уготовила для него жизнь с Нелидой в этом доме. Тщательно заварив мате, выпил первую чашку; потом, уже немного торопясь, еще четыре или пять. Вспомнил про Джими и сказал себе, что уже давно не знает, есть ли о нем какие-нибудь сведения. Чтобы вот так сидеть и ждать, надо было постоянным

усилием воли удерживать себя на месте; казалось невероятным, что Нелида вернется, но, по крайней мере, он-то должен подождать. Мате был выпит, это средство исчерпано, терпение его иссякало, а придумать, чем заняться, он не мог. Что, если сходить к Джими? Он избавится от необходимости сидеть здесь и ждать, и если злой рок не ополчится на него, то на обратном пути он встретит Нелиду. Все же надо бы потерпеть несколько минут — вдруг она вернется. Было бы лучше, чтобы девушка вернулась, пока он еще не ушел, — это предотвратило бы многие неприятности, даже опасности, о которых он предпочитал не думать. Да, мы часто отказываемся от того, чего желаем, и примиряемся с тем, что имеем. Но сидеть здесь сложа руки и думать — это сверх его сил. Набросив на плечи пончо, он погасил свет, ощупью нашел дверную ручку, вышел в прихожую и запер дверь на замок. Не спеша спустился по железной лестнице. «Пора, — сказал он себе. — Ухожу». И хотя у него было желание вернуться, он шел вперед по узкому коридору. «Народ тут не скрывает своего любопытства», — подумал он, видя, что из-за дверей на него смотрят. «Как же это я не оставил записки, мол: «Схожу к Джими и вернусь»?» И с внезапной враждебностью сказал себе: «И так поймет». Ему было непонятно, то ли эта вспышка ревности была искренней, то ли всего лишь поводом, чтобы не возвращаться в пустую квартиру, где ему пришлось бы ждать. Нет, нельзя поддаваться своим нервам, будто какая-нибудь истеричка. Джими говорит, что все неприятности происходят оттого, что люди не владеют своими нервами. Чтобы успокоить нервы, Видаль замедлил шаги как только мог. «Даю еще ей время вернуться, а она из чистого упрямства этим не пользуется». Выходя из дома, он постоял на пороге, неуверенно поглядывая по сторонам, не столько из опасения, что в тени деревьев могли притаиться парни, сколько надеясь на казавшееся нереальным появление беглянки. Он спросил себя, не легче ли будет избавиться от глупейшей тревоги, если он просто пойдет поискать девушку в тех кафе, где треньКает на гитаре этот тип, ее Мартин. Однако нельзя исключить неприятную возможность, что его приход рассердит ее, что она сочтет его безрассудным или подозрительным. Тогда он может потерять любовь Нелиды — несчастье, впрочем, неизбежное, ведь было бы нелепо, чтобы его любила такая хорошенькая и молодая женщина. Своим неуместным появлением он спас бы ее от иллюзий, от ошибки или каприза, каким была ее любовь. Может быть, он сразу же скажет ей, что ушел, что пусть она остается с Мартином (как только он услышал это имя, оно стало ему противно). Он представлял себе эту сцену: свое постыдное отступление под насмешки завсегдатаев, пока в глубине зала эта парочка будет обниматься; сцена как бы из финала фильма о наказании подлеца (то есть старика), логическое соединение молодых влюбленных под патетические аккорды оркестра и аплодисменты публики. По улице Сальгеро он подошел к площади Гуэмес и громко проговорил: «Какая-то мания — ходить всегда по одним и тем же улицам. Мне говорили, что в давние времена здесь было озеро Гуадалупе». Между улицами Ареналь и Хункаль он себя спросил: «Я уже забыл Нелиду?» До этой минуты он хотел ее забыть, чувствуя, что своим поведением перекрывает девушке путь возвращения, теперь же раскаивался — забывая о ней, он как бы покинул ее. «Не случилось ли с нею что-нибудь? А вот здесь когда-то стояла тюрьма». Бессвязность мыслей показывала, что он впадает в отчаяние. Ему захотелось поговорить с Данте, который жил здесь поблизости, на улице Френч. «Правда, надо признать, — сказал он себе, — что бедняга Данте не слишком занятный собеседник». После недавних событий каждого из их компании объединяла с остальными не столько привычка, сколько искренняя привязанность. Правда, с некоторых пор он смотрел на своих друзей с легкой опаской, как если бы они были подвержены некоему пороку, а именно старости, от которой его самого спасала любовь девушки; но ведь он не был уверен, может ли рассчитывать на Нелиду. Самое верное — тактическая уловка суеверия — считать ее для себя потерянной. Тогда еще маячила бы какая-то надежда заполучить ее опять, но если он будет слишком самонадеян, кара

его не минует и Нелиду он больше не увидит. «Зато теперь, — сказал он себе с иронического смирением, — я увижу Данте».

Данте жил в последнем одноэтажном доме, оставшемся в квартале, — что-то вроде гробницы между двумя высокими зданиями. Однако первым Видаль увидел не Данте, дверь открыла его «хозяйка». Так Данте называл ее, причем никто точно не знал, прислуга это или жена, хотя, верней всего, она исполняла обе эти функции. Одетая в черный широкий халат, она разглядывала Видаля с настороженностью испуганного животного — в те дни появление всякого молодого человека страшило людей пожилых. Видаль подумал: «Судя по всему, кто-то еще считает меня нестарым». Красноватая кожа женщины была покрыта черным пушком, волосы на голове тоже были черные, испещренные седыми прядями. Что до черт лица, с годами они, несомненно, расплылись и, как часто у старых людей, казались грубыми. Видаль спросил себя, была ли «эта ведьма» прежде, а возможно, и теперь (ведь в тиши домашних стен происходят вещи невообразимые), любовницей его друга. «Картина столь омерзительная, что, право же, можно пожелать им скорой смерти. Конечно, если мне суждено дожить до их возраста и сохранить какую-то бодрость, я из вежливости не отвергну ни одну женщину. Любое доказательство того, что я еще живу, будет для меня в этот миг драгоценным». «Ведьма» попыталась закрыть дверь, тогда он закричал:

— Я Исидоро Видаль. Скажите сеньору Данте, что пришел Исидро.

Отстраняя в сторону женщину, появился Данте.

— Вот и я, — заявил он.

Данте самодовольно улыбался. Видаль нашел, что цвет лица у него — зеленовато-желтая бледность — очень нездоровый; даже подумал — возможно, что Данте кажется ему более старым по контрасту с юностью Нелиды.

— Как поживаешь? — спросил Видаль.

— Превосходно. Кстати, есть хорошая новость: появился Джими.

— Ты уверен?

— Мне это Рей сказал по телефону полчаса тому назад.

— И он чувствует себя хорошо?

— Превосходно. Будто стал мальчишкой. Лучше, чем когда-либо.

— Мы его увидим?

— Рей сказал, что, прежде чем идти к Джими, я должен заглянуть в булочную. Хочет мне сообщить что-то настолько важное, что, мол, должен это сделать при личной встрече. Из-за этих зверств, что творятся кругом, я не решался пойти один, но, если хочешь, пойдем вместе.

— Пойдем сейчас же.

— Нет, че. Рей просил, причем очень настойчиво, чтобы я никуда не ходил, не заглянув к нему в булочную.

— Плохо то, что у меня времени в обрез, а Джими увидеть я тоже хочу, — сказал Видаль.

— У Джими я не задержусь. С моей глухотой и плохим зрением меня в темноте сразу же сцапают. А умирать я вовсе не желаю. Не беспокойся, от Джими мы уйдем очень скоро.

## 36

Леандро Рей сидел во главе стола — две дочки по сторонам от него, третья напротив — и заканчивал обедать. Он пригласил друзей за стол. Видаль согласился выпить чашечку кофе, Данте от всего отказался — кофе, мол, вызывает бессонницу, а любой алкогольный напиток — повышенную кислотность.

— Джими отпустили? — спросил Видаль.

— Да, отпустили, — ответил Рей, — но все не так просто. — Властным тоном

он обратился к дочкам: — Уберите со стола и оставьте нас. Мы, мужчины, должны поговорить между собой.

Женщины окинули его яростными взглядами, но повиновались.

— Потрясающе! — восхитился Данте, когда они остались одни. — А я-то предполагал, что у тебя тут дочки командуют.

— Раньше я им это позволял, но теперь они у меня и пикнуть не смеют. Еще чего!

— При нынешних обстоятельствах, — заметил Данте, — не будет ли благоразумней придерживаться, так сказать, коллаборационистской политики?

Вместо ответа Рей издал рычанье.

— Значит, Джими отпустили? — повторил свой вопрос Видаль.

— Сегодня утром он вернулся домой.

— Пойдем его навестим.

— Сейчас — нет. Я не пойду.

— Почему?

— Да так, мелочь. Есть, знаете ли, нехороший слушок, очень нехороший.

— Что такого он мог сделать, чтобы ты не хотел его увидеть? А впрочем, че, какое это имеет значение! Вспомни, ведь Джими наш друг.

— Аревало тоже наш друг, — торжественно провозгласил Рей. — Или был нашим другом.

— Что случилось?

— Говорят, якобы Джими, чтобы его освободили, сказал своим похитителям, будто Аревало путается с несовершеннолетней, и указал место и время, где их можно застукать. Джими у себя дома, а Аревало в больнице. Вот так-то.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Вчера вечером, когда я уже собрался закрывать лавку, явился твой сосед Фабер. Ему довелось говорить с Больоло, а тому племянник рассказал это дело со всеми подробностями.

— И что там было?

— Да ничего. Пришел он поздно, хлеба уже не было. Я сказал, что остались одни сухари.

— А что случилось с Аревало?

— Он уже давно путался с этой девчонкой, — заметил Данте.

— Всегда я узнаю последним, — сказал Видаль, растерянно взглянув на него. – То-то я удивился, что он одет чисто, даже щеголевато. И перхоти не видно было.

— Банда мерзавцев поджидала его у выхода из отеля Нило, — сообщил Рей. — Девчонка, вся растрепанная, в крик: «Мне нравятся старики! Мне нравятся старики!»

— Провокация. Ух и влепил бы я в нее обойму, — свирепо прошипел Данте. — Она во всем виновата.

— С чего ты это взял? — возмутился Видаль.

— Данте, не мели чушь. Наконец-то мы услышали про честную девчонку, готовую умереть за свои убеждения, а ты еще ворчишь.

— Я снимаю перед ней шляпу, — сказал Видаль. — Что же сделали с Аревало?

— Избили до полусмерти. Предлагаю сходить в больницу и узнать, как он себя чувствует.

— Девчонка — предательница! — пробормотал Данте.

— У меня времени в обрез, — предупредил Видаль. — Давайте сейчас и пойдем. Согласны?

Едва он это сказал, как тут же укорил себя в малодушии. Ведь для него в этот момент нет ничего более важного, чем его обязательства по отношению к Нелиде, но как это объяснить друзьям? Они бы его поздравили, позавидовали его удаче, но отнеслись бы с неодобрением к тому, что он Нелиду воспринимает слишком всерьез, что ставит ее на одну доску с другом всей жизни.

— А меня вы проводите до дому, — сказал Данте. — Ей-Богу, так мне будет спокойней. Мне вовсе не хочется ходить в темноте по улицам в такие времена. Серьезно вам говорю.

## 37

Дружески беседуя, Видаль и Рей вышли из булочной и повернули налево, по улице Сальгеро. Данте смотрел на них с жалобным видом, как ребенок, готовый заплакать. Он подбежал к ним, схватил Рея за локоть, стал умолять:

— Почему не хотите проводить меня до дома?

— Отстань, — рявкнул Рей, отдернув руку. Но потом спокойно прибавил: — Надо же выяснить, как там Аревало.

— Не говори так громко. Ты обращаешь на себя внимание. Ну пожалуйста! — умолял Данте.

— Я родился в Испании, — объяснял ему Рей, — но этот город — мой город.

— Ну и что с того? — сказал Данте.

— Как это — что с того? Я в Буэнос-Айресе прожил дольше, чем эти сопляки, и им не удастся выгнать меня из моего дома.

— Превосходно сказано! — согласился Видаль. — То, что ты готов сражаться с мальчишками, это превосходно, но вот не поверил ли ты ложному слуху? Я бы из-за россказней Буяна не стал ссориться с Джими.

— Знаешь, я как услышу слово «донос», меня просто трясет.

— Не думаешь ли ты, — спросил Видаль с некоторым пафосом, — что ты стал жертвой новой тактики молодежных кругов — в данном случае племянника Буяна, — задумавших посеять раздор и вражду между нами?

— Психологическая война, — хмыкнул Данте.

— В том, что вы говорите, есть доля правдоподобия, — согласился Рей, — но, как бы то ни было, доносчика я не прощу.

— Как ты можешь себе вообразить, — настаивал на своем Видаль, — что Джими за какие-то пустые обещания оклеветал друга?

— Пустые обещания? — переспросил Рей.

— Чтобы убить Аревало, им вовсе не надо было отпускать Джими.

— Джими способен на все.

Данте опасливо оглянулся.

— Что меня тревожит, — признался он, — так это вид города — все как всегда, будто ничего не происходит.

—Тебе было бы спокойней, если б шла драка? — заметил Видаль.

— Вчера она была, — утешил его Рей. — Здесь, рядом. Возле отеля Виласеко. Какие-то парни из Молодежной группы пошли на штурм. Мой земляк, при поддержке верного Пако, держал оборону. Когда поражение уже казалось неизбежным, явилась подмога с наручниками, и крепость была спасена.

## 38

Трое друзей поднялись по парадной лестнице и вошли в вестибюль больницы. В полутьме они издали увидели что-то похожее на лежащую статую, покрытую простыней. Рей приблизился на несколько шагов, чтобы посмотреть.

— Что там? — спросил Данте.

— Старик, — ответил Рей.

— Старик?

— Да, старик на каталке.

— Что он там делает? — не унимался Данте, не двигаясь с места.

— По-моему, умирает, — ответил Рей.

— О, зачем мы живем! — простонал Данте.

— Все мы окончим свои дни в этой или в другой больнице, — патетически заявил Рей. — Лучше привыкать заранее.

— Я устал, — запричитал Данте. — Вы даже не представляете, как я устал. Я чувствую себя совсем старым. Смерть Нестора, нападение на нас в Чакарите без всякой причины, теперь вот Аревало — мне дурно от всего этого. Я боюсь. У меня нет сил это перенести.

Они подошли к окошку для справок в вестибюле.

— Мы хотели бы узнать об одном сеньоре. Его привезли вчера, — сказал Рей в окошко. — Сеньор Аревало.

— Когда он поступил?

— Мне здесь не нравится, — громко заявил Данте.

Видаль подумал: «Бедняга. Если я ему скажу, что мы его здесь оставим, он расплачется».

— Его привезли вчера вечером, — сказал Рей.

— В какую палату?

— Этого мы не знаем, — ответил Видаль. — На него напали, избили.

Тем временем Данте, вытащив челюсть, протирал ее пальцем и принюхивался.

— Что ты делаешь? — спросил Видаль.

— Да вот, болтается она, еда застревает и воняет, — объяснил Данте. — Да у тебя ведь тоже вставная челюсть. Вот увидишь, как это бывает.

— Вы родственники пострадавшего? — спросил господин среднего роста, лысый, с круглой головой, напоминавшей круглые порожние тыквы, в которых вырезают глаза, нос и рот. На нагрудном кармане его халата было вышито синими нитками «Д-р Л. Каделаго».

— Нет, не родственники, — ответил Видаль. — Друзья. Друзья детства.

— Это все равно, — быстро парировал врач. — Идемте, поднимемся.

— Скажите, доктор, — спросил Рей, — в каком он состоянии?

Врач остановился. Казалось, что он, поглощенный своими мыслями, смущен вопросом. Теперь уже Данте с нескрываемой тревогой осведомился:

— Ничего плохого не случилось?

Лицо врача помрачнело.

— Ничего плохого? Не понимаю, что вы хотите этим сказать.

— Наш друг Аревало... не умер? — пролепетал Данте.

— Нет, не умер, — заявил врач сурово и печально.

— Он в критическом состоянии? — еле слышно спросил Видаль.

Врач усмехнулся. Друзья приготовились услышать хорошую новость, которая их успокоит.

— Да, в критическом, — подтвердил врач. — Очень слаб.

— Какое несчастье! — огорчился Видаль.

Доктор Каделаго снова опечалился и сказал:

— Теперь мы располагаем средствами борьбы с подобными ситуациями.

— Но вы как думаете, доктор, он выживет? — спросил Видаль.

— Что до этого, — пояснил доктор, — то ни один профессионал, сознающий свою ответственность, никогда вам не скажет... — И зловещим голосом прибавил: — Средства контроля над такой ситуацией существуют. Несомненно, существуют.

Видалю внезапно вспомнилось, что он уже где-то встречал доктора Каделаго или кого-то другого, кто усмехался, когда был печален, — или же ему подобная встреча приснилась...

Следуя за врачом, который шел с удрученным видом, они направились к лифту.

— С этим типом не столкуешься, — прошептал Рею Видаль.

— Как мы можем столковаться, если мы в медицине ни бе ни ме? Ты пойми, мы живем в другом мире.

— К счастью.

«Человек идет по жизни с уверенностью, — подумал Видаль, — и даже в разгар войны предполагает, что беда произойдет с другими, но стоит умереть другу или услышать, что он, возможно, умрет, чтобы все вокруг стало ирреальным». Общий вид всего изменился, как в театре, когда осветитель поворачивает стеклянный разноцветный диск перед источником света. Сам доктор Каделаго, разлад между выражением его лица и его словами, его круглая голова вроде пустой тыквы, в которую вставляют зажженную свечу, чтобы ночью пугать ребятишек, казались чем-то фантасмагорическим. Видаль чувствовал, что он погружается в кошмар, вернее, пребывает в кошмаре. «Но ведь существует Нелида», — сказал он себе и сразу ободрился. Но тут же спохватился: «Впрочем, это еще неизвестно».

Снедаемый своими жалкими заботами, Данте возмущался:

— До каких пор мы будем здесь околачиваться? Мне здесь не нравится. Почему бы нам сразу не уйти?

Видаль подумал: «А он и вправду стар». Процесс старения ускорился, и очень мало чего осталось от прежних друзей: в последнее время они стали совсем другими, скорее даже неприятными людьми, с которыми продолжаешь общаться из верности прошлому.

Когда вошли в лифт, врач поинтересовался:

— Вам всем уже исполнилось шестьдесят?

— Мне еще нет, — мгновенно ответил Видаль.

Они вышли на пятом этаже. «Что здесь не очень приятно, — подумал Видаль, — в этом я с Данте совершенно согласен. Стоит вспомнить, что где-то там, снаружи, ты был свободен, становится тяжко, словно ты эту свободу потерял безвозвратно».

## 39

— Вот эта палата, — объявил врач.

По сторонам коридора находились небольшие палаты на две или четыре койки, отгороженные белыми перегородками. Едва они вошли, Аревало поднял руку. «Хороший знак», — подумал Видаль, и ему бросились в глаза широкие серые полосы, уродовавшие лицо друга. Вторая койка была свободна.

— Что с тобой случилось? — спросил Рей.

— Я пойду с обходом, — сказал врач. — Вы мне его не волнуйте. Разговаривайте, только смотрите не волнуйте мне его.

— Напали на меня, Рей. На одеяле подбрасывали, — объяснил Аревало.

Его лицо «украшали» два длинных синяка. Один, более темный, переходил под скулой в какую-то вмятину, другой, с багровыми пятнами, тянулся по лбу.

— Как себя чувствуешь? — спросил Видаль.

— Немного побаливает. Не только лицо, еще и почки. Когда я падал на землю, меня пинали ногами. Врач говорит, произошло внутреннее кровоизлияние. Дает мне вот эти таблетки.

Пузырек с таблетками стоял на ночном столике рядом со стаканом воды и часами. Видаль сказал себе, что механизм часов тикает с особым нетерпением; он вспомнил Нелиду, гнетуще торопливая секундная стрелка каким-то образом связалась в его уме с тоской по девушке, и вдруг ему стало очень грустно.

— Почему это случилось? — спросил Рей.

— Думаю, все было заранее подстроено. Меня поджидали. Сперва действовали неуверенно, потом расхрабрились.

— Как собаки, — сказал Видаль.

Аревало усмехнулся.

— Если бы та девчонка им не дерзила, они бы, наверно, тебя не побили, — заметил Данте. — Дело известное: провоцирует женщина. Всегда она виновата. Всегда от нее первая искра.

— Не преувеличивай, — сказал Аревало.

— Данте мне напоминает тех стариков, которым женский пол противен, — поддержал его Видаль. — И чем женщина моложе, тем она ненавистней.

— Что до меня, я не стал бы весь женский пол сажать на скамью подсудимых, — заявил Рей. — Только молодых.

— У молодых есть свои достоинства, — возразил Аревало. — Они бескорыстны. Причина? Быть может, отсутствие опыта или просто еще не успели пристраститься к деньгам.

— Наверно, они меньше гоняются за деньгами, потому что деньги только одна из многих радостей в их жизни, — философски заметил Видаль.

— Зато для стариков, — сказал Аревало, — деньги становятся единственной страстью.

— Единственной? — переспросил Видаль. — А ты забыл про чревоугодие, про всякие мании, эгоизм? Не подумал о том, как они трясутся над тем кусочком жизни, который им остался? Об идиотском страхе на лице, когда они переходят улицу?

— Всю молодежь я не осуждаю, — заверил Рей. — Если приведете мне девчонку, так я, черт возьми, слопаю ее всю целиком, с косточками, а если на меня нападут эти дрянные мальчишки, я готов врезать им как следует: и кулаками, и ногами.

— Если сможешь, это замечательно, — одобрил его Аревало. — Я догадался только защитить голову, и то отделался дешевле, чем мой сосед на второй койке.

— Она пустая, — заметил Рей.

— Он тут все говорил без умолку, но в сознание, видно, не пришел, — объяснил Аревало. — Рассказывал свои сны в бреду. Ему, мол, снилось, что он молод и вместе с друзьями сидит в кафе «Педигри», что на углу Санта-Фе и Серрано, обсуждают тексты танго. Он даже упоминал какого-то Тронхета, сочинявшего тексты на сельские сюжеты...

— А ты внимательно его слушал, — похвалил его Данте.

— Он что, сочинял тексты танго? — спросил Видаль.

— Предполагаю, что да, — ответил Аревало. — Без конца вспоминал танго «Обидчивый». Наверно, это был самый большой его успех. Бедняга двадцать раз повторял одно и то же.

— «Обидчивый»? Кто теперь помнит такую старину? — удивился Данте.

— Еще он говорил, — продолжал Аревало, — что тоскует по своей молодости. Бывало, с друзьями засиживались до утра, анализировали теорию текстов для танго или сюжет последнего сайнете[1] Иво Пелая. Говорил, что теперь люди беседуют о делах практических, а больше всего о ценах. Мне показалось, что в этот момент ум у него прояснился, но потом он опять стал бредить. А когда начал как-то странно дышать, его увезли.

— Куда? — спросил Данте.

— Умирать в одиночестве, — ответил Рей.

— Их увозят, чтобы они умирали одни, — объяснил Аревало, — чтобы не действовали на психику соседа по палате.

— Кафе, где они собирались, верно, было вроде нашего на площади Лас-Эрас? — спросил Видаль, словно разговаривал с самим собою.

— Как ты можешь сравнивать, че! — укорил его Аревало. — Тогда была другая атмосфера.

---

[1] Одноактная комическая пьеса.

— Когда же мы снова засядем за картишки? -- спросил Видаль.

— Скоро, — заверил его Аревало. — Так сказал мне врач. Мы-де присутствуем при последних судорогах, этому безобразию скоро конец.

— А если нас прикончат раньше? — спросил Видаль.

— Все возможно. Видимо, мы у них на примете. По крайней мере, в моем случае, думаю, все было заранее подстроено. Меня поджидали. Сперва действовали неуверенно, потом расхрабрились.

— Или я плохо слышу, или он повторяется... — пробурчал Данте.

Видаль поспешил задать вопрос:

— Скажи, Аревало, а с твоим соседом что случилось?

— Он, как и вы, пошел проведать друга, а когда возвращался домой, его и схватили возле гаража похоронной конторы.

— Хочу домой, — захныкал Данте. — Рей, прошу тебя, пойдемте со мной. Проводите меня. Я старый, поверьте мне, и как подумаю, что могут напасть, помираю от страха.

Его бледное лицо приобрело землистый оттенок. «Как бы ты здесь не помер», — подумал Видаль.

— Служащие гаража хотели затащить его к себе, — продолжал Аревало, — но тут появился постовой и увез его.

-- Было бы экономней оставить его там с похоронщиками, — высказал свое мнение Рей.

— Ты говоришь, его увезли отсюда умирать в одиночестве? — спросил Данте.

— А я не знаю, куда их увозят. Один санитар сказал мне, что их оставляют где придется. Санитар-то мальчишка, он, конечно, считает меня стариком и рисует мне самые мрачные картины, хочет запугать. Вот и сказал — их, мол, оставляют где придется, даже в вестибюле на нижнем этаже.

— Бедняга, — заметил Видаль. — Если он еще жив, кто знает, что ему снится.

— Это тот, которого мы видели, — охнул Данте. — Рей, я хочу уйти.

— Сейчас пойдем, — объяснил Рей. — Встал я спозаранок, чтобы присмотреть за работой в пекарне, а я, коль не посплю свои восемь часов, никуда не гожусь.

— И по пути меня проводишь? — спросил Данте умоляющим тоном.

«Меня ждет Нелида, — подумал Видаль, — а они тут меня задерживают. Этих двух стариков никто не ждет, и все же они не могут побыть лишнюю минуту с больным другом. Одного эгоизм гонит, другого трусость. Ничего нет хуже старости». И тут же себя одернул: «То, что я сижу с Аревало и еще не вернулся на улицу Гватемала, возможно, доказывает, что я тоже стар. Но нет, я знаю, что остаюсь здесь, чтобы дать время Нелиде, чтобы не вернуться раньше, чем она. Прийти в квартиру, где не будет Нелиды, было бы ужасно».

Снова появился врач.

— Прошу вас, сеньоры, не уходите пока. Я вас задержу на несколько минут. Или, по крайней мере, самого молодого из вас. Чтобы взять капельку крови на анализ. На случай, если придется делать вашему другу переливание крови. Это пустяк, один укольчик.

Врач включил свет и начал выслушивать Аревало. Тот, глядя поверх склонившейся к нему плеши, сказал:

— А у тебя, Данте, виднеются седые пряди. Придется еще разок покраситься.

Врач нервно почесал себе голову.

— Когда вы разговариваете, — пояснил врач, — мне щекотно.

— Не знаю, что ты там говоришь! — возмутился Данте. — Когда ты говоришь, словно тебя душат, я ничего не слышу.

— У меня ведь астма, — извинился Аревало. — Я сказал, что у тебя уже вид-

неются седые пряди.

— Что поделаешь! — скорбно согласился Данте. — Сам-то я на себе не вижу. И кто меня покрасит? В тот раз меня покрасил бедняга Нестор. Сам я не могу. Вы должны помочь мне. Это важнее, чем вы думаете.

— Никого ты не обманешь, — сказал Аревало. — По-моему, не худо быть немного фаталистом.

— Легко так говорить, — возразил Данте, — когда находишься в таком здании, это же настоящая крепость. А мне-то надо идти домой в полной темноте и переходить через улицы, а там темно, как в волчьей пасти.

— Никто тебя не гонит, — успокоил его Видаль.

— Я сейчас вернусь, сеньоры, — сказал врач. — Подождите меня, пожалуйста.

— Пойдем поскорей, пока он не вернулся, — взмолился Данте. — Исидро уже влип. Его сцапали под предлогом переливания крови. А мы тут не нужны. Не будем же мы держать доктора за руку. Если останетесь, вот увидите, он что-нибудь придумает, чтобы нас схватить. Воспользуемся тем, что его нет, и улизнем. Мне здесь не нравится.

— А кому нравится, — отозвался Аревало.

— Не думаю, что он станет нас ловить, — предположил Рей, — но все равно уже поздно, завтра мне рано вставать, а от нашего присутствия здесь никакой пользы. Исидро, разумеется, должен остаться.

— Конечно, — согласился Видаль. — А вам я советую уйти. Вы нам не нужны.

Рей открыл рот, но ничего не сказал. Данте, как капризный ребенок, тащил его за рукав, подталкивая к двери.

— Они ушли? — спросил Аревало.

— Ушли.

— Ты рассердился.

— Знаешь, они меня слегка возмущают.

— Не сердись. Вспомни, что всегда твердит Джими: с годами тормозящие органы ослабевают. Как у других бывает недержание мочи, так Данте не может сдержать страх.

— Данте слабак, но Рей? Такой крепкий мужчина...

— А он тоже перестал себя сдерживать. Не помнишь, как он в кафе тянет руку к арахису, весь прямо дрожит от жадности? Как многие старики, он тоже потерял стыд.

— Стыд? Да, ты прав. Однажды в отеле у Виласеко...

— От старости он стал отъявленным эгоистом. Уже и не скрывает этого. Его интересуют только собственные удобства и больше ничего.

## 40

— Значит, вы окажете мне эту услугу? — спросил Каделаго.

— Аревало говорил мне, доктор, — сказал Видаль, следуя за ним по коридору, — что этой войне скоро конец.

— Верите ли, — сказал доктор, печально покачав головой, — психиатрическое отделение не справляется с наплывом молодых. Все являются с одной и той же проблемой: у них боязнь притронуться к старикам. Настоящее отвращение.

— Отвращение? По-моему, это естественно.

— Даже не подают руки, вы представляете? И еще новый неоспоримый симптом: молодые идентифицируют себя со стариками. В ходе этой войны они поняли глубоко и болезненно, что каждый старик — это будущее кого-то молодого. Возможно, их самих! Еще один любопытный факт: у молодых неизменно развивается

следующее фантастическое представление: убить старика все равно, что совершить самоубийство.

— А не связано ли это скорее с тем, что жалкий, безобразный вид жертвы делает преступление неприятным?

— Всякий нормальный ребенок, — с некоторым ликованием объяснил доктор, — в какой-то момент своего развития становится потрошителем кошек. Я тоже этим занимался! Потом мы эти игры выбрасываем из памяти, мы их удаляем, извергаем. Вот и нынешняя война пройдет, не оставив следа.

Они вошли в небольшую комнатку. Видаль сказал себе: «Чтобы не раздражать это чучело, я заставляю Нелиду ждать меня и тревожиться!» Он клеветал на себя: он оставался здесь не из боязни кого-то рассердить, а ради возможности быть полезным своему другу Аревало. А может, на самом деле он пришел сюда из-за настояний Рея и теперь дает свою кровь лишь в угоду врачу? Да, для всего можно найти уйму объяснений, как доказывала докторша Исидорито.

— А потом я могу уйти, доктор?

— Вне всякого сомнения. После небольшого отдыха. Вы мне тут несколько минут отдохнете с полным удобством, на кушетке. Кто нас торопит?

— Меня ждут, доктор.

— Поздравляю вас. Не все могут сказать такое.

— Несколько минут, доктор? Сколько?

— Женщины и дети не сдерживают своего нетерпения, но мы, мужчины, научились ждать. Хотя нас абсолютно ничего не ждет, мы ждем.

— Потрясающая мысль! — заметил Видаль.

— Вот и прекрасно, — сказал врач. — Просто укольчик. Ну-ка, вы мне не двигайте ручкой. Дома вы мне выпьете чашку кофе с молоком да стаканчик фруктового сока и будете как новенький. Надо возместить потерю жидкости.

«Несомненно, Нелида уже у себя на улице Гватемала. А если она все же не вернулась?» — подумал Видаль, но отверг эту мысль, она была ему нестерпима.

— Готово? — спросил Видаль.

— Теперь вы закройте глаза и отдыхайте мне, пока я вас не подниму, — ответил Каделаго.

Почему бы не послать к черту этого субъекта и не уйти сразу? Видаль был утомлен, немного даже пал духом и не решился отказываться от предоставлявшихся ему отсрочек — одна за другой, каждая будет последней и очень короткой. Таким вот образом посещение больницы продлилось, превратилось в некий кошмар с бесконечным самооправданием и вспышками тревоги. В конце концов он, очевидно, уснул, потому что ему привиделась кучка парней — среди них он узнал убийц газетчика, — которые восседали на высоких подмостках, как некий грозный трибунал, куда его вызывали.

— Что случилось? — спросил он.

— Да ничего, — удрученно проговорил доктор Каделаго. — Я возвращаю вам свободу.

Видаль еще зашел в палату — проститься с Аревало.

## 41

Он полагал, что, вырвавшись на волю и направляясь на улицу Гватемала, почувствует огромную радость. Нетерпение смешало в его уме этот момент с другим, более отдаленным во времени и куда более желанным, — моментом встречи с Нелидой. Но едва он вышел за порог больницы, как понял, что такая встреча, хотя она и возможна, не бесспорна, и ему стало грустно. Желая избавить себя от разочарования, он заранее настраивался на худшее. По улице Сальгеро он вышел на улицу Лас-Эрас. Зачем связывать Нелиду с подыхающим животным? Никто из

них двоих ничего не выиграет: ее ждет разочарование, которое он может предвидеть, но не предотвратить... Рей и Данте внушили ему отвращение к старости. Ему показалось, что его чувство к друзьям уже не то, что прежде. Да и они стали не такими, какими были. «Со временем все изменяется. А больше всего — люди». Ему представлялись пережитые во сне, уже исчезающие картины — помост с судьями, на котором опьяненный гневом прокурор обвинял его в том, что он стар. Воспоминание об этом недолгом сне после сдачи крови вселило печаль. Нет, он не стал как новенький, он ощущал изрядную слабость и думал, что от печали вряд ли его вылечит фруктовый сок, о котором говорил доктор. Старость — горе безысходное, она лишает прав на желания, на стремления к чему бы то ни было. Откуда взять иллюзии для того, чтобы строить планы, если, осуществив эти планы, ты будешь уже не в состоянии ими насладиться? Для чего идти на улицу Гватемала? Лучше возвратиться домой. Но, к сожалению, Нелида будет его искать и потребует объяснений. Люди молодые не понимают, до какой степени отсутствие будущего лишает старика всего того, что так важно в жизни. «Болезнь — это еще не больной, — думал он, — но старик — это сама старость, и другого исхода, кроме смерти, у него нет». Предчувствие беспросветного отчаяния неожиданно его ободрило. Он ускорил шаг, чтобы поскорее прийти к Нелиде, прийти раньше, чем это ощущение, как воспоминание о сне, рассеется; именно потому, что он ее так сильно любит, он убедит ее, что любовь к такому старику, как он, — иллюзия.

Он услышал взрыв — возможно, где-то поблизости взорвалась бомба. Потом громыхнуло еще два раза. В стороне Ретиро[1], быстро распространяясь снизу вверх, багровое зарево окрасило небо.

## 42

Видаль включил свет, осмотрелся вокруг, заглянул в спальню, торопливо обошел всю квартиру. Вероятно, над ним подшучивают — вот-вот откуда-нибудь появится Нелида и его обнимет. Но вскоре он понял, что придется, видимо, примириться с мыслью, правдоподобие которой с каждым мгновением возрастало, что девушка не вернулась. Ситуация, сказал он себе, не слишком драматическая, он был уверен, что настанет день, и, вероятно, настанет скоро, когда он и не вспомнит об этой тревоге (если с Нелидой ему повезет), но пока, по причинам, которым он, не понимая их, покорялся, все это было невыносимо. «Нет, я ее не оставлю с этим ресторанным музыкантишкой», — заявил он.

Видаль вышел из дому, направляясь по улице Гватемала с намерением искать Нелиду и вернуть ее. Куда подевались унылое настроение, усталость, отчаяние, старость!

Он увидел такси, поднял руку и стал энергично махать, чтобы остановить машину.

— Везите меня на улицу Гомес, — попросил он, сев в такси. — Мне надо в заведение, которое называется «Салон Магента». Знаете такое?

Машина рывком тронулась с места и покатила на довольно большой скорости; Видаля на сиденье откинуло назад.

— Да, сеньор, знаю, такая танцулька. Вы правильно поступаете, надо развлекаться теперь, когда война на исходе.

— Вы так думаете? — спросил Видаль и тут же себя одернул: «Как это я не заметил? Он же молодой». Мгновенно представилось, как его выбрасывают в Сан-Педрито, как он падает на булыжники мостовой, теряет сознание от удара, и он горестно прошептал: «Если придется опять все повторить, горе да и только». Но вслух сказал равнодушно: — Она уже давно на исходе. — И, рассердясь на себя за такие слова, продолжал: — Я потерял друга. Друга всей жизни... Человека, каких

[1] Прибрежный район Буэнос-Айреса.

мало. Пусть мне объяснят, что выиграл мир, что выиграли преступники от этой смерти.

Увидев, что они едут по улице Гуэмес, в направлении к Пасифико, он сказал себе, что бояться нечего.

— Я понимаю ваши чувства, сеньор, — ответил таксист, — но при всем уважении к вам должен сказать, что вы подходите к этому делу не с той стороны.

— Почему?

— Потому что если бы люди клали на одну чашу весов благие результаты, а на другую — разрушения и страдания, то есть плохие результаты, никогда бы не было ни войн, ни революций.

— Но так как мы железные, страдания нам не страшны, — заметил Видаль и подумал: «Наверно, это один из тех студентов, которые работают, чтобы прокормиться». — Скажу вам больше. Я не верю в благие результаты этой войны.

— Я с вами согласен.

— И что дальше?

— Не судите о ней по результатам. Это протест.

— Я вас спрошу: что плохого сделал мой друг Нестор?

— Ничего, сеньор. Но ведь ни вам, ни мне не нравится, как все устроено. И есть люди, виновные в этом.

— Кто же они?

— Те, кто придумал этот мир.

— При чем же тут старики?

— Они представляют собой прошлое. Убивать своих предков или великих исторических деятелей молодые не идут по той простой причине, что те уже мертвы.

В пафосе, который таксист вложил в слово «мертвы», Видаль почувствовал враждебность. «Я не стану отрицать рассуждение только потому, что оно исходит от врага», — подумал он. И обругал себя: вместо того чтобы употребить всю свою волю и энергию на поиски, он опять встревает в разговоры, вовсе для него бесполезные. Если не вернет Нелиду — теперь он это ясно понял, — жизнь его кончена.

## 43

«Салон Магента» — просторный зал как бы в египетском стиле и с явным преобладанием цвета охры — был в этот вечер вторника почти пуст. Из желтых диванов, подвешенных на проволоке, звучала музыка, временами нежная, временами тревожная, повторяясь в назойливых вариациях. В большом круге танцевала одна-единственная пара, остальные посетители, три-четыре человека, сидели за разными столиками. Подходя к стойке, Видаль уже понял, что Нелиды в зале нет. Бармен беседовал с каким-то толстяком — возможно, здешним служащим или хозяином. Эти двое продолжали разговаривать, не замечая ни появления Видаля, ни его выжидающей позы. «Есть же такие тупоголовые люди, они видят только то, что у них под носом, будто зашоренные», — подумал Видаль и почувствовал, как в нем вскипает гнев, но вспомнил, что не может позволить себе такую роскошь: чтобы отыскать Нелиду, ему потребуется доброе расположение многих. В том числе этих двоих, которые невозмутимо продолжали беседу.

— А с ансамблем «Ла Традисьон» тебе удалось договориться?

— Как я тебе сказал.

— Они не ерепенились?

— С чего бы им ерепениться, этим шалопаям? Они еще должны нам заплатить за то, что мы разрешаем им играть. Ты себе представляешь, как это им важно для популярности?

— Но покамест, старик, на что они живут?

— Нам-то ведь тоже жить надо, вот и торчим здесь, потом обливаемся среди всех этих подносов да посетителей, а тут еще они со своими гитарами — в конце-то концов, им самим приятно играть.

Наступила пауза, которой воспользовался Видаль.

— Скажите, сеньоры, играет ли здесь трио под названием «Лос Портеньитос»? — спросил он.

— Да, по субботам, воскресеньям и по праздничным дням.

— А сегодня их не будет?

— Сегодня — нет. Для этих нескольких человек, — объяснил бармен, делая неопределенный жест в сторону зала, — не станем же мы приглашать целый оркестр?

Толстяк, видимо, снова забыв о Видале, повел речь о делах.

— Этих «Портеньитос» тоже надо бы поприжать. Пусть они артисты или кто они там, а слишком много зарабатывать им не след. Ради них самих. Чтобы не испортились вконец.

— Не знаете ли вы девушку, — спросил Видаль, — по имени Нелида?

— Какая она из себя?

— Среднего роста, шатенка.

— Словом, такая, как все они.

— Ее зовут Нелида, — настаивал Видаль.

— Я знаю одну Нелиду, только она блондинка, — сказал толстяк. — Она в булочной работает.

— Неужели вы думаете, уважаемый, — запротестовал бармен, — что я буду присматриваться к каждой женщине, которая здесь бывает? Да я бы уже от чахотки сгинул. Поверьте, почти все они друг на друга похожи: смуглые, волосы черные. Все из сельских краев. Провинция Буэнос-Айрес.

Если он не будет настойчив, то никогда ее не встретит. С притворной беспечностью Видаль спросил:

— Постарайтесь вспомнить, сеньоры. Держу пари, что вы ее знаете.

— Нет, не припомню.

Видаль сделал еще одну попытку. Быстро, как будто слова его обжигают, он проговорил:

— Она была невестой некоего Мартина из трио «Лос Портеньитос».

— Мартина, — медленно повторил толстяк. — С ним вы сможете поговорить.

— Не беспокойтесь, — заверил бармен. — В эту же субботу.

— А где находится «Ла Эскинита»? — спросил Видаль.

Они его уже не слушали.

— Да здесь, близко, — соизволил наконец ответить толстяк. — За углом.

## 44

Зал в «Ла Эскинита» был светлый, с белеными стенами. Видаль с порога окинул его взглядом: там был всего один посетитель — худощавый мужчина, дувший на чашку, которую держал обеими руками. «Здесь спрашивать нечего», — сказал себе Видаль и пошел дальше по улице Гуэмес.

В «FOB» надо было спуститься по довольно узкой винтовой лестнице. Это заведение походило на угольную шахту — крошечный зальчик, а главное, темный. Если Нелида здесь, она успеет скрыться прежде, чем его глаза привыкнут к этому полумраку. Но зачем приписывать Нелиде желание, противоречащее его желанию? Девушка относилась к нему с неизменным великодушием, а он-то, возможно, потому, что близок к отчаянию, боится, что ее любовь окажется чувством ненадежным, что она может разгневаться на такого дурня, как он, неспособного владеть своими нервами, сидеть дома и ждать, как было условлено... На всякий

случай лучше не двигаться с места, пока не привыкнет к темноте. Он стоял, держась левой рукой за лестничные перила, пытался разглядеть лица посетителей и говорил себе: «Хоть бы на меня не обратили внимания. Не стали предлагать сесть за стол». И, конечно, он был взволнован: когда чья-то рука легла на его руку, сердце его отчаянно забилось. По другую сторону перил стояла едва видимая в темноте женщина и смотрела на него. «Пока глаза не привыкнут к темноте, я не пойму, кто это. Скорее всего, Нелида. О, хоть бы это была Нелида». Это была Туна.

— Что ты тут делаешь? — сказала Туна. — Может, сядешь со мной?

Он пошел за ней. Теперь он уже кое-что различал, мрак словно бы рассеялся.

— Что будете пить? — спросил официант.

— Ты не возражаешь? — сказала Туна. — Если мы ничего не закажем, они будут злиться. Мы скоро уйдем.

— Заказывай что хочешь.

Он был уверен, что Нелиды здесь нет. Спросил себя, сказать ли правду или не говорить, и, еще не решив, объяснил:

— Я тут ищу одну свою приятельницу, ее зовут Нелида.

— Брось шутить.

— Почему?

— Да потому. Во-первых, это невежливо, а потом...

— Не понимаю.

— Как это — не понимаю? Один момент умопомрачения, и потом всю жизнь будешь раскаиваться.

— Я же не какой-нибудь вертопрах, че.

— Это конечно. Но бывает, попадаешь в такое положение, что не можешь с собой справиться. Приходит человек, вот как ты, с самыми благими намерениями, и вдруг застает ее в объятиях другого и теряет голову. Может и такое случиться.

— Не думаю.

— Не думаю, не думаю! Почему? Потому, что она святая? Если будешь про нее спрашивать, даже самый отпетый негодяй не скажет тебе, что ее видел, хотя бы она только что ушла.

— А если человек ищет, потому что любит?

— Как тот, который нацарапал «Анхелика, я тебя всегда ищу» на стене в отеле Виласеко? Народ теперь, знаешь ли, осторожный, никому не хочется осложнений, и все одобрят того, кто промолчит.

— Мне надо поговорить с девушкой, которую зовут Нелида, а если не с ней, то с неким Мартином.

— Оставь их, пусть вместе развлекаются, а ты приходи в тот отель, что в соседнем квартале. Там тебе предоставят все удобства. Даже современную музыку.

— Не могу, Туна.

— В нынешнее время не рекомендуется оскорблять молодых женщин.

— Я не хочу тебя оскорбить.

Туна улыбнулась. Он похлопал ее по плечу, расплатился и ушел.

## 45

Видаль сказал себе, что надо поскорее идти на улицу Гватемала. И, подкрепляя это решение, прибавил: «Возможно, она меня ждет». Затем представил себе пустые комнаты и подумал, что сперва зайдет к себе домой и спросит у Антонии, не знает ли она что-нибудь о Нелиде. Хотя они провели вместе всего несколько часов, он уже привык к счастью совместной жизни. И улица Гуэмес, по которой он направился, словно бы ненормально удлинялась; тротуар под ногами был слишком тверд, а картины и лепнина на фасадах нагоняли тоску. Мысли о Нелиде были

как талисман против уныния, но также они были связаны со страхом ее потерять. Чтобы отогнать печальные размышления, он вспомнил Туну и неосознанно понял поведение Рея, когда тот обманом привел его в дом свиданий; молодые парни и старики хвалятся женщинами (потому что «уже» или потому что «еще» их имеют). Рей, конечно, был не прочь втянуть его в пантомиму с Туной, чтобы он потом не насмехался. Быть может, один из немногих уроков жизни — то, что не надо ломать старую дружбу, если ненароком узнаешь о какой-нибудь слабости или даже пороке друга. Живя в многонаселенном доме, он обнаружил, что каждый человек при близком общении отталкивающе слаб, однако в сложных ситуациях жизни и смерти как-то держится. Также подумал он о том, что судьба беспристрастно несправедлива и что он не должен испытывать гордость, должен только благодарить ее за то, что ему досталась Нелида вместо Туны.

Чтобы не терять времени, он даже не зайдет в свою комнату. Исидорито, если его увидит, задержит вопросами — где ты был да почему не остался, — и будет неудивительно, если они повздорят. «У собственного отца любовь завелась — кого это не разозлит? Бегает за женщиной как мальчишка. Конечно, Нелида не такая, как все. А может быть, бедный мальчик тревожится, думает, что со мной случилась беда. Хотя эта модная мания ненависти к старикам сильно его изменила. В те ночи, когда он прятал меня на чердаке, он, разумеется, старался меня уберечь от беды, но обращался со мной с возмутительным неуважением».

Приблизившись к дому, Видаль умолк, опасаясь, что какой-нибудь знакомый может услышать его монолог. Осторожно открыл дверь, вошел в дом. Возможно, потому, что он вошел крадучись, как вор, или потому, что прожил день в доме Нелиды, или потому, что сам он изменился, ему почудилось, будто изменился вид их двора. Двор показался ему унылым, как и фасады домов вдоль улицы. Все они здесь напоминали ему какие-то другие дома причудливой и мрачной кирпичной кладки — где ж он их видел, вероятно во сне.

Видаль прошел в первый дворик, постучал в дверь, подождал. Вдруг он услышал, что внутри чей-то приглушенный голос повторяет: «Здесь я хозяйка, здесь я хозяйка, здесь я хозяйка». Ага, от расстройства он по ошибке постучал в дверь доньи Далмасии. Теперь он постучал к Антонии. Мелькнула мысль: «Если она Нелиду не видела, то решит, что мы поссорились, сколько бы я ни уверял в обратном. А если видела, то сообщит мне плохие новости». Услышать плохие новости о Нелиде у него не было сил.

— Ой, это ты? Прости, что вышла в таком виде, — извинилась Антония, поправляя платье. — Я как раз собиралась лечь. Как хорошо, что ты пришел. Ты ее встретил?

То, что Антония обращалась к нему на «ты», Видаль истолковал как добрый знак и сказал себе: «Она говорит мне «ты» потому, что она на «ты» с Нелидой, а я теперь часть Нелиды».

— Нет, я ее не встретил.

— Да что ты? В такой поздний час бедная девочка, наверно, с ума сходит. Она искала тебя у булочника, у всех этих дурных стариков, твоих друзей. Даже в дом покойного ходила и в больницу.

— Я не знаю, где ее искать.

— А покамест ты переполошил весь дом, все тебя ищут. Исидорито — а его, знаешь, не так легко встревожить — начал беспокоиться, вышел из дому тебя искать, надеется, что встретит.

— Он пошел вместе с Нелидой?

— Да нет, они отправились в разные стороны. Кажется, он пошел в один из гаражей Эладио — не тот, что на улице Виллингурст, а тот, что на улице Аскуэнага, знаешь, напротив кладбища Ла Реколета — туда наш галисиец отправляет стариков «на голгофу».

— Какой ужас! Девочка одна ходит по улицам.
— Она-то не даст себя в обиду, че.
— Хоть бы с ней ничего не случилось по моей вине.
— А надо было оставаться дома, как она велела.

## 46

Свернув на улицу Висенте Лопес, он увидел купола и ангелов, высящихся над оградой Ла Реколеты, и с досадой обнаружил, что в этот вечер все дома кажутся ему склепами. Ограда со стороны улицы Гидо была сломана, будто ее взорвали. На улице валялись куски цемента, кучки земли, щепки, обломки крестов и статуй. С Видалем заговорил старичок невысокого роста, дряхлый, совершенно седой, с большой головой, он едва удерживал на поводке дрожащую собачку.

— Варварство, — сказал он голосом, дрожавшим не меньше, чем его собачка. — Вы слышали бомбы? Первая взорвалась прямо в Приюте для стариков. Вторая — вот видите, что наделала. Представьте себе, сеньор, что было бы, если бы мы вышли на прогулку чуть раньше. Только вообразите.

Собачка яростно принюхивалась. Видалю внезапно почудилось, будто вся печаль кладбища изливается через пролом в ограде и он впитывает ее всеми порами; он даже прикрыл глаза в полуобморочном состоянии. И он подумал, что эта печаль, вероятно, примета большого несчастья. «Но, — сказал он себе, — очень странно, несчастья-то не случилось». Вспомнив о Нелиде, он взмолился: «И пусть ничего не случится».

У тротуара стоял красный грузовик, разрисованный белыми узорами. Видаль прошел мимо него в гараж, ища Эладио или какого-нибудь рабочего, прочел вывеску «Посторонним вход воспрещен» и тут же забыл, что прочел, — он был настолько утомлен, что все сразу забывал, словно во сне. На фоне стоявшего в глубине ряда автомашин показалась фигура с поднятыми вверх руками. Видаль, все еще в странном полузабытьи, услышал, что ему кричат:

— Старик!

На какой-то миг он понял этот крик как обвинение, но сразу же узнал голос сына. Он увидел, что его мальчик с поднятыми руками бежит к нему. «Он рад, что меня увидел. Как странно», — подумал он без всякой иронии и без малейшего предчувствия, что очень скоро раскается в подобной мысли. Произошло непонятное смещение образов. Он увидел огромную машину, услышал вопль, услышал звон и лязг сыплющихся осколков и кусков металла. Затем наступил момент полной тишины — вероятно, от столкновения мотор заглох, — и наконец он понял: грузовик наехал на Исидорито, прижал его к автомобилю в глубине. Дальше все перемешалось, словно Видаля напоили допьяна. Возникавшие образы сохраняли свою яркость, но представали без какого-либо порядка. Внимание Видаля было приковано к некоему подобию арлекина, распластанного на одном из автомобилей. Грузовик медленно и очень осторожно пятился назад. Видаль понял, что к нему обращаются. Водитель грузовика объяснял ему с почти любезной улыбкой:

— Одним предателем меньше.

Если с ним будут разговаривать, подумал Видаль, он не услышит ни стонов, ни дыхания сына. Теперь его кто-то обнял и говорил:

— Не смотрите. — Видаль узнал голос Эладио. — И наберитесь мужества.

Поверх плеча Эладио он увидел на земле упавшие с грузовика овощи, и битое стекло, и кровавое пятно.

## 47

*Несколько дней спустя*

Сидя на скамейке на площади Лас-Эрас, друзья грелись на солнце.

— Они уже не боятся показываться на людях, видишь? — заметил Данте.

— Так и есть, — откликнулся Джими. — На площади целая толпа стариков. Не скажу, что это ее украшает, но, по крайней мере, мы можем жить спокойно.

— Я нахожу, что молодежь держится более вежливо и степенно, — заявил Аревало. — Как будто...

— Вот было бы неприятно, если б им вздумалось на нас напасть, — прервал его Данте.

— Знаете, что мне сказал один парень? — спросил Джими. — Что эта война была кампанией, которая провалилась в своей основе.

— Когда ты говоришь, отвернувшись в другую сторону, я тебя не слышу, — предупредил Данте.

— А знаете, почему она провалилась в своей основе? — продолжал Джими. — Потому что война-то была необходима, но люди идиоты.

— Идиотами всегда были молодые, — заявил Рей. — Как можно предполагать, что у человека неопытного есть мудрость и что с годами она исчезает?

— Мудрости нет, есть честность, — промолвил Аревало. — У юности нет недостатка в добродетелях. Из-за того, что они еще не успели набраться опыта, они не пристрастились к деньгам...

— Идиотская война в идиотском мире, — подытожил Рей. — Любой болван может тебя обозвать стариком и прикончить.

— Когда ты говоришь так, будто у тебя полный рот, я тебя не понимаю, — с раздражением сказал Данте.

Видаль сидел рядом с ним на краю скамейки. «Данте не слышит, остальные заняты разговором, — подумал он. — Улизну». Он быстро повернулся, встал, пересек газон, перешел улицу. «Не знаю, что со мной, но они мне невыносимы. Все невыносимо. А теперь — куда пойти?» — спросил он себя, точно у него был выбор. Неужели ради того, чтобы не расставаться с этими друзьями, он откажется от встречи с девушкой? Смерть Исидорито выбила его из колеи, отшибла охоту ко всему.

Он заметил, что на него с удивлением смотрит какой-то мальчик.

— Не бойся, — сказал он, — я не сумасшедший, я старый и разговариваю сам с собой.

Войдя в свою комнату, он подумал, что только рядом с Нелидой жизнь будет переносимой. Сейчас он вынет из чемодана часть ненужных вещей, этих жалких реликвий, которые он хранил как память о прежних временах, о родителях, о детстве, о первой любви, и без сожаления их сожжет, оставит только свою лучшую одежду (там он должен появиться во всем самом лучшем) и окончательно переберется на улицу Гватемала. С Нелидой он начнет новую жизнь, без воспоминаний, отныне неуместных. Лишь теперь он заметил радиоприемник. «Наконец-то Исидорито позаботился», — сказал он. Произнеся имя сына, он замер, словно вдруг увидел что-то непонятное. В дверь постучали. Видаль вздрогнул — возможно, от страха или от недоумения, кто бы это мог быть. Это была Антония.

— Собираешься уходить? — спросила Антония. — Ты не поверишь, но она тебя еще ждет. Откуда у нее такое терпение?

— Я еще ничего не решил, — ответил он искренне.

— Сказать, что я думаю? Ты похож на капризного юнца.

— Второе детство.

— Ах, говорить с тобой — время терять. Пойду погуляю. — Помолчав, она прибавила: — С моим женихом.

Оставшись один, он подумал: «Эти двое, дядя и племянник, очень даже вино-

ваты. А что я могу им сделать? Ничего». Сменив тему, стал рассуждать дальше: «Для мужчины вроде меня решение проблемы — женщина вроде Туны. Пусть не думают, что смерть Исидорито, — тут он прикусил себе губу, но все-таки продолжил фразу: — сделала меня пессимистом: теперь я вижу жизнь как она есть. Какое-то время человек волен делать то, что ему нравится, но когда ты подходишь к границам, поставленным тебе жизнью, напрасно думать, что будешь счастлив, потому что тебе повезло, тебя любят». Со злостью он представил себе любовь, как ее карикатурно изображал один пьянчуга, почти безголосый, в старом магазине на углу улиц Бульнес и Парагвай: кривлянье жеманного мальчишки. Вспомнил последние дни своего отца. Хотя он, Видаль, не отходил от его постели, он чувствовал, что отец одинок, что к нему не пробьешься. И ничем не мог помочь ему, только время от времени обманывал... Теперь подошла его очередь уйти, а если он вернется на улицу Гватемала, ему придется обманывать Нелиду и говорить ей, что все будет хорошо, что они счастливы, что ничего плохого не может с ними произойти, потому что они любят друг друга. И снова он прикусил губу, потому что у него вырвалось: «Докторша Исидорито была права: надо видеть жизнь как она есть». Он зажег газ и принялся греть воду для мате.

## 48

Чтобы побриться, Видаль воспользовался водой, оставшейся от мате. С нарочитой медленностью, как если бы это бритье было для него испытанием, обязательным экзаменом, тщательно побрился. Сняв мыльную пену с волосами, провел по лицу проверяющей ладонью и остался доволен. Переменил белье, слегка прибрал комнату, накинул на плечи пончо, выключил свет, взял кольцо с ключами и вышел.

Шел он быстрым шагом, не глядя по сторонам. И, словно желая его отвлечь, улица очень скоро преподнесла ему сюрприз. Сворачивая на улицу Сальгеро, он встретил Антонию и ее жениха — но то был уже не племянник Больоло, а Фабер.

— Вы меня не поздравляете? — со слюнявой ухмылкой спросил старик своим повизгивающим голосом.

— Поздравляю обоих, — не останавливаясь, бросил Видаль и сказал себе, что вопрос, считать ли такой союз постыдным или же нет, нисколько его не волнует.

Он уже подходил к дому Нелиды, как вдруг несколько мальчишек, прыгавших на одной ноге по тротуару, преградили ему дорогу.

— Не уходите, сеньор, — обратились они к нему. — Мы играем в военных корреспондентов. Мы просим сообщить ваше мнение о заключенном мире.

— А почему вы скачете на одной ноге?

— Мы раненые. Вы нам скажете ваше мнение?

— Сейчас мне некогда.

— Можно вас подождать?

— Ждите.

Он толкнул железную калитку, прошел по садику, вошел в дом, быстро поднялся по лестницам. Увидев его, Нелида кинулась его обнимать.

— Наконец-то! — воскликнула она и расплакалась. — Почему ты не приходил? Из-за того, что случилось? Какое несчастье, дорогой мой! Я тебе была не нужна? А я, когда мне грустно, хочу, чтобы ты был рядом. Ты очень страдал? Ты меня не любишь? Я тебя люблю, знаешь? Люблю, люблю...

Казалось, Нелида никогда не умолкнет — восклицания, протесты, стоны, вопросы сыпались безостановочно, пока Видаль твердой рукой не втолкнул ее внутрь, в спальню, и не уложил на кровать.

— Дверь открыта, — пробормотала Нелида.

— Потом закроем, — ответил Видаль.

## 49

— Пойду закрою дверь, — объявила Нелида. — А ну, угадай, о чем я думаю! Я бы очень хотела, чтобы нас видели. Пусть знают, как ты меня любишь.

— Я голоден, — сказал Видаль.

— Ты обнимал меня так, будто хотел съесть. Пойду приготовлю ужин. А ты покамест вздремни.

Последнюю фразу Видаль, вероятно, не слышал — он сразу же уснул. И, как бывает в сказках, по пробуждении его ждало пиршество: накрытый скатертью стол с салфетками, два блюда, десерт, красное вино.

— Тебя не узнать! — воскликнула Нелида.

— А что такое?

— Не знаю, но сегодня у тебя такой бодрый вид, просто чудо.

— Тебе не нравится?

— Напротив. Мне кажется, как будто ты впервые со мной весь, целиком. Теперь у меня такое чувство, что я могу на тебя положиться. — Едва произнеся это, Нелида встревожилась: — Ты же останешься, правда?

— Нет, — ответил Видаль. — Пока у меня есть дела.

— А сегодня вечером вернешься?

— Если смогу, вернусь.

Он поцеловал ее.

— Возьми пончо, — сказала Нелида. — Похолодало.

Вместо мальчишек он, выходя, увидел группу парней, построившихся в два ряда — один вдоль домов, второй по обочине тротуара. Когда он шел между ними, один из парней стал напевать:

Как весело живется беспечному гуляке.

— Предупреждаю вас, все это уже закончилось, — сказал Видаль, не останавливаясь.

В кафе на площади Лас-Эрас друзья встретили его шумными приветствиями.

— Вместо Нестора теперь Эладио, — сообщил Данте.

Сам Джими согласился, что в этот вечер Видаль играл хорошо. Что до остальных, то Джими, как всегда, отличался смекалкой, Рей — жадностью к оливкам и арахису, Аревало — иронией, Данте — медлительностью и глухотой. Таким образом, все было в порядке, и когда Эладио сказал, что очень приятно находиться в таком обществе, он выразил общее мнение. И все же, поскольку команда Видаля выигрывала все партии, проигрывавшие не преминули посетовать на то, что некоторым очень уж везет. Играли допоздна. Потом Рей спросил:

— Ты куда идешь, Исидро?

— Не знаю, — ответил Видаль и решительно направился в темноту — он хотел побыть один.

■

# ХОРХЕ СЕМПРУН

## *Писать или жить*

Главы из книги

*Перевод с французского и вступление И. КУЗНЕЦОВОЙ*

Почти всю свою молодость — пока его не исключили в 1964 году из испанской компартии — Хорхе Семпрун, известный писатель, бывший узник Бухенвальда, занимавший некоторое время в правительстве Ф.Гонсалеса пост министра культуры, прожил, меняя фальшивые паспорта. Атмосфера революционной романтики, отчасти напоминающая прочитанные в детстве книги, была реальной атмосферой его жизни. Он нелегально пересекал границы, работал в подполье, уходил от слежки, скрывался под вымышленными именами.

Начал он этот путь с участия в движении Сопротивления во Франции, куда родители увезли его из Испании в 1938 году, после поражения Республики, и где он до войны продолжал учиться — сначала в лицее, потом на философском факультете Сорбонны. В 1943 году двадцатилетний Семпрун был арестован гестапо и отправлен в Бухенвальд. После войны, живя во Франции, он периодически вел нелегальную работу во франкистской Испании, стал одним из руководителей компартии и в 1956-м вошел в ее Политисполком. Эту часть своей жизни Семпрун описал в книге «Автобиография Федерико Санчеса» (1977) — таков был его главный партийный псевдоним, не считая еще нескольких, под которыми он выходил на связь с рядовыми подпольщиками.

Начало писательской деятельности Семпруна странным образом совпало с концом партийной (первый его роман «Долгий путь»[1] вышел в 1963 году). На смену перевоплощениям из уругвайского туриста во французского коммерсанта или наоборот, совершавшимся обычно в туалетной комнате на очередной границе, пришла потребность вновь стать самим собой, вернуться к своему прошлому. Романы Семпруна о Бухенвальде или о бывших узниках Бухенвальда («Долгий путь», «Какое прекрасное воскресенье!», «Белая гора») — это как бы этапы его продвижения в глубь памяти, обратный путь от меняющего имена партийца-нелегала к безымянному заключенному № 44904.

В первые годы после войны, стремясь снова окунуться в жизнь, быть «таким, как все», он гнал от себя лагерные воспоминания. Наконец они прорвались в «Долгом пути», потом в следующих книгах. Быть как все не получилось. «Я не ускользнул в Бухенвальде от смерти. Не избежал ее, — говорит Семпрун в книге «Писать или жить». — Я прошел через смерть от начала до конца. Я, в сущности, привидение».

«Писать или жить» (1994) — своего рода итог его непрестанной борьбы с собственной памятью. Первоначальное название было «Писать или умереть», но в процессе работы Семпрун изменил его на прямо противоположное, потому что именно так — писать или жить — стоял для него вопрос после освобождения. Писать о Бухенвальде было равносильно смерти, писать о другом он не мог. Теперь, полвека спустя, он с азартом охотника прослеживает замысловатый путь возвращающихся картин прошлого. Но это не просто воспоминания бывшего заключенного о лагере, это воспоминания обо всей жизни, прошедшей после Бухенвальда, о попытках, не всегда успешных, вновь ощутить окружающий мир не как грезу узника, а как реальность.

Семпрун с самого начала старается сломать стереотип «лагерного» рассказа, от которого кровь должна застыть в жилах. «Это расскажут и без меня», — сразу объявляет он. Ему важнее рассказать о показанных в Бухенвальде фильмах, о прочитанных там книгах, о философских и литературных спорах в лагерных бараках, о тайно созданном джаз-оркестре. Каждое событие его жизни связано в книге с именами и образами, составляющими культурный багаж современного человека: воспоминания о лагере — с Брехтом, Кантом, Шлегелем, Джакометти, освобождение — со стихами Рене Шара, любовь в Локарно — с Бакуниным, чей зонтик случайно остался когда-то в доме, где живет любимая девушка, исключение из партии — с Кафкой и Миленой, поскольку дело происходит в Праге.

Главный центр, к которому тянутся все ниточки воспоминаний, — это первые дни после освобождения Бухенвальда (опять-таки дни счастья, а не дни страданий). Когда американские части, шедшие к Бухенвальду, были уже близко, заключенные подняли в лагере восстание, к которому долго готовились: собирали оружие, отрабатывали действия каждого отряда. 11 апреля 1945 года к трем часам дня все сторожевые вышки и ад-

---

[1] В русском переводе С.Тархановой и Ю.Яхниной опубликован в 1989 г. (Библиотека «ИЛ»).

министративные здания лагеря перешли к восставшим. Потом вооруженные победители в полосатых робах двинулись к Веймару, где встретились с танками Паттона.

«Похоже, американцы чертовски струсили при виде сотен ходячих скелетов — русских и немцев, испанцев и французов, поляков и чехов, — с оружием в руках сторожив-ших подступы к Веймару» («Долгий путь» ). После радостной встречи толпу заключенных вернули в лагерь ждать репатриации. Бухенвальд был освобожден.

Общаться в Бухенвальде с русскими Семпруну мешал, скорее всего, языковой барь-ер, поэтому он говорит о них очень мало. Но если в «Долгом пути» мужественная смерть советского военнопленного описана в героических тонах, то в книге «Писать или жить» столкновение с «загадочным русским характером» служит поводом для размышлений об иллюзиях той поры, когда казалось — и не только одному Семпруну, — что при социализ-ме человеческая натура должна достичь идеального совершенства.

Разрыв с коммунизмом помешал Семпруну войти в круг писателей, переводивших-ся у нас до «эпохи гласности». Да и не мог рассчитывать на это автор, исключенный из компартии легендарной Пассионарией за ревизионизм. После исключения Семпрун со-хранил левые убеждения, но о своей партийной деятельности высказывался беспощад-но. «Я испытываю чувство неловкости и даже некоторой брезгливости, когда думаю об этой части моего прошлого. Нелегальные передвижения по Европе, вера в светлое буду-щее, политическая ангажированность, подлинное братство борцов-коммунистов и фальшь идеологических дискуссий — все, что составляло некогда мою жизнь и было трагическим горизонтом нашего века, сегодня попахивает нафталином. Старо и смешно».

Перестав заниматься политикой, Семпрун остался писателем политизированным. Названия некоторых его романов — «Вторая смерть Рамона Меркадера» (имеется в виду убийца Троцкого), «Нечаев вернулся»[1] (о современном терроризме) — говорят об этом достаточно красноречиво. Знаменитые кинокартины, снятые по его сценариям режиссе-рами Аленом Рене и Коста-Гаврасом — «Война окончена», «Дзета», «Признание», — важ-ные вехи политического кинематографа 60—70-х годов.

Книга «Писать или жить» тем не менее вне политики. Написанная, как и почти все, что вышло из-под пера Семпруна, по-французски, она имела во Франции огромный ус-пех. Читатели литературного журнала «Лир» в ответ на предложение редакции назвать 20 лучших книг за 20 последних лет, отдав первое место роману Умберто Эко «Имя розы», на второе поставили «Писать или жить».

Ниже мы публикуем две главы из этой книги.

## Глава третья

## *Белая полоса*

Я остановился, посмотрел на могучие деревья по ту сторону колючей проволо-ки. Над лесом светило солнце, листву шевелил ветер. Вдруг за плацем послы-шалась музыка. Где-то там заиграл аккордеон. Это был не шлягер, не мелодия для танцулек. Это было совсем другое: играл наверняка кто-то из русских. Только рус-ские умеют извлекать из аккордеона такую музыку, ломкую и неистовую, какой-то неудержимый вальс: волнение берез под ветром, колыхание хлебов в неоглядной степи.

Я сделал несколько шагов в ту сторону. Огромный плац был залит солнцем и пуст. Я взглянул на Сталина: он словно ждал меня.

Его портрет, во всяком случае.

На следующее утро после освобождения, 12 апреля, вернувшись в лагерь из нашего ночного похода на Веймар, мы обнаружили Сталина. Его гигантский, не-вероятно похожий портрет расцвел здесь за ночь. Он красовался на одном из рус-ских бараков у плаца, со стороны столовой.

Сталин невозмутимо смотрел на нас. Не был забыт ни единый волосок в усах. Ни одна пуговица на строгом френче генералиссимуса. За одну ночь, первую ночь свободы, еще не вполне надежной, неизвестные художники создали этот колос-сальный портрет: самое меньшее, три метра на пять. Мы чуть не вскрикнули, уви-дев его. Сходство было поразительное, пугающее.

---

[1] «ИЛ» предполагает опубликовать этот роман в одном из ближайших номеров.

Значит, молодые русские — впрочем, все русские в Бухенвальде были молодыми — почувствовали острую потребность потратить первые часы свободы на портрет Сталина, огромный и реалистический, пожалуй, даже сюрреалистический за счет чрезмерного реализма. Как первобытные народы ставили идола у входа в деревню, так русские вывесили на одном из своих бараков чудотворную икону генералиссимуса.

В то утро — не двенадцатого апреля, когда мы обнаружили портрет Сталина, а в какое-то другое, между четырнадцатым и девятнадцатым, в один из этих незабываемых дней, — я проснулся оттого, что кто-то настойчиво звал меня.

Резкий и, как мне показалось, повелительный голос шел из репродуктора: он выкрикивал мою фамилию. Спросонок у меня в голове все спуталось. Я решил, что мы еще под властью эсэсовцев. В моем затуманенном сознании мелькнула мысль, что меня вызывают к воротам лагеря. Вызов к воротам — это было плохо. Несколько недель назад к воротам вызвали Анри Фраже. Он не вернулся.

Но на этот раз за моей фамилией не последовал обычный приказ: «Sofort zum Tor!»[1] Меня вызывали не к воротам, под вышку с часовым, а всего-навсего в библиотеку. К тому же голос выкрикивал не мой лагерный номер, а мою настоящую фамилию. Он вызывал не заключенного № 44904 — Häftling vierundvierzigtausendneunhundertvier, он вызывал товарища Семпруна. Я был уже не «Häftling»[2], а «Genosse»[3].

Тут я проснулся окончательно.

Тело расслабилось. Я вспомнил, что мы свободны. Острое чувство счастья наполнило меня, пронизало всю душу. Я вспомнил, что у меня на этот день был некий план. Не только всегдашний, глобальный, почти бредовый в своей несбыточности — выжить, не умереть еще и сегодня, — но и план вполне конкретный, не столь грандиозный, зато реальный, тогда как тот план был чистой фантастикой.

Я собирался выйти из лагеря, дойти до ближайшей деревни, расположенной в нескольких сотнях метров на зеленой и тучной равнине Тюрингии. Я обсуждал это накануне с друзьями. Мы решили, что там, в этой немецкой деревне, наверняка есть родник. Нам хотелось попить наконец чистой, свежей воды, потому что в лагере вода была отвратительная.

Были у меня и другие планы на этот начинавшийся день, чьи шумы я лениво ловил, лежа на соломенном тюфяке в своем сороковом блоке.

Иржи Зак сказал мне, что они хотят устроить джазовый концерт, просто так, ради собственного удовольствия. Они — это музыканты-джазисты, которых Зак собрал вокруг себя за эти два года. Сам он был ударником. На саксофоне играл серб Маркович, настоящий талант. А трубачом они взяли одного норвежца, этот был просто гений. Когда он играл «Stardust»[4], нас дрожь пробирала. Эсэсовцы, разумеется, ничего не знали о существовании этого джаза, для которого мы не без риска добыли инструменты в Effektenkammer[5]. Надо сказать, что старые немцы коммунисты не жаловали эту варварскую музыку. Но их не спрашивали. И они ворчали, но терпели.

Я вслушивался в слова, обращенные ко мне через все репродукторы. Сердитым тоном лагерный библиотекарь требовал, чтобы я вернул три книги, которые все еще за мной числились. Он ждет меня прямо сейчас. Книги должны быть сегодня же сданы в библиотеку.

Вообще-то я собирался оставить их себе. И вовсе не в качестве сувениров Бухенвальда: эти книги могли мне еще пригодиться. Я собирался ими пользоваться. Нет,

---

[1] Срочно к воротам! (*нем.*)
[2] Заключенный (*нем.*).
[3] Товарищ (*нем.*).
[4] «Звездная пыль» (*англ*).
[5] Вещевой склад (*нем.*).

правда, мне и в голову не приходило сдать их в библиотеку. Во-первых, книги были нужные. А во-вторых, дальнейшая судьба лагерной библиотеки не волновала меня ни минуты. Зачем возвращать книги в библиотеку, которой предстоит исчезнуть?

Судя по всему, я глубоко заблуждался. Витал в облаках. С некоторым раздражением Антон — такое имя я решил дать библиотекарю — намекнул мне, что я, видимо, не в своем уме. Почему это вдруг библиотека Бухенвальда должна исчезнуть?

Как почему? Да потому что не будет лагеря!

По-моему, это вполне логично. Но мои слова явно не убедили Антона, который смотрел на меня и качал головой.

Разговор происходил в комнате перед библиотекой, крохотном голом закутке. Одна из его дверей вела в коридор пятого блока. Там располагались Schreibstube[1] и Arbeitsstatistik[2], где я работал. В глубине была вторая дверь, с окошечком, через которое выдавались книги заключенным.

И вот мы вдвоем, Антон и я, стоим по разные стороны окошечка.

Я кладу на деревянную полку перед окошком три книги, которые он так настоятельно требовал вернуть.

— Почему? — спрашивает он.

Его взгляд вдруг кажется мне настороженным.

— Что почему?

— Почему лагеря не будет?

— Еще несколько дней, самое большее — недель, и Гитлера разобьют, — говорю я. — Нацизму придет конец, а вместе с ним и лагерям.

Антон разражается беззвучным смехом. Он хохочет без удержу, но невесело.

Вдруг, резко перестав смеяться, он переходит на учительский тон.

— Конец нацизма не означает конца классовой борьбы! — наставительно и безапелляционно провозглашает он.

Я вежливо благодарю:

— Спасибо, Антон! Спасибо, что напомнил, а то я тут забыл все азы.

Он раздулся от самодовольства, приняв мои слова за чистую монету.

— Но разве в классовом обществе нельзя обойтись без концлагерей? — спрашиваю я.

Антон смотрит на меня недоверчиво, почти подозрительно. Он размышляет, лицо его вытягивается. Он явно опасается какого-нибудь диалектического подвоха.

— Классовое общество не может существовать без репрессий, — осторожно начинает он.

Я киваю:

— Вернее, без насилия. Это понятие более емкое.

Он пытается угадать, к чему я клоню.

Но я не клоню ни к чему. Я просто хочу опровергнуть мысль, которая стоит за его словами. О том, что конец нацизма не станет концом мира концлагерей.

— Тебе не нравится слово «репрессии», — говорит Антон. — А ведь оно вполне точное. Ты не считаешь, что нужно так или иначе репрессировать всех бывших нацистов? Репрессировать и заняться их перевоспитанием...

Я не могу удержаться от смеха.

В системе СС Бухенвальд тоже именовался лагерем перевоспитания: Umschulungslager.

— Для этого потребуются как раз такие лагеря, как наш, — продолжает он уверенно. И, глядя на меня, слегка кривится. — Тебе это не по душе, я вижу. А что, по-твоему, делать с Бухенвальдом? Устроить тут место паломничества? Мемориал? Детскую базу отдыха?

---

[1] Канцелярия (*нем.*).
[2] Производственная статистика (*нем.*).

— Нет уж, только не это! Я бы просто бросил его. Пусть рухнет от времени... зарастет лесом...

Он смотрит на меня разинув рот.

—Черта с два! Что за дикая бесхозяйственность!

Я беру одну из книг. «Логику» Гегеля в кратком изложении.

— Разве такие книги нужны для перевоспитания нацистов? — спрашиваю я.

Он смотрит на заглавие, делает пренебрежительный жест.

— Странный у тебя круг чтения, согласись! Вчера, когда я наткнулся на твою карточку с формулярами, я это отметил... Гегель, Ницше, Шеллинг... Сплошные идеалисты!

Я вспоминаю наши воскресные споры около нар Мориса Хальбвакса[1].

— Чтение Шеллинга многому научило меня, — говорю я.

Его удивил мой глухой голос, он пожимает плечами и ворчит:

— Все-таки странный выбор!

У него удрученный вид. Я огорчил его.

— Эти книги не будут значиться в каталоге... «Воля к власти» Ницше вовсе не кажется мне полезным чтением.

Я вдруг начинаю понимать, что он собирается здесь остаться и работать библиотекарем в этой же самой библиотеке, в этом же самом лагере.

— Как? — говорю я. — Ты остаешься здесь? Не возвращаешься домой?

Он разводит руками.

— У меня нет больше дома, нет семьи... Все умерли за фюрера! Кто добровольно, кто нет... Но умерли все... А здесь я могу быть полезен новой Германии...

Я начинаю жалеть о том, что принес книги. Надо было оставить их у себя и не обращать внимания на этого старого коммуниста с его манией хозяйственности и порядка.

— Ладно, — говорит Антон и берет книги.

Еще секунда, и я протянул бы к ним руку, чтобы забрать назад.

— А пока, — говорит он, — пусть стоят на своем месте.

Он уходит в глубь библиотеки и скрывается за стеллажами. Глядя ему вслед, я спрашиваю себя, действительно ли Ницше и Гегель здесь на месте. А Шеллинг? Том из собрания сочинений, который я нашел в библиотеке Бухенвальда, включал эссе о свободе, где Шеллинг исследует основу человеческой природы. Основу темную, непостижимую, но, пишет он, «без предшествующего мрака человек был бы нереален; тьма неизбежно достается ему в удел».

Иногда по воскресеньям, стоя у нар, где умирал Морис Хальбвакс, я думал о том, что тьма и в самом деле дана нам в удел. Тьма человеческой природы, обреченной как на свободу Добра, так и на свободу Зла: сотканной из этой свободы.

Я смотрел вслед Антону, и мне было любопытно, пригодится ли эта мысль Шеллинга для перевоспитания бывших нацистов в будущем Бухенвальде[2].

Я выхожу из библиотеки на пустой плац. У меня остался неприятный осадок от разговора с Антоном. Но вокруг столько солнца, такая роскошная пустота и тишина после многих месяцев шума, спешки и невозможности побыть одному среди скученности лагерной жизни.

---

[1] Морис Хальбвакс (1877—1945) — французский социолог. Перед войной читал лекции в Сорбонне, на философском факультете, где учился Семпрун. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] В конце книги, рассказывая о своем посещении Бухенвальда почти полвека спустя, Семпрун пишет: «В 1945 г., всего через несколько месяцев после ликвидации нацистского лагеря — последние узники, югославы, покинули его, кажется, в июне, — Бухенвальд был снова открыт советскими оккупационными властями. Он опять стал концлагерем — на сей раз под контролем КГБ. [...] Его закрыли только в 1950 г., когда была создана Германская Демократическая Республика, и здесь воздвигли удручающий своим уродством мемориал. За эти пять лет у подножия Эттерсберга были зарыты тысячи мертвецов. Разросшийся с тех пор буковый лес поглотил не только территорию карантинного Малого лагеря, но и место массовых захоронений, огромное кладбище жертв сталинизма».

Апрельский ветер шелестит в верхушках деревьев над колючей проволокой. И играет музыка — я уверен, что русская.

Я оглядываюсь, смотрю на ряды бараков. И снова вижу Сталина.

Через несколько лет, в 1953 году, когда Сталин умер, я вспомнил его бухенвальдский портрет.

Руководство французской компартии обрушилось тогда с резкой критикой на Пабло Пикассо. Желая отдать дань памяти Сталина, Пикассо изобразил его молодым, с ярко выраженными грузинскими чертами, хитроватым взглядом и лихой, самоуверенной выправкой. Конечно, это был непочтительный портрет, зато живой и ироничный. Сталин больше смахивал здесь на атамана разбойничьей шайки, чем на генералиссимуса, который железной рукой управляет второй по значению мировой державой.

В общем, на портрете Пикассо Сталин напоминал скорее моего знакомого Николая, старосту 56-го блока, чем великого генералиссимуса.

Двенадцатого апреля, в первый день свободы, увидев портрет Сталина на бараке советских военнопленных, я отправился в Малый карантинный лагерь. Эсэсовцев больше не было, но жизнь там шла так же, как и раньше. Там умирали, как и раньше. Те, кому удалось избежать насильственной эвакуации, продолжали умирать. Вереницы медленно бредущих заключенных молча — ибо разговор требует сил — двигались вокруг уборных. Опираясь друг на друга, чтобы не упасть, дрожа от холода под весенним солнцем, призраки в лохмотьях скрупулезно и по-братски делили махорочные окурки. В этот первый день свободы над Малым лагерем продолжало витать фекальное зловоние смерти.

Я нашел Николая возле 56-го блока. Сапоги его сверкали, гимнастерка была тщательно отутюжена.

— Видел вождя? — спросил он.

Я кивнул.

— Мы его ночью нарисовали. В две бригады, пополам. А утром соединили обе половины...

Николай сложил руку в кулак и выставил большой палец.

— Класс! Здорово вышло!

Он смотрит на меня с хищной улыбкой.

— Теперь ты знаешь, как выглядит русский капо[1], — говорит он.

— Но зачем вам это понадобилось? — спрашиваю я. — Зачем вы всю ночь трудились, вместо того чтобы праздновать свободу?

— Зачем мы рисовали Великого капо?

— Да.

Он смотрит на меня с некоторой жалостью.

— А зачем моя мать в деревне вытаскивала иногда по вечерам иконы и молилась? Когда дела были совсем плохи, она доставала спрятанные иконы и зажигала свечи...

Мне становится смешно.

— А я-то думал, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация... Ни тебе икон, ни тем более свечей...

— Да при чем тут коммунизм? — Николай искренне удивлен.

— А если коммунизм ни при чем, то зачем портрет Сталина?

Николай разражается гомерическим хохотом. Он смотрит на меня и крутит пальцем у виска.

— Дурак! — восклицает он по-русски. — Тебе не понять!

Я действительно не понимал очень долго. Но, в конце концов, это еще не повод, чтобы глотать оскорбления. Тем более что это не я в ту апрельскую ночь нарисовал портрет Сталина и победоносно вывесил его на фасаде барака. Уж я бы

---

[1] На жаргоне третьего рейха — бригадир заключенных в концлагере.

не стал тратить на это целую ночь, точно не стал бы. В апреле сорок пятого мне было не до Сталина. Его имя никогда не возникало в наших разговорах. По воскресеньям — в некоторые из воскресений — в 56-м блоке, когда еще веселый и сохранявший ясность мысли Морис Хальбвакс обсуждал с нами свое критическое отношение к марксизму, никому из нас и в голову не приходило вспомнить Сталина. Сталин был вне круга наших интересов. Только потом, годы спустя, он вошел в мою жизнь. Потом, в период партийного оледенения некоторых зон моей мысли.

Но я даже не успеваю осадить Николая. Он вдруг меняется в лице и почти шепчет:

— Сколько ты хочешь за свой автомат?

Глаза его с вожделением устремлены на немецкий автомат, висящий у меня на груди. Мы все оставили оружие при себе. Американцы вернули нас в лагерь после той безумной ночи, когда мы шли на Веймар. Но они оставили нам оружие. Только на следующий день они попросят нас его сдать.

— Нисколько, — отвечаю я. — Он мне самому нужен.

Николай начинает упрашивать. Предлагает мне доллары, одежду, спиртное лучших марок, девушек. Девушек? Я готов спорить, что это блеф. Он смеется, говорит, что я проспорю. Его ребята познакомились с украинками, которые работают на заводе под Веймаром. Он может пригнать хоть целый табун куда-нибудь в укромное место, и употребляй хоть всех сразу.

Я говорю, что верю, но меня это не интересует. Вернее, интересует, но не такой ценой. Не ценой моего новенького автомата.

Он цедит сквозь зубы русские ругательства. Я их наслушался и знаю, что они значат. Тем более что русские ругательства, по крайней мере те, которые я узнал от Николая и его товарищей, весьма однообразны: вас посылают вступить в интимную связь с чьей-нибудь матерью. За любые неприятности в русских ругательствах расплачивается мать. Во всяком случае, так было в Бухенвальде.

Он ругается долго, я не перебиваю и даю ему выпустить пар.

— А зачем тебе мой автомат?

Николай колеблется, смотрит на меня и вдруг решается. Он переходит на шепот:

— Эти русские капо, я знаю их как облупленных! Знаю, что меня ждет...

Он начинает говорить еще тише. Его едва слышно.

— Я не вернусь домой. Останусь на Западе. Через пару дней сматываюсь. Все уже готово. Собралась теплая компания. Мы сговорились с женщинами, которые тоже не хотят угодить там за решетку. Есть деньги, кое-какое оружие, но маловато...

Он любовно поглядывает на мой автомат. Я слегка отодвигаюсь.

— Только не пытайся отнять, Николай... Я ведь могу выстрелить.

Николай кивает.

— Ты такой идиот, что с тебя станется!

Он поднимается, протягивает мне руку.

— Ладно, все. Расстанемся друзьями!

Но я не подаю ему руки. Я уверен, что он ее не выпустит, попытается меня скрутить и сбить с ног. Тогда мне придется выстрелить. Если получится.

Я отступаю и направляю на него автомат.

— Пока, Николай! Ты прав, расстанемся друзьями!

Он смеется с некоторым надрывом, но это не называется надрываться со смеху.

— Как ты сказал? Советская власть плюс электрификация? Ну, ты даешь!

Он поворачивается и уходит в сторону 56-го блока.

Я стою на плацу Бухенвальда и смотрю на гигантский портрет Сталина. Мне непонятно, как может человек, создавший этот портрет Великого капо, бежать без оглядки от его отеческого покровительства.

Надо сказать, что поведение некоторых русских в Бухенвальде было для всех

нас загадкой. По крайней мере, заставляло задуматься. Разве эти пройдошливые, напористые ребята могут быть представителями нового общества? Нам приходилось выстраивать хитроумную систему объяснений, поскольку мы и мысли не допускали о том, чтобы изменить основной постулат: советское общество есть непременно общество новое. Таково было незыблемое условие наших риторических упражнений.

Не может быть, рассуждали мы, чтобы и эти молодые дикари были людьми нового общества. Они, конечно, всего лишь его отбросы, отщепенцы, порождение отсталой деревни, еще не охваченной революционным обновлением. Правда, иногда нам все-таки казалось, что у революции многовато отбросов и отщепенцев.

Если бы я сумел в тот момент понять Николая, старосту 56-го блока, разгадать эту тайну русской души, я избавил бы себя от долгих блужданий по пустыням коммунизма, не лишенным, однако, оазисов братства и мужества. Но, вероятно, тогда, в сорок пятом, я не очень к этому и стремился. Видимо, мешала все понять иллюзия прекрасного будущего. Точнее, мешала захотеть понять, даже если бы я и мог. Потому что ничего желаннее этого будущего, после стольких лет агонии, не было.

Я поворачиваюсь спиной к Сталину, вернее, к его портрету. И иду к центру плаца. На вышке, прислонясь к перилам, стоит американский солдат. Может быть, он тоже слушает аккордеон, как и я. Приспущенный траурный флаг висит на вышке со дня освобождения.

Со дня смерти Франклина Рузвельта.

Она пришла по белой полосе...

Я шепчу начало стихотворения, которое называется «Свобода».

Она пришла по белой полосе, в которой проступает свет восхода и угасает сумерек свеча...

Я даже не замечаю, как мой голос становится громче, крепнет, начинает звенеть, и продолжаю декламировать:

Она прошла вдоль безучастных пляжей, вдоль обезглавленных деревьев. Настал конец разумным жертвам труса, и лжи святой, и хмелю палача...

Теперь я уже ору во всю глотку на пустом плацу конец стихотворения Рене Шара.

Американский солдат подносит к глазам бинокль и смотрит на меня.

Впервые я прочел это стихотворение 12 апреля. Оно пришлось кстати — накануне был освобожден Бухенвальд.

В тот день я разговорился с молодым французом, сопровождавшим двух британских офицеров.

Мы были одни и сидели на ступеньках, на солнышке. Оба британца отправились в большой архив СС, на второй этаж здания, которое я охранял. Я позволил им рыться в бумагах. У них было официальное задание отыскать следы депортированных агентов из союзнической сети разведки и сопротивления.

Француз, со своей стороны, имел поручение разыскать Анри Фраже, руководителя подпольной организации «Жан-Мари Аксьон». Но дело в том, что я сам состоял в этой организации и Фраже был моим командиром. Его арестовали через несколько месяцев после меня, тоже по доносу. Мы встретились в Бухенвальде. Так что я мог избавить юного офицера от бессмысленных поисков. Я сообщил ему, что Фраже нет в живых. Немцы его расстреляли. Однажды утром во время проверки его вызвали в Politische Abteilung[1], лагерный отдел гестапо. Вечером на перекличке он отсутствовал. На следующий день мы получили от Politische Abtei-

[1] Политическая часть (*нем.*).

lung официальное сообщение: «Освобожден». Так они объяснили нам исчезновение Анри Фраже. «Entlassen» — обычная формулировка лагерной администрации, означавшая казнь.

В тот день я своей рукой стер имя Анри Фраже в центральной картотеке лагеря. Это была моя работа — стирать имена. Или их вписывать. Словом, вести в лагерной картотеке учет прибытия и убытия, смертей и нового пополнения. В основном в группе номеров между тридцатой и шестидесятой тысячей. С этими номерами с конца сорок третьего года было много возни: под ними значились главным образом заключенные из Западной Европы.

В тот день я стер имя Анри Фраже. Его карточку можно было снова пускать в дело.

Все это я рассказал молодому французу, чтобы избавить его от долгих и бесполезных поисков в архиве. Потом рассказал про наши воскресные разговоры с Анри Фраже.

Я рассказал ему про воскресенья в Бухенвальде.

Чтобы хоть как-то умилостивить богов правдоподобия, приглушить пронзительность прямого рассказа, я инстинктивно повел молодого человека в мир смерти воскресной дорогой: окольной, в сущности. Наименее крутой, на первый взгляд. Я повел его в ад изначального зла — того, что Кант называет «das radikal Böse» — самым легким путем. Сколь возможно приближенным к опыту привычной жизни.

Чтобы ввести его в тайны бухенвальдских воскресений, я заговорил о бледной и отравной красоте Полы Негри в «Мазурке».

В «Мазурке»? В кинофильме?

Он даже отпрянул. Я понял, что он шокирован. Не то чтобы я лишился его доверия, но он был шокирован. Как будто я сказал что-то непристойное. Или начал рассказ не с того конца, все перевернул с ног на голову. Он явно ожидал совсем других рассказов. Появление Полы Негри в Бухенвальде его ошарашило. Я сразу почувствовал, что он замкнулся. Я оказался не тем свидетелем, каким надо. Сам я, однако, был очень доволен своей находкой. Любой мог рассказать ему о крематории, о людях, умиравших от истощения, о публичных казнях, об агонии евреев в Малом лагере, о страсти Ильзы Кох к татуировкам на коже заключенных. Зато про Полу Негри в «Мазурке» — наверняка никто, и уж точно никому не пришло бы в голову начать с этого рассказ.

Ну да, сказал я, в «Мазурке», в австрийском кинофильме.

Изредка, объяснил я, лагерное начальство устраивало нам кино в воскресенье после обеда. Показывали комедии, музыкальные или сентиментальные. Или то и другое вместе: музыка и чувствительность отлично сочетаются. Помню, например, фильм с Мартой Эггерт и Яном Кипурой. Дело происходит среди горных озер, и герои поют дуэтом на фоне альпийских лугов[1]. И помню «Мазурку» с Полой Негри.

Ничего удивительного нет в том, что мне запомнились эти фильмы. Во-первых, ситуация была из ряда вон выходящая: кино в Бухенвальде, в Малом лагере, рядом с лазаретом. Но, главное, я видел эти фильмы еще в детстве.

В тридцатых годах, в Мадриде, у нас были учительницы-немки. Они водили нас с братьями в кино — в те дни, когда это разрешалось, — смотреть фильмы на их родном языке. Фильмы были немецкие и австрийские. Картина, где Ян Кипура и Марта Эггерт поют в объятиях друг друга среди озер и альпийских лугов, называлась по-испански «Vuelan mis canciones»[2]. Немецкое же название я начисто забыл. Детские впечатления оказались сильнее, чем полученные в двадцать лет в Бухенвальде.

Казалось бы, память о Бухенвальде, о фильмах в огромном деревянном бара-

---

[1] Кинофильм о Шуберте «Песнь моя, лети с мольбою» (1933 г., режиссер В. Форст).
[2] «Летите, мои песни» (*исп.*).

ке, служившем местом сбора для пересылки в другие лагеря и лишь изредка — кинотеатром, должна быть ярче, чем детские воспоминания о кино на мадридской площади Оперы. Но нет! Таковы тайны памяти и жизни.

Зато название фильма с Полой Негри не вызывало языковых проблем: «Мазурка» она и есть «Мазурка», на всех языках.

Итак, я начал рассказывать молодому офицеру, носившему на груди нашивку с Лотарингским крестом, о воскресеньях в Бухенвальде. Не только про Полу Негри, конечно. Пола Негри была лишь увертюрой. Я рассказал ему о воскресных собраниях. О борделе для немцев. О подпольных учениях боевых групп. О джазе Иржи Зака, чеха из Schreibstube. И все такое прочее.

Он слушал меня внимательно, и растерянность его росла на глазах. Все, что я говорил, совершенно не вписывалось в его представление о том, каким должен быть рассказ узника концлагеря. Он ни о чем меня не спросил, не поинтересовался подробностями. Когда я кончил, он погрузился в неловкое молчание. Неловкое и для него, и для меня. Мой первый рассказ о бухенвальдских воскресеньях с треском провалился.

Тогда, чтобы выйти из этого дурацкого положения, я сам стал задавать ему вопросы. Кучу вопросов. Я ведь отстал от жизни почти на целый год, прошедший после освобождения Парижа. Там наверняка произошли важные события, о которых я ничего не знал. Появились какие-то книги, спектакли, возникли новые газеты.

Но по рассказам француза — видимо желая загладить неловкость, он говорил теперь много и подробно — получалось, что в Париже за время моего отсутствия ничего особенного не произошло.

Альбер Камю был героем дня. Ничего удивительного. «Посторонний» необычайно заинтересовал меня в свое время. А вокруг «Мифа о Сизифе» во время оккупации кипели бурные страсти среди моих друзей. Итак, Камю. Это нормально.

Андре Мальро, судя по всему, писать перестал. Занялся политикой. Несколько месяцев назад его речь на съезде движения Национального освобождения[1], насколько я знал, помешала коммунистам взять под контроль объединенные силы Сопротивления. Во всяком случае, «Битву с ангелом» он так и не дописал. И, видимо, уже не допишет.

Был, конечно, Сартр. Но он появился не вчера. В сорок третьем мы взахлеб читали его «Бытие и ничто», целые страницы из «Тошноты» знали наизусть. Ходили большой компанией смотреть «Мух» в театре Сары Бернар. Обсуждали в предпоследнем классе лицея, где нас готовили к поступлению в Высшую Нормальную школу, отношения Сартра с Гуссерлем и Хайдеггером. Ну что ж, старый знакомец, Жан-Поль Сартр.

Около него, сообщил мне мой добросовестный собеседник, есть Морис Мерло-Понти. Прекрасно, но меня трудно было этим удивить: я читал его «Структуру поведения».

Был Арагон со своей Эльзой. Но меня в ту пору Арагон не занимал. Его гражданственная и ура-патриотическая поэзия времен оккупации оставляла меня равнодушным. (А ведь у него была и «Броселианда».) В Бухенвальде это было единственным предметом несогласия между мной и моим другом Борисом Таслицки, страстным поклонником Арагона. Только несколько лет спустя, когда в сборнике «Снова нож в сердце» появилась «Песня, чтобы забыть Дахау», Арагон снова начал существовать для меня как поэт.

Явно задетый тем, что ни одна из его парижских новостей не оказалась для меня действительно новой, он заговорил о Реймоне Ароне. Вот новое имя, всем своим видом говорил он, вот новая звезда политической журналистики, тебе на-

[1] Одно из двух крупных объединений подпольных групп французского Сопротивления. Речь идет об отказе ДНО от слияния с Национальным фронтом, второй аналогичной организацией, созданной по инициативе коммунистов.

верняка еще неизвестная! Но я перебил его, расхохотавшись. Реймон Арон? Да как же мне его не знать! Я не только читал его, я был с ним знаком. В сентябре 1939 года, в день вторжения гитлеровских войск в Польшу я встретил его на бульваре Сен-Мишель. Мне было пятнадцать лет, я шел с отцом. С нами был еще Пауль Ландсберг[1]. На углу бульвара и улицы Суффло у газетного киоска мы встретили Реймона Арона. Взрослые заговорили о начинавшейся войне, о том, что ждет теперь демократию. А через какое-то время Клод-Эдмонда Маньи[2] дала мне прочесть его «Введение в философию истории».

В общем, меня не удивило, что Реймон Арон оказался на первых ролях в интеллектуальном Париже после освобождения.

Были и потери, смерть дорогих моему сердцу людей.

Умер Жан Жироду, я этого не знал. Он умер через два дня после того, как я попал в Бухенвальд. Помню, как в Эпизи, пригороде Жуаньи, когда здоровенный болван из гестапо раскроил мне череп прикладом, я успел подумать, что не попаду теперь на премьеру «Содома и Гоморры», которая должна была состояться через несколько недель.

Значит, Жироду умер.

Продолжая слушать француза, я задумался о том, почему мне в Бухенвальде не было никакого знака об этом. Не может быть, чтобы смерть Жана Жироду не вызвала какого-нибудь стихийного движения в природе. Наверняка что-то было, только я не сумел это правильно истолковать, вот и все. Наверняка в тот зимний день дым крематория, например, сделался на миг более легким, более прозрачным: это посветлевшие вдруг клубы дыма над Эттерсбергом возвещали мне смерть Жана Жироду.

Я просто не сумел разгадать этот знак.

Ушли и другие: расстреляли Бразийяка[3], покончил с собой Дриё Ла Рошель[4]. Из них двоих я всегда предпочитал Дриё, и, по мне, его самоубийство было лучше, чем смерть Бразийяка.

В общем, за исключением нескольких смертей, естественных или ускоренных событиями, сад французской литературы не был ни разорен, ни сметен бурей. При этом никаких откровений, никаких настоящих сюрпризов: вполне предсказуемый, почти естественный рост. Невероятно, но факт. Это лишний раз доказывало, что переломы и периоды созревания в политической истории и в истории культуры не совпадают.

Под конец, совсем отчаявшись, француз заговорил о новых стихах Рене Шара.

Он достал из своей сумки экземпляр сборника «Даровано пребыть», который всего несколько недель как вышел. Сам он был в восторге, особенно оттого, что наконец хоть чем-то удивил меня: я ни разу не слышал о Рене Шаре.

Это был удар по моему самолюбию.

До этого дня, до 12 апреля 1945 года, я ни разу не слышал о Рене Шаре. Я-то считал, что знаю все — или почти все — о французской поэзии. А Рене Шара не знал. Я помнил сотни стихов от Вийона до Бретона. Мог шпарить наизусть даже Патриса де Ла Тур дю Пена[5], что, согласитесь, уже перебор! Но о Рене Шаре не знал ничего.

Молодой француз, носивший Францию на сердце — по крайней мере, на левом кармане гимнастерки, — с упоением расхваливал мне стихи Шара и читал из

---

[1] Пауль Людвиг Ландсберг (1901—1944) — немецкий философ, автор работ «Призвание Паскаля», «Проблемы персонализма».

[2] Клод-Эдмонда Маньи (1913—1966) — французский литературный критик.

[3] Робер Бразийяк (1909—1945) — французский писатель, критик, печатно поддерживавший фашизм и Гитлера. Расстрелян после освобождения Франции.

[4] Пьер Дриё Ла Рошель (1893—1945) — французский писатель. Во время оккупации был главным редактором журнала «Нувель ревю франсез», который под его руководством превратился в коллаборационистское издание. 15 марта 1945 г. покончил с собой.

[5] Патрис де Ла Тур дю Пен (1911—1975) — религиозный французский поэт, стоявший в стороне от литературных движений своего времени и потому довольно мало известный.

них отрывки. В конце концов он великодушно снизошел к моим мольбам и согласился оставить мне свой экземпляр, который таскал с собой по всей Германии. Но при одном условии: что я его верну, как только меня репатриируют.

Книга была ему дорога — подарок девушки.

Я пообещал, записал адрес. Я не стал цепляться к слову «репатриируют». Хотя мог бы. Как, в самом деле, можно репатриировать лицо без гражданства? Но я промолчал, чтобы он не забеспокоился и не передумал. А вдруг он бы не столь охотно дал книгу лицу без гражданства?

И вот через несколько дней, благодаря ему, я могу на пустынном плацу Бухенвальда орать во всю глотку последние строки стихотворения Рене Шара «Свобода»:

> Чуть медля только там, где смерти след зиял, она явилась — лебедем на рану — по белой предрассветной полосе.

Я кончил и помахал рукой американскому часовому, смотревшему на меня в бинокль.

## Глава восьмая

## *День смерти Примо Леви*[1]

Спустя годы — целую жизнь, несколько жизней, — в апреле 1987 года, в субботу, ближе к вечеру (а именно в 17.15, чтобы быть точным), мне стало ясно, что страницы, написанные за день, надо выкинуть. Во всяком случае, выкинуть из романа, который я в тот момент писал.

Между тем они писались с каким-то непонятным счастьем — я имею в виду, что сам испытывал, когда их писал, непонятное счастье, не имеющее отношения к счастью писать вообще, — и так бывало всякий раз, когда я касался этого куска своей жизни. Как будто в силу какого-то парадокса память вдруг оживала и с ней оживлялось все. Слова текли словно сами собой (пусть потом за это приходилось платить дорогую, почти непомерную цену), ложились свободнее и оказывались точнее пригнанными друг к другу, как только та давняя смерть вступала в свои права, не имевшие срока давности, и вторгалась вдруг в настоящее, когда ничто, казалось, этого не предвещало.

В черновике моей новой книги, называвшейся сначала «Обреченный», а потом получившей название «Нечаев вернулся», в уже выстроенном каркасе повествования Бухенвальд не занимал почти никакого места. Трех-четырех страниц хватило бы, как мне казалось, чтобы рассказать о поездке Роже Марру по разрушенной Германии в поисках Мишеля Лорансона, своего товарища по Сопротивлению, попавшего в концлагерь.

Отрывок начинался так:

«Утром 12 апреля 1945 года Марру вышел из машины перед зданием Politische Abteilung, отделения гестапо в концлагере Бухенвальд. Впереди, метрах в пятидесяти, виднелись монументальные ворота с кованой чугунной решеткой, к ним вела длинная подъездная аллея между двумя рядами колонн, увенчанных гитлеровскими орлами, — она соединяла станцию Бухенвальд с собственно лагерем».

Я перечитал фразу. Она мне не нравилась.

Она содержала фактические сведения, несомненно нужные, но больше в ней не было ничего. Меня это не устраивало.

---

[1] Примо Леви (1919—1987) — итальянский писатель, автор книг об Освенциме «Се человек?», «Передышка», «Погибшие и уцелевшие», романов «Разводной ключ», «Порок формы».

Меня не устраивало то, как я привел Роже Марру, своего вымышленного героя, на эту территорию реальности.

За первым ощущением смутного недовольства, хорошо мне, впрочем, знакомого, последовало холодное отчуждение. Если пишешь по-настоящему, такие моменты неизбежны. Вызванная чувством неудовлетворенности, если не отвращения, дистанция, возникающая в такие минуты между тобой и исписанными страницами, сродни, в каком-то смысле, той непреодолимой дистанции, которая отделяет замысел от его словесного воплощения.

Шло время — минута, час, вечность — в бесплодном, но непреклонном одиночестве. В памяти что-то начинало шевелиться. У меня, разумеется, а не у Роже Марру.

Я сидел за своим рабочим столом в Париже ранним субботним утром на втором этаже в доме начала века, в 7-м округе, напротив большого сада, частного или, может быть, министерского. Во всяком случае, закрытого для публики.

Перечитывая в очередной раз фразу, чтобы как-нибудь сгладить или обойти ее информативную сухость, я вдруг заметил дату, которую сам только что написал: 12 апреля 1945 года. Я, разумеется, взял ее не из головы. Я написал ее не задумываясь, следуя исторической правде. Роже Марру, выдуманный мной персонаж, не мог появиться у реальных ворот Бухенвальда раньше этого дня, когда лагерь был освобожден частями 3-й армии Паттона.

Властная и вкрадчивая стратегия бессознательного незаметно подвела меня к описанию этой вымышленной сцены накануне годовщины подлинных событий сорок два года спустя, день в день.

Это была суббота, 11 апреля 1987 года.

Меня охватила какая-то сумрачная радость.

Я опять, не отдавая себе в этом отчета, явился в положенный час на апрельское свидание. Точнее, глубинная, темная часть моего существа привела меня, помимо моей воли, на свидание с памятью и со смертью.

Давным-давно, в Асконе, под зимним солнцем Тичино, когда я жил там после возвращения из лагеря, я принял решение бросить книгу, которую силился написать. «Силился» не означает, что у меня не получалось. Получалось, но слишком дорогой ценой. По сути, ценой собственной жизни, потому что попытки писать всякий раз возвращали меня в безвоздушное пространство смертоносного прошлого.

Я переоценил свои силы. Думал, что смогу вернуться в жизнь, забыть в ее повседневном течении о годах Бухенвальда, как ни в чем не бывало смеяться и разговаривать с друзьями, и при этом написать книгу, не дававшую мне покоя. Я был настолько самонадеян, что полагал, будто сумею управлять по своему усмотрению этой запланированной шизофренией. Но оказалось, писать было для меня равноценно отказу от жизни.

И тогда, в Асконе, под зимним солнцем, я предпочел шумную немоту жизни смертельному дару писательства. Я сделал выбор, иначе было невозможно. Я выбрал забвение и, не слишком церемонясь с собственным «я», главной составляющей коего был ужас — и, конечно, мужество — лагерного опыта, выработал жесткую и неуклонную стратегию сознательной амнезии.

Я стал другим, чтобы остаться собой.

С тех пор, с весны 1946 года, усилием воли заставив себя окунуться в коллективную обезличенность ослепительной послевоенной поры, со всех сторон открытой для будущего, я жил больше пятнадцати лет — исторический отрезок смены поколения — в блаженном тумане забвения. Редко случалось, чтобы внезапное воспоминание о Бухенвальде нарушило мой внутренний покой, добытый с таким трудом: я временно усмирил, путем неусыпной бдительности, ту тьму, которая была дана мне в удел.

Но после выхода моей первой книги, «Долгий путь», это кончилось. Былая тревога стала вновь возвращаться ко мне, особенно в апреле. В апреле уберечься трудно, почти невозможно: тут и будоражащая душу весна, и годовщина освобождения Бухенвальда, и день памяти жертв гитлеровских лагерей.

Дописав пятнадцать лет спустя, в 1961 году, брошенную некогда книгу — по крайней мере, один из ее вариантов, по сути, неисчерпаемых, — я заплатил за эту удачу, изменившую всю мою жизнь, возвращением былой тревоги.

Но ничто в романе, писавшемся в апреле 1987 года, не предвещало, казалось, поворота к гибельной тьме, в которую уходит корнями — как бы я ни выкручивался, на какие бы ни пускался уловки, чтобы этого не замечать, — моя жажда жизни. И моя вечная неспособность по-настоящему ее утолить.

Роман «Нечаев вернулся» был совсем не об этом. Его главная тема — переход активной политической борьбы в свою террористическую крайность — уже наметилась в сценарии фильма «Война окончена»[1], написанном в 1965 году. В маленькой квартирке на бульваре Эдгара Кине с роскошным видом на Монпарнасское кладбище группа молодых ленинистов, готовых со дня на день перейти к вооруженным действиям, яростно обрушивается на испанского коммуниста Диего (его играет Ив Монтан), который отстаивает путь мирного протеста, без крови.

На том же бульваре Эдгара Кине, совсем рядом с местом действия фильма, террористы из «Аксьон директ» впоследствии убили Жоржа Бесса, директора заводов Рено, а потом публично хвастались — бесстыдно, самодовольно — и в словесном бреду своих шизофренических теорий именовали это убийство революционным поступком.

Сочиняя роман «Нечаев вернулся», я хорошо помнил его давние истоки. Сцена из фильма, долго дрейфуя в туманностях моих замыслов, постепенно притягивала к себе другие темы, другие клочки и обломки вымысла и реальности и в конце концов кристаллизовалась в ядро новой книги.

Я сознавал это настолько ясно, что даже выбрал для романа то же место действия, что и в сценарии, — квартал Монпарнаса. Тем более что это был и любимый квартал моей юности.

Я поднял голову и посмотрел на сад, пустынный в этот утренний час под покрытым мелкими тучками апрельским небом.

Я разоблачил наконец происки литературного подсознания. Догадался, кого должен был встретить Роже Марру у ворот Бухенвальда: меня. Подлинное воспоминание о трех офицерах союзнических сил, проступившее сквозь дымку вымысла, постепенно обретало четкость, как контуры сделанного на полароиде снимка.

И я в возбуждении начал писать:

«Молодой парень — точный возраст его определить было трудно, лет двадцать, прикинул Марру, — стоял на часах у здания гестапо. На нем были русские сапоги из мягкой кожи и какие-то лохмотья. Он был острижен наголо. Но на груди у него висел немецкий автомат — зримый атрибут власти. Американские связисты утром рассказывали им, что группа антифашистского сопротивления Бухенвальда ухитрилась вооружить несколько десятков человек, которые после прорыва передовых частей Паттона приняли участие в завершающей операции по освобождению лагеря. Он был явно из них, этот парень. Сейчас он смотрел, как они выходят из джипа, потягиваются и разминают ноги на весеннем солнышке, среди странной тишины букового леса, обступившего заграждение из колючей проволоки. На Марру повеяло ледяной стужей от этих опустошенных глаз, блестевших на исхудалом, туго обтянутом кожей лице. Они смотрели на него словно из-за пределов жизни. Как будто бесцветный ровный луч этого взгляда шел от потухшей звезды, где жизнь умерла. Как будто он проник сюда через бескрайние каме-

[1] Режиссер Ален Рене, в главных ролях Ингрид Тулин, Мишель Пикколи, Ив Монтан (1966 г).

нистые пространства, хмурые и необитаемые, вобрав в себя холод первозданного безлюдья. Непоправимого одиночества...»

Так 11 апреля 1987 года, в годовщину освобождения Бухенвальда, я снова встретился с самим собой. Снова обрел главную часть своего существа, своих воспоминаний, которые мне приходилось постоянно вытеснять, подавлять, держать под надзором, чтобы продолжать жить. Чтобы просто физически продолжать дышать. Окольным путем вымысла, который вовсе не требовал, казалось, моего появления, я проник в повествование, не имея за душой ничего, кроме темной пустыни памяти.

Более того, я заполнил собой весь рассказ.

С этого мгновения я свернул к первому лицу единственного числа. К тому единственному и неповторимому опыту, который трудно с кем-то разделить. Я писал долго, нетерпеливо. С легкостью, ибо нужные слова текли сами, и с живительной болью неисчерпаемой памяти, где каждая написанная строка открывала все новые и новые сокровища, глубоко зарытые, запечатанные.

Однако ближе к вечеру, а именно в 17.15, мне стало ясно, что надо выкинуть все написанное за день, начиная с моего лукаво подстроенного появления в истории, где оно не нужно и где я совершенно ни при чем.

Эти страницы я отложил в сторону. Я изгнал себя из рассказа. Вернулся к первоначальному плану, к выстроенному каркасу повествования. К универсальному третьему лицу, угодному богу романов и мифов.

Вот что получилось:

«Парень заметил сине-бело-красную нашивку со словом «Франция» на военной гимнастерке Марру. И обратился к нему по-французски:

— Ну и вид у вас... Вы чем-то удивлены? Тишиной? В этом лесу нет птиц. Наверно, им не нравится дым крематория...

Он хохотнул:

— Крематорий со вчерашнего дня не работает... Дыма больше не будет... Здесь больше никогда не будет пахнуть паленым мясом...

Он снова засмеялся».

Я тоже засмеялся, столько лет спустя.

Несмотря на все маневры и хитрости подсознания, намеренную или непроизвольную внутреннюю цензуру и мою стратегию забвения, несмотря на все множество страниц, исписанных ради того, чтобы заклясть прошлое, изгнать его или хотя бы сделать переносимым, оно хранило контрастную яркость снега и дыма, как будто это было вчера.

Я смеялся без радости, но от души, с какой-то глупой гордостью.

Никто не может влезть в твою шкуру, думал я, ни даже вообразить при всем желании твою укорененность в смерти, снежный саван твоих снов и твой ни с чем не сравнимый потусторонний опыт. Никто не может представить себе, до какой степени с этим связана вся твоя жизнь: твоя усталость от жизни, твоя жажда жизни, твое вечное, никогда не притупляющееся удивление перед жизнью, твоя острая радость от того, что сумел вернуться из смерти и можешь вдыхать по утрам йодистый воздух океана, листать книги, обнимать женщин, касаться их бедер, их сомкнутых во сне век, открывать необозримость будущего.

В самом деле, было чему посмеяться. И я смеялся, вновь охваченный сумрачной гордостью своего одиночества.

Я отложил страницы, написанные в тот день. Снова перечитал первые строки:

«Они стоят передо мной с округлившимися глазами, и я вдруг вижу в их потрясенном взгляде себя: их ужас — это я.

Два года я жил без лица. В Бухенвальде не было зеркал. Я видел свое тело, замечал каждую неделю в бане его все более отчетливую худобу. У этого хилого тела не было лица. Иногда я ощупывал выступившие вперед скулы, надбровные дуги, впадину щеки...»

Я уже знал: родилась новая книга[1]. Может быть, пройдут годы, прежде чем она созреет, такое уже бывало. Бывало, что книги вызревали годами. И никогда, кстати, не успевали созреть как следует. Их выход, обусловленный внешними причинами, всегда казался мне преждевременным. Я, разумеется, имею в виду только книги о лагере. Остальные, даже если лагерь упоминается в них как факт биографии персонажа, зреют не так медленно: не так мучительно медленно. После «Долгого пути», написанного на одном дыхании, за несколько недель, в ситуации, о которой я расскажу в свое время, все книги о лагере долго бродят у меня в голове. А потом долго пишутся. Я то бросаю их, то начинаю сначала. Но они упорно всякий раз возвращаются, чтобы быть дописанными до конца — до дна страдания, которое они причиняют.

Так было с книгой «Какое прекрасное воскресенье!». Так все пойдет и теперь, я это чувствовал.

Будь что будет, я положил исписанные страницы в картонную папку размытого бледно-голубого цвета. И сразу написал на ней заглавие новой книги. Что не входило в мои привычки. Как правило, мои книги долго ждут подходящего названия. А тут все произошло мгновенно. Я вывел толстым фломастером: «Писать или умереть»... К пятнадцати сколотым скрепкой страницам, написанным в ту апрельскую субботу, которым предстояло лежать в этой папке невесть как долго в ожидании, пока я снова возьмусь за них, я приложил записку. Точнее, имя. Одноединственное имя, выведенное на белой карточке заглавными буквами и подчеркнутое несколько раз: ЛОРАНС.

Лоранс?

Я ведь забыл ее. В то утро, когда я начал описывать приезд Роже Марру в Бухенвальд в романе, который в конце концов стал называться «Нечаев вернулся», я не думал о Лоранс. Я знал — знал скорее подсознательно, ибо не делал специальных усилий, чтобы прояснить, высветить до конца свое воспоминание, мне это было не нужно, — что появление Марру у ворот Бухенвальда, на подъездной аллее с орлами, уходило корнями в мою собственную память.

Я уже рассказал в книге «Какое прекрасное воскресенье!» о своей встрече с офицерами в британской форме через несколько часов после освобождения лагеря. Рассказал мимоходом: там не было самого главного, потому что я писал тогда о другом. Там не было французского офицера со сборником Рене Шара «Даровано пребыть».

Однако утром 11 апреля 1987 года, рассказывая про приезд Роже Марру в Бухенвальд и про его встречу с молодым заключенным-испанцем, я бессознательно использовал слова того французского офицера — его звали Марк, — взятые из его длинного письма к Лоранс, отправленного на следующий день после нашего знакомства. Я воспроизвел его слово в слово.

Я написал:

«На Марру повеяло ледяной стужей от этих опустошенных глаз, блестевших на исхудалом, туго обтянутом кожей лице. Они смотрели на него словно из-за пределов жизни. Как будто бесцветный ровный луч этого взгляда шел от потухшей звезды, где жизнь умерла...»

Именно так было сказано в длинном письме молодого француза к Лоранс. Он писал ей про нашу встречу, про разговор о Рене Шаре, про лагерь.

Лоранс прочла мне это письмо 8 мая 1945 года, когда я пришел на улицу Варен, чтобы вернуть хозяину книгу Шара.

«Красота, я спешу навстречу тебе»[2], — мысленно произнес я, увидев ее в дверях.

Во время этой первой встречи настроение Лоранс то и дело менялось. Минутами она становилась холодной, почти враждебной, словно я был виноват в том, что остался жив, а Марк погиб.

---

[1] Эти три фрагмента из «отложенных» страниц действительно входят, хотя и в несколько измененном виде, в первую главу книги «Писать или жить».

[2] Цитата из Рене Шара.

— У вас не такой взгляд, как писал Марк, совсем не такой, он ошибся, — сказала она язвительно. — У вас взгляд человека, плотоядно наслаждающегося жизнью!

Я заметил, что одно другому не противоречит. Но она не унималась:

— У вас похотливый взгляд!

Я расхохотался, я подтрунивал над ней:

— Не будьте ханжой!

Она рассердилась, покраснела от гнева.

— В сущности, вы правы, — сказал я. — Похоть — это отвратительно, если верить Блаженному Августину.

Она вытаращила глаза:

— Вы читали Блаженного Августина?

— Я читал почти все, — ответил я снисходительно. — Кстати, очень рекомендую вам его трактат «De bono conjugali»[1]. Это идеальное чтение для такой девушки, как вы. Там можно, например, узнать, что продолжение рода есть основа брака, его единственный смысл. Но там же можно узнать и все существующие способы удовлетворить свою похоть, не рискуя продолжить род. Это, конечно, все полатыни... Но, судя по вашей квартире, ваши родители были в состоянии дать вам хорошее классическое образование.

Она просто ошалела, ее душили одновременно и смех, и ярость.

Но это прошло, она вдруг стала доверчивой, нежной, по-детски прильнула ко мне, я ее обнял. И все-таки в тот первый день она выставила меня вон со слезами и негодованием.

Потом были еще встречи, смех, разговоры о книгах, стихи, прочитанные вполголоса в жаркой тени Люксембургского сада или в вечерней прохладе набережных Сены, музыка, которую мы слушали вдвоем — Моцарт и Армстронг, в то лето я приучил ее к своим вкусам, — и наконец однажды в солнечный послеполуденный час она закрыла в комнате ставни. Она отдалась мне, как самоубийца бросается в воду, закрыв глаза, движения ее были намеренно точны и деловиты, но это происходило не от опытности и не от развращенности, а от отчаянного желания побыстрее вновь убедиться в своей неспособности к наслаждению, к которому она была порой близка, но так ни разу и не испытала в полной мере.

Несмотря на все это, на оттенок неудовлетворенности в наших отношениях — прерывистой череде вспышек нежности и ссор навсегда, полного единомыслия и непримиримых споров, — только с Лоранс, с ней одной, я мог в то лето говорить о Бухенвальде. Благодаря Марку, тому молодому французу. И его длинному письму, которое он написал ей про наш разговор. Слова мертвеца соединили нас в жизни, меня и Лоранс, но ненадолго.

Вечер 11 апреля 1987 года был таким же, как все вечера, когда воспоминания подступают, множатся и пожирают реальность стремительно разрастающимися метастазами. Как все вечера с той поры, когда я начал писать и снова стал уязвим для кошмаров памяти. Внешний пласт был радостным — я ужинал в тот вечер с дорогими мне людьми, а глубинный разъедала тревога, в которой я был одинок. Это было как бы пространство, резко распадавшееся на две территории. Два мира, две жизни. И я не мог бы в тот момент сказать, какая жизнь подлинная, а какая призрачная.

Конечно, я выпил в тот вечер больше обычного. И наверняка больше, чем следовало. Но безрезультатно: алкоголь не исцеляет раны смерти.

Эта тревога знакома не мне одному. Так или иначе все мы о ней упоминали. О ней можно прочесть во всех рассказах бывших узников концлагерей, независимо от того, писались ли они сразу, как непосредственные свидетельства, в кото-

---

[1] «О благе супружества» (*лат.*).

рых быстро теряется дыхание, растраченное в добросовестных попытках точно воспроизвести неправдоподобное и попросту недоступное человеческому воображению прошлое, или позднее, по прошествии многих лет, в неиссякаемом стремлении воссоздать все то же прошлое, только уже далекое, но в котором отдельные черты становятся с годами отчетливее, а какие-то области озаряются сквозь дымку забвения новым светом.

«È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza...»

Да, именно сон, всегда один и тот же[1].

Сон во сне, сновидение в сновидении, детали могут меняться, но суть всегда одна и та же. Этот сон может настичь тебя в любой момент, где угодно: среди покоя зеленых полей или за столом с друзьями. Почему бы и не с любимой? — добавлю я. Иногда и с любимой, в самый момент любви. В общем, где угодно, кто бы ни был рядом, тебя внезапно охватывает глубокая смутная тревога, необъяснимый страх, твердая уверенность, что нашего мира больше не существует, во всяком случае, что он нереален.

Примо Леви говорит об этом на последней странице «Передышки». Говорит не срываясь на крик, сухо, скупо.

Ничто, говорит Леви, не может остановить течение этого сна, рассеять тревогу, которая от него исходит. Даже если к тебе склоняются, протягивают дружескую руку. Или любящую. «Что с тобой? О чем ты думаешь?» Даже если человек рядом догадывается, что тебя мучит, душит, убивает. Ничто никогда не сможет отвести от тебя течение этого сна, этого Стикса.

«Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche di averlo sempre saputo: sono di nuovo in lager, e nulla era vero all'infuori del lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa...»[2]

Невозможно выразить это лучше, чем Примо Леви.

Все действительно погружается в хаос. Ты оказываешься один в серой и мутной пустоте, в небытии. Ты знаешь, что это значит. Всегда знал. Всегда под сверкающей поверхностью повседневной жизни таилось это ужасное знание. Твердая уверенность, никогда не покидавшая тебя по-настоящему: нет ничего подлинного вне лагеря, все остальное с тех пор — только сон. Все сон, кроме дыма бухенвальдского крематория, кроме запаха паленого мяса, кроме голода, перекличек под снегом, смерти Мориса Хальбвакса и Диего Моралеса, побоев и дружественного зловония уборных Малого лагеря.

Я прочел «Передышку» Примо Леви в 1963 году.

До этого я ничего о нем не знал. Не читал его первую книгу «Се человек?». Я сознательно избегал читать о концлагерях. Это входило в мою стратегию выживания.

Я прочел «Передышку» в Милане, на улице Бильи, в библиотеке Банфи. Окна выходили во внутренний двор, где пели птицы, а листва огромного векового дерева уже окрашивалась местами в осенние тона.

Мне дала ее Россана Россанда[3], «Передышка» тогда только что вышла. Я прочел ее залпом, как пьют в жару холодную воду. Тогда, к осени 1963 года, время молчания и забвения для меня уже кончилось. Время глухоты к самому себе тоже: глухоты к самой темной, но самой подлинной части меня самого.

За несколько месяцев до этого я опубликовал «Долгий путь».

---

[1] Цитируя Примо Леви, здесь автор дает собственный вольный перевод с итальянского.

[2] Все теперь сплошной хаос: я один в серой мутной пустоте, и я знаю, что это значит, всегда знал: я снова в лагере, и, кроме лагеря, нет ничего подлинного. Остальное — лишь краткий отпуск, иллюзия наших чувств, сон: семья, цветущая природа, дом... (*итал.*)

[3] Россана Россанда (род. в 1924) — журналистка, входившая в число руководителей итальянской коммунистической партии. В 1969 г. возглавила отколовшуюся от партии группу и создала движение «Манифест». Это слово стало названием журнала, а с 1971 г. — газеты, выходящей в Италии по сей день.

В ту ночь мне снился снег.

Я жил на улице Консепсьон-Баамонде в Мадриде, неподалеку от арен Вентас: в те времена это была окраина. Вечером, возвращаясь на свою подпольную квартиру, я выходил на станции метро «Гойя». Конечно, это была не ближайшая станция, но я не торопился, проверял, нет ли слежки. Я шел не спеша, останавливался у витрин, внезапно переходил на другую сторону улицы, проходил насквозь через какой-нибудь универсальный магазин, заворачивал в бистро выпить чашку крепкого кофе или кружку пива — в зависимости от погоды. Когда я добирался наконец до своей улицы, я знал твердо, что слежки за мной нет.

Но в ту ночь мне опять снился снег.

Снегопад с резким колючим ветром. Это было на площади, где сходилось несколько улиц. Я понимал, что место знакомое, но не узнавал его. Хотя мог бы узнать. Если бы действительно захотел. Площадь, проспекты, толпа, шествие. Метель в лучах предвечернего солнца, вскоре померкшего[1]. Потом в другом месте, без всякой видимой связи, опять снег, глубокий, пушистый, заглушающий звук шагов в буковом лесу.

Снег во сне, после стольких лет.

В те дни я не выходил из своей квартиры на улице Консепсьон-Баамонде. В Мадриде шли аресты, довольно многочисленные. Рушились целые звенья подпольной организации. Я возглавлял мадридское отделение компартии и дал команду подпольщикам: прервать всякие контакты с секторами, попавшими под волну арестов, прекратить любую деятельность, сменить пароли, связных, явки. В общем, замереть на время. Потом, когда все успокоится, постепенно, с величайшей осторожностью выходить на связь по одному. Избегать участков, где могут быть заложены мины замедленного действия.

Я почти не покидал в те дни улицу Консепсьон-Баамонде, выжидая, пока ситуация прояснится.

Каждый день теперь я делил трапезы с Мануэлем и Марией А. Это были подпольщики, муж и жена, купившие на свое имя квартиру для нужд партии. Франкистской полиции они были неизвестны. Их единственная задача состояла в том, чтобы держать эту квартиру. Мануэль работал у кого-то шофером, Мария занималась хозяйством. В этой квартире мне были отведены две комнаты. Вернее, не лично мне, а главе партийной организации, кто бы он ни был. Чтобы не возбуждать подозрений, Мануэль и Мария говорили соседям, что они сдают комнаты жильцам, и даже помещали объявление в газету. Так что все было разыграно как положено. Несколько лет подряд я пользовался этой квартирой во время своих нелегальных приездов в Мадрид. После 1962 года, когда меня, перед тем как исключить из партии, отстранили от работы в Испании, эту квартиру занял Хулиан Гримау. Он жил там вместе с Марией и Мануэлем до самого своего ареста и расстрела в 1963 году.

Итак, в те дни я ел вместе с Марией и Мануэлем. В полдень мы обедали наспех — у Мануэля было мало времени. Вечером можно было посидеть за столом подольше. Завязывался разговор. Разговор — сильно сказано. В основном это был непрерывный монолог Мануэля, пока Мария убирала со стола и мыла посуду. Мы курили, слегка выпивали. Мануэль рассказывал свою жизнь, я слушал. Молчал и слушал. Во-первых, я люблю слушать, когда подпольщики рассказывают свою жизнь. А во-вторых, я все равно не мог бы рассказать в ответ свою. Чем меньше Мария и Мануэль будут знать обо мне, тем лучше. Да они почти ничего и не знали. Знали мою фамилию, значившуюся в фальшивых документах: это было необходимо, ведь я считался их жильцом. Знали, конечно, что я партийный руководи-

[1] Снегопад во время демонстрации 1 мая 1945 года, в которой участвовали бывшие узники в полосатых лагерных робах, описан в конце первой части книги, и автор постоянно возвращается к этой сцене как к одному из первых «кошмаров памяти» после освобождения.

тель. Но им не была известна ни моя конкретная роль в партии, ни даже мой партийный псевдоним — Федерико Санчес.

Так вот, после ужина, за рюмкой и канарской сигарой, я слушал Мануэля. Оказалось, что он был в Маутхаузене, фашистском концлагере в Австрии, очень страшном. Одном из самых страшных, за исключением комплекса Освенцим — Биркенау, где происходило массовое уничтожение евреев.

Мануэль воевал в республиканской армии и попал после поражения в Руссильон, в лагерь для беженцев. В сороковом году, как тысячи испанцев, он был зачислен в одну из строительных рот при французской армии. После петеновского перемирия Мануэль оказался в немецком лагере для военнопленных вместе с французами. Позднее, когда немецкий штаб занялся более внимательной сортировкой пленных, несколько тысяч испанцев из строительных рот были переведены в Маутхаузен как политзаключенные.

Мануэль в этом лагере выжил. Привидение, вроде меня. Он рассказывал мне про Маутхаузен по вечерам, за сигарой и стаканом виски.

Но я не находил ничего знакомого в его рассказе, ничего не узнавал.

Конечно, между Бухенвальдом и Маутхаузеном была какая-то разница: режим каждого лагеря слегка отличался от остальных. Но в целом все было одно и то же. Железный распорядок, работа до изнеможения, голод, недосыпание, постоянные окрики, садизм эсэсовцев, безумие старых зэков, поножовщина из-за крупиц внутренней власти — в общем, система одна. Но в рассказах Мануэля я не узнавал ничего.

Он рассказывал беспорядочно, сумбурно, слишком многословно, вяз в подробностях. Важное и неважное валил в одну кучу, подавал все в одинаковом освещении. Словом, это был сырой материал. Нагромождение разрозненных впечатлений, фактов, ненужных объяснений.

Я буквально извелся, лишенный возможности вмешаться, задать конкретный вопрос, направить в какое-то русло этот бессмысленный поток слов. Его очевидная искренность оборачивалась риторикой, правда недотягивала даже до правдоподобия. Но я не мог ничего сказать, не мог помочь ему упорядочить свои воспоминания, потому что он не должен был знать, что я тоже побывал в концлагере. Не могло быть и речи о том, чтобы доверить ему эту тайну.

После целой недели таких рассказов мне ночью приснился снег.

Снег былого: глубокие сугробы в буковом лесу вокруг лагеря, искрившиеся в свете прожекторов. Метель над первомайскими знаменами в Париже сразу после моего возвращения, пронзительное и тревожное напоминание о недавнем кошмаре. Снег памяти, впервые за пятнадцать лет. В Асконе, на берегу Лаго-Маджоре, сверкающим зимним днем в декабре сорок пятого, я закрыл глаза, ослепленный солнечным зайчиком от лобового стекла автомобиля, проезжавшего по дороге на Бриссаго. Я закрыл глаза, но снег упрямо, неотступно продолжал сверкать в моей памяти. А когда я их открыл, рядом оказалась молодая женщина, Лорена. Снег былого, в Асконе, в последний раз. Я бросил писать книгу о лагере. Лорена, сама того не зная, помогла мне остаться в живых.

С тех пор, за все эти пятнадцать лет, мне ни разу не снился снег. Я его забыл, вытеснил, упрятал куда-то вглубь. Я укротил свои сновидения, изгнал из них снег и дым над Эттерсбергом. Но временами острая, хотя и мимолетная боль пронзала мне сердце. Миг страдания, смешанного с тоской по прошлому. Если не с каким-то странным счастьем. Но как выговорить вслух такую нелепость? Как назвать счастьем миг подобного воспоминания? Временами боль, острая, как кинжал, пронзала мне сердце. Например, при звуках соло Армстронга. Или когда я жадно откусывал кусок черного хлеба. Когда докуривал до того, что обжигал себе пальцы, сигарету «Житан». Некоторые удивлялись, что я вот так докуриваю сигареты до самого конца. Я не мог ничего объяснить: привык, и все, говорил я. Но иногда

резко, сладостно, больно врывалось воспоминание: бычок самокрутки с махоркой, который делишь с товарищами и он переходит из рук в руки, изо рта в рот — упоительный наркотик братства.

Но снег в ту пору исчез из моих снов.

После целой недели рассказов Мануэля о Маутхаузене я вдруг ночью проснулся. Это было в Мадриде, на улице Консепсьон-Баамонде, в 1961 году. Сон как рукой сняло. Но не кошмар, не тревога разбудили меня. Я был абсолютно спокоен, почти безмятежен. Все вдруг для меня прояснилось. Я знал теперь, как написать книгу, которую бросил пятнадцать лет назад. Вернее, я теперь знал, что могу ее написать. Потому что как ее писать, я знал всегда, но мне не хватало мужества. Мужества, чтобы снова встретиться со смертью во время работы. Но теперь оно мне было не нужно.

Занимался день, косые лучи солнца уже добрались до окон маленькой комнатки с побеленными стенами на улице Консепсьон-Баамонде. Мне захотелось начать сейчас же, пользуясь своим невольным затворничеством.

Я собирался писать для себя, только для себя, разумеется. Любая публикация исключалась. Пока я оставался в руководстве КПИ, находившейся на нелегальном положении, невозможно было даже помыслить о том, чтобы выпустить книгу.

На рассвете весеннего дня, на улице Консепсьон-Баамонде, я сел за стол, на котором стояла пишущая машинка. Это была портативная «Оливетти» с испанской клавиатурой: в ней не было французских значков над гласными. Что ж, придется избегать слов, где они нужны.

«Вагон. И груда тел, притиснутых друг к другу. И эта острая боль в правой ноге. Дни, ночи. Усилием воли заставляю себя начать счет — счет дням и счет ночам...»[1]

Дойдя до последней страницы повести Примо Леви «Передышка», такой для меня близкой, хотя его опыт был куда страшнее моего, такой дружественной — почти как взгляд Мориса Хальбвакса, умиравшего на нарах 56-го блока в Бухенвальде, — я закрыл глаза.

«È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza...»

Сон во сне, да, конечно. Сон о смерти внутри сна о жизни. Вернее, так: сон о смерти — это единственная реальность жизни, которая сама есть не более чем сон. Примо Леви выразил знакомую всем нам тревогу предельно точно. Единственная правда — это лагерь. Все остальное: семья, цветущая природа, домашний очаг — это лишь короткий отпуск, иллюзия наших чувств.

В тот вечер, 11 апреля 1987 года, я вспомнил о Примо Леви. И о Россане Россанде, которая открыла для меня его книги. И о Хуане Ларреа[2], который тоже их читал. На рассвете Ларреа дошел до Сены со стороны Френёз. Вода была темной. Он немного постоял, собираясь с силами последний раз в жизни, чтобы покончить с ней навсегда.

Он остановился на покатом зеленом склоне. Розовый каштан должен был не сегодня-завтра зацвести. Он стоял и смотрел на одинокое дерево посреди луга в неверном предутреннем свете, еще не согретом лучами солнца. Он грустно улыбнулся: в этом году он не увидит мелких розовых цветов на каштане Франки Кастеллани. Цветам не нужен его взгляд, чтобы распуститься, и Франка будет смотреть на них без него. Его смерть не помешает дереву цвести. Мир не исчезнет перед взором Франки Кастеллани.

Потом он спустился к темной воде реки: конец.

Накануне, 24 апреля 1982 года — установить точную дату событий романа нетрудно, — он вспомнил запах крематорского дыма над Эттерсбергом.

---

[1] Первые строки романа Х.Семпруна «Долгий путь» в переводе С. Тархановой и Ю. Яхниной. В оригинале автор действительно так подобрал слова, чтобы избежать диакритических знаков.

[2] Герой романа Х. Семпруна «Белая гора».

В феврале 1986 года, когда вышла «Белая гора», мне стали задавать дурацкие вопросы. В чем Хуан Ларреа похож на меня? Отождествляю ли я себя с этим персонажем?

Было бы хорошо, если бы я всегда мог отождествить себя с самим собой, отшучивался я, а уж с персонажем — это и вовсе сомнительно. Во всех отношениях. Нет, Хуан Ларреа — это не я, несмотря на сходство внешних признаков: испанец, писатель, бывший узник концлагеря. Правда, я немного завидовал ему. Мне бы, например, очень хотелось познакомиться с Франкой Кастеллани. Или написать пьесы, которые шли у Ларреа, если верить роману. Особенно я был бы счастлив написать «Суд в «Асканишер хоф».

В первой сцене Франц Кафка очень прямо сидит на стуле. Он ничего не говорит и дышит прерывисто, чуть приоткрытым ртом. Говорит Грета Блох — с запальчивостью отчаяния. Стоит жара, на дворе июль. Вот-вот начнется великая война. Через некоторое время появляется официант в белой куртке, неся прохладительные напитки.

Было бы нелепо пытаться переписать «Суд в «Асканишер хоф». Со мной случился бы такой же конфуз, как с Пьером Менаром[1], решившим заново написать «Дон Кихота»: у меня вышел бы тот же текст, что и у Ларреа, слово в слово.

Но Ларреа оставил и одну незаконченную пьесу, над которой он продолжал работать накануне самоубийства. В его комнате во Френёз нашли его заметки, черновики, множество материалов. Пьеса еще не имела названия, по крайней мере, его не было в найденных бумагах, но это была история лорда Керзона, британского политика, одной из самых захватывающих фигур в истории нашего века. От начала столетия до конца старого мира.

Во всяком случае, я имел полную возможность — что, право, неудивительно — прочесть черновики Ларреа и монументальную биографию Джорджа Натаниела Керзона, первого маркиза Кедлстона, написанную Роналдши, по которой он работал. Я мог помечтать над тем, какую драматическую машину можно было бы запустить при таком материале.

Так что литературные вкусы Хуана Ларреа, замыслы, которые я ему приписал — исходя из его, а не моей психологии и конкретных обстоятельств его вымышленной жизни, — эти вкусы и замыслы были мне близки: они могли бы стать и моими, моим возможным будущим, ибо в них были заложены мои собственные желания и сомнения.

Накануне самоубийства, в субботу 24 апреля 1982 года, Хуан Ларреа вдруг вспомнил. Ему показалось, что у него хватит сил совладать с собой и на этот раз. Он решил никому ничего не говорить. Скрыть ото всех свою тошнотворную тревогу, внезапно проснувшуюся, когда дым от тепловой электростанции в Поршевиле напомнил ему дым крематория на Эттерсберге. Скрыть, спрятать поглубже, подавить, вытеснить, забыть. Пусть этот дым сам и растает как дым. Никому ничего не говорить, не касаться этой темы. Продолжать делать вид, будто живешь, как он и поступал все эти годы: ходить, двигаться, пить виски, высказываться прямо и резко или, наоборот, дипломатично, любить женщин и писать, как если бы он действительно был жив.

Или наоборот: как если бы он умер и превратился в дым тридцать семь лет назад, «вылетел в трубу», как говорили в лагере. Как если бы его жизнь с тех пор была лишь сном, где все реальное ему просто приснилось: деревья, книги, женщины, персонажи его книг. Если только он сам им не приснился.

Точнее: если я сам не приснился Хуану Ларреа. Если Хуан Ларреа, бывший узник Бухенвальда, не рассказывает часть моей жизни в книге, подписанной псевдонимом — моим именем. Ведь я и сам назвал его Ларреа потому, что это была одна из моих подпольных кличек во время работы в Испании.

---

[1] Персонаж рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота».

«Как ты хочешь именоваться на этот раз?» — спросил меня мой приятель, который делал нам фальшивые документы. Очень симпатичный, и к тому же гений подлога. Мы сидели в художественной мастерской неподалеку от Монпарнаса, где он устроил себе лабораторию. Мне вспомнился в тот день Хуан Ларреа[1], сложный и утонченный писатель, человек блистательного поколения тридцатых годов, превратившего XX век в новый золотой век испанской литературы. Этот Хуан Ларреа говорил к тому же одинаково хорошо на двух языках, как и его друг Висенте Уидобро. «Ларреа, — ответил я. — Сделай мне документы на имя Ларреа!»

Через несколько месяцев в университетских кругах Мадрида была большая облава и кто-то выдал франкистской полиции эту кличку, под которой я был известен некоторым из наших связных. Министерство внутренних дел поместило в газетах объявление о розыске. Некоему Ларреа — далее следовало вполне точное описание внешности, — предположительно уроженцу провинции Сантандер, предписывалось немедленно явиться в компетентные органы.

Более чем компетентные, разумеется.

Но Хуан Ларреа ускользнул от франкистов. Он покончил с собой, умер вместо меня спустя несколько лет на страницах «Белой горы». Круг жизни и смерти, подлинной или вымышленной, замкнулся.

Я прочел «Передышку» Примо Леви в Милане, на улице Бильи, в библиотеке Банфи. Во внутреннем дворике краски неба, света, листвы были осенними.

Дойдя до последней страницы, я закрыл глаза. Я вспомнил Лорену, зимний день в Локарно и свое решение бросить писать.

Это Россана Россанда дала мне повесть Леви, как и его первую книгу «Se questo è un uomo»[2]. Она предложила познакомить меня с ним, ей было несложно устроить нам встречу.

Но я не чувствовал потребности встречаться с Примо Леви. Я имею в виду, встречаться с ним во *внешнем* мире, во внешней реальности того сна, которым была наша жизнь после лагеря. Мне казалось, что между нами все сказано. Или уже не может быть сказано никогда. Мне не хотелось и даже было бы тягостно вести с ним разговор бывших узников, диалог уцелевших.

Да и вправду ли мы уцелели?

11 апреля 1987 года, в ту субботу, когда нежданно-негаданно призрак молодого заключенного, которым я когда-то был, окольным путем проник в роман, где ему нечего было делать, и внес в него смуту и сомнение, Примо Леви покончил с собой у себя дома в Турине, бросившись в лестничный пролет.

Это было первое, что я услышал по радио на следующий день, в воскресенье.

Было семь часов, безымянный голос читал утренние новости. И вдруг прозвучало имя Примо Леви. Голос сообщил о его самоубийстве, сказал, что это произошло накануне в Турине. Я вспомнил, как однажды солнечным днем мы долго гуляли с Итало Кальвино под аркадами в центре Турина: это было вскоре после выхода «Долгого пути». Мы говорили о Примо Леви. Безликий голос по радио перечислил названия его книг, которые были восторженно приняты во Франции с обычным для французских открытий опозданием.

Голос назвал возраст Примо Леви.

И тут что-то во мне оборвалось: мне осталось жить пять лет, подумал я. Примо Леви был старше меня на пять лет. Я понимал, конечно, что это бред. Знал, что эта странная, невесть откуда взявшаяся уверенность была абсурдной: никаким роком мне не было предначертано умереть непременно в возрасте Примо Леви. Я прекрасно мог умереть более молодым, чем он. Или более старым. И вообще в любой момент. Но я довольно быстро разгадал смысл этого нелепого предчувствия.

---

[1] Хуан Ларреа (1895—1980) — испанский писатель, поэт. После поражения республиканцев эмигрировал в Мексику.

[2] «Се человек?» (*итал.*)

Я понял, что смерть опять оказалась у меня впереди, замаячила на горизонте будущего.

С тех пор как я вернулся из Бухенвальда — а точнее, с тех пор как я в Асконе бросил писать свою книгу, — я жил, удаляясь от смерти. Она осталась для меня в прошлом, с каждым днем все более далеком: как детство, первая любовь, первые прочитанные книги. Смерть была неким прожитым куском жизни, и воспоминание о ней постепенно тускнело.

Я жил в бесстыдном бессмертии, как привидение.

Потом, когда я опубликовал «Долгий путь», все изменилось. Смерть по-прежнему оставалась в прошлом, но это прошлое перестало удаляться, тускнеть. Скорее наоборот, оно стало явственнее. Я снова начал подниматься по течению жизни к этому истоку, к этому изначальному небытию.

Сообщение о смерти Примо Леви, известие о его самоубийстве внезапно опрокинуло всю перспективу. Я опять ощутил, что я смертен. Быть может, мне оставалось жить больше, чем пять лет, которых мне не хватало до возраста Примо Леви, но смерть снова вписалась в картину моего будущего. И я подумал: интересно, будут ли у меня еще воспоминания о смерти. Или только предчувствия ее.

11 апреля 1987 года смерть вновь настигла Примо Леви.

В отличие от меня, он сразу же, в октябре сорок пятого, после долгой одиссеи своего возвращения из Освенцима, описанного в «Передышке», сел за свою первую книгу «Се человек?». Он работал судорожно, лихорадочно, в каком-то приподнятом состоянии. «То, что я испытал, выстрадал, жгло меня изнутри, — писал он позднее. — Я чувствовал себя ближе к мертвецам, чем к живым, мне было стыдно за то, что я человек, потому что это люди создали Освенцим, а Освенцим поглотил тысячи жизней, множество моих друзей, дорогую мне женщину. Мне казалось, что, рассказывая, я очищаюсь. Я чувствовал себя похожим на старого моряка из поэмы Колриджа...»

Цитата из Колриджа даже вынесена в эпиграф последней книги Примо Леви «I sommersi e i salvati»[1], чье название повторяет название одной из глав книги «Се человек?»:

Since then, at an uncertain hour,
That agony returns:
And till my ghastly tale is told
This heart within me burns[2].

«Я сочинял, — продолжает Примо Леви, — жесткие, окрашенные кровью стихи и рассказывал, рассказывал, словно в каком-то опьянении, устно и письменно, так много, так часто, что из этого постепенно родилась книга: работая над ней, я обретал крупицы покоя и снова становился человеком, обыкновенным, как все, не мучеником, не изгоем, не святым, одним из тех, кто создает семью и смотрит не только в прошлое, но и в будущее».

Примо Леви не раз описывал свои тогдашние ощущения, трудные радости писательства. Он чувствовал, что возвращается к жизни, в буквальном смысле, благодаря этой работе.

Когда он ее закончил, оказалось, что его великолепная книга, шедевр сдержанности, пронзительной простоты слога, прозорливости и сострадания, никому не нужна. Все крупные издатели дружно от нее отказались. В конце концов она вышла в каком-то маленьком издательстве и никем не была замечена. Примо Леви бросил писать и вернулся к своей профессии инженера-химика.

Казалось, сбывается тот сон, про который он писал, кошмар узника: возвра-

---

[1] «Погибшие и уцелевшие» (*итал.*).

[2] С тех пор гнетет меня тоска
В неведомый мне час,
Пока я вновь не расскажу
Мой сумрачный рассказ.
С.Т. Колридж. «Поэма о старом моряке». Пер. Н. Гумилева.

щаешься домой, начинаешь, захлебываясь, рассказывать близким, что с тобой было, через какие муки пришлось пройти, но никто не верит. Твои рассказы вызывают неловкость, тягостное молчание. Твои родные — а в самых страшных вариантах сна и любимая женщина — встают, поворачиваются к тебе спиной и выходят из комнаты.

Получалось, что Примо Леви был прав: его сон стал явью. И только многие годы спустя книга «Се человек?» вдруг обрела читателей, нашла путь к широкой публике, ее бросились переводить во всех странах.

Запоздалый успех побудил его написать следующую книгу: это была «Передышка».

У меня все складывалось иначе.

Для Примо Леви работа над книгой была спасением от прошлого, она успокаивала его память. «Мои воспоминания, — пишет он, — парадоксальным образом превратились в богатство, в какое-то набухающее семя: когда я писал, мне казалось, что я расту, как растение». Меня же они снова заталкивали в смерть, топили меня в ней. Я задыхался в безвоздушном пространстве своих черновиков, каждая строчка пригибала мне голову под воду, как будто меня снова допрашивали в ванной на вилле гестапо в Осере. Я отбивался, спасая свою жизнь. Наконец я бросил попытки выразить смерть словами, мне надо было заставить ее замолчать. Иначе это она заставила бы меня замолчать навсегда.

Но, несмотря на всю разницу в биографии, в пережитом опыте, нас с ним объединяет одно поразительное совпадение. Исторический отрезок времени между первой книгой Примо Леви — этой огромной писательской удачей, не имевшей никакого успеха у публики, — и его второй повестью, «Передышка», в точности совпадает с теми годами, когда я писать не мог: между моим решением в сорок пятом году все бросить и «Долгим путем». «Передышка» и «Долгий путь» писались почти одновременно и вышли друг за другом, в 1963 году. Книга Леви в апреле, моя — в мае.

Как будто независимо от жизненных обстоятельств каждого из нас на неисповедимых путях истории объективно созрела готовность людей нас услышать. Причем эта готовность оказалась тем более знаменательной, что совпала с первыми свидетельствами о советском ГУЛАГе, которым удалось наконец пробиться сквозь традиционную стену недоверия и непризнания со стороны Запада. Повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» появилась той же весной шестьдесят третьего.

Но 11 апреля 1987 года смерть вновь настигла Примо Леви.

Почему спустя сорок лет его воспоминания вдруг перестали быть богатством? Какая катастрофа в ту субботу произошла в его памяти? Почему ему вдруг стало невмоготу нести ее бремя?

Просто опять, теперь уже в последний раз, тревога, от которой нет ни прибежища, ни противоядия, охватила его, перекрыв кислород. Тревога, описанная им в последних строках «Передышки».

«Nulla era vero all'infuori del Lager. Il resto era breve vacanza o inganno dei sensi, sogno...»

Нет ничего подлинного вне лагеря. Остальное — лишь краткий отпуск, иллюзия наших чувств, зыбкая греза. Вот так.

■

***Согласно желанию вдовы прах Иосифа Бродского будет перенесен из Нью-Йорка на венецианское кладбище Сан-Микеле***

**ЛЕВ ЛОСЕВ**

# РЕАЛЬНОСТЬ ЗАЗЕРКАЛЬЯ: ВЕНЕЦИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО[1]

Судьба, случай, импровизация перемещали Иосифа Бродского по планете в 1972 году. Кое-как уложившись в короткий срок, отведенный на устройство дел, 4 июня, подталкиваемый в спину сбирами госбезопасности, он пересек границу страны, где родился и провел безвыездно тридцать два года. Спустя три сумбурных, наполненных пестрыми впечатлениями месяца Бродский оказался в университетском городе посередине североамериканского континента в новой для себя роли преподавателя. Впрочем, и осень не получилась оседлой: приглашаемый нарасхват, он немало поколесил по Штатам. Бурный год подходил к концу. Наступили рождественские каникулы, когда университетские кампусы пустеют — студенты и профессора-ваганты разъезжаются по домам. Бродский уехал в Венецию.

Этому городу он посвятил первую большую вещь, целиком написанную в эмиграции, — элегию «Лагуна» (январь 1973)[2]. Вспоминая через двадцать лет свои первые венецианские каникулы, он опишет их осторожной и в то же время парадоксальной фразой: «Это ощущалось как приезд в провинцию, в какое-то незнакомое, незначительное место, — может быть, на родину после многолетнего отсутствия» (Watermark, 8). Сходные впечатления: Венеция — провинция, Венеция — свое, родное место, отмечал Блок в письмах к матери из итальянского путешествия 1909 года: «[Ж]иву в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно»[3].

Родственное чувство, испытываемое русским поэтом к Венеции, нельзя объяснять банальным сравнением ее с Петербургом. (Тем более не является Венеция для Бродского эзоповской аллегорией отечественной тирании, как это происходит в «Охранной грамоте» Пастернака.) Такому чуткому к образам чужой культуры художнику, как Бродский, уже apriori было понятно, как по существу непохожи Венеция и Петербург. Родным ощущается скорее некий кумулятивный образ Вене-

---

**Цитаты из Бродского даются по следующим изданиям его произведений:**
**«Конец прекрасной эпохи». Анн Арбор, «Ардис», 1977;**
**«Часть речи». Анн Арбор, «Ардис», 1977;**
**«Урания». Анн Арбор, «Ардис», 1987;**
**«Ленинград» ( пер. с англ. Л.Лосева) в альманахе «Часть речи» №1, Нью-Йорк;**
**«Серебряный век», 1980, с.6—26. Английское название «A Guide to a Renamed City». — In: *Joseph Brodsky*. Less Than One. New York, Farrar, Straus and Giroux, 1986, p.69—94;**
**«Watermark». New York, Farrar, Straus and Giroux, 1992.**
**Перевод цитат — автора статьи.**
**Вслед за названием книги дается номер страницы.**

[1] *Статья впервые опубликована в кн.: I Russi e l'Italia. A cura di Vittorio Strada. Milano, Libri Scheiwiller, 1995, p. 217—225. (Прим.ред.)*

[2] Две большие вещи, «1972» и «Бабочка», помечены в сборниках Бродского 1972 годом, но первая начата, а вторая почти полностью написана еще в России. (*Здесь и далее — прим. автора, кроме особо оговоренных случаев.*)

[3] *Александр Блок*. Собрание сочинений, т.8. М-Л., ГИХЛ, 1963, с.283. Там же: «[Равенна] — глухая провинция, еще гораздо глуше, чем Венеция» (с. 284).

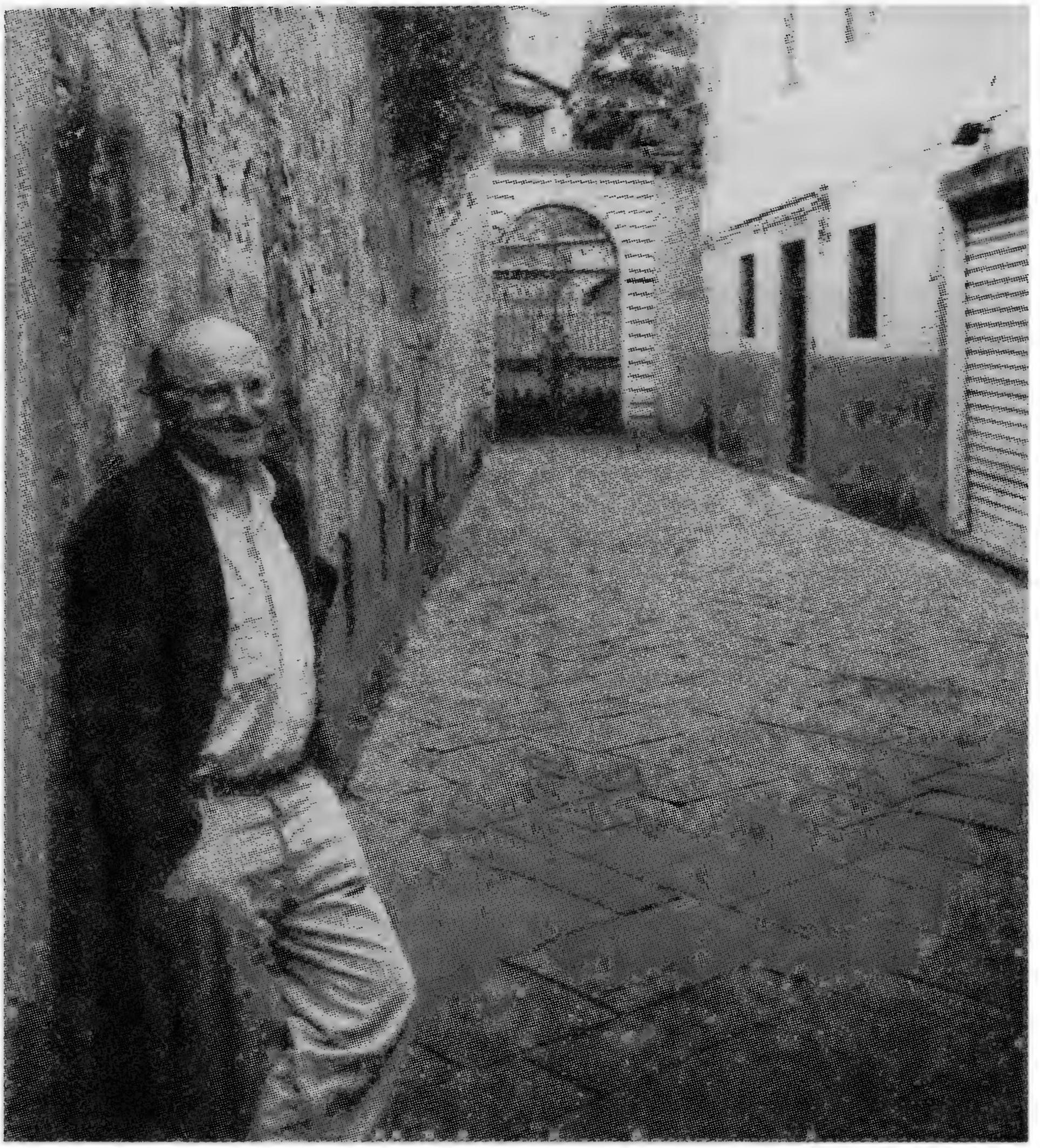


*Фото Петра Вайля*

ции, *венецианский* текст, воспринимаемый с детства в контексте родной культуры. В «Watermark» Бродский описывает «венецианский субстрат» своего российского бытия: музыка Вивальди, полузабытые романы Анри де Ренье[1], черно-белая пиратская копия фильма (неудачного, по мнению Бродского) Висконти «Смерть в Венеции» (по новелле не любимого Бродским Томаса Манна), случайный номер американского журнала «Лайф» с фотографией Сан-Марко в снегу, набор старых открыток, лоскут гобеленной ткани с вытканным Palazzo Ducale, дешевый сувенир — [«маленькая медная гондола, привезенная демобилизованным отцом из Китая; она стояла у родителей на подзеркальнике, наполненная разрозненными пуговицами, иголками, почтовыми марками и — постепенно все больше и больше — пилюлями и ампулами»][2] (Watermark, 39). Маленькую венецианскую гондолу, заплывшую в детство чужеземного поэта, можно встретить и в «Итальянском пу-

[1] Бродский пишет, что не помнит, какой именно роман он читал, и что плохо припоминает содержание. У Анри де Ренье нередко действие происходит в Венеции. Возможно, что в памяти Бродского смешались романы «Страх перед любовью» и «Любовное путешествие, или Венецианское посвящение».

[2] [...] — так обозначаются купюры в цитате или изменения, которые вынужден вносить цитирующий. (*Прим.ред.*)

тешествии» Гёте: «Отец привез из своего итальянского путешествия прекрасную модель гондолы. Он очень ею дорожил, и мне, лишь в виде особой милости, позволялось играть ею»[1]. Интертекстуальные отношения Бродского с Гёте, открывшим Италию не только для немецкой, но и для русской литературы нового времени, вполне сознательны. В 1981 году Бродский написал «Римские элегии», тематическое эхо одноименного цикла Гёте. Но литературные отголоски в творчестве Бродского всегда материализованы в реалиях собственного опыта, ведь и медная гондола, и отец, ее привезший из-за границы, были у автора на самом деле. Это надо иметь в виду, когда мы будем упоминать другие *интертексты* в посвященных Венеции вещах Бродского[2].

В «Watermark» венецианский текст русской литературы Бродский не упоминает, как само собой разумеющийся, а между тем написанное Бродским о Венеции в не меньшей степени, чем личным впечатлениям, обязано своим возникновением этому складывавшемуся на протяжении полутора веков тексту. Венеция была одним из обязательных общих мест (τοπος) в русском романтическом каноне, но возникла она там не из непосредственных впечатлений путешественников, а из восторженных чтений Байрона. Об этом говорит Пушкин в XLIX строфе главы первой «Евгения Онегина»:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
*По гордой лире Альбиона*
*Он мне знаком,* он мне родной[3].

(Курсив мой. — *Л.Л.*)

При этом отмечаемые Байроном со свойственной ему иронической наблюдательностью приметы венецианского быта (поэма «Верро») или реалии венецианской истории (4-я песнь «Паломничества Чайльд Гарольда», драматические поэмы «Марино Фальеро» и «Двое Фоскари») русскими романтиками игнорировались. Для своих воображаемых поэтических путешествий в республику Св.Марка они заимствовали у Байрона лишь экзотику, позднее растиражированную по всему миру в виде сувениров до такой степени, что они попадались даже среди домашнего скарба в ленинградской коммуналке. Самое характерное произведение русской романтической венецианы — «Венецианская ночь» (1825) Ивана Козлова, образец бесчисленных подражаний, первые три строфы ее были положены на музыку Михаилом Глинкой в 1832 году и стали популярным романсом:

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной...

.....
Свод лазурный, томный ропот
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шепот
И любовный свет луны,
Упоенья аромата
И цветов и свежих трав,

---

[1] *Гёте Иоганн Вольфганг.* Собрание сочинений, т.9. М., «Художественная литература», 1980, с.38.
[2] Именно это качественно отличает венецианские тексты Бродского от нередких в русской литературе воображаемых путешествий в Венецию и в Италию, полностью основанных на игре культурными образами: от Пушкина до «Итальянских впечатлений» (1912—1913) графа Василия Комаровского, стихотворения Александра Кушнера «Венеция, когда ты так блестишь...» и цикла стихотворений Алексея Машевского «Венеция» (1993).
[3] *А.С.Пушкин.* Полное собрание сочинений, т.5. М., Изд-во АН СССР, 1957, с.30.

И вдали напев Торквата
Гармонических октав...

.....
По водам скользят гондолы,
Искры брызжут под веслом,
Звуки нежной баркаролы
Веют легким ветерком[1].

Описываемый Козловым пейзаж имеет мало общего с реальным ландшафтом окрестностей Венеции:

Уж в гондоле одинокой
К той скале она плывет,
Где под башнею высокой
Море бурное ревет[2].

Бурное море под скалой с башней — это условный романтический пейзаж (точно такой же, с бóльшим основанием, описывает Козлов и в своих шотландских балладах). Цитрусовые растения (померанцы, то есть апельсины, более характерные для итальянского юга, чем для Венето) — условная примета романтической Италии со времен гётевской Миньоны («Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhen?»). Так же условно в этом стихотворении изображение Байрона («Подле арфа золотая, / Меч под факелом блестит»), и «красавица младая» с изумрудным талисманом «на персях белоснежных» — вряд ли точный портрет социально эмансипированной и политически активной венецианской подруги Байрона, графини Guiccioli.

Гондола, луна, баркарола, голуби на площади Св. Марка — из весьма ограниченного набора венецианских клише русскими поэтами XIX века было изготовлено огромное количество однообразных текстов:

Студеная весенняя волна
Едва шумит под веслами гондолы
И повторяет звуки баркаролы[3].

«Посади меня с собой,
Гондольер мой молодой, —
Близко до Риальто.
Дам тебе за труд я твой
Этот перстень золотой,
Перстень с бриллиантом»[4].

«Гондольер молодой! Взор мой полон огня,
Я стройна, молода! Не свезешь ли меня?
Я к Риальто спешу до заката!
Видишь пояс ты мой, с жемчугом, с бирюзой,
А в средине его изумруд дорогой?..
Вот тебе за провоз моя плата»[5].

Навстречу к нам гондола приближалась,
Под звук гитары звучный тенор пел,
И громко раздавались над волнами
Заветные слова: dimmi che m'ami[6].

---

[1] *И.Козлов.* Полное собрание стихотворений. Л., «Советский писатель», 1960, с.91—92.
[2] *Там же*, с.94.
[3] *М.Ю.Лермонтов.* Полное собрание стихотворений, т.1. Л., «Советский писатель», 1989, с.154.
[4] *Д.Ознобишин.* — В кн.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., «Советский писатель», 1972, с.101—102.
[5] *А.Кони.* — В кн.: Русский романс. М., «Правда», 1987, с.445. «Проехаться на гондоле стоит очень дорого. Только туристы-иностранцы, притом богатые, могут себе это позволить», — пишет Бродский (Watermark, 125). Как мы видим, в условной Венеции русских поэтов-романтиков это тоже было недешево. Правда, в обоих стихотворениях гондольеры отказываются от предлагаемых сокровищ и требуют в уплату за проезд любви.
[6] *А.Апухтин.* Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1961, с.161.

Плыви, моя гондола,
Озарена луной,
Раздайся баркарола
Над сонною волной.

.....
Под Мостом Вздохов проплывала
Гондола позднею порой,
И в бледном сумраке канала
Раздумье овладело мной.

.....
Скользила гондола моя над волной
Морского широкого лона.
Заката малиновый луч надо мной
Румянил лазурь небосклона.

.....
Помнишь, порою ночною
Наша гондола плыла,
Мы любовались луною,
Всплескам внимая весла. [...]
Мимо палаццо мы дожей,
Мимо Пьяццетты колонн
Плыли с тобою... О, Боже,
Что за чарующий сон![1]

Последние пять — из стихов Великого князя Константина Романова, писавшего под псевдонимом К.Р., эстета и друга Достоевского и Чайковского.

Автоматическое использование венецианских клише давало иногда несколько комичные результаты:

Лежит Венеция златая
И машет веслами гондол[2].

«Лживый образ красоты» — называл эту условную Венецию Владислав Ходасевич, полемически построивший лучшее из своих венецианских стихотворений («Нет ничего прекрасней и привольней...») из деталей сугубо прозаических:

К Риальто подплывая,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых [...].
Потом зайди в лавчонку banco lotto,
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчерии, пообедай
С бутылкою Вальполичелла[3].

Справедливость требует упомянуть и другое развитие венецианской темы в русской литературе классического периода, куда менее проявленное, но не менее важное, особенно для литературного сознания Бродского. Как-то автоматически предполагается, что мотив «смерти в Венеции» введен в европейскую литературу Томасом Манном. Между тем знаменитая одноименная новелла написана в период особенно глубокого увлечения Манна «святой русской литературой», и невозможно представить себе, чтобы такой чуткий читатель, как Манн, не уловил у своего любимого Достоевского этой сложной апокалиптической символики: гибнущая Венеция как самое прекрасное создание гибнущей европейской цивилизации, куда стремится движимый волей к смерти художник. «Я хочу в Европу съездить, Алеша, — говорит брату Иван Карамазов, — отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду

---

[1] *К.Р.* Полное собрание сочинений, т.2. Париж, «Военная быль», 1966, с.18— 21.
[2] *В.Бенедиктов.* Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1983, с.160.
[3] *В.Ходасевич.* Колеблемый треножник. М., «Советский писатель», 1991, с.130. Встихотворении идет речь о разрыве с любимой женщиной. В «Watermark» у Бродского есть отклик и на это стихотворение Ходасевича: «Должен сказать, что, как ни хорошо это место для медового месяца, я часто думал, что оно подходило бы и для разводов» (29).

лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что!» (Несколько десятков страниц спустя мы узнаем из слов Карамазова-отца, что «самое дорогое кладбище» для Ивана не Европа вообще, а Венеция: «Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня»)[1]. Есть и другие, немногочисленные, но влиятельные тексты XIX века с тем же «преддекадентским» мотивом. В Венецию привозит Елена умирающего Инсарова (Тургенев, «Накануне»). Старость, воспоминания об утратах, близость конца — темы венецианских стихов в поздней поэзии Петра Вяземского, одного из любимых поэтов Бродского.

Серебряный век, как принято называть необычайно плодотворный период в истории русской культуры, приблизительно совпадающий с первой четвертью XX столетия, значительно пополнил русскую венециану. Одной из характерных эстетических тенденций этого периода была эстетизация прошлого, «пассеизм», одной из характерных жанровых тенденций — стилизация. Авантюрно-эротический роман XVIII века стилизован Михаилом Кузминым в его «Из записок Тивуртия Пенцля», «Приключениях Эме Лебефа» и «Чудесной жизни Иосифа Бальзамо, графа Калиостро», действие которых происходит отчасти в Венеции (возможно, и Анри де Ренье Бродский читал в переводе Кузмина), а фантастическая новелла, «гофманиана», — в таких вещах, как две новеллы под одинаковым названием «Венецианское зеркало» Александра Чаянова (1923) и Павла Муратова (1928). Перу последнего принадлежит великолепный травелог «Образы Италии» (первые два тома — 1911—1912, третий том — 1924), начинающийся и кончающийся элегическими описаниями Венеции. Наряду с книгой П.П.Перцова «Венеция и венецианская живопись» (1911) венецианские главы «Образов Италии» стали главным путеводителем в реальных и воображаемых прогулках по этому городу для русских поэтов и писателей Серебряного века, заменив «добродушного Рескина [Ruskin]»[2]. Первый очерк в книге Муратова посвящается Венеции и называется характерно — «Летейские воды».

Смерть и красота, смерть красоты, красота смерти — на этой тематической основе писателями Серебряного века о Венеции было написано много прекрасных стихов и прозы. Бесспорный шедевр среди них — стихотворение Мандельштама «Веницейская жизнь» (1920).

Но есть три стихотворения, написанные тремя мастерами этого периода, полемическая мажорная тональность и парадоксальность которых выводит их за пределы канонического меланхолического ряда. Это вышеупомянутый отрывок («Нет ничего прекрасней и привольней...») Ходасевича и две «Венеции» — Ахматовой (1912) и Пастернака (1913, 1928). Полемично в них все: и отсутствие гробового мотива, и лексика — в подчеркнутом разрыве с каноном Пастернак и Ахматова называют гондолы «лодками», а Ходасевич впервые в русской поэзии использует это слово с итальянским ударением на первом слоге — «гóндола» (в русском языке утвердилось произношение «гондóла», видимо, потому, что удобно рифмовалось с «баркарóла»). «Отрывок» Ходасевича начинается с психологического парадокса: «Нет ничего прекрасней и привольней, / Чем навсегда с возлюбленной расстаться...»[3] — а стихотворения Ахматовой и Пастернака парадоксами заканчиваются: «не тесно в этой тесноте, / И не душно в сырости и зное»[4] (Ахматова) и «Венеция венецианкой / Бросалась с набережных вплавь»[5] (Пастернак). Венеция, которая прежде была лишь красивым фоном любовного свидания или смерти, предстает в этих трех стихотворениях как место назначения лирического паломничества —

---

[1] *Ф.М.Достоевский*. Полное собрание сочинений. Л., «Наука», т.14, с.210 и 253. Чего Томас Манн мог не знать — это того, что и Раскольников в одном из черновых вариантов «Преступления и наказания» стремится в Венецию (см. т.7, с.40).

[2] Выражение Блока. См.: *Александр Блок*. Собрание сочинений, т.5. М.-Л., ГИХЛ, 1963, с.386.

[3] *В.Ходасевич*. Указ.соч., с.130.

[4] *Анна Ахматова*. Десятые годы. М., МПИ, 1989, с.120.

[5] *Б.Пастернак*. Собрание сочинений, т.1. М., «Художественная литература», 1989, с.56.

место, в котором перестают действовать обычные законы логики и психологии: там в тесноте не тесно, в духоте не душно, там утрата переживается как приобретение, там даже можно бросаться в самое себя. Словно бы пространство этого города, выражаясь в духе вышеупомянутого Ивана Карамазова, «неевклидово».

Поэтические странствия Бродского уже с ранней поры были словно бы вдохновлены той гравюркой из школьных учебников, где достигший конца света пилигрим из глубины своего капюшона заглядывает за orbis terrarum. Однако поиски счастливого метафизического пространства для этого поэта осложнялись тем, что метафизический дискурс в духе символистов в целом чужд его поэтике. Поэтому так фальшиво прозвучало в свое время название одной статьи о поэзии Бродского — «Прорыв в вечность». «Вечность», «беспредельность» и прочее «невыразимое» всерьез не существуют в словаре поэта, воспитанного на вещной, требующей конкретных образов поэтике петербургских акмеистов и таких близких к ним стилистически поэтов, как Пастернак и Ходасевич. Еще задолго до того, как поездка в Венецию стала для него реальной возможностью, в стихах Бродского океан становится метафорой свободы от пространственных ограничений, а нарушение календарного цикла — метафорой свободы от ограничений временны́х. Таким побегом из «плена времени» и — распространим выражение Пастернака — пространства могла быть просто поездка в Крым поздней осенью:

Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это — временный, но выход
за скобки года, из ворот
тюрьмы.

*(Конец прекрасной эпохи, 66—67)*

Другая постоянная метафора освобождения из плена времени у Бродского чисто христианская — Рождество. Звезда, остановившаяся над пещерой, где был рожден Спаситель, знаменует для него если не остановку, то перебой в беге времени. Венеция, которая стоит даже не на краю моря, а как бы в самом море, таким образом приобретает в дни Рождества исключительный статус в поэтической географии Бродского, статус места вне времени и пространства. Причем это не маловразумительный «провал в вечность», а гипертрофированно вещное явление: все, что глаз видит здесь, — произведение человеческого искусства. Кроме воды, которая эти искусственные сокровища отражает. Впрочем, по Бродскому, и наоборот — кружево венецианских фасадов отражает кружева морской пены (Watermark, 18). И нечто другое: «Как сказано, «Дух Божий носился над водою». И отразился до известной степени в ней — все эти морщинки и так далее. Так что на Рождество приятно смотреть на воду, и нигде это так не приятно, как в Венеции»[1].

Если основная метафизическая характеристика Венеции на протяжении двух десятилетий остается неизменной, конкретный портрет города и автопортрет в городе претерпевают существенные изменения от «Лагуны» к «Watermark».

**«Лагуна» (1973).** Мощная апокалиптическая метафорика «Лагуны» рисует Венецию как некий корабль, то ли погружающийся, то ли уже погрузившийся в волны потопа: «бронзовый осьминог / люстры в трельяже, заросшем ряской», «звезда морская в окне лучами / штору шевелит». Герой же изображается как классический *чужой*, аноним в духе напитанной экзистенциализмом послевоенной литературы и кинематографа. Это проявляется не только в экзистенциалистских мотивах тошноты и отчаяния в подтексте, но даже и в описании:

[1] «Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем». — В кн.: *Иосиф Бродский.* Рождественские стихи. М., «Независимая газета», 1992, с.55.

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще...

*(Часть речи, 40)*

Мысли изгнанника обращены к родине под кошмарной властью предсказанных Достоевским бесов. Погружаясь в свои венецианские пучины, он показывает этому бесовскому воинству «итальянский салют» как жест, пародирующий их эмблему — серп и молот.

**«Венецианские строфы», I—II (1982)**. Читая этот диптих, два абсолютно симметричных восьмистрофных стихотворения, несомненно относящихся к числу шедевров поэтического мастерства Бродского, понимаешь, почему Бродский не раз называл своими учителями Гайдна, Моцарта, Вивальди — гениев контрапункта и оркестровки. Обе части поражают детальной подробностью портрета Венеции. Изображается не просто наряженная толпа, а все разнообразие нарядов и украшений: епанчи, юбки, панталоны, плащи, гребень, жемчуг. Не просто дворцы и церкви, а конкретные архитектурные формы: колонны, аркады, капители, купола, шпили, пилястры, арки (сходным образом, из плавсредств не одни гондолы, но также шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки и лодки мусорщиков). Самостоятельная объектность всех этих предметов усилена щедрым перечислением материалов (камень, диабаз, стекло, золото, жемчуг, сукно, мука, кирпич, мрамор, бязь, чернила, фарфор, хрусталь, бирюза, торцы) и зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной конкретностью эпитетов и описаний. Тематически вторая часть является инверсией первой. Первая — наступление ночи, сужение пространства: от города к жилью, от жилья к постели, к телу возлюбленной. Вторая — наступление дня, расширение пространства: от постели и спальни до городских площадей и простора лагуны. Две части не только зеркально отражают одна другую, но и взаимно комплиментарны. Основной мотив первой складывается из переплетения музыкальных образов с образами подводного мира (потопа). Основной мотив второй — образы венецианской живописи («Сусанна и старцы» Тинторетто, «Св. Георгий» Карпаччо, Венеры Джорджоне и Тициана) и воздушной стихии (облака, лазурь, солнечный свет). Эротичность «Венецианских строф» существенно отличает их от «Лагуны» (в «Лагуне» есть антиэротический мотив: постель — «набрякший слезами, лаской / грязными снами сырой станок», «горек [...] вкус поцелуев», упоминается *снятое* обручальное кольцо). Если композиционная модель стихотворения напоминает два соединенных одной вершиной конуса, то именно эта вершина и есть эротический фокус всей конструкции. Здесь мы находим образ «горячего зеркала», «с чьей амальгамы пальцем / нежность не соскрести». Этот образ, кроме всего прочего, еще и полемичен по отношению к «голубому дряхлому стеклу» Мандельштама из стихотворения, которое хотя и называется «Веницейская жизнь», но на самом деле посвящено умиранию.

**«В Италии» (1985)**. Стоический «человек в плаще» все еще ценит анонимность, возможность «спрятаться в перспективу» Прокураций, но апокалиптическое и воинственное настроение сменяется состоянием эстетизированной резиньяции, словно за двенадцать лет почти постоянных приездов сюда Венеция научила визитера переживать «выход за скобки года» как прекрасное и находить в красоте ответ на самые крайние вопросы бытия. «Эстетика — мать этики», — скажет Бродский позднее[1]. Интересно проследить прорастание венецианских знаков русской культуры в венецианских текстах Бродского. В «Лагуне» их нет, в «Венецианских строфах» уже упоминается русский венециофил Дягилев. А это небольшое, шестнадцатистрочное, стихотворение начинается с иронического портрета одного из русских литературных путешественников в Венецию, В.В.Розанова («по улицам с криком «рас-

[1] *Аркадий Тюрин*. «Эстетика — мать этики». Интервью с Иосифом Бродским. — «Новое русское слово» (Нью-Йорк), 6 декабря 1994 г.

тли! растли!» бегал местный философ, тряся бородкой»), и содержит цитату из «Венеции» Ахматовой: «лучшая в мире лагуна с золотой голубятней» («золотая голубятня» — первые слова стихотворения Ахматовой, характерный пример семантической поэтики акмеистов: с одной стороны, «голубятня» — это очевидная метафора площади Св. Марка, а «золотая» — традиционный эпитет, поэтический синоним «солнечного»; в то же время русское слово «голубятня» связано и с другим значением — голубого, синего цвета; золотое и голубое — основные фоновые тона и византийских, и венецианских мозаик).

**«Watermark»**[1] **(1991)** — это нечто вроде колоссального литературного автопортрета с зеркалом, причем читателю не дано решить: то ли необыкновенный итальянский город смотрится в зеркало и видит русского поэта, то ли наоборот. Во всяком случае, город под пером Бродского испытывает те же ощущения, что и лирический персонаж, — озноб, болезнь, любовь, желание быть оставленным в покое.

Как уже говорилось выше, первое впечатление, испытанное поэтом в Венеции, это ощущение возвращения в родную провинцию (в поэтической географии Бродского города у моря всегда провинциальны, тогда как столицы империй, Рим, «первый» или «третий», расположены в удалении от моря). «Петербург — Северная Венеция», это затасканное клише из путеводителей всегда раздражало своей неосновательностью как петербуржцев, приезжавших в Венецию, так, вероятно, и венецианцев в Петербурге: несмотря на сходное количество островов, каналов и мостов, это города разительно несходные внешне. За исключением небольшого квартала, называемого Новой Голландией, в Петербурге нет зданий, непосредственно омываемых водой, что является самой характерной чертой Венеции, несоизмеримы масштабы широко раскинувшегося Петербурга и компактной Венеции, и, конечно, не похожи доминирующие архитектурные стили. Русский путешественник скорее обнаруживает в венецианской архитектуре московские черты — такую же причудливую смесь византийских и ориентальных мотивов, те же самые кирпичные затеи, например М-образные кренелюры, как на стенах московского Кремля, что и неудивительно, учитывая выдающуюся роль, которую сыграли Аристотель Фиораванти и другие навербованные в Венеции итальянские зодчие, «фрязины», в строительстве исторического центра Москвы в царствование Иоанна III[2]. Сходство между Венецией и Петербургом, так остро ощущаемое Бродским, не градостроительно-архитектурного, а драматического порядка. Нигде на земле, как в этих двух городах, не сталкиваются с такой драматической интенсивностью гармонизирующее человеческое творчество и стихийный хаос. К Венеции вполне приложимы слова, сказанные Достоевским о Петербурге: «Самый умышленный город в мире». Оба великолепных города возникли вопреки природе, «противоестественно», в местах, совсем непригодных для человеческого обитания, усилием воли и экономического, политического, военного и художественного гения людей, и над обоими городами словно бы тяготеет эсхатологическое проклятие, угроза природы когда-нибудь вернуться и забрать свое. Этой исторической и метафизической драмой определяется *чувство места*, которое петербуржец Бродский, в первый раз выйдя из вокзала Венеции, сразу же признает за свое. Оно приходит как мощный чувственный сигнал: «[М]еня охватило ощущение полнейшего счастья: в ноздри ударило то, что всегда было для меня его синонимом — запах мерзлых водорослей» (Watermark, 5). «Пахнущий водорослями встречный ветер с моря исцелил здесь немало

---

[1] Написано по-английски. Первая публикация — на итальянском: Fondamenta degli incurabili. На русском, под итальянским названием, впервые в журнале «Октябрь», 1992, № 4, с.179—205. (Перевод Г.Дашевского очень удачен, но, к сожалению, сделан с неполного варианта.)

[2] В формировании архитектурного облика Петербурга триста лет спустя важную роль сыграл другой уроженец венецианских провинций, бергамаск Джакомо Кваренги, но на застроенную в основном в период Ренессанса Венецию неоклассицизм в духе Кваренги наложил сравнительно небольшой отпечаток.

сердец» (Ленинград, 22), — писал он прежде о Петербурге. И еще: «В Петербурге может измениться все, кроме его погоды. И его света. Это северный свет, бледный и рассеянный, в нем и память, и глаз приобретают необычайную резкость» (там же). И о Венеции: «Зимний свет в этом городе! У него есть необычайное свойство усиливать разрешающую способность глаза до микроскопической точности...» (Watermark, 29). Среди ощущений, складывающихся в единое петербургско-венецианское чувство места, — хрупкость, домашность, изящество. Они составляют основу метафоры, примененной автором к обоим городам: «[В Петербурге] громады зданий, лишенные теней, с окаймленными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно услышать, как звякнула ложка, упавшая в Финляндии» (Ленинград, 25—26) и «Зимой просыпаешься в этом городе [Венеции], особенно по воскресеньям, под звон бесчисленных колоколов, как будто за тюлем твоих занавесок в жемчужно-сером небе дрожит на серебряном подносе громадный фарфоровый чайный сервиз» (Watermark, 78) (и раньше, в «Лагуне»: «Вениційских церквей, как сервизов чайных, / слышен звон...» — Часть речи, 40)[1].

Известный в XVIII веке ученый, уроженец Венеции, граф Франческо Альгаротти, сказал: «Петербург — окно, через которое Россия смотрит на Европу». Пушкин сделал mot Альгаротти широко популярным, передав его в начале «Медного всадника» как мысль Петра: «в Европу прорубить окно». Бродский, который вслед за Достоевским считает Петербург неестественным для России городом, полемически видоизменяет крылатое определение: не окно в Европу, а зеркало Европы: «дворцы и особняки высятся над замерзшей рекой[.] Когда пурпурный шар заходящего январского солнца окрашивает их высокие венецианские окна жидким золотом, продрогший пешеход на мосту неожиданно видит то, что имел в виду Петр, воздвигая эти стены: гигантское зеркало одинокой планеты» (Ленинград, 22—23). «[В]се это не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской цивилизации, — пишет он, — а увеличенная волшебным фонарем проекция последней на грандиозный экран пространства и воды. [...] Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков» (там же, 12).

Семиотические проблемы были в центре всех интеллектуальных дискуссий пятидесятых—шестидесятых годов, и мотив зеркала как архетипического инструмента знаковости существенно представлен в творчестве поэтов того поколения: у Станислава Красовицкого, Евгения Рейна и других близких Бродскому поэтов. Более популярный пример — фильм Андрея Тарковского «Зеркало». В поэтических текстах этот возрожденный романтический мотив чаще всего трактует зеркало как генератор опасных мнимостей, обозначающих (signifiers), потерявших связь с обозначаемым (signified), Doppelgånger, «двойники, выходящие из стены» (по Красовицкому). У Бродского фантомному образу Петербурга как зеркального отражения Европы (см. выше) предшествует изображение всей родной страны, скрытой за фасадом «Петра творенья», как зазеркалья:

Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф — победа зеркал,

[1] Метафорическая ассоциация утра в Венеции с русским утренним чаепитием возникает и у Пастернака: «Размокшей каменной баранкой / В окне Венеция плыла». При единстве метафорического tenor тут наглядна разница между vehicles: простецкая московская размоченная баранка и петербургский эстетский фарфор на серебре.

при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.

*(Конец прекрасной эпохи, 58)*

Тот же мотив трагически представлен и в эротической лирике Бродского, где лирический герой теряет raison d'être, свое *значение*, в разрыве с возлюбленной:

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью...

*(Урания, 149)*

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, а потом сотри.

*(Урания, 148)*

Или как отражение без отражаемого:

[Я] взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало, повторяя.

*(Часть речи, 77)*

Зеркало в этой системе образов дает возможность получить ответы на роковые вопросы романтического сознания: в чем тайна любовного томления? на чем основана сила красоты? как вырваться из плена времени и пространства? Венеция — особое место на земле, потому что это город, славящийся производством зеркал, город зеркальных поверхностей, город-зеркало в метафорическом и метафизическом плане. Зеркальность Венеции проявляется (1) в ее отражающей способности, (2) в выявлении разного рода симметрий и, наконец, (3) в возможности посещения «пространства наоборот», неподвластного ходу времени и другим рациональным ограничителям[1].

И в «Лагуне», и в «Венецианских строфах» зеркала отражают жизнь, представленную в океанических формах: «Бронзовый осьминог / люстры в трельяже, заросшем ряской...» (Часть речи, 40); «Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились! / Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал / зеркала!» (Урания, 103), а в «Watermark», напротив, сам океан, из которого поднимается Венеция, есть зеркало: [«Я всегда думал, что если дух Божий носился над водами, то водам приходилось отражать его. Отсюда моя нежность к воде, с ее складками, морщинами, морщинками...»] ( Watermark, 42—43). Если для романтического поэта XIX века, Тютчева, мировому океану еще только предстояло отразить лик Бога («Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды, / И Божий лик изобразится в них!»[2]), то для Бродского этот лик навсегда сохранен в памяти океанского зеркала[3], и читателю Бродского нетрудно развить concetti до конца: отражаясь в зеркале венецианских вод, отражаешься в лике Божьем, то есть происходит слияние с Абсолютом (или, как Бродский предпочитает говорить, со Временем). В другом месте это растворение себя в Венеции

---

[1] О топосе зеркала и разнообразных зеркальных построениях в искусстве см. в кн.: *А.З.Вулис*. Литературные зеркала. М., «Советский писатель», 1991.

[2] *Ф.Тютчев*. Полное собрание стихотворений. Л., «Советский писатель», 1957, с.120.

[3] «У зеркал хорошая память» — строка из ранних стихов Евгения Рейна. Рейн, однако, трактовал традиционный мистический мотив «память зеркал» как враждебную человеку злую силу.

он описывает так: «[Я] даже разработал теорию сверхизбыточности, теорию зеркала, абсорбирующего тело, абсорбирующего город. Окончательный результат, как очевидно, — взаимное отрицание. Отражению нет дела до отражения» (Watermark, 22). Очень характерны антропоморфизирующие метафоры: проступающая из-под осыпающейся штукатурки кирпичная кладка венецианских зданий сравнивается с клеточным строением человеческой плоти, лабиринт узких улиц — с мозговыми извилинами, а тускло освещенные подъезды — с воспаленным горлом. Кажется, что читатель имеет дело с гротескным автопортретом в духе Арчимбольдо — составленным из элементов урбанистического пейзажа. Собственно, автор так прямо и говорит вначале: «[С]частье, я полагаю, это момент, когда замечаешь свои собственные составные элементы в свободном состоянии. Довольно много было их там, в состоянии полной свободы, и мне казалось, что я вступаю в свой собственный автопортрет, написанный в технике холодного воздуха» (Watermark, 7). По своей основной структуре это та же метафора, что и бросающаяся в самое себя Венеция у Пастернака, но усложненная разнообразными лирическими и религиозными модуляциями. В контексте всего поэтического творчества Бродского это связано с одним из основных его мотивов: человек меньше / больше самого себя (ср. автобиографический очерк «Less Than One», что на русский следует перевести как «меньше самого себя»[1], тему «части речи» в одноименном сборнике стихов и многое другое). В универсуме Бродского Венеция — единственное место, где этот парадокс-синекдоха находит счастливое разрешение.

В «Венецианских строфах» вторая часть диптиха строго отражает первую, а в «Watermark» 26-я главка (стоящее особняком, как бы не имеющее прямого отношения к Венеции, рассуждение об отсутствии у человека адекватной реакции на смерть) является точным центром симметрии — ей предшествуют двадцать пять главок и за ней следует столько же[2]. Можно без труда обнаружить ненавязчивую перекличку мотивов и образов в симметрически расположенных фрагментах. Для нашей темы интереснее постараться выявить симметрическую структуру в поэтической географии Бродского и определить место Венеции в ней. Образный мир Бродского обладает свойством выраженной географичности: приметы конкретного географического места почти всегда играют в его лирике важную роль. Большое количество стихотворений посвящено местностям, городам, городским районам. Карта поэзии Бродского разделена на северо-запад и юго-восток[3]. Петербург, Венеция и Стамбул — три главных города в земном круге. Могут возразить, что в отличие от первых двух городов у Бродского нет стихов, посвященных Стамбулу, есть лишь большое эссе. Но «Стамбул», так же как и «Watermark», и эссе о Ленинграде, является своеобразной рекапитуляцией мотивов и образов, неоднократно варьировавшихся в лирике. В «Стамбуле» — это азиатские мотивы, из которых главный у Бродского мотив пыли, метафора полной униженности, обезлички человека в массе. Сухой, пыльный, безобразный Стамбул, столица «Азии» на карте Бродского, полярен влажной, чистой, прекрасной Венеции, столице «Запада» (как ареала греко-римской и европейской цивилизации). Родной же город на Неве — вопреки реальной географии — расположен посередине между этими двумя полюсами, отражая своей зеркальной поверхностью «Запад» и скрывая «Азию» в своем зазеркалье. Так своеобразно оживает в творчестве русского поэта историческое соперничество Венецианской республики с Портой. В 35-й главке описывается как нечто опасно инородное военный корабль мусульманской страны, с мачтами, на-

---

[1] Автору этой статьи принадлежит неудачный русский перевод названия «Меньше, чем единица», впрочем авторизованный.

[2] Хотя в опубликованном русском переводе только 49 главок, но та же симметрическая конструкция там сохранена.

[3] О дихотомии Европа—Азия у Бродского см.: *Lev Loseff*. «Home and Abroad in the Works of Brodskii». — In: Under Eastern Eye: The West as Reflected in Recent Russian Emigre Writing. Ed. by Arnold McMillin. London, Macmillan, 1991, p.25—41.

поминающими автору минареты (в композиционно симметрической 17-й главке автор вспоминает свой собственный первый полет в Венецию на самолете, который летит над океаном как большое Распятие).

Стройностью симметрического построения «Watermark» может сравниться только с «Поэмой без героя», magnum opus литературного ментора Бродского, Анны Ахматовой. В центр своего большого оракулярного, написанного, по ее словам, «зеркальным письмом» сочинения Ахматова помещает строки: «Только зеркало зеркалу снится», за которыми для русского читателя открывается длинная перспектива таинственных зеркал в поэзии Ахматовой и в русской поэзии задолго до нее, начиная с прославленной баллады Василия Жуковского «Светлана» (1808—1812)[1]. Для Ахматовой Италия была сном, «который возвращается к нам до конца наших дней» (Watermark, 121), для Бродского это сон, в который он возвращается по крайней мере ежегодно. В своем литературном воплощении это сон гиперреалистический: все материальное видится в нем с той чувственной подробностью, какая несвойственна рассеянному и избирательному дневному мировосприятию, но, как и всякий сон, он открывает и фантастические возможности — увидеть большое внутри малого (целое внутри части), прошлое среди настоящего, мертвых живыми. Венеция в «Поэме без героя» — это прежде всего память:

> Между «помнить» и «вспомнить», други,
> Расстояние, как от Луги
> До страны атласных баут[2], —

пишет Ахматова, изящно обыгрывая формы имперфекта и перфекта русского глагола: память, длящаяся в реальном времени, ассоциируется с реальной географией петербургского края (городок Луга, расположенный чуть подальше от Петербурга, но на той же линии железной дороги, что и родное для Ахматовой Царское Село), а дискретная память — с маскарадной Венецией. В «Поэме без героя» грандиозный поэтический проект освобождения из плена времени лучшего года жизни (1913), воскрешения мертвых друзей и врагов осуществляется в форме венецианского карнавала, где в толпе оживших призраков мелькают Казанова и Калиостро, а вся Венеция размещена где-то по соседству с крошечной комнатой Ахматовой в ленинградской коммунальной квартире («Венеция дожей — / Это рядом...»[3]). В более позднем сочинении, тематически связанном с поэмой, Ахматова превращает в воображаемое счастливое пространство музыку своего любимого композитора-венецианца: «Мы с тобой в Адажио Вивальди / Встретимся опять»[4]. Физически находясь в реальной Венеции, Бродский откликается на фантастические ахматовские мотивы. У него это чудесные случайности (бесцельно бродя по городу в дни наводнения, он вдруг обнаруживает себя стоящим перед церковью, где крестили Вивальди, «который столько раз доставлял мне столько радости в разных богом забытых уголках земли» —Watermark, 93), «антиевклидовские» ощущения («Разумом я знал, что [анфилада дворцовых комнат] не могла быть длиннее галереи, параллельно которой она проходила. Но она была» — Watermark, 53) и воспоминания галлюцинаторной силы (в предпоследней главке он, не используя никаких сослагательных модификаторов, пишет о том, как ночью заглядывает в окно кафе Флориана — «внутри был 195? год» (Watermark, 133) — и видит там Одена с друзьями-поэтами).

---

[1] В книге Вулиса почти не затрагиваются «зеркальные» тексты русской поэзии, за исключением поэмы Сергея Есенина «Черный человек».

[2] *Анна Ахматова.* Поэма без героя. М., МПИ, 1989, с.55.

[3] *Там же*, с.37. Ср. огромные залы, магически открывающиеся для бала сатаны в московской квартире, в «Мастере и Маргарите» Булгакова.

[4] *Анна Ахматова.* После всего. М., МПИ, с.188.

***

В одной русской сказке герою отдается приказ: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Какие бы зигзаги ни совершал по земле лирический герой-пилигрим Бродского, его окончательное место назначения — это утопия, место «не-знаю-куда», Венеция как «неевклидово пространство», где часть превосходит целое и прошлое наличествует в настоящем. Что же привез он оттуда? Несколько стихотворений, из которых наиболее связаны с Венецией «Лагуна» (1973), «Венецианские строфы, I—II» (1982), «В Италии» (1985), «Однажды я тоже зимой приплыл сюда...» (1992) и «Лидо. Венеция» (1992).Однако главное сокровище, подлинное «то, не знаю что» — «Watermark» (1989). Читатель, вероятно, заметил, что автор этой статьи избегал определения жанра «Watermark». Это произведение на всех уровнях текста — от семантической структуры до ритма — построено по художественным законам, в путевых очерках и мемуарных произведениях текст организуется по другим принципам. Но нет в нем и вымысла в привычном смысле слова: все, что описывается, берется из реального жизненного опыта автора. Назвать это «поэтической прозой», «прозой поэта» нельзя не только потому, что такое название пошловато и ничего не определяет, но и потому, что среди несомненных антецедентов «Watermark» в этом жанре — не только «Охранная грамота» Пастернака, проза Мандельштама, Цветаевой, но и проза Шкловского, и многое у Розанова, а у истоков «Дневник писателя» Достоевского. То, что мы затрудняемся определить жанр прозы Бродского, говорит о том, что это все еще новое явление в литературе. Бессмысленно придумывать *термин* (само это слово несет в себе семантику окончательности) для того, что живет. Но талантливый читатель может описать с большой точностью свои впечатления от необычного текста, как это сделал Джон Апдайк в рецензии на «Watermark»: [«Когда читаешь «Водяной знак», восхищает отважная попытка добыть драгоценный смысл из жизненного опыта, превратить простую точку на глобусе в некое окно на вселенские условия существования, из своего хронического туризма выделать кристалл, грани которого отражают всю жизнь, с изгнанием и нездоровьем, поблескивающими по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде»][1].

■

[1] The New Yorker, 1992, July 13, p.85.

# ПОЛ НОТТ
# УРОКИ XX ВЕКА

## *НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА*

Есть немало причин быть оптимистичным в отношении XXI века, ибо уроки XX века самоочевидны. Эти уроки по большей части представляют собой повторение старых исторических сценариев давно минувших дней, лишь сыгранных в обновленном виде. Если это так, то тогда мы с очевидностью не извлекли уроков. Правда, у нас есть важные преимущества, которые должны нам помочь. Скорость коммуникаций по всему миру возросла до феноменальных масштабов. Идеи, а равно и товары могут и в реальности используют их сети для установления общения между народами. XX век ослепил нас верой в «неизбежность прогресса»: довольно долго мы свято верили в то, что ныне делаем что-то абсолютно новое (чему не было и не могло быть аналогов в прошлом) и что это «новое» уже потому лучше прежнего, что оно «современно». Эта вера была тем сильнее, чем больший прогресс достигался нами в развитии техники. По этой причине мы даже отказывались замечать, что наши социальные отношения (не говоря уж о попытках реформ в этой области) часто находятся на уровне давно минувших эпох. Человек, прилетающий из Нью-Йорка в Стокгольм всего за восемь часов, вправе восхищаться уровнем развития технологии, не сознавая, что социалистическая Утопия, в которую он летит, была в истории испробована — и отвергнута — уже неоднократно. Теперь это наивное представление теряет свою силу. Наивная вера в технический прогресс достигла своего апогея в середине столетия и с тех пор постепенно разрушается. Сейчас человечество приходит к осознанию того, что уровень развития технологии сильно опережает уровень развития социальных и межличностных отношений, несмотря на все новшества в этой области. Мы уже не отождествляем технический прогресс с социальным; более того, оказывается, что технический прогресс способен даже стать причиной социального регресса. Зависит ли успех деловых отношений от того, установлены они посредством компьютера или при личном контакте? Когда как.

Свобода и быстрота обмена информацией и вместе с тем осознание людьми того, что технический и социальный прогресс вовсе не одно и то же — вот два фактора, которые позволят нам лучше учесть опыт нынешнего столетия. И хотя каждое новое поколение будет упорствовать в повторении (в новых формах) ошибок прошлого, это не избавляет нас от необходимости хорошенько усвоить уроки XX века, не имеющего себе равных по количеству пролитой крови и изувеченных человеческих судеб. В противном случае бедствия и страдания достанутся в наследство нашим потомкам.

## *УРОК ПЕРВЫЙ:*
## СВОБОДА И РАВЕНСТВО НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ КОНФЛИКТЕ

На основе длительного и всестороннего изучения истории человечества Уилл и Эриэл Дюранты[1] пришли к выводу, что люди, стремясь достичь равенства, приносят в жертву свою свободу. Это стремление особенно ярко проявилось в XX столетии, когда в ходе величайшего социалистического эксперимента была сделана попытка построения утопического общества, основанного на идее всеобщего равенства. Идея всеобщего равенства, однако, всегда противостоит идеалу свободы личности: чем более социалистическим является общество, тем вероятнее, что личная свобода в нем ограничивается.

Примеры этого встречаются не только в XX веке: Дюранты утверждают, что

> «неравенство основано не только на природном, данном от рождения различии в положении всех членов общества, оно усугубляется по мере развития цивилизации. Природное неравенство порождает социальное, искусственное: каждое изобретение и открытие делается или присваивается какой-либо незаурядной личностью, а значит, сильный становится еще сильнее, а слабый — слабее. Экономическое развитие приводит к тому, что на основе выявления способностей человека и четкого распределения функций в общественной деятельности разные личности приобретают в своих социальных группах неравный вес. При самом большом усилии каждый

© 1993 by Paul D.Knott

Глава из книги «Переделывая Америку: ценностная революция».

[1] Уилл (1885 — 1981) и Эриэл (1898 — 1981) Дюранты — американские историки, авторы одиннадцатитомной «Истории цивилизации». (*Здесь и далее — прим.ред.*)

из нас может выделить из числа своих знакомых не более 30% людей, чьи способности соответствуют способностям остальных, взятых вместе. История и жизнь даровали нам эту величайшую несправедливость, заставляющую вспомнить о Боге Кальвина.

Природа смеется над нашими утопическими попытками примирить свободу и равенство, поскольку извечная и непреодолимая вражда между ними делает их сосуществование невозможным. Сделайте людей свободными, и их природное неравенство вырастет в геометрической прогрессии, как это было в Англии и Америке в XIX веке. Чтобы остановить рост неравенства, в жертву должна быть принесена свобода, как это случилось в России после 1917 г.».

XX век дает больше материала для сопоставления капитализма и социализма, чем любой другой период истории. Мы можем сравнить Северную Корею с Южной, Западную Германию с Восточной (или же всю Западную Европу с Восточной), Тайвань, Гонконг и Сингапур с материковым Китаем. Существует много подобных примеров, когда одна сторона выбирает капитализм, а другая — социализм при общности истории, одинаковом исходном уровне технического прогресса и капитала, при соотносимых культурных, семейных и образовательных традициях. Сравнение между ними можно, например, провести в сфере производства и распределения продуктов питания, то есть в первичной сфере общественной деятельности. В тех странах, где возобладала государственная система планирования сельского хозяйства, производство снизилось до такого уровня, что страны, бывшие ранее экспортерами сельскохозяйственной продукции, превратились в импортеров (например, СССР, Польша, Румыния, Болгария, Иран, Ирак, Сирия, Бирма, Гана, Танзания, Аргентина, Бразилия). И наоборот: в странах, которые сохранили капиталистическое сельское хозяйство (США, Канада, Австралия, Западная Европа), производство продуктов питания продолжает оставаться избыточным, что зачастую помогает социалистическим странам решать свои продовольственные проблемы.

Очевидно, что капитализм оставил социализм далеко позади не только в материальной сфере: в капиталистических странах выше не только средний жизненный уровень, но и то, что именуют качеством жизни. В Южной Корее или Западной Германии люди были более свободны, чем в Северной Корее и Восточной Германии, то есть их личные и гражданские свободы были лучше защищены. *Существует положительное соотношение между капитализмом и свободой личности.* Капитализм, в конечном счете, базируется на свободе личности и на личной ответственности каждого гражданина за достижение общественного идеала. Социализм, напротив, предполагает абсолютную подчиненность индивида государственным интересам. Даже в тех редких случаях, когда социализм успешно сочетается с демократией, например в Швеции, этот принцип сохраняется. Население Швеции гораздо более подконтрольно и зависимо от своего правительства, чем, например, народ Швейцарии, другого небольшого европейского государства, в котором более высокий уровень жизни был достигнут без характерных для Швеции социалистического управления и контроля.

Проблемы, возникающие при построении социалистического общества, не новы. В истории человечества было много попыток создания социалистических систем; одна из первых была осуществлена 4000 лет тому назад в государственной экономике шумеров. Древний Рим опробовал социализм в эпоху правления Диоклетиана (около 300 г.н.э.); но, как отмечают У. и Э. Дюранты, выполнение задачи «...по осуществлению контроля над гражданином в области экономики во многом способствовало росту дорогостоящего и коррумпированного аппарата ... а налогообложение возросло до такого уровня, что люди потеряли стимул к работе; кроме того, развернулась непримиримая борьба между законодателями, одни из которых искали возможные пути уклонения от уплаты налогов, а другие создавали законы, направленные на пресечение подобных правонарушений».

В истории Китая почти каждое тысячелетие отмечено социалистическими экспериментами. Каждый из них заканчивался неудачно и в результате возвращал страну к той или иной форме капитализма. Последняя великая попытка (не считая современного коммунистического Китая, основу которого заложил Мао в 40-х годах) была предпринята в 1068 г. императором Ван Аньши (Ван Аньши — не император, а первый министр. — *Прим ред.*). Он стремился защитить беднейшие слои общества от богатых и воспрепятствовать сосредоточению материальных благ в руках меньшинства. Император, читаем мы у У. и Э. Дюрантов, обязал государственный аппарат «...взять управление торговлей, промышленностью и сельским хозяйством в свои руки...» с целью «...помешать богачам втоптать в грязь трудящийся народ». Благородное стремление императора Вана было, в свою очередь, втоптано в грязь по причине все тех же напастей: высокие налоги, отсутствие стимула к работе, постоянный рост бюрократического аппарата. Похоже, что человечество должно раз и навсегда сделать свой выбор между частным грабежом и общественным вымогательством. Во все времена и при любом социальном укладе частный грабеж оказывается для человека менее оскорбительным.

Сказанное, однако, не означает, что капи-

тализм, даже с учетом всех достоинств демократического общества, заведомо лучше социализма. Во всех известных случаях социализм возникал как реакция на негативные стороны капитализма. Капитализм, по всей вероятности, является для человека более естественным способом существования: он лучше соответствует природе человека и успешнее развивается в свободных, ничем не стесненных условиях. Однако при капитализме естественное неравенство людей часто приводит к возникновению такого общества, в котором горстка людей не только контролирует бóльшую часть материальных благ, но и стремится к неограниченной власти, которая позволяет закрыть доступ к этим благам для остальных членов общества. «Просвещенный» капитализм должен уравновешивать эти деструктивные тенденции при помощи всеобщего права на образование и предоставления равных возможностей всем членам общества. Иначе реакцией на злоупотребления капитализма может стать выбор обществом такой неестественной экономической модели, как социализм Новое социалистическое государство насильно установит всеобщее равенство. Это несправедливо ограничит свободу людей, и, таким образом, порочный круг замкнется.

Коль скоро нет сомнения в том, что соображения выгоды существенны для непрерывного роста благосостояния общества и его финансовой стабильности, также бесспорно, что те же соображения выгоды, если они не подчинены высокой идее общественного блага, могут порождать всевозможные злоупотребления. Здесь речь идет о тех высших ценностях, которые зажигают в каждом человеке божественную искру, поскольку даже самые высокие демократические принципы сами по себе не способны обуздать вышедший из-под контроля материализм, зачастую порождаемый капитализмом. Плутарх утверждает, что в 594 г. до н.э. народ в Афинах в условиях капиталистического демократического общества «помешался на деньгах» — повсеместно царствовала *плеонексия* (греческий термин для обозначения такого рода сумасшествия). Богатые сосредоточивали в своих руках все больше и больше материальных благ: строили роскошные дома, приобретали драгоценности и дорогие одежды, соревновались друг с другом в расточительности, не предпринимая ничего для облегчения жизни беднейших слоев общества. Пропасть между богатыми и бедными стремительно увеличивалась, в то время как коррумпированные суды постоянно занимались тем, что вели дела против неимущих граждан; с неукротимой силой надвигалась революция «низов». Страну спасли лишь политические реформы Солона, дельца-аристократа, который провел денежную реформу, установил стабильный налог на доходы и либерализовал суды.

Сочетание «просвещенной» демократии и капитализма приносит гораздо более благотворные результаты, чем социализм, как мы можем убедиться на примере многих стран. Есть надежда, что XX век станет веком последних экспериментов человечества с социализмом и коммунизмом. Особенно жалкими выглядят попытки большинства беднейших стран «третьего мира» использовать социалистическую модель для выхода из кризиса. Они были обмануты самым популярным «мифом XX столетия», поверив в то, что некая форма коллективизма разрешит все их проблемы. В XXI веке будет достигнут больший прогресс, если страны «третьего мира» откажутся от социализма и встанут на демократический и капиталистический путь развития, с акцентом на всеобщее образование, снижение уровня рождаемости, равноправие женщины в семье и всеобщие гражданские свободы. Эти четыре фактора позволят сохранить психологический и духовный потенциал народов развивающихся стран. Их основной целью должно стать предоставление равных возможностей всем членам общества, а не гарантированное всеобщее равенство (неизбежно приводящее к безынициативности в работе и формированию коррумпированной, подрывающей основы государства бюрократии).

## *УРОК ВТОРОЙ:* ВРЕД, ПРИНЕСЕННЫЙ ИДЕОЛОГАМИ, НЕИСЧИСЛИМ

Вред, причиняемый проникновением государства в частную и семейную жизнь человека, напрямую соотносится со степенью идеологизации правительства. Идеологи разного толка: «правые» и «левые», гуманисты и религиозные фанатики — принесли человечеству в XX веке немало зла. Конечно же, это можно сказать и о любом другом столетии — с той лишь разницей, что никогда прежде идеологи не обладали такой неограниченной государственной властью в разных частях мира. Идеологи — это люди, чьи убеждения догматичны и лицемерны одновременно; их отношение к окружающему миру подчинено жесткой системе представлений, малейшее отклонение от которой недопустимо. Каждый человек (или явление) должен занимать в идеологической картине мира строго определенное место. Человек оценивается лишь с точки зрения его отношения к идеологии («за» или «против»): либо вы «хороший» («за»), либо — «плохой» («против»). Если вас посчитают «плохим», значит, с точки зрения идеолога, к вам должны быть применены какие-либо меры воздействия: например, идеологическая «обработка» — с тем чтобы вас «просветить» и заставить смотреть на мир глазами идеоло-

га. Если на вас это не действует или вас уже причислили к категории «неисправимых», вы тем или иным образом будете устранены. Никто с большей готовностью не приклеивает стандартные ярлыки, как идеолог. Никто не обезличивает человека так стремительно и необратимо.

Пагубное воздействие на общество идеологов, облеченных государственной властью, было подробно исследовано и документировано в работах известного историка Пола Джонсона. Он пишет:

> «В XX столетии государство стало крупнейшим накопителем материальных благ и главным их растратчиком... Государство давно проявляло себя необузданным расточителем, непревзойденным транжиром, а теперь оказалось еще и кровожаднейшим в истории человечества убийцей... Возникает вопрос: ведет ли нравственное разложение государства к дискредитации его ведущих политиков, рост числа и влиятельности которых стал наиболее важной чертой современности?.. Они прошли сквозь десятилетия и континенты — Сунь Ятсен и Ататюрк, Сталин и Муссолини, Хрущев, Хо Ши Мин, Пол Пот, Кастро, Неру, У Ну и Сукарно, Перон и Альенде, Нкрума и Ниерере, Насер, шах Пехлеви и Каддафи, — сея смерть и нищету на своем пути».

Джонсон утверждает: XX век научил нас тому, что противодействием злу, порожденному государством, может стать уважение достоинства личности и построение «общества, в котором семья, в противовес политическим партиям и идеологическим программам, станет опорой для возрождения государства».

## *УРОК ТРЕТИЙ:* БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ОБЫЧНО ПРИНОСЯТ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ

Самой распространенной ошибкой идеологов является желание реформировать общество всесторонне и немедленно. Они не замечают того, что очевидно: социальные реформы, которые проводятся поспешно, часто приносят больше вреда, чем пользы, вне зависимости от того, насколько благими были намерения. Наши основные социальные институты — семьи, школы, суды — по своей природе консервативны, опутаны прочной сетью традиций. Эти традиции необходимо постоянно подпитывать, чтобы они не истощились и не задушили нас. Тем не менее их возникновение и существование оправдано важностью целей, которым они служат. Безусловно, нужно быть открытыми для перемен в социальном устройстве, но если мы однажды отринем традиции в угоду социальному прогрессу, то подвергнем себя серьезному риску деградации. В результате мы начнем выискивать уважительные причины наших неудач, ложащихся тяжким бременем на молодежь и другие социально незащищенные группы людей. А они вправе не желать слушать никаких объяснений.

Возможно, самое трудное для тех, кто стремится к быстрым радикальным реформам, — не поддаться соблазну злоупотребления властью по примеру своих предшественников. По мнению Дюрантов, «ничто так не очевидно в истории, как усвоение победившими повстанцами тех методов, использование которых свергнутой властью они были склонны осуждать». Фидель Кастро поднимает на Кубе революционное восстание против «капиталистических поработителей народа», но как только он приходит к власти, кубинский народ попадает в еще большее угнетение и получает в придачу разрушенную до основания экономику. Пример Кубы не единственный в истории. Те, кто ратует за немедленные реформы, не стесняясь, «если надо», применять насилие, имеют много шансов повторить в новой форме ошибки своих предшественников, и XX век изобилует такими примерами. Эксперименты по радикальной реформе социальных институтов принесли человечеству больше страданий, чем пользы. Пол Джонсон пишет:

> «Мао требовал радикальных реформ. Большинство военачальников требовали радикальных реформ... А потом все эти достопочтенные господа заявляли, что они работали (и убивали) на благо Китая и его народа. Трагедия Китая иллюстрирует следующий принцип: когда закон уступает силе, а нравственность — пороку, тогда великая тьма опускается на землю и ангелы становятся неотличимыми от демонов».

Социальные реформы, особенно те из них, которые поддержаны *правительственной властью*, должны проходить в следующих условиях. Каждый проект реформы должен быть апробирован локально и, по возможности, только при добровольном участии граждан. Независимые эксперты обязаны непредвзято изучить и оценить каждый из проектов. Кроме того, заранее должна быть установлена продолжительность переходного периода (3,5 или 10 лет). Основываясь на результатах экспертного анализа, избранные законодатели примут решение о том, оправдано ли дальнейшее внедрение проекта теми положительными результатами, которые дал «переходный период».

Такой подход поможет избежать некоторых наиболее вопиющих ошибок и «перегибов» при проведении субсидированных государством социальных экспериментов. Невозможно перечислить все возможные злоупотребления, которые могут быть вызваны деятельностью общественных организаций, направленной на общее благо, но неминуемо ведущей к формированию бюрократичес-

кого аппарата, в существовании которого заинтересованы определенные круги общества. Предлагаемый нами подход к решению проблемы близок к мысли Карла Поппера о том, что социальная реформа работает лучше, если ее движение поступательно и содержит обоснование своей необходимости. (Карл Поппер приходит к выводу о том, что социальные перемены приносят худшие результаты, если они базируются на стремительном освоении новой идеологии и слишком активном навязывании ее обществу.) Неудачи терпят, как правило, те реформы, чьи проекты требуют быстрой реализации и вызывают антагонизм многих социальных групп, интересы которых не учитываются. Такие реформы, несмотря на все благие намерения, так же быстро набирают силу, как и сходят на нет.

Социальные реформы работают на благо общества, то есть имеют максимальную эффективность, если выполняются следующие условия:

1. Всем членам общества предоставляются равные возможности — вместо устанавливаемого государством всеобщего равенства.

2. Социальная реформа, субсидируемая государством, проводится с минимальными капиталовложениями; ее ход тщательно контролируется.

3. В основе социальной реформы лежит идея, которая может быть подвергнута корректировке, а не претендующая на универсальное объяснение мира грандиозная идеологическая система; у истоков реформы стоит не идеолог, а человек, готовый признать тот факт, что его идея может быть подвергнута критике.

4. Темпы проведения реформы разумно соотносятся с уже установившимися в обществе традициями.

5. Реформа учитывает человеческую природу или, по крайней мере, старается это сделать.

6. И последнее (по счету, но не по сути): социальная реформа проходит успешно, если чувство человеческого достоинства признается ценностью главной и безусловной, поскольку в конечном итоге истинная социальная реформа основывается на личностном росте каждого человека.

## *УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ:* «МИФ XX ВЕКА» РАЗЖИГАЕТ ВОЙНЫ

Из последних 3443 лет письменной истории человечества лишь 268 обошлись без войн. Однако ни один из прошедших веков не знал ничего похожего на ту бойню, которая не прекращалась на протяжении всего XX столетия. Более ста миллионов человеческих жизней было загублено в этом веке, вероятно самом кровавом в истории. Ростом числа смертей и масштабу разрушений мы во многом обязаны научным и техническим достижениям XX века, которые сделали войны значительно более деструктивными.

Но есть нечто большее, подталкивающее нас к войне, чем простое совершенствование техники. Войны разжигаются господствующими идеологиями нашего столетия. Подавляющее большинство идеологий, ставших выражением «мифа XX века», были гуманистическими и сосредоточенными на материальном мире, мире «здесь и сейчас», становясь, таким образом, *зависимыми от времени*. Олдос Хаксли сравнивает подобные идеологии с теми, которые он называет ориентированными на вечность:

«Цель всех революций — сделать будущее лучшим, чем прошлое, и принципиально от него отличающимся. А некоторые зависимые от фактора времени философские системы связаны в первую очередь не с будущим, а с прошлым, и их политические принципы сводятся к сохранению и восстановлению status quo и возвращению старых добрых дней. Но есть одна черта, сближающая почитателей прошлого с революционными поборниками светлого будущего: они готовы использовать для достижения своих целей неограниченное насилие... А поскольку окончательное благо далеко впереди, они чувствуют себя вправе использовать в данный момент любое средство для его достижения. Многочисленные исторические свидетельства подтверждают, что большинство религиозных и философских систем, воспринимающих время слишком серьезно, сопоставимы с теми политическими теориями, которые оправдывают использование массового насилия».

Хаксли подчеркивает далее, что не все религии основываются на преходящем. Некоторые из них сосредоточены на вечном. Они учат нас, что каждый человек может предпочесть уподобиться божественной искре в нем самом, и тогда Конечное Благо осознается как «мгновенное духовное приобщение». Если вечная жизнь становится реальностью в настоящем, то идеологии, зовущие к постоянным переменам, перестают быть притягательными. Иными словами, время теряет свою власть над нами. Хаксли продолжает:

> «В отличие от раннего иудаизма, христианства и мусульманства (все эти религии несвободны от фактора времени), индуизм и буддизм никогда не подвергали гонениям иноверцев, не проповедовали священных войн и удерживались от религиозного господства и обязательного обращения в свою веру, которое всегда шло рука об руку с политическим и экономическим угнетением цветных народов».

Некоторые христианские секты (напри-

мер, квакеры) также исповедуют подобный подход к жизни («вечность — сейчас»), свободный от власти времени. Такой взгляд на жизнь приучает к большей терпимости и снисходительности по отношению к ближним. Начиная с XVIII века, пишет Хаксли, квакеры

> «верили, что внутренний свет есть в душе каждого человека, что спасение придет к тем, кто живет в согласии с этим светом и не зависит ни от веры в исторические (или псевдоисторические) события, ни от соблюдения определенных обрядов, ни от поддержки какой-либо церковной организации. Более того, философия вечности защищает их от материалистического откровения о преклонении перед прогрессом, которое в недавние времена оправдывало любые беззакония — от войн и революций до жесточайшей эксплуатации, рабства и изнурительного труда дикарей и детей (а в наши дни — пренебрежение к детям. — *П.Н.*), — оправдывало на том основании, что высшее благо — впереди и любые временные средства, пусть и чудовищные по сути, могут быть использованы для достижения этого блага. Поскольку теология квакеров является одной из форм философии вечности, их политическая теория отвергает войны и преследования как средства достижения цели, осуждает рабство и утверждает равенство рас».

Многие современные государства достигли могущества, основываясь на гуманистических идеологиях, стремившихся воссоздать утопию на земле, *сейчас*. Все эти идеологии суть порождения «мифа XX века». Одна черта сближает их с некоторыми религиями — уверенность, что у них есть «ответ» для всего человечества и что они, следовательно, обязаны навязывать свой взгляд на мир каждому тоже *сейчас*. Подобная логика легко приводит к разжиганию войн. Многочисленные идеологии, порожденные «мифом XX века», так же обрушивают проклятия и выносят приговоры, как и те религии, место которых они собирались занять. С тех пор как стало очевидным, что зависимые от фактора времени идеологии порождают войны, насилие и небывалого масштаба терроризм, кажется вполне уместным заново оценить философские системы типа «вечность — сейчас», дающие бо́льшую надежду на мир и свободу для всех.

Представляется возможным осуществить и некоторые другие меры, которые помогли бы сделать XXI век менее воинственным, более мирным, чем XX. Одна из наиболее полезных мер — поддержка свободной и открытой торговли между всеми странами, не облагаемой местными и государственными пошлинами. Свободный рынок, способствующий развитию международного предпринимательства и коммерции, сделает для укрепления мира больше, чем все нынешние движения за мир, вместе взятые. Когда между народами существуют финансовые и коммерческие связи, они не склонны воевать друг с другом; кроме того, в этом случае легче контролировать отрицательные проявления национализма. Нынешние движения за мир питаются добрыми намерениями, однако все они основаны на неких общегуманитарных принципах («мы все здесь заодно»), теряющих свое значение, как только приводится в действие механизм финансовых и коммерческих связей. Кроме того, слишком многие участники движений за мир делают ошибку, свойственную людям, жаждущим быстрых перемен: они настраивают против себя как раз тех, в чьей поддержке нуждаются для достижения своих целей. За последние несколько десятилетий в деловых отношениях заметно обозначилась тенденция к интернационализму, большей открытости национальных рынков и более свободной торговле. Ради достижения мира между народами необходимо поддерживать эти тенденции.

Второй важной мерой должна стать помощь в распространении единого международного языка. В настоящее время лучший кандидат на это место — английский. Он уже широко используется в международных коммерческих кругах и на транспорте (это, например, общий язык для диспетчеров линий воздушного сообщения и пилотов во всем мире). Языковой барьер — одно из наиболее ощутимых препятствий в общении между народами; и есть лишь один путь решения этой проблемы — использование понятного каждому общего языка. Это положение ни в коей мере не предполагает прекращения преподавания и использования других национальных языков. Маленькая Греция может послужить одним из многочисленных примеров новой модели образования: помимо греческого, все школьники должны также заниматься английским. Появление единого мирового языка будет во многом способствовать созданию благоприятной атмосферы для стабильного мира.

Третья необходимая мера должна быть основана на результатах двух первых и предполагает развитие культурного обмена между народами и создание соответствующих программ в искусстве, науке, бизнесе, образовании, религии, организацию конкурсов, обмен студентами, поездки за рубеж и т. п. Неотъемлемой частью образования должны стать путешествия, которые, однако, являются обучающими лишь в той мере, в какой путешествующий способен «вжиться» в местную культуру.

Осуществление четвертой меры в ближайшем будущем маловероятно, однако соответствующие тенденции должны поддерживаться. А именно: стабильный мир на земле не станет реальностью до тех пор, пока все народы не откажутся от своих притязаний на «суверенность» (например, от права на создание национальных армий) во имя сувере-

нитета единого мирового правительства. Ясно, что осуществление столь значительных изменений скорее всего займет не одно столетие. Первые шаги, однако, уже сделаны, и они обнадеживают. Экономическое объединение стран Западной Европы в 1992 году положило начало тем союзам, которые возникнут в XXI веке. Видимо, к этому новому договору присоединятся и страны Восточной Европы (после того как будут преодолены определенные трудности на пути перехода от коммунизма к капитализму), так что в следующем столетии объединенная Европа, возможно, возьмет верх над Соединенными Штатами и станет основной экономической силой в мире. Конечно, Соединенные Штаты тоже могут объединиться с другими государствами западного полушария, а Япония — сблизиться со странами тихоокеанского бассейна. Объединение необходимо и странам «третьего мира», если они намереваются выдержать деловую и коммерческую конкуренцию в складывающейся новой мировой структуре.

В последующие столетия подобные экономические объединения скорее всего перерастут в «сверхгосударства», что станет очередным шагом на пути создания мирового правительства. Процесс замещения национальных суверенитетов единым мировым будет при этом обусловлен более экономическими, нежели идеологическими соображениями.

Однако чудовищно возрастет и потенциальная возможность войн между новыми меганациями, особенно если они окажутся одержимы утопическими — религиозными или светскими — идеологиями.

Вероятность такого развития событий есть главная причина того, почему крайне важны уроки XX века, касающиеся злоупотреблений государственной властью. Пока эти уроки не будут усвоены, возможность злоупотребления властью по отношению к отдельным гражданам и семьям в новых мегагосударствах будет неограниченной. Хотя «1984» Оруэлла уже миновал, но угроза появления «старшего брата» не исчезла, напротив — капиталистические демократии обнаружили те же тенденции к злоупотреблению властью, что и общества, основанные на коллективизме. <...>

## *УРОК ПЯТЫЙ:* «МИФ XX ВЕКА» ТОЛКАЕТ ЧЕЛОВЕКА НА САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

В первой половине нашего столетия, как заметил Эрих Фромм в своей выдающейся книге о современности, мы «бежали от свободы» во имя преклонения перед Государством. Когда этот путь завел нас в тупик, мы отступили еще дальше — к преклонению перед своим «Я». Если патриотизм действительно «последнее убежище для негодяя», то преклонение перед собой есть последнее убежище для человека, отчаявшегося верить *во что бы то ни было.* Преклонение перед Государством и преклонение перед собственным «Я» — неизбежные последствия веры в «миф XX века». Искренне поверивший в него мечется между двумя этими полюсами. Когда человек разочаровывается в Государстве (что неизбежно), он вынужден обращаться к единственной реальности, которую допускает его релятивизм — к Себе Самому. Эта единственная точка опоры и лежит в основании «мифа XX века».

Преклонение перед Собой и замена терпимости моральным релятивизмом стали причиной восприимчивости человека к псевдонаучным притязаниям «мифа XX века», что, в свою очередь, нанесло ущерб нашим основным социальным институтам, породив «цинизм и ложную умудренность», столь характерные для XX века. Но мы оказались во многом наивными, полагая, что ничего подобного не было раньше. Многие общества в истории прошли этот путь: от религии к язычеству и обратно к религии. Во время подобных переходных периодов людям свойственна определенная растерянность, как отмечают Дюранты в своем описании превратностей судеб обществ прошлого:

> «Оказавшись в промежутке между старыми и новыми моральными нормами, сорвавшееся с цепи поколение предается роскоши и разврату и неустанно сеет разброд в семье и нравах...»

Далее они отмечают, что на протяжении всей истории религия господствует

> «в те периоды, когда законы ослаблены и бремя поддержания социального порядка ложится на нравственность; скептицизм и язычество... распространяются, в свою очередь, в условиях, когда рост власти правительства способствует снижению роли церкви, семьи и морали...»

Похоже, что каждое новое поколение попадает в свой особый отрезок этого циклического пути от религии к язычеству и обратно. Но значит ли это, что прогресс в социальной области всегда иллюзорен? Возможен ли он, наконец? Должен ли наш так называемый социальный прогресс всегда отступать, не успев сделать шаг вперед? Смогут ли люди когда-нибудь научиться действовать разумно и последовательно? Может быть, сейчас необходим некий «теологический террор» — как возмездие за варварски усвоенные уроки XX века? Или мы можем придумать что-то лучшее? Можем ли мы, например, усвоив то, что проповедовали величайшие учителя человечества, создать свод таких духовных наставлений, которые скорее окрыляют душу, нежели держат ее в страхе и трепете?

*УРОК ШЕСТОЙ:*

## ПОТРЕБНОСТЬ В ДУХОВНОЙ ЦЕЛИ НЕ ИСЧЕЗАЕТ

«Истинная вера растет медленно и, однажды посеянная, не терпит пересадки на другую почву; но ее интеллектуальный эрзац не имеет корней, он появляется внезапно и внезапно исчезает»[1].

Предположение историка Пола Джонсона о том, что сегодня число атеистов не в пример меньше, чем было в прошлом столетии, представляется верным. На вторую половину XIX века пришелся расцвет атеизма в интеллектуальных кругах; результатом этого стала надежда на некую рукотворную силу, созданную при посредстве науки и способную не только разрешить проблемы человека, но и построить утопию на земле. Именно в этот период окончательно сформировались теории Маркса, Фрейда и Ницше — трех величайших атеистов, которые более других способствовали формированию «мифа XX века». Сейчас их этика полностью дискредитирована в глазах всех (за исключением немногих оставшихся фанатиков), хотя и продолжает, принимая различные формы, использоваться во многих современных движениях за социальное переустройство. Великая надежда XX века на то, что человек при содействии своего горячо любимого государства сможет создать рай на земле, в сознании большинства людей или мертва, или отживает свой век.

Сейчас человечество не настолько уверено в пользе научного прогресса, как сто лет назад. Эта эволюция сознания естественно ведет к пересмотру духовных ценностей. Однако многие обнаруживают, что они не в состоянии вновь обратиться к религии своих предков. В XX веке с каждым новым поколением растет число людей с сознанием, открытым для постижения духовных истин, но не способных вернуться к церковной ортодоксии.

Говорят, что последователи Моисея десятилетиями странствовали по пустыне в поисках водительства, пропитания и конечной истины. Похожая ситуация сложилась и в XX веке, когда миллионы людей блуждают, ища духовного руководства и духовной пищи. Все философские системы XX века, начиная от логического позитивизма (последней грандиозной попытки сделать Разум краеугольным камнем всего человеческого мышления) и кончая экзистенциализмом (развитием нигилизма Ницше) оставили без ответа вопрошание человечества. Эти философские системы возникли внезапно и так же внезапно канули в прошлое.

Величайший урок XX века состоит в том, что Бог не оставит нас. Человечество потратило это столетие, пытаясь заменить Бога той или иной рукотворной системой. Мы объявили, что Бог мертв. Или же делали вывод, что Он перестал соотноситься с нашими повседневными делами и проблемами. Но Бог должен остаться с нами. Никакая иная система не способна питать дух человека и помогать ему в бесконечных поисках красоты, истины и добра.

Если мы действительно должны вернуть человеческому обществу духовную основу, нам следует поторопиться и сделать все от нас зависящее. Что мы можем взять от наших великих духовных учителей? Как выглядело бы человеческое общество, если бы каждый его шаг был выверен в соответствии с их учениями? Этих ли славных идеалов мы сейчас лишены? Станут ли наши дети передавать их по наследству в свое время, или мы потеряем их безвозвратно? Очевидно, что одержимость самим собой, взлелеянная современным гуманизмом и выдающая себя за самосовершенствование личности, не содержит ответов на волнующие нас вопросы.

*Перевод с английского А.ГАМБАРОВОЙ*

---

[1] Цитата из книги «The Idea of a University» (1853) Джона Генри Ньюмена (1801—1890) — английского церковного деятеля и литератора.

## НИКИТА ПОКРОВСКИЙ
# XXI ВЕК КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Книга Пола Нотта «Переделывая Америку» интересна в том отношении, что она абсолютно типична для американского книжного рынка 90-х годов. Это книга о будущем мира и нашей цивилизации, раскрывающемся с позиций современного американского интеллектуала — не слишком известного, не хватающего звезд с неба, но высоко ценящего свое американское первородство. Согласимся, и это тоже позиция. Так почему бы и не обсудить ее?

В книжных магазинах в Америке мне еще не приходилось видеть специальных секций под названием «Итоги века» или «Черты грядущего века». Но ясно одно: книжная индустрия уже активно приступила к освоению

этого массива, с одной стороны, продуцируя такие серьезнейшие произведения, как «Готовясь к XXI веку» Пола Кеннеди и «Подводя итоги: Америка перед сменой веков» Алана Вульфа, с другой — массу гораздо более «облегченных» упражнений в области социального философствования на почве fin du siècle. И такой интерес к «итоговистике» вполне объясним: человеческий разум связывает с хронологической сменой столетий некие рубежи в развитии всей нашей цивилизации, хотя, как мы все понимаем, эти рубежи вовсе не определяются календарными датами.

Впрочем, не совсем так.

Социологи уже давно подметили, что массовые верования, даже не имеющие под собой фактического основания, каким-то образом преобразуют саму социальную реальность и самореализуют себя в ней. Известный американский социолог 20-х годов Уильям Томас даже сформулировал теорему, вошедшую в историю социологии под его именем. «Если люди определяют некоторые ситуации как реальные, эти ситуации реальны в своих последствиях» — так звучала эта теорема. Из нее, в частности, следует для целей нашего разговора, что если мы постоянно обсуждаем некие сломы и переломы исторических традиций, которые должны-де произойти в конце века, эти события и в самом деле произойдут — в нашем сознании и нашей собственной деятельности, основанных на наших верованиях.

Как бы то ни было, но встреча веков окружена ореолом мистического благоговения и почти что сакрального почитания. А это «тема», это — «материал», которыми и следует воспользоваться. Что и делается в Америке с большим размахом.

Ко всему прочему последнее, финальное десятилетие было обозначено историческими событиями, глубоко потрясшими мировоззрение Америки и всего Запада. Разрушение восточноевропейской империи, разрушение, которого никто не предвидел, произвело эффект взрыва, имевшего и имеющего поныне как созидательные, так и деструктивные последствия. К числу последних можно отнести полнейшую смятенность умов западных интеллектуальных элит, просто не способных объять необъятное и осмыслить возникновение новой универсальной реальности в мире. Причем этот переход от биполярного мира и черно-белой гаммы социального мышления («наши — не наши») к новой картине социума, где все правы и не правы одновременно, где процессы трансформации затрагивают сами основы бытия, где понятие прогресса предельно снижено, — все это потребовало от западных, и прежде всего американских, интеллектуалов нового мышления (но не по-горбачевски, а на самом деле, по существу). И тут не все и не всегда получается успешно...

Позицию Пола Нотта, изложенную в книге, можно обобщить в нескольких тезисах, которые он сам именует «уроками XX века». Нотт, однако, предваряет их своеобразным идейным посылом следующего содержания: «Есть немало причин быть оптимистичным в отношении XXI века, ибо уроки XX века самоочевидны. Эти уроки по большей части представляют собой повторение старых исторических сценариев давно минувших дней, лишь сыгранных в обновленном виде. Если это так, то тогда мы с очевидностью не извлекли уроков. Правда, у нас есть важные преимущества, которые должны нам помочь. Скорость коммуникаций по всему миру возросла до феноменальных масштабов. Идеи, а равно и товары могут и в реальности используют их сети для установления общения между народами». Что касается второго преимущества нашего современного состояния ума, так это осведомленность о том, что технический прогресс не есть универсальный признак любого иного прогресса, включая социальный и нравственный. Осознание этих двух истин, полагает Нотт, и дает нам принципиальное основание для оптимистического взгляда в будущее.

Признаться честно, я не могу разделить оптимизм американского автора. (Здесь и далее позволю себе говорить только от первого лица, вовсе не претендуя на научную всеобщность и необходимость собственных суждений.)

Дело в том, что оптимизм стал своеобразным опознавательным знаком американской популярной философии и американского сознания в целом, который активно используется и ныне, особенно в условиях духовной нестабильности и смятения умов. Традиция эта восходит к американским пуританам XVII века, пережившим страшные мучения в Англии и Голландии и чудом добравшимся к американским берегам в судьбоносном 1620 году. Этих первых переселенцев и многих других, предпринявших позднее точно такое же путешествие, поддерживала только вера в светлое завтра и ничто более. А вера учила их тому, что в Америке переселенцам суждено было построить сияющий «город на горе» — новый Ханаан, то есть Царство Божие на земле. За это они вполне искренне и сражались против происков дьявольской силы. Таким образом, оптимизм был изначально заложен в американском пуританизме в качестве его важнейшего составного элемента. Таким он остался и в наши дни, правда приобретя формы обыденной философии.

В Америке быть неоптимистом просто недопустимо. Это смертный грех. Усомниться в том, что завтрашний день вдруг может быть чем-то хуже сегодняшнего, а грядущий век — хуже нынешнего, означает подвер-

---

[1] См. «ИЛ», 1994, № 5.

гнуть сомнению сами основы нации. Это аксиома, это credo американизма, это национальная нравственная святыня.

Согласно американской философии, в частности прагматизму, всякое временное затруднение завершается его благополучным разрешением, приносящим всем еще большее счастье. Всякая проблема решается к полнейшему удовольствию вовлеченных в нее. Все в итоге к лучшему в этом лучшем из миров, имя которому «Америка». Таковы постулаты американской гражданской религии, усомниться в которых прежде было непозволительно никому из американцев, а ныне и никому из всех остальных обитателей земли.

Мне, однако, абсолютная ценность оптимизма не представляется научно доказанным фактом. Это всего лишь система верований — точно такая же, как любая иная. Поэтому примечательно, что ни американцы, ни иные приверженцы провиденциально-оптимистической модели мира никогда не вступают в дискуссии по поводу этой своей убежденности. Тот, кому она не ясна, характеризуется как представитель другого космоса. Вообще говоря, если отвлечься от идеологического ригоризма и разобраться в фактах, то можно предположить, что оптимизм имеет не столько социальные, сколько чисто биологические корни. Он стал функциональным средством повышения солидарности внутри популяции в условиях внешней угрозы.

О каком оптимизме вообще может идти речь в кругу специалистов-социологов? На мой взгляд, единственной почвой для обсуждения должен быть реализм, состоящий во взвешенном рассмотрении всех тенденций и феноменов, вне зависимости от того, «оптимистичны» они или нет, спасительны или нет.

Уходящий век был ни оптимистичным, ни пессимистичным. Как, впрочем, не будет ни тем, ни другим и век грядущий. Количество хорошего и плохого, добра и зла, нравственности и безнравственности всегда находилось в состоянии динамического баланса или круговорота, нарушить ход которого едва ли возможно. Альбер Камю когда-то предложил не горевать по поводу участи Сизифа и воспринять Сизифа как счастливого человека, а его наказание богами — как знак их благосклонности к страдальцу. А почему бы, в самом деле, и нет?

Впрочем, вновь обратимся к американскому автору Полу Нотту.

Главная мысль его книги в том, что XXI век принесет нам совершенно новое видение мира и столь же новое ощущение жизни. Это будет мир, в котором возобладают свобода и капитализм (для Нотта они практически эквивалентны) и история остановится в своем беге, ибо ей уже будет некуда развиваться. В принципе это будет мир без идеологий и мир без войн. В единой глобальной цивилизации восторжествуют либерализм и демократия, и человечество замрет в экстазе собственного совершенства.

И когда все это перейдет в плоскость сознания людей и их духовных ценностей, ход истории восстановит тождественность с самопознанием человека. Так, почти по-гегелевски, звучат оптимистические тезисы американского психолога и философа.

Слияние цивилизаций и культур, синтез национальных сознаний и этнических ценностей — все это и есть глобалистический оптимизм, оперирующий категориями роста транснационального капитала и коммуникаций в качестве своего главного аргумента.

Читая и слушая людей, подобных Нотту, так и хочется воскликнуть: «Хочу быть Ноттом!» Но почему-то наружу вырывается совсем иное, по Станиславскому: «Не верю!» А нотты требуют веры, ибо в их прекраснодушные утопии гораздо более важно верить, нежели реалистично рассматривать альтернативы.

Ну а если все-таки на какое-то время отрешиться от провиденциалистской убежденности в конвергенции всех социальных систем, которая должна произойти в XXI веке, и, хотя бы ради пущего любопытства, рассмотреть и другие варианты?

Попробую кратко сгруппировать некоторые тезисы, не давая им разрастаться в пространные рассуждения, по поводу неноттовской и не вполне радужной перспективы века грядущего. Разумеется, речь идет о вариантах, моделях, предположениях и ни о чем более.

Авторы классических теорий слияния капитализма и социализма в единую общечеловеческую либерально-демократическую цивилизацию (Дж.Гэлбрейт, У.Ростоу, А.Сахаров, П.Сорокин, Ж.Фурастье и др.) утверждали, что историческая эволюция современного индустриального, а впоследствии и постиндустриального общества создает условия для сближения и взаимной инфильтрации двух противоположных систем — западного капитализма и восточного коммунизма. Взгляды этих ранних предвозвестников «конвергенции» отмечались оптимизмом: по их мнению, западный индустриализм и либеральная демократия поглотят и преобразуют структуры восточного коммунизма в контексте всеохватного процесса модернизации. В более широком плане это означало, что рационалистические (то есть разумные, самоочевидные, выигрышные) структуры западной экономики, политики и культуры подвергнут переработке все коммунистические институты, создавая из этого материала новый тип «смешанного общества», сочетающего в себе положительные черты обеих систем. Это новое общечеловеческое общество должно было, по их мнению, существенно повысить приспосаблива-

емость нашей цивилизации к условиям внешней социально-глобальной среды.

Понятие «рационалистический», «рациональность» употребляется здесь мною не в веберовском, а в его изначальном, декартовском смысле как «естественный свет разума», раскрывающийся человеку, следующему требованиям рационалистического метода и уважающему свою интеллектуальную интуицию. Рациональность тесно связана с понятием «гуманизм». То есть, иными словами, все то, что хорошо для человека и человечества, это и есть рациональность.

Однако историческая реальность наших дней свидетельствует о том, что активно разворачивающееся на наших глазах слияние прежде разделенных систем воспроизводит по преимуществу отнюдь не рационалистические и гуманистические тенденции. (На возможность этого указывали в свое время такие философы, как Г.Маркузе, Ю.Хабермас и Р.Хейлбронер.)

Современная объединительная тенденция прежде всего приводит к взаимному притяжению и интеграции иррационалистических и разрушительных структур США и бывшего Советского Союза.

В современных условиях бюрократия, «аппарат» не могут продолжить себя в XXI веке, не переходя на более высокий уровень осмысления сложнейших проблем человечества. Трезвая рассудочность капиталистического хозяина, производителя и собственника должна развиваться до уровня «человека разумного», наделенного гуманистическим видением социальной перспективы.

Однако свойственный современным западным структурам экономический релятивизм, принципиальный отказ от долгосрочного планирования будущего и широкоохватного социального прогноза, устойчивая «одномерность» социального мышления («черное — белое», «хорошие ребята — плохие ребята»), уклонение от исследования сложных процессов и стремление свести их к примитиву, ограниченность горизонта политического анализа, корпоративный антиинтеллектуализм («яйцеголовые нам не нужны»), моральный и исторический мифологизм массового сознания на Западе прекрасно сочетаются с наиболее одиозными структурами дегенерирующего бывшего социалистического общества, в котором все еще по-прежнему процветают бюрократически-тоталитарное мышление, аппаратное безрассудство, оголтелый эгоизм социальных и политических групп и группировок.

Неспособность западного социального и политического мышления разумно осмыслить и проконтролировать трансформацию коммунистических структур и очевидное бессилие посткоммунистического интеллекта произвести самореформирование свидетельствуют об их равной бесперспективности.

Обе социальные системы в равной степени игнорируют значимость объективного социального знания и рационального прогнозирования. Объективное научное знание перестало быть социально значимым и потеряло свою ценность как на Западе, так и в бывших коммунистических государствах. Все реже и реже социально ориентированные программы во внутренней и внешней политике строятся на основе многомерного моделирования, анализа всех возможных вариантов и долговременных перспектив. Мощнейшие силы технического прогресса подчас выходят из-под контроля или же оказываются под контролем совершенно некомпетентных руководителей и исполнителей.

Прямое спонтанное действие, часто волюнтаристское, преобладает над разумной рефлексией и трезвым размышлением. В государственной политике обеих конвергирующих систем господствует принцип краткосрочного эгоистического политического интереса малого радиуса охвата («остаться у власти во что бы то ни стало»). Эмпиризм и псевдоздравый смысл, по существу, подчиняют себе стратегическое видение будущих перспектив.

Как итог так называемой «перестройки» и «постперестройки» в системе коммунизма и серии политических и экономических спадов на Западе стали создаваться на государственном и частнопредпринимательском уровнях смешанные западно-восточные объединения (межгосударственные экономические и политические псевдосоюзы, компании и организации; изначально неэффективные, но широко рекламируемые программы экономической помощи и культурных обменов). В результате иррационалистический потенциал слияния двух систем как бы накапливается и генерирует волны нового мифологизма, новых «сказок» о будущем. Трезвость и рациональность уступили свои позиции некритическому мышлению шоумена, беззаботного бонвивана от политики и экономики.

Иррациональные и разрушительные компоненты этого объединения систем обладают несравненно большей силой взаимного притяжения, чем рациональные, стремящиеся к разумному индивидуализму и творческой самореализации. Величайшая трагическая черта эпохи конца XX — начала XXI века состоит в том, что перестройка в России и триумф либеральной демократии и общества потребления на Западе привели не к «концу истории» (выражение американского стратега Ф.Фукуямы), а к выходу всего человечества на рубеж тотальной хрусталлизации (fragilization) всего планетарного сообщества. Это и Чернобыльская катастрофа, и война в Персидском заливе, и операция ООН в Сомали, и экономико-политический хаос в бывшем Советском Союзе (включая все «незаживающие» этнические конфликты, конфликты в Чечне и Таджикистане, Абхазии и Карабахе), и гражданская вой-

на в бывшей Югославии. Эти и многие иные социальные, большие и малые, явления не поддаются осмыслению с точки зрения рациональности.

Фрагментация и «хрустализация» социальных структур обозначают очевидное нарушение непрерывности и прямое разрушение социального опыта, накапливавшегося веками. На наших глазах рушатся и исчезают научные школы и традиции, депозитарии знания и опыта, высокие стандарты деятельности. Высокая культура широко обменивается на свободу (по сути, неподлинную свободу) по принципу «или — или».

Общими свойствами рассматриваемой социальной «хрустализации» можно считать:

а) нарастание иррациональных волн, вымывающих из структур социального действия всякую логику; становится все труднее обнаружить непрерывность в передаче опыта, аккумулирование социального знания и методов его использования, последовательность, долгосрочность, контролируемость социальных процессов и их предсказуемость;

б) всеобщее распространение открытой и скрытой социальной паники — укоренение во всех социальных структурах массового беспокойства, коллективных неврозов, разложения социальных ценностей; постепенно аномия (anomie), то есть «безнормность», вакуум ценностей, овладевает все более широкими социальными пространствами;

в) наступление профессиональной некомпетентности и нравственной неоформленности на всех уровнях структуры, и прежде всего на уровнях принятия решений («теперь каждый может заниматься всем чем угодно»);

г) приближение как западных, так и посткоммунистических структур к порогу легкодоступного и практически неконтролируемого разрушения цивилизации;

д) политическое жонглирование идеями новой гражданской войны (в России) и «новой революции» в США и западном мире (этим термином «играет» и Нотт) — как одно из ярких проявлений иррационализма;

е) практическое узаконивание терроризма как средства достижения политических целей.

Любая из перечисленных тенденций ведет к драматическому разрушению последовательности и преемственности опыта в истории человечества.

Катастрофизм современного состояния цивилизации проявляется в том, что человечество приближается к новому мировому конфликту. Последний и есть высшее порождение объединения иррациональных структур, многократно усиливающих разрушительные тенденции, присущие как западной, так и посткоммунистической общественной системе.

Этот потенциальный конфликт отличается и от двух мировых войн, и от того, какой обычно представлялась третья мировая война в популярных исследованиях и средствах массовой информации. В новом глобальном конфликте не будет ни линии фронта, разделяющей воюющие стороны, ни фактов применения ядерного оружия, ни прямого захвата территорий и силового узурпирования политической власти.

Новый тотальный конфликт будет иметь «бесконтактный» характер. Цели войны достигаются не с помощью открытого применения силы, а с использованием угрозы ее применения на макро- и микроуровнях. Функцию социального контроля отныне осуществляет иррациональный и бессознательный страх. Это непосредственно соотносится с мировым терроризмом, превратившимся в одно из главных средств ведения новой войны.

В вертикальном измерении новый глобальный конфликт сопровождается турбулентностью распада и спорадичностью воссоздания управленческих и политических структур. Их постоянное «перемешивание», облегченные, лишенные структурного алгоритма переходы с одного уровня на другой («отсутствие логики»), не мотивированные личными профессиональными качествами взлеты индивидуальных карьер с широчайшими областями ответственности (от президента до сторожа большинство занимается не своим делом) — характерные черты современных систем. Быстро возникающие и сразу же исчезающие на политическом и экономическом небосклонах фигуры, снижение профессионализма на всех уровнях становятся обыденными явлениями, некритически воспринимаемыми обществом («мы привыкли ко всему, нас ничем не удивить»).

Для горизонтально-географического измерения приближающегося конфликта характерно многоцентровое зарождение напряженности, ее нарастание и последующие взрывы. Напряженность приобретает прогрессирующий очаговый характер (национально-этнические конфликты, зоны экономической деградации и протеста, очаговые метастазы терроризма и агрессивности, не имеющие рационального обоснования). Все это создает совершенно новую «социально-сейсмическую» карту мира и его отдельных регионов.

Главным носителем «вирусов» нового конфликта становятся транснациональные информационнные и транспортные сети, объединяющие все мировое пространство и объективно способствующие превращению очагов иррациональности в «зоны иррациональности». Будучи сами по себе благом, спутниковое телевидение, Интернет, телефонизация и компьютеризация приводят к быстрому распространению вирусов деструкции. Повсеместное развитие чрезвычайно «емких» средств массовой информации и

сравнительно высокая географическая мобильность населения («охота к перемене мест») способствуют возникновению этих «зон иррациональности».

Новый мировой конфликт, во многом информационный по способу своего распространения, сам диктует принципы противостояния самому себе. Они могут и должны обладать информационно-рационалистическим характером. А именно:

а) объединение профессиональных структур (ученых, других профессионалов) в узлы сопротивления иррационализму;

б) создание динамической системы взаимодействия информационных центров;

в) превращение очагов рационалистической и гуманистически ориентированной информации в центры власти.

Единственный путь, который могут использовать разумные силы, сопротивляющиеся волнам иррационализма, связан с соблюдением «принципа лилипутов» (the Lilliput principle). Как мы помним, лилипуты тонкими веревочками опутывали все тело и длинные волосы Гулливера, сковывая все его движения.

Так и «тело иррациональности» может быть блокировано только многочисленными малыми «путами» рациональных программ. Ни одна прямая атака против иррационалистического Гулливера не может привести к успеху. Среди ведуших принципов «лилипутской стратегии» надо назвать:

а) многофункциональное информационное присутствие рациональных структур в «теле иррациональности»; наблюдение за иррационалистической экспансией, сопровождающейся адекватной информацией и социальным моделированием («что произойдет, если...»);

б) непрерывная и последовательная организационная поддержка рациональности в виде целевых исследовательских программ и их информационного объединения;

в) финансовая поддержка гуманистических структур.

Эти подходы позволяют наметить основные направления сопротивления расширяющейся иррациональности.

Сопротивление угрозе надвигающегося конфликта требует поисков «новой общественности» (new public) и Великого Сообщества, принципы которых были сформулированы еще Джоном Дьюи в его книге «Общественность и ее проблемы» (1927). Так как для Дьюи демократия «не есть альтернатива иным принципам социального устройства», а «выражает саму идею человеческого сообщества», сопротивление иррациональности должно развиваться на основе объединения трезвомыслящих и заинтересованных профессионалов. С помощью распространения свободной информации, ориентированной на интересы человека, можно построить преграду на пути иррациональности, которая в противном случае грозит стать необратимой.

У существующего ныне общества нет заранее предустановленных рамок, ограничивающих возникновение новой социальной реальности. Все зависит от социальной воли и представления, основанных на рациональности. «Только отказ от социального фатализма может разрушить взгляд на природу человека как на неизменную, находящуюся в трагическом круге страха и социальных катастроф» (Роберт Мертон). Если мы признаем разумные модели в качестве истинных, они начинают функционировать в обществе как истинно существующие.

Но всего этого пока что еще нет или есть в очень небольших масштабах. И потому предполагаемый конфликт имеет все основания развиться до больших размеров.

В отличие от Нотта и других глобалистов даже более крупного масштаба, будущее не представляется мне гарантированным только лишь в силу того, что США выиграли-де историческое противостояние с коммунизмом. Будь то бюрократически-аппаратный коммунизм или примитивный капитализм в духе «свободного, нерегулируемого рынка» — оба они в перспективе XXI века в одинаковой степени опасны и конфликтогенны.

■

# БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК

Успех и признание неизменно сопутствуют английскому художнику Дэвиду Хокни. Публика любит его. Несмотря на стремительный калейдоскоп художественных течений, она не обделяет Хокни своим благосклонным вниманием на протяжении вот уже тридцати лет. Секрет такой завидной популярности кроется, видимо, в самом творческом кредо художника, который верит, что живопись может изменить мир к лучшему. «Жизнь полна страданий, — говорит Хокни, — поэтому-то мой долг, долг художника, состоит в том, чтобы преодолевать людское отчаяние». Пафос жизнелюбия нашел свое выражение не только в картинах, книжных иллюстрациях и эскизах театральных декораций, но и в автобиографических книгах «Дэвид Хокни о Дэвиде Хокни» (1976) и «Вот как я это вижу» (1993). Не случайно они сразу становились бестселлерами.

Дэвид Хокни родился в 1937 году в Брадфорде. Уже в одиннадцать лет, скучая за школьной партой, Хокни твердо решил, что станет художником, хотя имел об этом занятии довольно смутное представление. Он думал, что художники рисуют рождественские открытки или оформляют вывески, то есть зарабатывают себе на жизнь с кистью в руке. А замечательные картины, висящие в галереях, пишутся по вечерам, на досуге.

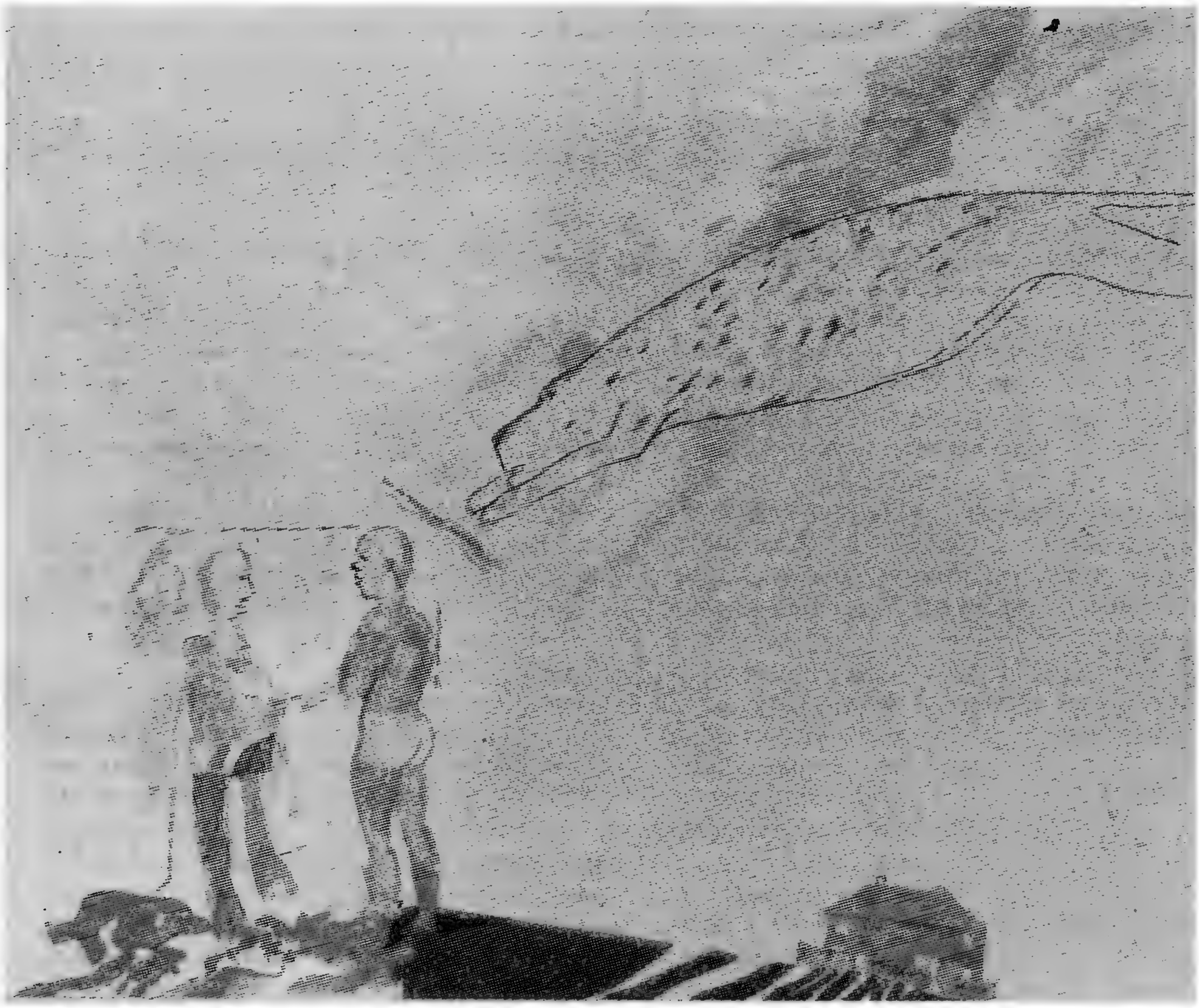
В отроческие годы Хокни рисовал как одержимый. Вместо того чтобы решать задачи, он рисовал стоявшие на подоконнике любимые кактусы учителя математики, а вместо того чтобы писать сочинение — мастерил коллажный автопортрет. Именно тогда к нему пришла «слава». Его карикатуры постоянно украшали выпускаемый одноклассниками рукописный журнал.

Закончив брадфордское художественное училище, Хокни в 1959 году поступил в престижный лондонский Королевский колледж искусств. Это было время первой волны английского поп-арта, оставившего яркий след не только в изобразительном искусстве, но и в музыке, и в литературе. Поп-арт знаменовал собой наступление эры «благоденствия» с ее культом потребительства, комфорта, развлечений и удовольствий. Поп-арт как бы пародировал массовую культуру, оперируя ее символами, приметами новых вкусов, нового образа жизни. В начале 60-х на сцену выходит молодое поколение поп-артистов, одним из лидеров которого считают Дэвида Хокни. Впрочем, он уже тогда стоял несколько особняком. В его «наиве» чувствовалось больше искренности, а ирония была не такой едкой. Сказывалось увлечение Хокни египетскими фресками, детскими рисунками, примитивизмом. Его заинтересовала совместимость стилей внутри одной картины, и Хокни изобретает свои знаменитые «стилистические коллажи». Позднее он вспоминал: «Я вдруг понял, что необязательно работать в одном стиле, чтобы картина получилась целостным произведением. Я хотел пользоваться различными стилями, как писатель использует разную лексику». Недаром одна из картин того времени называется «Свадьба стилей» (1962). В ней Хокни «обвенчал» экспрессионизм и египетские настенные росписи. Виртуозное владение живописными стилями, остроумная игра с ними принесла Хокни первый успех. После первой же персональной выставки были распроданы все экспонировавшиеся полотна!

Разрушив привычное стилевое единообразие картины, Хокни занялся поиском возможностей сломать автоматизм ее восприятия. Так, на картине «Происшествие, вызванное дырой в холсте» (1963) нарисованы по шаблону три олимпийских бегуна с факелами в руках, проносящиеся по краю холмистого горизонта. Первый бегун падает в яму, образованную дырой в холсте. Торжественность факельной процессии расстроена. Такую же деструктивную роль в «Картине, акцентирующей внимание на состоянии покоя» (1962) выполняет текст. Почти все пространство холста остается пустым. Из верхнего правого угла леопард выпрыгивает прямо на двух оживленно беседующих мужчин, один из которых, ближний к леопарду, обнажен и потому наиболее уязвим. Путь леопарду преграждает написанная мелким шрифтом фраза: «Они (имеются в виду мужчины. — *О. Х.*) в полной безопасности — это покой». Хокни так объясняет значение этой надписи: «Текст как бы отменяет первоначальное восприятие картины, вам приходится взглянуть на нее по-новому». И действительно, присмотревшись, можно заметить, что фигуры мужчин очерчены тонкой линией, которая как бы переносит их в другое пространство, а леопард лишен всякой агрессивности и даже, кажется, спит на лету.

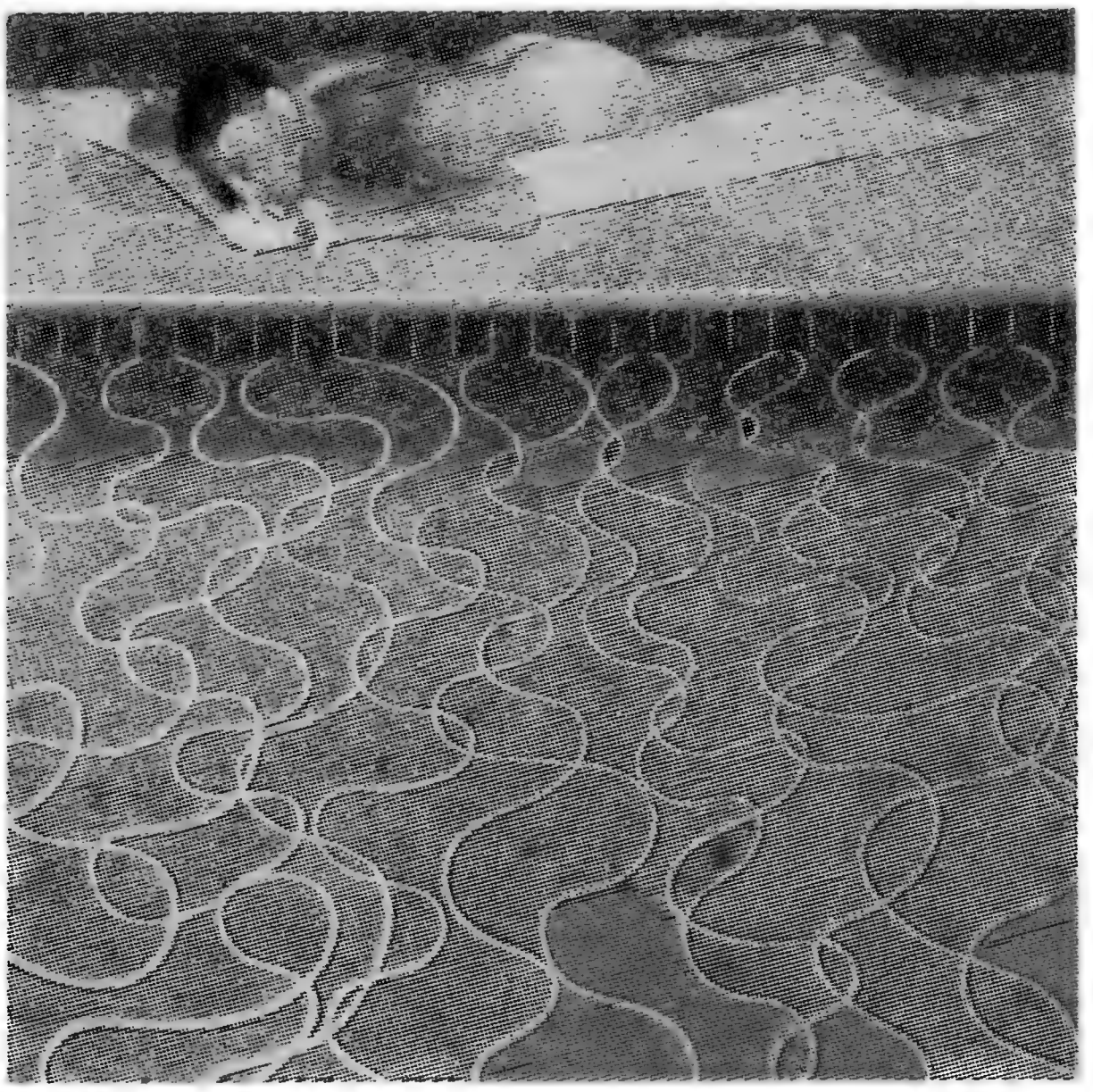
Цель, которую поставил перед собой Хокни, была вроде бы достигнута: его картины воспринимались так, как он того хотел, а не так, как диктовала привычка. Используя подобные деструктивные приемы, Хокни тем не менее далек от того, чтобы эпатировать зрителя. С публикой просто играют, и ей, видимо, нравятся эти (скажем откровенно, не слишком притязательные) интеллектуально-эстетические забавы.

Считается, что английский и американский



**«Свадьба стилей» (1962)**

**«Картина, акцентирующая внимание на состоянии покоя» (1962)**



**«Солнечные ванны» (1966)**

**Фотография художника, сделанная Петером Шлезингером: её фрагмент был воспроизведен на обложке автобиографии Дэвида Хокни («David Hockney by David Hockney», 1976)**

поп-арт родились из разных источников. Как бы там ни было, его дальнейшее развитие определилось появлением таких общих для двух стран художников, как американец Рональд Китай и друживший с ним англичанин Дэвид Хокни, который в 1964 году переехал в Лос-Анджелес.

Калифорнийские полотна полны тепла, света и беззаботности. Хокни создает целый цикл с бассейнами и душевыми. «Американцы то и дело купаются», — удивляется он. Художник упрощает композиции, главным в них становятся плоскости и открытые цвета. В картине «Солнечные ванны» (1966) изображена, например, узкая кромка зеленого газона, за ней — бежевая полоса теплого мрамора, а на нем — обнаженная фигура загорелого мужчины. От синего прямоугольника воды ее отделяет лишь сиреневая линия кафеля, все как бы застыло в истоме. Светло-желтый серпантин солнечных бликов на поверхности воды только подчеркивает покой.

Именно американский период принес Хокни всемирную известность. Его загорелые купальщики есть во всех крупных собраниях современного искусства. А картина «Большой всплеск» (1967) была столь популярна, что дала название полнометражному фильму.

Хокни всегда питал склонность к экспериментам. Похоже, он первым осваивает некоторые новинки современной техники: копирует на ксероксе свои цветные литографии, а по факсу передает на свои выставки картины, специально разделенные для этого на множество листов. С помощью полароидных снимков Хокни составляет фотоколлажи, вмещающие в себя сразу множество перспектив. Так, в технике полароидного коллажа Хокни сделал иллюстрацию к набоковской «Лолите», которая называется «Шоссе Пиблосэм с 11 по 18 апреля 1986 года». Когда-то совмещение нескольких стилей внутри одной картины не нарушало ее целостности, а теперь визуального единства Хокни достигает, оперируя сотнями перспектив.

Роскошные пейзажи, интересные люди и яркие события каждый раз вызывают у Хокни новый всплеск творческой энергии. Поселившись в начале 90-х годов в небольшом домике на побережье Тихого океана, он был так потрясен окружавшей его природой, что придумал «вагнерианские» поездки. Хокни выезжал из своего дома на автостраду под популярную американскую музыку, включенную на полную громкость. Стремительно сменялись пейзажи и кассеты. На бешеной скорости он «влетал» в горы уже под музыку Вагнера. Хокни казалось, что именно Вагнер по своей драматичности наиболее созвучен его впечатлениям от величественных гор. В результате этих поездок родилась целая серия очень ярких декоративных гуашей.

В 1997 году Хокни исполнится шестьдесят лет. Подготовка к юбилею началась уже в прошлом году. Большие ретроспективные выставки состоялись в Лондоне, где он учился и начал свой творческий путь, в Гамбурге, где он профессорствовал, и в Лос-Анджелесе, который принес ему всемирную известность. Пожалуй, осталось только устроить выставку там, где Хокни еще никогда не бывал.

Например, в России.

**О. ХЛЕБНИКОВА**

# АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

**МИЛАН КУНДЕРА** (MILAN KUNDERA; род. в 1929 г.) — чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. С 1975 г. живет в Париже. На родине опубликовал сборник стихов «Монологи» («Monology», 1957), пьесу «Владельцы ключей» («Majitelé klůčí», 1962), сборник рассказов «Смешные любовные истории» («Smešné lásky», 1963). Последующие книги писателя издавались за границей: романы «Жизнь в другом месте» («Život je jinde», 1970; отмечен во Франции премией Медичи, в Италии — премией Монделло), «Прощальный вальс» («Valčík na rozloučenou», 1972), «Книга смеха и забвения» («Kniha smichu a zapoměni», 1978). «Иностранная литература» напечатала переводы романов М.Кундеры: «Шутка» («Žert», 1990, № 9, 10), «Невыносимая легкость бытия» («Nesnesitelna lehkost byti», 1992, № 5-6), «Бессмертие» («Nesmrtelnost», 1994, № 10), эссе «Когда Панург перестанет быть смешным» (1994, № 7).
Роман «Неспешность» издан во Франции в 1995 году («La lenteur. Paris, Gallimard).

**ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ** (WIKTOR WOROSZYLSKI; род. в 1927 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист, публицист, переводчик, исследователь русской литературы XIX—XX вв. Автор многих сборников стихов, рассказов, повести о Салтыкове-Щедрине, книг о Пушкине, Есенине, Маяковском. В 1981—1982 гг. во время военного положения в Польше был интернирован. На русском языке публиковались его стихи: в «ИЛ» (1991, № 7), «Новом мире» (1993, № 1); эссе о польских поэтах «новой волны» («ИЛ», 1993, № 3).
Публикуемые стихи взяты из новой книги «Последний раз», куда вошли стихи 1987—1994 гг. («Ostatni raz». Poznań, Wydawnictwo a5. 1995).

**ГЮНТЕР ГРАСС** (GÜNTER GRASS; род. в 1927 г.) — немецкий писатель. Лауреат литературной премии имени Бюхнера. Автор романов «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959; рус.пер. «ИЛ», 1995, № 11; книга первая), «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Палтус» («Der Butt», 1977), «Крысиха» («Die Rättin», 1986); книги путевых очерков «Гомункулы» («Kopfgeburten», 1980). В «ИЛ» напечатаны повести Г. Грасса «Кошка и мышь» («Кошки-мышки», 1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5), стихи (1983, № 10).
Роман «Собачьи годы» вышел в Германии в 1963 году («Hundejahre». Darmstadt und Neuwied, Luchterhand).

**ХАНС БЁРЛИ** (HANS BØRLI; 1918 — 1988) — норвежский поэт и прозаик. Автор шестнадцати поэтических сборников, двух романов, книги рассказов и очерков. Творчество Х.Бёрли отмечено несколькими норвежскими и международной литературными премиями. На русском языке его стихи печатались в периодике, в антологии «Из современной норвежской поэзии» (М., 1987) и в «ИЛ» (1983, № 6).
В публикуемую подборку вошли стихи из сборников «Зимородок» («Isfuglen», 1970), «Сретение» («Kyndelsmesse», 1972), «Ветру не нужны дорожные указатели» («Vinden ser aldri på veiviserne», 1976. Oslo, H.Aschehoug & Co. (W.Nygaard).

**ХОРХЕ СЕМПРУН** (JORGE SEMPRUN; род. в 1923 г.) — испанский писатель; пишет в основном на французском языке. Автор романов «Долгий путь» («Le grand voyage», 1963; премия «Форментор»; рус.пер. «Библиотека «ИЛ», 1989), «Беспамятство» («L'evanouissement», 1967), «Вторая смерть Рамона Меркадера» («La deuxieme mort de Ramon Mercader», 1969; премия «Фемина»), «Автобиография Федерико Санчеса» («Autobiographie de Federico Sanchez», 1977), «Какое прекрасное воскресенье!» («Quel beau dimanche!», 1980), «Нечаев вернулся» («Netchaiev est de retour», 1987); сценариев фильмов «Война окончена» («La guerre est finie», 1966), «Дзета» («Z», 1969; премии Оскар и Международного фестиваля в Канне), «Признание» («L'Aveu», 1970) и др.
Книга «Писать или жить» вышла во Франции в 1994 году («L'Ecriture ou la vie», Paris, Gallimard).

**ЛОСЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1937 г.) — поэт, литературовед, переводчик. Живет в США; профессор Дартмутского колледжа. Автор книг стихов «Чудесный десант» (1985), «Тайный советник» (1987). В «ИЛ» в его переводе напечатана статья И.Бродского «На стороне Кавафиса» (1995, № 12).
Статья «Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского» получена редакцией в рукописи.

**ПОЛ НОТТ** (PAUL D. KNOTT) — американский социолог и психолог; в шестидесятых годах — активный участник движения за

гражданские права. Автор ряда работ по проблемам общества и семьи, основатель Денверской академии (1972).
Книга «Переделывая Америку: ценностная революция», из которой взята публикуемая глава, издана в Денвере (Колорадо) в 1993 году («Remaking America: the values revolution. Denver, Colorado Family Services).

**ПОКРОВСКИЙ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ** (род. в 1951 г.) — историк философии и теоретической социологии, американист. Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова. Преподавал в ряде американских университетов и колледжей. Автор монографий «Генри Торо» (М., 1983), «Ранняя американская философия. Пуританизм» (М., 1989), сборника «Лабиринты одиночества» (М., 1989), «Ральф Уолдо Эмерсон. В поисках своей вселенной» (Конкорд, США, 1995) и др. Статьи Н.Покровского публиковались в журнале «Социологические исследования», в «ИЛ» (1984, № 6, 1986, № 12) и др.изданиях.

**ХЛЕБНИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА** — искусствовед, автор ряда публикаций о современном зарубежном изобразительном искусстве. В «ИЛ» напечатаны ее статьи «...я подобен ливню...» (1994, № 12), «Жили-были Пьер и Жиль...» (1996, № 1), «Портреты цветов, или Топография наготы» (1996, № 3) и др.

## ■Переводчики:

**СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ** (род. в 1939 г.) — поэт, прозаик, переводчик с французского. В его переводах публиковались стихи А.Шенье, Э.Верхарна, А.Рембо, Ф.Вийона, А.Боске, романы «Помни Рубена» М.Бети, «Кровоточащие маски» С.Бадиана; повесть «Белый бык» Вольтера, роман-репортаж «Солнце встает не для нас» Р.Мерля («ИЛ», 1988, № 10), роман «Счастливая смерть» («ИЛ», 1992, № 2) и «Человек бунтующий» (главы из книги; «ИЛ», 1990, № 5,6) А.Камю, книга «Белое и черное» Э.Ионеско (1993, № 10) и др.

**БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ** (род. в 1933 г.) — писатель, переводчик с польского и английского языков. Автор книг стихов, прозы, многих статей о польской литературе. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС и ПЕН-клуба. В «ИЛ» печатались его статьи, переводы из польских и американских поэтов: Я.Ивашкевича, Т.Ружевича, Ч.Милоша, Т.Боровского, С.Е.Леца, У.К.Уильямса, Дж.Берримена, Э.Э.Каммингса, З.Херберта и др. Лауреат премий «ИЛ» (1988 и 1991).

**РУДНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ** (род. в 1945 г.) — литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Автор книги «Перед лицом правды» (1987). В его переводах издавались романы и повести «Хлеб ранних лет», «Что станется с мальчиком...», «Под конвоем заботы» Г.Бёлля («ИЛ», 1988, № 11, 12), «Другой процесс» Э.Канетти («ИЛ», 1993, № 7), «Пропавший без вести» Ф.Кафки («Америка»), «Короткое письмо к долгому прощанию» П.Хандке, «Нет места. Нигде» Кристы Вольф, «Искра жизни» Э.М.Ремарка, «И больше нечего желать» А.Мушга и др.

**ГРАФОВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ** (род. в 1962 г.) — филолог, переводчик с английского, иврита, норвежского и др.языков. Его переводы стихов и древних текстов печатались в периодике.

**КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА** — переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Г.Аполлинера, А.Рембо, Ш.Кро, Б.Ноэля, А.Боске, романы «Стелло, или Синие демоны» А.де Виньи, «Пыль над городом» А.Ланжевена, «Терраса Бернардини» С.Пру, «Конец Ангела» С.Г. Колетт, пьеса «Осадное положение» («ИЛ», 1990, № 10) и главы из романа «Первый человек» А.Камю («ИЛ», 1995, № 5), пьеса «Бескорыстный убийца» Э.Ионеско (Библиотека «ИЛ», 1990), «Ужин» Жан-Клода Брисвиля («ИЛ», 1993, № 5; пьеса поставлена Московским Художественным театром) и др.

**ГАМБАРОВА АНЖЕЛИНА МАНУЭЛЬЕВНА** — филолог, преподаватель русского и английского языков.
Перевод главы из книги Пола Нотта «Переделывая Америку: ценностная революция» — ее дебют в области художественного перевода.

■

# 1996

## ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ РЕДАКЦИЯ НАМЕРЕНА ОПУБЛИКОВАТЬ

**«ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЧАЕВА»** - знаменитый роман испанца **Хорхе Семпруна**

**«НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ»** - роман американца **Тима О'Брайена**, ярчайшее событие последней Франкфуртской книжной ярмарки

**«ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ»** - роман-миф англичанина **Клайва С. Льюиса**

**«ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»** - роман пишущего по-французски русского писателя **Андрея Макина**, в 1995 году удостоенный впервые в истории сразу двух главных литературных премий Франции - Гонкуровской и премии Медичи

**«КОНИ, КОНИ...»** - роман **Кормака Маккарти**, написанный в лучших традициях великой американской прозы

**«АРХИПЕЛАГ»** - бестселлер **Мишеля Рио**, одного из самых заметных французских писателей новой генерации

**«КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ»** - роман американки **Эми Тан**, принесший писательнице громкий успех

**«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»** - эссеистическую книгу **Александра Гениса** о современном искусстве

**«СЕКТЫ-УБИЙЦЫ»** - документальное исследование американца **Джеймса Бойла**

*Фрагментами будут представлены только что вышедшие книги:*

**«ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ МАВРА»** - роман, написанный **Сальманом Рушди** в подполье и ставший литературной сенсацией

**«ДОРОГА В МИР»** - блестящий роман вест-индского писателя **В.С.Найпола**

*Готовятся специальные номера:*

***АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-х***
***ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ***
***ВОСТОК НА ЗАПАДЕ И ЗАПАД НА ВОСТОКЕ***

*Среди материалов, находящихся в портфеле редакции:*

ИОСИФ БРОДСКИЙ. IN MEMORIAM

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ и ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ - большая публикация, приуроченная к 70-летию со дня смерти великого австрийца

ПАУЛЬ ЦЕЛАН и БРУНО ШУЛЬЦ в рубрике БОРИСА ДУБИНА ***«Портрет в зеркалах»***

Новые главы книги ПЕТРА ВАЙЛЯ ***«Гений места»***: *Верона — Шекспир, Севилья — Мериме; Мехико — Ривера, Буэнос-Айрес — Борхес; Венеция — Карпаччо, Виченца — Палладио*

**Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс 70394.**

**ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, ЦЕНА НА ЖУРНАЛ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ.**

**А если Вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 1 апреля до 1 июня ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.** *Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233-51-47.*

Nichols Cyn Rd
STOP

ИНДЕКС 70394

# “БРИТАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” НА CD-ROM

## Мир диаметром 5 дюймов

*На одном CD-ROM — полный текст 32-томной* ***“Британники”****,*
*а также самый популярный в США словарь английского языка -*
***“Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary”*** *( 160 000 слов).*

**BCD 2.0 содержит значительно больший объем информации, чем любая другая из существующих в мире “электронных энциклопедий”, — 44 миллиона слов.**

Сравним для примера количество статей между статьями “Mozart” и “Muscle” в различных энциклопедиях:

**“Microsoft Encarta”** — **95** статей ; **“Compton’s Interactive”** — **176** статей ; **BCD 2.0** — **334** статьи.

Обстоятельность “Британники” особенно наглядна, если сравнить объемы статей “Muscle” в **“Microsoft Encarta”**— **684** слова и в **BCD 2.0** — **30 240** слов.

**Главная особенность BCD 2.0 — уникальная информационно-поисковая система**, позволяющая задавать вопросы на простом английском языке, например: “Why is the sky blue?” Поиск информации превращается в увлекательную игру. Никаких специальных навыков работы с компьютером не требуется. Тысячи цветных иллюстраций — фотографий, рисунков, карт, схем, таблиц — делают общение с энциклопедией удобным и приятным.

**При помощи BCD 2.0 можно:**

- получить ответ на профессиональный вопрос: “Как установить возраст Земли?”;
- удовлетворить свое любопытство: “Спят ли рыбы?”, “Кто была первая жена Онассиса?”;
- найти взаимосвязь между явлениями и понятиями, на первый взгляд, совершенно несовместимыми, например, “Наполеон Бонапарт” и... “сахарная свекла”;
- получить новейшие статистические данные о любой стране мира;
- мгновенно распечатать нужный фрагмент или любую статью целиком.

**Технические требования:** PC 386/25 MHz 4 Mb RAM CD-ROM drive single speed
**Программные требования:** MS-DOS 5.0 Microsoft Windows 3.1/ Windows for Workgroups 3.11

***BCD 2.0 сочетает в себе достоинства “Британской энциклопедии” и преимущества новейших компьютерных технологий.***

**АОЗТ “Мир Знаний”**
**Тел.: (095) 962 0735, 962 0779; факс: (095) 962 0197 - в Москве;**
**Тел.: (812) 352 3016, 352 3004 факс: 352 3016 - в Санкт-Петербурге;**
**Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.**
**Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su**

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996 №5 1 — 256